



**АЛЕКСАНДР
БЕК**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ**



АЛЕКСАНДР **БЕК**

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
РУССКИЙ СОВЕТСКИЙ ПЕН-ЦЕНТР

1991

АЛЕКСАНДР
БЕК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЕРВЫЙ



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

РОМАН



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

РУССКИЙ СОВЕТСКИЙ ПЕН-ЦЕНТР

1991

ББК 84Р7

Б42

**Составление, подготовка текста
и примечания**

Т. БЕК

Вступительная статья

В. ШОХИНОЙ

Оформление художника

Ю. АЛЕКСЕЕВОЙ

**Часть средств от продажи тиража
настоящего собрания сочинений
переводится в русский советский
ПЕН-центр**

Б $\frac{4702010201-183}{028(01)-91}$ Подписное

**ISBN 5-280-01605-5 (Т. 1)
ISBN 5-280-01606-3**

**© Состав, подготовка
текста и примечания.
Бек Т. А., 1991 г.**

**© Вступительная статья.
Шохина В. Л., 1991 г.**

СОЦИОЛОГИЯ «ЖЕСТОКОЙ ЭПОХИ»

Один случай из жизни Александра Бека скажет о нем больше, чем самая обстоятельная биография. Когда началась Великая Отечественная война, он вступил в ополчение, в Краснопресненскую стрелковую роту. В октябре 1941 года его отозвали в распоряжение журнала «Знамя» (изданию этому суждено было играть важную роль в творческой судьбе писателя и после его смерти). Однако Бек, упросив командира, отправился на фронт, в составе так называемой писательской роты. «...Это был один из самых сложных и самых занятых характеров среди нас, притом что писательская рота отнюдь не испытывала недостатка в ярких индивидуальностях и необычных биографиях...» — вспоминает Борис Рунин. Бек взял на себя роль «ротного Швейка», «наш Бейк» — так его называли. Сформированная наспех дивизия, куда вошла рота, испытывала недостаток в транспортных средствах, и обычно после проверки Бек простодушно-лукаво спрашивал у командира: «Товарищ лейтенант! Когда же вы меня командируете в Москву за полуторкой?» Однажды лейтенант, включившись в игру, скомандовал: «Боец Бек! Шагом марш в Москву за полуторкой!» — «Есть в Москву за полуторкой!» — отчеканил Бек, вышел из строя и — исчез. Рота двигалась все дальше от Москвы, на запад, и была уже на приднепровском рубеже, когда в ее расположение въехал пикап с московским номером, из кабины вышел Бек и отрапортовал: «Товарищ лейтенант, ваше приказание выполнил. Машина с шофером прикомандирована к нашей части»¹. Каким образом он, чудаковато-штатский человек в очках, проделал всю эту чистой воды авантюру, так и осталось неизвестным. Впрочем, как и многие другие вещи, проделанные им...

¹ Рунин Б. Писательская рота.— «Новый мир», 1989, № 3, с. 101—102.

Родился Александр Альфредович Бек в Саратове, в 1903 году, в типично интеллигентской российской семье. Его отец и дядя были военными врачами. Согласно семейным преданиям, прадеда, почтмейстера Бека, когда-то вывез из Дании Петр Первый. Учился А. Бек в Саратовском реальном училище, проявляя особенные способности в математике. Преподаватель, задавая классу задачу, обычно говорил: «А для Бека у меня особая задача — потруднее». Склонность к точной методологии и к решению «задачек потруднее» осталась у него на всю жизнь. В шестнадцать лет, после училища, он ушел добровольцем в Красную Армию, попал в дивизионную многотиражку и получил там свою первую профессию — «труженик газеты»; после гражданской войны поступил в Свердловский университет на исторический факультет. В 1923 году он напечатал в «Правде» очерк «Главный козырь Максимыча» за подписью Ра-Бе, расшифровывающейся просто: «рабочий Бек».

Потом Бек стал профессионально заниматься литературной критикой, присоединившись к известной тогда группировке «Литфронт». Группировка представляла собой «левую оппозицию» внутри РАППа, лихо критиковала его теории (типа теории «живого человека» и «срывания масок») и административно-командные методы руководства литературным процессом. Бек-критик опубликовал множество статей и рецензий и даже выпустил книгу по социологии чтения — «Лицо рабочего читателя» — на основе бесед с читателями Донбасса. Механика литературы, вопросы восприятия текста чрезвычайно занимали его, и, возможно, он и оставался бы критиком и теоретиком литературы, если бы рапповский журнал «На литературном посту» не разгромил его так, что он вынужден был уйти в заводскую многотиражку. «Да, пришлось испытать судьбу «угробленного» критика, чтобы зародилась мысль и мечта о писательстве», — иронически констатировал Бек в 1932 году.

В 1931 году А. Горьким была создана редакция «История заводов и фабрик». Она ставила перед собой большую и благородную задачу — дать подробную картину индустриального развития России. В духе того времени было бригадное, коллективное творчество. Чуть позже Горький же организует поездку писателей на пароходе для создания огромной коллективной книги «История Беломорско-Балтийского канала», воспевшей, впервые в истории русской литературы, рабочий труд ГУЛАГа. Бог уберег Бека от участия в этом несправедном деле, хотя он, «не опубликовавший ни одного абзаца прозы, порой лишь поглядывал со стороны — и, воз-

можно, не без зависти — на эту притягательную кутерьму...»¹ Для поездки в Восточную Сибирь Бек сколачивал бригаду сам. Из настоящих писателей, как он выражался, удалось привлечь только Николая Смирнова, автора замечательных книг «Джек Восьмеркин американец», «Государство солнца», «Дневник шпиона». Дружба с этим человеком — недолгая (в поездке он умер от тифа), но содержательная — много дала для профессионального развития Бека. «У Николаши... я учился писательскому зрению. Мы могли, например, потратить полтора-два часа лишь на то, чтобы перебирать, перечислять один за другим все дымы завода, определить словами особенный цвет, особенный вид каждого», — вспоминает он в «Почтовой прозе».

Пять месяцев Бек, как было принято выражаться, нарабатывал материал на площадках Кузнецкстроя, «перелистывал людей». Так появилась первая его повесть «Курако», которой не раз еще предстояло откликаться в будущих книгах, и особенно через тридцать лет, в романе «Новое назначение». Лучший русский доменщик, «наш доменный поп», как называли его металлурги, впервые показал себя, расплавив «козел» (затвердевший в печи чугун), который в России никто никогда не расплавлял. Курако не просто профессионал высокого класса, но человек, одержимый доменным делом и ничего, в сущности, кроме него знать не желающий. Он напоминает набоковского Лужина, шахматиста, которому всюду видятся очертания фигур и шахматные ходы. Такой человеческий характер Бека очень интересовал: в автобиографии «Страницы жизни» он приводит поразившее его сравнение конфигурации завода с силуэтом чайки на мхатовском занавесе, услышанное от главного инженера Кузнецкстроя.

Тип абсолютного профессионала — тип редкий, экзотический. Как и Лужин, Курако совершенно оторван от обычной, нормальной жизни, от всего, что не связано с плавкой металла. И Бек, с самого начала своей писательской работы тяготея к беспасфосному повествованию, невозмутимо рассказывает о том, как его герой почему-то избил, будучи мальчиком, гувернера-француза, который его воспитывал, а потом, в возрасте пятнадцати лет, ударил бутылкой до голове директора училища и сбежал из дома — чтобы работать доменщиком. Однажды, когда Курако у винной лавки декламировал перед рабочими «Гаврилиаду», его нашел отец. В от-

¹ Бек А. Почтовая проза. Собр. соч. в 4-х томах, т. 4, М., «Художественная литература», 1976, с. 406.

вет на просьбу отца поговорить с ним, этот странный человек попросил слушателей донести родителя до извозчика...

Специалист высокого класса, он находит радость только в жизни печи, в промежутках предаваясь крутым кутежам. Он обладает невероятной способностью в две-три минуты проникнуть в смысл самого сложного чертежа. Он создал свое, куракинское, братство «русских американистов» — это когда люди работают с российской страстью и американской продуктивностью. Достаточно бросить взгляд на чертеж, чтобы узнать их работу.

Поглощенностью делом Курако напоминает и Момыш-Улы из «Волоколамского шоссе», и Бережкова из «Таланта», и, конечно, Онисимова из «Нового назначения». В Юзовке у Курако квартира в восемь комнат, из которых шесть пустует; он клеивает в специальный альбом чертежи печей — из заграничных и русских журналов, из заводских архивов: таких альбомов в России только два, второй у отца русской металлургии, профессора М. А. Павлова.

Каким-то образом в 1905 году Курако оказывается начальником боевой дружины, а в 1920, за три недели до смерти от тифа, вступает в партию. Но революция интересует его настолько, насколько она может способствовать осуществлению заветных планов — созданию заводов-гигантов американского образца. Так и в «Новом назначении» Бек скажет о другом металлурге: «Осуществляя свои домны... Челышев являлся сторонником Советской власти, сторонником партии, совершившей небывалую индустриализацию... у него, выстроившего заводы по планам и заветам Курако, было немало оснований благодарить Сталина». Поэтому Курако и приветствует революцию, пришедшую в Гурьевск под черным знаменем, в виде отряда анархистов. Когда их атаман Рогов предлагает Курако приготовиться к народному суду «за службу паразитам», тот глубоко задумывается: не совершил ли он в свое время ошибки, отказавшись от предложения стать подпольщиком-профессионалом, предпочтя доменное дело революционному... Рогов называет свою программу: «От железа насилие. Без железа все равны будут...» И далее совсем замечательно: «Не умеешь ли этого — чтоб все железо в порошок, в пыль?.. В Китай пошли бы. Китай мою программу примет».

Есть в этой повести и еще один герой, как бы параллельный Курако. Он тоже «безразличен к судьбам революции» и считает главным делом «создание проекта, пригодного для любой власти общественной структуры». Это инженер-металлург Кратов из знаменитого директорского выпуска Санкт-

Петербургского горного института. В «Почтовой прозе» читаем: «В 1900 году среди других институт окончили шестеро. Проходит 15 лет, идет год 1915-й. Шесть горных инженеров стали директорами крупных акционерных компаний. Они держат в руках уголь, железо и золото России. Проходит еще 15 лет, идет год 1930-й. Шестеро приговорены к расстрелу... Им немало места уделено в толстом томе под названием «Процесс Промпартии». По отношению к этим специалистам, уже безжалостно истребленным Сталиным, возбуждает себя презрением безупречный профессионал, тогда нарком танкостроения, Онисимов, называя их «вчерашние ура-рыцари», — возбуждает, чтобы утвердиться в том, что он-то уцелел закономерно.

Первая повесть Бека — документальная, пересыпанная сообщениями из газет, среди которых и декрет о национализации, и статьи Ленина, и краткое, от 19 июля 1918 года: «Николай Романов расстрелян» — оканчивается почти так, как хотел анархист Рогов, «по-китайски». После смерти Курако ничего не осталось от металлургического завода Копикуза: лесопилку растащили, склады разгромили, чертежи Курако уложили в ящик и отправили неизвестно куда. И только в 1934 году Курако поставлен памятник — рельс Кузнецкого металлургического завода.

Первой *главной*, как принято выражаться у писателей, книгой стало у Александра Бека «Волоколамское шоссе». И прежде всего потому, что с нею пришли слава и успех. Бойцы носили эту книгу в полевых сумках на фронте, ее читали и передавали друг другу в тылу. После войны в ряде соцстран «Волоколамское шоссе» входит в обязательное чтение для слушателей военных академий. В Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ) по роману Бека изучают психологию советского командира, пытаясь, как по романам классиков, постичь загадочную русскую душу. Факты этого «утилитарного чтения» могут на первый взгляд показаться не столь уж и значительными. Однако на самом деле именно *точность* есть безусловное свидетельство состоятельности художественного метода: вспомним, с какой точностью воспроизводил дислокацию воинских подразделений Л. Толстой, как точно давал Достоевский топографию действий своих романов.

Над первой повестью тетралогии «Волоколамское шоссе» А. Бек начал работать в 1942 году. События, обстановка, сам воздух Подмосковной битвы были совсем рядом, близко,

и далеко еще было до великого перелома — Сталинградской битвы, показавшей необратимость поражения вермахта. На этом этапе у нас присутствовала вера — столь привычная российская вера вопреки всему, — но не могло быть уверенности в неизбежности победы, а это совершенно разные психологические состояния. Кроме того, что враг не был пущен к столице, великая битва под Москвой была значительна еще и тем, что Красная Армия, столкнувшись здесь совсем не с той войной, к которой ее готовили, обрела, ценой огромных потерь и унижительных поражений, необходимый опыт: здесь выковывались воистину новые военные навыки, происходила настоящая переподготовка. И этот чрезвычайно важный для нас в той войне момент — момент необходимого, под давлением обстоятельств, перестраивания армейской стратегии и тактики, — запечатлен в «Волоколамском шоссе» во всей его диалектической сложности.

На протяжении многих лет мы говорили о техническом преимуществе врага, о коварности внезапного нападения и т. п. — официальная мифология надолго и глубоко вросла в сознание нации. На самом деле страна жила тогда в сугубо военизированной обстановке: кроме роста численности армии (за четыре предвоенных года — в 3,5 раза), активно действовала и система ОСОАВИАХИМа, школьники проводили бесконечные военные игры. Фильмы, песни, литература — все было нацелено на будущую победоносную войну, и противник тоже был известен: фашизм. По большинству позиций (по танкам, авиации и артиллерии) наше оборонное производство превосходило германское, уступая единственно только в незакончившемся еще перевооружении. Разговоры о «внезапности» тоже более чем сомнительны. Даже если Договор 1939 года, печально известный «Пакт Молотова — Риббентропа», был принят советской стороной за чистую монету, то ведь на протяжении 1940—1941 годов в ЦК ВКП(б) и в Советское правительство поступала обширная развединформация о подготовке фашистской Германии к нападению на СССР¹.

Истоки коллективного солипсизма: когда все всё знают и одновременно как бы не знают, — лежали в самой природе сталинского режима, в его насквозь идеологизированной политике. Жертвами абсурдной логики двоемыслия оказывались все: и внушаемые низы, и внушавшие верхи, которые сами начинали верить в свои же мифы больше, чем в очевидную реальность. Только двойное, *ослабленное* сознание могло

¹ См.: Известия ЦК КПСС, 1990, № 4, с. 198—222.

вместить в себя и активную подготовку к войне, и идею о «полной неподготовленности». Только те, кто не желал знать реальности, мог, расходуя огромные силы и средства на «наступательную войну», уничтожать лучшие армейские кадры. «Первоклассный состав советских высших военных кадров истреблен Сталиным в 1937 году. Таким образом, необходимые умы в подрастающей смене еще пока отсутствуют», — успокаивал, призывая к походу «на Восток», своих соратников Гитлер, и он был прав¹.

В книге «Волоколамское шоссе» нет героя в обычном понимании. Здесь действует групповое, народное сознание, одну из его наиболее ярких, пульсирующих точек — Момыш-Улы — и представляет Бек. Это «человек, у которого нет фамилии», если воспользоваться названием одной из главок. Все его частные, *внеколлективные* характеристики остаются за пределами изображаемого, за кадром. И не потому, что он лишен личностных черт. Напротив, это человек яркой индивидуальности, но сейчас, в условиях народной войны, он осознанно, как показывает автор, отсекает от себя все интимное, резко обрывая воспоминания о «милых картинах прошлого». Из прошлого для Момыш-Улы имеет значение лишь то, что прямо связано с его армейской функцией. Устав Красной Армии, предписывающий командиру говорить о батальоне «я», входит в плоть и кровь его: он вспоминает о «чудесных минутах счастья — особого счастья командира, когда ощущаешь себя слитым воедино с батальоном».

Момыш-Улы — вольный сын степей, но он к тому же и носитель общинно-родового сознания. Армия наилучшим образом воспроизводит это сознание. Батальон — семья, комбат — глава семьи, комдив — глава рода... дальше Бек не идет. И совсем не случайно, хотя и неожиданно для себя, Момыш-Улы называет командира дивизии Панфилова «аксакал», — как его самого называет подчиненный казах Бозжанов, как украинец Горкуша называет за глаза «батькой»: это срабатывают, всплывают из подсознания привычные представления *рода*. Принимая в батальон, после проверки, чужих бойцов, бежавших от немцев, Момыш-Улы испытывает чисто отцовские чувства: «Пробежал трепет радости. Я ощущал: они уже дороги мне, сердце приняло их». Более того, чувство рода простирается у этого человека на

¹ «Осенняя (1940 г.) проверка... показала, что из 225 командиров полков, привлеченных на сбор, ни одного человека не оказалось с академическим образованием, 25 окончили военные училища, а остальные 200 — лишь курсы младших лейтенантов» (см.: А н ф и л о в В. А. Начало Великой Отечественной войны. М., 1962, с. 28).

всю советскую страну — это его род, его Родина, поэтому он, азиат, дерется здесь за Москву, где никогда не ступала нога его отца, деда, прадеда.

Родовые отношения облегчают задачу исполнения власти: когда разрозненные воли как бы собираются в единый кулак, в единое целое, подчиняясь руководящей воле, исполняя исходящие от нее приказания. И конечно, умением создать такую атмосферу, умением чувствовать незримые нити, связывающие множество людей, все их бессознательные импульсы и порывы, Момыш-Улы, прирожденный командир, обладает в полной мере, что покрывает недостаток его военного образования: ведь он из тех командиров, кто пришел на место уничтоженных Сталиным военных профессионалов. Комбат втягивает подчиненных в свою ауру: и в их речах звучат его интонации, в поступках — видны его ухватки. Сам он, в свою очередь, принимает такие же послылы от генерала Панфилова — здесь показано среднее *рабочее* звено армейской власти. Воспринимая волю командира, комбат Момыш-Улы пропускает ее через себя и передает дальше — бойцам. Пробегающий между людьми «незримый ток» и позволяет чувствовать себя единым организмом — войском. Тут свои достоинства и свои недостатки: ведь «незримые токи» переносят всякую информацию — и положительную, и отрицательную, и побуждающую к действию, и сковывающую. И хорошо, если источник волеизъявления информации принимает верное решение, посылает умный приказ, задает нужный тон и т. п.

Взаимообусловленность, точнее взаимозависимость, старших и младших, подчиняющих и подчиненных точно и тонко передается Беком. Вот Панфилов отдает приказ Момыш-Улы, своему *последнему* резервному батальону, задержать противника у деревни Иванько, в обстоятельствах весьма сложных, когда линия обороны прорвана. «Глядя в глаза Панфилова, я произнес «есть», а сам подумал: «Ты не уверен, ты колеблешься... Зачем же ты посылаешь меня?» Но когда генерал произносит: «Я сомневаюсь, я колеблюсь... У меня нет решения, но нет и времени», — досада сменяется у Момыш-Улы нежностью и любовью. Оказавшись в окружении, не имея возможности даже накормить бойцов, комбат на какое-то очень недолгое время утрачивает присутствие духа. И — «я вдруг ощутил сорок — пятьдесят укулов в спину. Бойцы взглядами кололи меня... «Ты нас погубишь или выведешь?», «Почему ты ничего нам не приказываешь... почему не заставляешь быть солдатами?» — это возвращает ему решимость.

Как пишет о «Волоколамском шоссе» западногерманский славист В. Казак: «...отход от примитивной идеализации, свойственной ура-патриотизму, и одновременно приспособление к требуемой партийной линии настолько умело сочетаются, что обеспечили повести в Советском Союзе непреходящее признание». Если с первой частью этого утверждения вполне можно согласиться, то вторая — более чем сомнительна: «линия партии» ничего такого, что написал (беспартийный.— В. Ш.) Бек, не требовала, требовало время, которому партия, как известно, всегда внимала с большим запозданием.

В Красной Армии исполнение приказа было возведено в абсолют, принимавший абсурдные, противоречащие здравому смыслу формы. Произошло это отчасти из-за репрессий, уничтоживших наиболее яркие индивидуальности и давших ход посредственностям, но главным образом — благодаря общему для всей страны культу дисциплины и строгой иерархичности. В сущности, социальная система и ее идеология воспроизводили основные родово-общинные черты, когда во главу угла ставилось общее, родовое, а частное, индивид, низводилось до нуля. «Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой...» — вовсе не пропаганда, а один из опознавательных знаков эпохи. Готовность, по приказу, стать героем или, оборотная сторона того же самого, самоуничтожиться — вот характерная черта поколения:

Я понимаю все... И я не спорю.
Высокий век идет высоким трактом.
Я говорю: «Да здравствует история!»
И голову падаю под трактор,—

писал Павел Коган.

Для Момыш-Улы, «степного коня, не выносящего узды», самое непереносимое — подчиняться. «Мне казалось унижительным: подходить к командиру бегом, стоять перед ним смиренно, выслушивать повелительное и краткое: «Без разговоров! Кругом!» Внутри все бунтовало». Но это то личное, что он обязан отбросить, чтобы потом и самому произносить «повелительное и краткое». Замечательно, что самая крайняя вольность преобразуется в армейской плавке в сугубую дисциплину, то есть в несвободу. Да, Момыш-Улы понимает, что самое тяжелое — подчиняться, но понимает также, что без этого, по тогдашним меркам, нет и армии: «...Вчера вы могли спорить с начальником... С сегодняшнего дня Родина отбирает у вас это право». Любой приказ сверху, пусть

противоречащий здравому смыслу, безукоснительно исполнялся, инициатива снизу казалась невозможной. Однако жесткая реальность взломала этот стальной каркас иерархии и дисциплины.

Из Устава Красной Армии было вычеркнуто даже само слово «отступление». «Рабоче-крестьянская Красная Армия будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий»,— гласило одно из его положений. Мрачные думы одолевают Момыш-Улы, ему, буквально воспринявшему дух и букву Устава, трудно понять, почему приходится отступить: «Наступление, наступление, вперед, только вперед — таков был дух нашей армии, дух предвоенных пятилеток, дух поколений. Об отступательных боях мы не помышляли, тактикой, теорией отступления никогда — по крайней мере на моем офицерском веку — не занимались». И это нечто большее, нежели чей-то просчет, это закономерное следствие эпохи чистого и потому в значительной мере бессмысленного энтузиазма: замкнутый сам на себя, он подчиняет себе и логику жизни, не учитывая меняющейся реальности.

Избранная Бекон манера невозмутимой документальности позволяла доносить правду о войне — в той мере, в которой он сам ее чувствовал,— до читателя, правдой-то как раз и не избалованного. «Что думали немцы — и не только немцы — о советском человеке? — рассуждает генерал Панфилов.— ...это человек, зажатый в тиски принуждения, человек, который против воли повинуетя приказу, насилую...» На протяжении всего романа этот незаурядный советский генерал, а вместе с ним и Момыш-Улы ищут выходы из царства буквы, приказа, устава к живой, быстро меняющейся, не поддающейся уставному расчету реальности.

Постепенно, шаг за шагом продвигается Панфилов к истине. И его привязанность к комбату-казаху не в последнюю очередь связана с тем, что Момыш-Улы, своими практическими действиями опрокидывая столь чтимые им приказ и устав, помогает Панфилову в этом продвижении вперед, в постижении правды. «Сегодняшнюю случайность» назавтра Панфилов применял как «осознанный тактический прием». И надо было быть отважным человеком — или оказаться в безвыходном положении,— чтобы в той атмосфере скованности и безынициативности утверждать раз от раза со все большей убежденностью: «Беспорядок есть новый порядок». Ведь это явно не стыковалось с принятым и привычным: «Исполнять», «Не рассуждать».

В конце концов оказывается, что, когда беда у порога,

когда некуда деваться, предельная вроде бы целесообразность железной дисциплины становится просто-напросто вредной, губительной, стоящей множества жизней и большой крови. И главные достоинства бойца проявляются не благодаря, а вопреки системе,— когда устав «ломают доведенные до крайности, до отчаяния командиры», когда, оторванный от командира, от мудрого отца-наставника, советский человек, «которого воспитала партия,— сам принимает решения». В романе определенно названа причина отступления советских войск в первые месяцы войны, и называет ее генерал Панфилов — «наш грех: пренебрежительно отнеслись к реальности». Пренебрежение к реальности — вот главный порок системы, микрокосмом которой и является армия. И мощной, чуткой интуицией художника Бек точно выходит на него. В поминальном слове Момыш-Улы называет Панфилова генералом реальности и генералом правды.

«Волоколамское шоссе» начинается тем, что повествователь называет себя «всего лишь добросовестным и прилежным писцом». А кончается, если принять первое буквально, совершенно неожиданно: «Я скрыл улыбку. Мой грозный Баурджан, ты верен себе, характер, что создан под пером, создан вниманием и воображением». То, что выглядит незадействованным рассказом участника событий (реального исторического лица), оказывается на самом деле изощренно построенной романной конструкцией. Автор-повествователь, исполняющий скромную роль (вроде Хроникера в «Бесах»), получает возможность таким образом одновременно и знать обо всем, и сохранять бесстрашность, столь важную для жанра романа. На всем пространстве текста расставлены вроде бы неприметные вешки-указатели, объясняющие главные художественные принципы Бека. Это и язвительная полемика писателя с господствующей тогда поэтикой «социалистического классицизма» (выражение А. Синявского). «Пишите,— говорит Момыш-Улы:— «Не ведая страха, панфиловцы рвались в первый бой...» И тут же добавляет: «Так пишут ефрейторы литературы...» Это и упреждающие «ловушки» для критики: «Если будущий критик нашей повести сочтет нужным кого-либо в этом обвинить (речь идет о том, что батальон отрезан от своих.— В. Ш.), я могу облегчить ему задачу: виноват я!» Это и внешне незаметная, но действенная активизация читательского внимания в виде все тех же «поучений» героя автору: «Поставим здесь большую точку», «...не упускайте, пожалуйста, из виду одной мелочи: на войне существует противник. И, как ни странно, он не всегда делает то, что хочется вам», «Приступим к

новой повести. Но помните наше условие... Ваше божество — правда!»

Последняя, четвертая, повесть, завершающая «Волоколамское шоссе», была опубликована в «Новом мире» в 1960 году. Почти двадцать лет отдал писатель этой книге. За это время увидели свет и повести о металлургах — «я снова возвратился к тем, с кем меня сроднила прошлая литературная работа,— к героям индустрии»: «Тимофей — Открытое сердце», «Новый профиль». В 1956 году вышел роман, названный «Талант», с подзаголовком «Жизнь Бережкова». Герой его, гениальный конструктор, создавший первый мощный советский авиамотор, рассказывал, как и в предыдущей книге, ироничному повествователю свою жизнь. И перед читателями раскрывалось «великое таинство» — «акт творчества в душе творящего». «Я уяснил,— пишет А. Бек в «Страницах жизни»,— что способен быть чутким к людям творческой страсти, способен ощутить, распознать внутренний мир таких людей». Острый интерес к человеку, одержимому делом, к профессионалу оставался для писателя определяющим всегда.

Третий его роман, в центре которого также находится профессионал в самом чистом виде, имел несколько рабочих названий: «Дело, только дело», «Солдат Сталина», «Солдат». Наконец автор остановился на слове «Сшибка». Редакция «Нового мира» объявила роман в конце 1965 года под названием «Новое назначение». С ним роман и вышел к советскому читателю, но... только спустя двадцать с лишним лет, когда Бека уже не было в живых: в 1986 году в журнале «Знамя». Конечно, какая-то часть читателей уже роман знала: он пришел на родину, как и многие книги тогда, в тоненьком непостоянном, но настойчивом ручейке «тамиздата». В предисловии к одному из западных изданий Юрий Домбровский писал: «...эта книга не для легкого чтения. «Разглядывать вещи так, значит разглядывать их слишком пристально»,— сказал как-то Горацио. Бек — очень пристальный писатель, но давайте же все-таки читать его. Чтоб хорошо понять историю нашего времени».

Главы посольств в Тишландии пожимают, прощаясь, руку советскому послу Онисимову, «представителю великой и все еще несколько загадочной, раскинувшейся и в Европе, и в Азии социалистической державы». Дело происходит в 1957 году, через двенадцать лет после того, как держава стала победительницей во второй мировой войне, через три с небольшим года после смерти Сталина и расстрела, как шпиона западных разведок, Берии и спустя всего несколько месяцев

после знаменитого доклада Хрущева на XX съезде партии. Да, Россия остается «несколько загадочной», умом ее по-прежнему не понять, общим аршином не измерить. Евразия — это не Европа и не Азия, но в то же время и Европа и Азия. Конфликт героя романа «Новое назначение» аналогичен конфликту, с которым сталкивался Момыш-Улы. Хотя Онисимов и русский, он такой же, как Момыш-Улы, носитель общинно-родового, *азиатского* сознания, иерархического, негибкого, абсолютизирующего указание сверху. Сшибка — осознанное противоречие между приказом (понимаемым как долг) и здравым смыслом, логикой, совестью, наконец. Комбат-панфиловец мучается проблемой выбора: либо выполнить приказ, то есть ни в коем случае не отдавать немцам станцию, погубить батальон и погибнуть самому, либо, вопреки приказу, под угрозой трибунала, а значит, расстрела отступить и потом попытаться обходным маневром вновь захватить станцию. Первый вариант — образец сугубой дисциплинированности и, по большому счету, поражение. Второй — нарушение приказа, риск, но и возможность победы. После сильных мучений и колебаний Момыш-Улы выбирает, поступаясь принципами, второе. Онисимов, солдат партии, оказывается перед таким же выбором: произнести привычное «Есть!» в ответ на приказ Сталина (о внедрении метода инженера Лесных) или, в согласии со своей инженерной совестью, отказаться от выполнения вредного, с точки зрения интересов вверенной ему отрасли промышленности, приказа. Онисимов, почти мгновенно, произносит *спасительное* (обратим внимание на это слово): «Есть!» И с этой минуты он, кажется, навсегда проигравший.

Но проигрывает он лишь потому, что тот, кто отдавал приказ, скоро уйдет со сцены. Ведь наверняка это не первое, противоречащее здравому смыслу указание, которое получает Онисимов — человек из когорты «бойцов за выполнение директив». «...Людей такого склада в истории еще не было, — социологически точно определяет их повествователь романа. — Эпоха дала им свой чекан, привила первую доблесть солдата: исполнять! Их девизом, их «верую» стало правило кадровика-воина: приказ и никаких разговоров!» Да и Момыш-Улы, человек того же поколения, того же чекана, то есть принципиально несвободный, выиграл только потому, что экстремальные условия — жестокая реальность войны и только она — на время повернули людей к норме, к трезвому взгляду на вещи.

Об административно-командной системе сказано уже довольно много, и в первую очередь Гавриилом Поповым,

автором блестящей статьи о романе «Новое назначение» — «С точки зрения экономиста». В пятнадцать лет Онисимов прочитал «Что делать?» Ленина, и ясность мысли, убежденность, логика покорили *подростка* навсегда. В шестнадцать лет он стал членом партии, и никогда с тех пор не пытался уклониться от исполнения партийного долга. Русские мальчишки, принимавшие гипотезы за аксиомы,— это особая тема. Как восхищались мы тем, что Гайдар в пятнадцать лет командовал полком! Именно подростку, чей духовный мир находится в становлении, легче всего воспринять какую-то одну, но безусловно определенную идею, упростить тем самым процесс своей социализации.

В романе «Новое назначение» появляется знаменитый писатель Пыжов, задумавший книгу о черной металлургии. Он заносит в записную книжку план будущей работы: «Небывалый революционный способ получения стали. Академик Ч., ученик знаменитого доменщика Курако, герой первых пятилеток, не понял. Министр О., член ЦК, инженер-металлург, не разобрался, не понял! Дошло до Ст. Он понял. И открыл дорогу этой революции в технике». Так внутри книги возникает своего рода антикнига, нечто такое, с чем Александр Бек как раз и спорит всем своим знанием. Но что же все-таки движет этими людьми, каковы изначальные и последующие мотивы их поступков, где кончаются идеалы и начинается корысть? Образ Пыжова в известной мере проясняет образ Онисимова — он его зеркальный двойник,— и подсказывает ответы на все эти непростые вопросы.

Как и Онисимов, писатель Пыжов — настоящий профессионал в своем деле. Более свободный, богемный (насколько это возможно) род занятий обуславливает и иную манеру его социального поведения. Там, где Онисимов, «великий молчальник», застегнутый на все пуговицы и крюпочки, сохранит вид невозмутимости, не колеблясь произнесет свое «Есть!», Пыжов может рассмеяться «смехом, что почти неотличим от настоящего». В двадцатые годы, то есть тоже в юном возрасте, Пыжов уверовал в Сталина и никогда, даже находясь в самом глубоком запое, не изменил ему. Как и у Онисимова, у него жива совесть, и это тоже становится причиной его трагедии, на которую автор только намекает. Почему же гибнут, пропадают эти люди, честные профессионалы, верные своим принципам?..

Достоевский говорил: «Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще непрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения?» Вот этого-то как раз и не делают герои романа (за исключе-

нием, может быть, главного доменщика Чельшева и Головни-младшего). За причиной отказа проверить верность своих убеждений стоит — после веры в идеалы и в Сталина, после многолетней привычки к партийной дисциплине и т. п. — еще одна из мотиваций. Она не менее, а то и более существенна, и, может быть, именно эта мотивация и делает их людьми Системы, несвободными людьми. «Любишь властишку-то?» — спрашивает у Пыжова собеседник. «Грешен, батюшка», — чистосердечно признается знаменитый писатель.

Не будем моралистами: в человеческой природе властолюбие занимает не последнее место и движет многими разными делами. Однако в основе странной, малопонятной для внешнего взора административно-командной системы лежит чрезмерное поклонение власти, страсть к власти ради власти — поэтому все власть имущие, включая Сталина (точнее, начиная со Сталина), оказываются самыми несвободными людьми. И поэтому система, имеющая в различных своих звеньях отменных профессионалов, работает столь абсурдным — то трагическим, а то и комическим — образом. Вроде бы все винтики и шестеренки системы точно пригнаны... Но происходят нелепые, в сущности, вещи. Нарком Онисимов вникает во все мелочи дела, включая чистку картошки в столовой завода. Руководитель госбезопасности Берия увлекается проблемой новаторского способа плавки и подготовкой плана индустриализации Восточной Сибири. В мельчайшие подробности каждого представленного на его рассмотрение вопроса вникает сам глава правительства Сталин. То есть люди определенно заняты не своим делом, однако все это в порядке вещей и даже считается доблестью. Изобретатели, авантюрист-неудачник Лесных и талантливый инженер Головня, оба они, будучи задействованы в этой странной игре, пробивают свои изобретения не иначе как через Центральный Комитет партии. И весь этот абсурд есть неизбежный результат приоритета политических интересов над экономическими в существующем государстве.

Дух абсурда передан в сцене празднования годовщины Октября. Сталин неожиданно пожимает руку доменному мастеру, Головне-отцу, и все, кто идет за Хозяином, считают своим долгом повторить рукопожатие. «Мастер сперва все улыбался, потом на его красном лице... выразилось удивление, а напоследок, когда с ним за руку здоровались совсем ему неведомые люди, он выглядел вовсе ошарашенным.» Но и после смерти Хозяина абсурд не исчезает. Запрещение — особым указом! — задерживаться на работе сверх восьмичасового срока столь же нелепо, как принуждение к сидению

в кабинетах до рассвета. Как выражается в романе главный доменщик Чельшев: «...азиатчина. Форменная азиатчина».

Замысел романа «На другой день» возник у Александра Бека и в самом деле *на другой день*, по прошествии недолгого времени после смещения с поста Никиты Сергеевича Хрущева. События октября 1964 года, теперь определяемые как «начало застойного периода», своим объективным историческим смыслом вызывали к размышлениям о сущности и природе власти в социалистическом государстве, о путях овладения властью, о ее целях и средствах. В 1965 году А. Бек говорит в анкете для читателей о том, что собирается «вывести в качестве одного из персонажей Владимира Ильича Ленина». Другим персонажем романа предстояло стать Иосифу Виссарионовичу Сталину, и в конце концов его фигура оказалась центральной. Непосредственная работа над романом шла в 1967—1970 годах, во время пусть камуфлированной, но вполне однозначной ресталинизации, во время замораживания хрущевской «оттепели». И как раз в такое, очевидно не выигрышное с точки зрения конъюнктуры время, только что потерпев издательскую неудачу с романом «Новое назначение», Бек занимается исследованием феномена Сталина. «Трудность в описании Сталина — показать, на чем было основано доверие к нему Ленина, и зародыши того, чем Сталин стал в будущем, и их конфликта», — записывает писатель в рабочих тетрадях. Наконец он находит концепцию романа, которая, как кажется, «дает возможность оживить всякие омертвевшие аксиомы, возвратить им новое содержание» — «он (Ленин) ее (партию) создал, а она потом его же сожрала, а затем и себя самоё».

Историко-политическая и писательская отвага А. Бека поразительны. Ведь в его романе действуют не только Сталин и Ленин, два равновеликих субъекта исторического процесса, но и люди, о которых в 60-е годы глухо молчали: Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев. Материалы для романа писатель искал в архивах, в спецхранах библиотек Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Баку. Он встречался со старыми большевиками, с сотрудниками ленинского секретариата, с теми, кто лично знал Сталина. Одним из таких людей был Сергей Иванович Кавтарадзе, работавший со Сталиным в революционном подполье. Кавтарадзе и стал основным прототипом Алексея Каурова: он играет в романе роль хроникера тех давних событий. В своей работе А. Бек сумел прорваться и сквозь

инерцию официального догматизма, и сквозь иллюзии и предрассудки либерального толка.

Создавая именно *внеидеологический* роман, нечто, не тронутое «ни фимиамом, ни обличениями позднейших годов», не подчиненное одной-единственной, заведомо известной оценке исторических лиц и событий, А. Бек на самых первых страницах романа подает другу-читателю сигнал: «Не проста, не выведена прямыми линиями история, которую нам предстоит воспроизвести». В соответствии с задачами такого романа Бек выбрал свой путь. Прежде всего он поставил между автором-повествователем и действующими лицами посредника — Алексея Петровича Каурова. Именно через его отношение преимущественно и осуществляется сюжет. В беседах с автором — это своеобразная рамка романа — Кауров вспоминает: «Я тогда был невинным, наивным мальчишкой. Воистину простаком революции». Точно так же Томас Манн, любимый автор Бека, старается в «Докторе Фаустусе» «развязать демонизм типично недемоническими средствами, поручить его изображение гуманно-чистой, простой душе...».

Выбор точен: если Сталин вообще был способен на откровенность, то только с таким вот «простаком революции», от которого не надо ждать подвоха, кто не обманет, не предаст и кто, самое главное, не окажется соперником в борьбе за власть. Еще Кобе-Сталину должно импонировать и то, что Кауров по отцу русский, а по матери грузин: он, как никто другой, в состоянии понять и кровное грузинское, и культивируемое Кобой русское. Любопытно, что самые разные или особо доверительные вещи Коба предпочитает говорить по-грузински. Через язык проступают разные пласты личности Сталина, мера официального ее проявления и интимного, непосредственного. И чем более в этой личности будет оформляться, отвердевать официальное, политическое, тем более Сталин будет превращаться в «русского».

Бек подробно показывает сознательную русификацию Сталина: и ее комические стороны, когда, например, Коба патетически восклицает: «Русь, дай ответ» и сам же отвечает: «Не дает»; и самые вульгарные, когда он, в шутку, предлагает устроить в партии погром меньшевиков-евреев большевиками-русскими. Движитель ее — верный инстинкт большого политика, заставляющий Сталина подключаться к магистральному потоку истории. «Коба, нравственно ли отринуть свою национальность?» — спрашивает Кауров. Ответ резок и определен: «Ныне есть в мире нация, стать сыном которой не зазорно, не безнравственно для пролетарского революционе-

ра... Россия теперь прокладывает путь человечеству». Объяснение это, целиком принадлежащее партийной идеологии, показывает истоки ее притягательности в условиях самодержавной России для представителей малых наций, получающих таким образом возможность преодолеть правовые ограничения, обрести дополнительную силу, мощь. Здесь же лежит и начало будущей национальной политики Сталина, превратившей русский народ в символ государственности, в «первый среди равных», и многолетнего заблуждения, что «мы жили, не замечая национальностей»...

Рабочее название романа «На другой день» — «Власть». Бек психологически тонко и точно описывает процесс и результат воздействия харизматического лидера на внимающих ему: «Эти вот слова — трудное не есть невозможное — и оказались почему-то последней гирькой, которая перетянула Каурова к ленинским тезисам. Правда, мысли еще не уложились, остались взвихренными, взбаламученными, еще следовало думать и думать...» Прервем цитату на полужазе для наглядности: — «Но Кауров был уже радостно готов... определиться в качестве ленинца». Иррациональность его восприятия соответствует иррациональности воздействия харизмы — именно поэтому писатель, повествуя о столь диковинных и непривычных вещах, вроде даже и не удивлен.

У Кобы в романе выделен ряд неприятных черт, и чисто физических (неряха, низкий лоб, раздвоенный на кончике нос — признак жестокости, тусклый взгляд), и поведенческих — готовность к предательству, хитрость, нетерпимость к насмешкам над собой при общей склонности к шутовству — то есть, конечно, он предстает менее симпатичным, чем Ленин. Но при всем этом Сталин наделен такой харизмой, при которой все эти черты как бы ступеньваются, отступают на задний план. «Человек, не похожий на человека», — так порой думает Кауров про своего друга, но думает, глядя снизу вверх, с удивленным восхищением.

А. Бек как будто специально задавался целью разрушить стереотипы восприятия Сталина, ставшие модными уже в наши дни. Какой человеческий фактор включается, например, когда речь идет о личной жизни Сталина! Писательская проницательность сказала и в том, что Бек не побоялся изобразить Сталина человеком незаурядного ума, обширных познаний, неустанно «впитывающего, вбирающего образование», человеком интеллектуального склада.

Через все повествование проходит настойчивая мысль о схожести, о близости Ленина и Сталина. Энергично подчер-

кивается их «приблизительный рост», рыжина усов, монголоидный разрез глаз у одного и азиатское их сечение у другого. (У них даже жен зовут одинаково — вот еще одна причуда истории!) Оба любят русские поговорки, оба работают над своей речью особо: «Иностранных выражений стало меньше», — думает Кауров, слушая выступления Ленина; он же отмечает появление в лексиконе Сталина русских простонародных речений. «Слякоть, сволочь, слизняки», — Сталин о меньшевиках. «Никчемные интеллигентки, анемичные старые девы, жулябии», — Ленин о старых товарищах по «Искре». Ленин обнаруживает точно такую же, как и Сталин, мгновенную готовность к смене тактики. Оба ни на минуту не сомневаются, что власть будет в их руках, чем особенно удивляют «простака революции» Каурова.

Умение автора показать главное, основное для романа через столкновение вроде бы каких-то совершенно сторонних пластов и реалий виртуозно. Как обычно, А. Бек посылает свою весть не прямо, не публицистично; он не декларирует, не доказывает — он показывает, выстраивая сложную систему зеркал, каждое со своей оптикой, но отражающее один и тот же предмет, одно и то же обстоятельство. На вечеринке у Аллилуевых Енукидзе уговаривает Сталина жениться на Марии Ильиничне — и снова за обыденно-шутливым разговором встает нечто большее, встает история и политика в полный их рост: «Она два раза собиралась замуж. Но с одним женихом Владимир Ильич разошелся по аграрному вопросу, с другим — насчет самоопределения наций... А тебе, Коба, все карты в руки». Здесь ответ на вопрос, поставленный перед самим собой писателем: почему Ленин доверял Сталину, — потому, что тот был для него все-таки первым среди равных.

Не забудем к тому же, что большевики, профессиональные революционеры, жили по определенным законам — этос их своеобразен. В этом смысле характерна семья Аллилуевых. Взаимоотношения с людьми, реакции на те или иные обстоятельства просчитываются, будто ходы в шахматной партии. Вероятно, во всем этом есть нечто чрезвычайно притягательное, недаром того же Каурова за границей одолевает «тоска по России, по революционной работе, по той дисциплине, что значилась партийной». И наверное, партийный этос и в самом деле оптимально соответствует задачам и психологии подполья. Другой вопрос, что происходит, когда законы тайной боевой организации, законы подполья, его романтика и его здоровый авантюризм переносятся, так сказать, на землю, распространяются на обычных людей, принимая чем дальше,

тем более причудливые формы, что и было показано в «Новом назначении».

Идейный центр романа — это вопрос о власти, о государстве, о народовластии, это знаменитые Апрельские тезисы, одно из наиболее утопичных ленинских построений: не случайно в связи с Лениным в романе не раз возникает образ хитроумного идалго Дон Кихота Ламанчского. Их, скажем так, безусловность показана все теми же способами — через «зеркала». «Так оно, Коба, и сбудется. Мы на своем веку это увидим: государство отомрет», — говорит романтик Зиновьев. На что Сталин реагирует саркастически многозначительно, как практик-реалист: «В Швейцарии?» И дело вовсе не в том, что Сталин коварно собирается извратить ленинские мысли: ему просто еще не все ясно. Русь не дает ответа. Но «мысль о неисповедимости путей России была чужда русскому марксистскому движению», — пишет А. Бек. И может быть, лишь в эти минуты сомнения Сталин оказывается плохим марксистом.

Поверять теорию критерием истины — практикой пришлось сразу; собственно, она и была не столько теорией, сколько руководством к действию. Времени на теоретическую обкатку не было, в нем, впрочем, особенно не нуждались: как любил говаривать Ленин, переводя на свой лад Наполеона, «сперва вяжемся в драку, а там видно будет». Конечно, и сам Ленин чувствовал недостаточность своих придумок. Не изменяя себе, А. Бек показывает это косвенно, отстраненно — и тем более убедительно. Электрик Аллилуев рассказывает Ленину о германском аппарате, который исполняет только верные приказы дежурного. «Неожиданно Ленин рассмеялся. — Ловко. Исполняет только верное! — Наклонившись к спутнику, шепнул: — Эх, нужна была бы нам такая вещь для управления будущим нашим государством. Хотя бы на первых порах примитивная и недостаточная...» Вот это-то звено в системе и не предусматривалось вообще! Ленинские принципы государственности были ориентированы на правильных, хороших людей и не давали возможности отфильтровывать и сдерживать наиболее темные стороны человеческой натуры.

И еще один очень важный вопрос, встающий со страниц романа, — это вопрос об ответственности идеолога, о связи теоретика и практика, тем более важный, что идея именно и была предназначена для улицы (в отличие, скажем, от идей Ницше). Зловещая метафизика проглядывает сквозь вполне вроде бы обыденные действия, события романа. Великолепный пример тому — эпизод, в котором Сталин *бреет* Ленина. «Не

спеша подправил бритву на ремне... И уверенными, точными движениями начал сбривать шуршащий под острием волос.— *Разделаем, Владимир Ильич*, в наилучшем виде. Не узнаете сами себя.— Начисто удалив бороду, Сталин подсек бритвой краешек коротко ошетененных усов, и, закончив, глядя в трюмо, отражавшее *измененного* Ленина, отпустил шутку: — Стрижем, и бреем, и *кровь отворяем*. С почтением — Цирюльник Верная Рука». Так демонстрируется писателем связь теории с практикой (не только из скромности Сталин в романе все время называет себя практиком) и решение вопроса об ответственности идеолога. Здесь, в этой сцене, и страна, залитая кровью. Ленин «разделяется» Сталиным, потому что он содержит в себе такую возможность. Он доверяет Сталину, видит в нем своего младшего брата. И уж конечно, роман дает ответ на вопрос, почему на Сталина, в отличие от Гитлера, не было покушений. Сталин был свой среди своих, воплощением коллективного духа партии, и самых возвышенных, и самых низменных ее устремлений.

Ключевой символ для понимания образа Ленина в романе «На другой день» — Дон Кихот. Ленин как Дон Кихот революции... Одно лишь прикосновение к сомнению приводит хитроумного идальго к смерти: происходит *сшибка*, такая же, какая погубила Онисимова. «Чудится, нет ему износа», — роняет повествователь, хорошо знающий, что произойдет через какие-нибудь три года. Ленин умер от сшибки, от того, что преподнесла ему «ирония истории» на другой день после революции.

Очевидно, что Сталин рассматривается писателем как тот, кто подхватит выпавшее из рук знамя, и как тот, кто постарается, чтобы знамя побыстрее выпало. Тому свидетельством опубликованные в 1989 году любопытнейшие беседы А. Бека с личными секретарями Ленина — Л. Фотиевой и М. Володичевой, ставшими сталинскими «шпионами» у постели больного (Бек собирал материал для следующего романа задуманной, но, увы, не осуществленной им эпопеи). Да и сам Сталин твердо знал, что власть будет у него.

В «Новом назначении» сын Онисимова приносит в дом стихотворение, которое чем-то задевает безразличного к поэзии солдата партии:

Ты обо мне не думай плохо,
Моя жестокая эпоха.

Движимый «острым сознанием историчности того, что является горячей современностью», Александр Бек с профессиональной честностью описал «режим социализма, полный иллюзий», представил на наш суд художественно цельную, диалектичную и потому социологически точную картину «жестокой эпохи». Социология означает здесь непредубежденность и отказ от идеологического диктата любого толка, раскрытие основных общественных тем и возможность ясного исторического видения. И поэтому книги Бека уже стали фактами не только литературы, но и политики. Станут они и фактами *философии жизни*.

В. Шохина

ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ





СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

Начало ноября 1919 года. Станция Серебряково на линии Поворино — Царицын. Сеется дождик, мокро блестят груды арбузов на раскинувшемся вблизи рельсов базаре. Поезд дальше не пойдет: изгиб фронта перерезал железную дорогу.

Шестнадцатилетний паренек-красноармеец в зеленых обмотках, возвращающийся из госпиталя в свою дивизию, в свой 198-й Гурьевский полк, шагает от Серебрякова в направлении к Усть-Хоперской, мерит размытые черные проселки, ведущие в глубь донской степи. Наконец после двух или трех дней пути, как раз в канун второй годовщины Октября, он находит штаб дивизии, разместившийся в станице Кумылженской, или, как говорят на Дону, Кумылге.

Комендант направляет его переночевать в какой-то дом. Там обосновались наборщики и печатники дивизионной газеты. Нашлось место и для путника-ночлежника. Он обогрелся, отдохнул, получил полкотелка гречневой каши, щедро приправленной подсолнечным маслом, выпил чаю с белым хлебом. В другой половине дома зашумела-заходила типографская машина. Вскоре юноша в обмотках уже стоял возле нее, так называемой «американки», с интересом смотрел, как рождались экземпляры завтрашней газеты, выпархивали листки, пока с чистой, без оттиска, оборотной стороны. «Американка» приводилась в движение руками: красноармейцы-типографщики поочередно брались за рукоятку, вращали тяжелый маховик. Надо ли говорить, что взялся покрутить и тот, кого приютили на ночь?

Именно в эту минуту вошел курчавый молодой начальник политотдела дивизии, он же и редактор.

Его внимание привлек незнакомый красноармеец, последовали быстрые вопросы, выяснилось, что тот вырос в Саратове, в семье военного врача, окончил реальное училище, вступил в Красную Армию добровольцем, уже повоевал на Восточном фронте под Уральском, где раньше находилась дивизия, теперь, выйдя из госпиталя, разыскал ее на юге.

— Вы когда-нибудь писали?

— Писал в реальном сочинения.

— В школьном журнале не участвовали?

— Не приходилось. У нас школьного журнала не было.

— Ну, это не важно. Вот вам задание. Завтра, в день праздника, в станице будет парад гарнизона. Вы это опишите.

— Описать? Я не сумею.

— Сумеете. Сядете к столу сразу же после парада и... И чтоб к вечеру было готово.

Минули сутки. Юноша-саратовец опять крутил маховик «американки». Снова мягко ложились вылетающие из машины небольшие газетные листы. На каждом был оттиснут трехколонник, живописующий парад в Кумылге,— красное бархатное знамя, проплывшее в сопровождении трубачей, мерные шаги пехоты, промчавшиеся пулеметные тачанки, тяжелые колеса орудий, марш кавалеристов, обнаживших на скаку клинки, стрекот двух самолетов, проделавших в честь праздника разные фигуры. Строки, помнится, были столь восторженными, будто дело происходило не в глухой станице, а на Красной площади в Москве. Под тремя столбцами, посвященными параду, стояла подпись «А. Бек» — моя подпись! — что, разумеется, добавляло сил, когда в поте лица я налегал и налегал на рукоятку.

С того дня меня уже не отпустили из газеты; я стал ее непременно автором, а также корректором, выпускающим, подчас даже наборщиком, заведующим всеми отделами газеты, умещавшейся на развернутом писчем листе, газеты, что всюду сопутствовала своей дивизии.

Так определилась моя первая профессия: труженик газеты.

В дальнейшем я учился, поработал два года на одном из заводов Москвы, ездил каждый четверг с Замоскворецкой окраины на занятия рабкоровского

кружка «Правды», нередко встречал на ее страницах свои заметки и зарисовки, подписанные псевдонимом «Ра-Бе» (что значило «рабочий Бек»), с жаром принимал участие в кружке рабочей критики, где мы, рабкоры, давали оценку новым книгам и спектаклям.

Прошло еще несколько лет. Я стал литературным критиком-профессионалом.

1931-й год. Времена первой пятилетки. В эту пору, ставшую поворотной для страны, совершился поворот и в моей судьбе. Только что созданная редакция «Истории заводов», возглавляемая А. М. Горьким, предложила мне включиться в литературную бригаду, которая уезжала в Сибирь писать историю Кузнецкстроя.

Пять дней пути на Восток. Сибирская солнечная осень. Станция, дальше которой поезда не идут. Здесь площадка стройки, поле одного из главных сражений пятилетки. Впервые вижу чернеющие в небе фигуры доменных печей и купола воздухонагревателей. Домны лишь монтируются, пущена только одна — над ней курится рыжеватый дым, взгляд повсюду встречает взрытую землю, глинистые откосы котлованов, силуэты монтажников, которые высоко над землей клепают и сваривают железные остовы заводских строений.

В день приезда бригада пришла к главному инженеру Кузнецкстроя Ивану Павловичу Бардину. В его кабинете висела клеенная из многих листов синька — генеральный план завода. Мы слушали уснащенные техническими терминами объяснения Бардина. Лохматые, как бы насупленные брови придавали его сухощавому лицу суровый вид. Повернувшись в какую-то минуту к синьке, он сказал:

— Общая конфигурация завода напоминает чайку на занавесе Московского Художественного театра.

Поразившись этому сравнению, я вдруг ощутил душу говорившего с нами инженера: приоткрылась нежность, которую он питал к заводу.

Лишь много позже я уяснил, что способен быть чутким к людям творческой страсти, способен ощутить, распознать внутренний мир таких людей. Думается, это и позволило мне стать писателем. Однако в те дни на площадке возникающего в центре Сибири завода я, вчерашний литературный критик, никогда раньше не писавший рассказы или повести, даже не по-

мышлявший о художественном творчестве, испытывал естественную неуверенность в себе.

От Бардина и других кузнецкстроевцев мы узнали о богатой предыстории завода. В Кузнецке в 1920 году умер доменщик-самородок Курако — о нем говорили с любовью, даже с благоговением, называли его «Константиныч», — надеявшийся воплотить здесь свои мечтания, выстроить могучие механизированные печи. Вторую попытку приступить к возведению завода предприняли «айковцы» — от слова АИК, Автономная индустриальная колония, — рабочие, приехавшие в начале двадцатых годов из Америки на помощь Советской стране.

При распределении труда между членами бригады на мою долю пришлось вся эта предыстория. Следовало написать о Курако, его школе русских доменщиков, затем об участниках АИКа, ее вдохновителях — голландском коммунисте Рудгерсе и американце Билле Хейвуде, скончавшемся в Москве (его прах, разделенный на две части, покоится в Кремлевской стене и на кладбище в Чикаго).

Но как писать? Каким способом создаются художественные произведения, художественные образы? Разумеется, мне было известно изречение: искусство — это подробность. Однако где взять, где найти подробности? Воображать? Нет, на свое воображение я не полагался. Значит, надо изучать, изучать не только общий ход событий, общие характеристики действующих лиц, но и множество подробностей, казалось бы даже вовсе не значительных, неутомимо собирать крупички, из которых сложится ткань повести. Охотясь за этими крупичками, я расспрашивал всех, кто пережил, наблюдал то, о чем мне предстояло написать.

Дело создания истории заводов ставилось со свойственным нашему государству размахом. Запечатлеть в записях, сохранить и для грядущих поколений изустные рассказы, свидетельства о великом времени — об этой задаче не раз говорил Горький. В распоряжение нашей бригады были предоставлены стенографистки; мне, взявшемуся за повесть о Курако, предложили разыскать всех, кто его близко знал, съездить к его друзьям и ученикам в Магнитку, в Донбасс, в Днепрпетровск. Для меня это были счастливейшие дни познания, понимания. Жадно выслушивая рассказ за рассказом, умоляя собеседника не торопиться, терпеливо

добираясь до подробностей, я будто читал увлекательную книгу про еще незнакомых литературе героев, листал страницы жизни.

Прочитав, наконец, эти страницы, я постарался изложить их собственным пером. Результатом явилось небольшое произведение, выпущенное сначала на правах рукописи издательством «История заводов» для обсуждения на площадке Кузнецкстроя, а затем в 1934 году опубликованное в журнале «Знамя»,— моя первая повесть «Курако».

Далее следуют годы близкого участия еще в одном литературном начинании, тоже предпринятом по неумному почину Горького,— в «Кабинете мемуаров» при редакции, которая исподволь готовила серию сборников «Люди двух пятилеток».

Нам, нескольким молодым писателям и журналистам — мы именовались «беседчиками»,— было дано поручение: пусть люди двух пятилеток, участники великих дел, сами расскажут о себе. Наше дело — талантливо слушать, то есть настроить собеседника, чутко, заинтересованно ему внимать, вызывать вопросами красноречивые подробности, словом, добиться задушевного яркого рассказа. Мы приносили в «кабинет» эти вызванные нами к жизни, открывающие новую действительность исповеди больших и малых сынов века. Стенограммы бережно хранились, составляли все пополняющуюся библиотеку, или, как мы тогда говорили, «стенотеку». Они рассматривались как основа неких близящихся новых явлений в литературе. Мы понимали: если люди двух пятилеток не расскажут о себе, то и нам, писателям, о них не рассказать.

Мой распорядок дня складывался в те дни так: утро за письменным столом, за второй повестью о доменщиках, вечером обязательно беседа. Пять-шесть стенограмм в неделю — такой была норма «беседчика». Нередко приходилось выезжать в командировки — на Урал, в Сибирь или в районы угольно-металлургического Юга. Более или менее определился круг людей, с которыми я последовательно, исподволь знакомился. Это были главным образом работники тяжелой промышленности, таланты индустрии, сподвижники наркома Серго Орджоникидзе. Подчас я изумлялся,— этого не угасила привычка,— с какой охотой, с какой откровенностью люди — творцы, современники событий, навек врезанных в историю,— говорили о своем жизнен-

ном пути. Довелось возмужать в необыкновенное время, значит, надо поведать о нем, — вот что как бы соприступствовало в беседах, окрашивало обычные слова.

Смерть Горького, смерть Орджоникидзе прервали работу над сборниками «Люди двух пятилеток».

К тому времени — это был 1937 год — я уже написал несколько вещей. Назову из них повесть «События одной ночи» и рассказ «Последняя домна». Пройдя школу горьковских изданий, я приобрел определенную сноровку, писательский навык, — навык, безусловно подходящий не для всех, иным, возможно, противопоказанный, но соответствующий моему опыту и склонностям. Поиски героев, действующих в жизни, длительное общение с ними, беседы со множеством людей, терпеливый отбор крупниц, подробностей, расчет не только на собственную наблюдательность, но и на зоркость собеседника — всей этой методикой, ее разными тонкостями я теперь владел.

Окрепнув как писатель, автор нескольких вещей, я мало-помалу отучил себя чураться художественного вымысла. Перед мысленным взором, под пером все чаще возникали сцены, порожденные воображением. Уже можно было помечтать и о романе, посвященном доменщикам.

Незадолго до войны я засел за другое большое произведение, которое закончил лишь много лет спустя. В первоначальных набросках оно называлось «Талант», а впоследствии стало известно читателям как роман «Жизнь Бережкова». (Позже я вернул роману заглавие «Талант».)

Происхождение романа таково. Военное издательство замыслило выпустить большую книгу в память погибшего в трагической аварии Петра Ионовича Баранова, в прошлом в течение многих лет начальника Советских Военно-Воздушных Сил, а затем руководителя авиационной промышленности нашей страны. Дело ставилось по образцу горьковского «кабинета». Были привлечены «беседчики». Среди них вновь оказался и я. В ту пору были только что совершены исторические перелеты на Северный полюс и в Америку. Мне поручили повстречаться с создателями самолетов и моторов, производственниками и конструкторами. Закипела милая сердцу работа. Я опять ездил по вечерам на беседы, слушал с раскрытой душой и лаконичного Туполева, и шумного Микулина, и неизвестного

тогда Лавочкина, и еще многих. Слушал и опять как бы вдыхал живительный, насыщенный ионами таланта, натиска, дерзания воздух. В итоге этих встреч в воображении возник еще неотчетливый, невыкристаллизовавшийся образ героя книги.

Я упорно трудился над романом, но пришла минута, повернувшая жизнь каждого из нас. Помню ее, эту минуту. В окошко дачи, где я привык работать, поступал сосед:

— Вы ничего не знаете? Началась война!

Отыскав бечевку, я накрепко связал в несколько пачек все материалы-записи, все черновики своего романа, упрятал эти связки и с первым же поездом уехал в Москву. Две недели спустя я, в составе немалой группы добровольцев-писателей, вступил в Московское народное ополчение, в Краснопресненскую стрелковую дивизию, вновь хлебнул долю солдата, «бравого солдата Бейка», как меня звали в батальоне.

Многодневный марш из Москвы за Вязьму, окопы второй линии обороны, прорыв в начале октября гитлеровских армий, последние часы обреченной Вязьмы — все это поныне хранит память.

Месяцы битвы под Москвой я — уже в качестве военного корреспондента — провел в войсках, оборонявшихся на Волоколамском направлении. Небольшая книжка «Восьмое декабря» (которую я в дальнейшем озаглавил «День командира дивизии»), написанная в радостные дни нашего контрнаступления, явилась своего рода моим корреспондентским отчетом. Тогда же мною завладела мысль о повести, рисующей сражение под Москвой. Я еще не знал, где и как найду главных героев, не знал, какие эпизоды изберу сюжетом, но, чувствуя себя, по сказанному позже слову поэта, «грядущего собственным корреспондентом», был убежден, что обязан изложить, хотя бы и не могучим пером, страницы жизни, знаменательные страницы мировой истории, в которые мне даровано было заглянуть. Острое сознание историчности того, что являлось героичей современностью, историчности еще грохотавшего сражения, — в этом заключалось первое мое побуждение, почва или воздух будущей повести.

В начале 1942 года я поехал в дивизию имени Панфилова, уже продвинувшуюся от подмосковных рубежей почти до Старой Руссы. Опять пошла в ход прежняя, досконально мне известная методика —

знакомства и знакомства с теми, кто воевал под Москвой, неустанные расспросы, нескончаемые часы в роли «беседчика». Постепенно слагался образ погибшего под Москвой Панфилова, умевшего управлять, воздействовать не криком, а умом, в прошлом рядового солдата, сохранившего до смертного часа солдатскую скромность, унаследовавшего — таково было мое интимное авторское ощущение — некую ленинскую складку, ильичевский прищур.

Другого центрального героя я тоже писал с натуры. Меня поразила самобытная яркая фигура командира — казаха Баурджана Момыш-Улы. Этот резкий властный сын Востока уже тоже виделся мне как художественный образ, характер. Прожив около месяца в полку Момыш-Улы, я в раннюю мартовскую ростепель снарядился восвояси, покинул его блиндаж. Со мной вышел комиссар полка — светловолосый кубанец Логвиненко. На прощанье он сказал:

— Вы побывали в орлином гнезде. Смотрите, не окажитесь глупым птенчиком.

Это напутствие зарубкой легло в душу. Еще пять или шесть раз я навещался к панфиловцам, прежде чем взяться за повесть. Наконец задуманная вещь прояснилась. Я остался наедине с чистым листом бумаги, отодвинул все свои блокноты, написал первую фразу: «В этой книге я лишь добросовестный и привлекательный писец». Разумеется, эта записка была литературным приемом. Под видом сугубо документальной повести я писал произведение, подчиненное законам романа, не стеснял воображения, создавал в меру сил характеры, сцены, нарушая подчас мелкую правду факта, доверяясь внутреннему писательскому голосу, воплощая движение идеи. Конечно, требовалось соблюсти еще множество условий. Разрешу себе остановиться только на одном. В мыслях я определил задачу так: взглянуть на сегодняшнее издаека. Не знаю, удалось ли мне ее решить, но она, эта задача, пожалуй, была наитруднейшей, когда я писал «Волоколамское шоссе».

В том же 1942 году я понес серьезную литературную потерю. На даче сгорели многие мои рукописи и материалы. Огнем были уничтожены черновики и перебеленные главы незаконченного романа «Инженер Макарычев» (образ Макарычева, уже ранее выведенного в «Последней домне», я рисовал с Бардина), погибли многие заметки и стенограммы, относящиеся к исто-

рии АИКа, а также и увесистый чемодан, оставленный мне уехавшим перед войной в Голландию Рудгерсом, — чемодан, содержащий всю его личную переписку, личные бумаги времен существования колонии. Эти утраты я пережил как настоящее горе. К счастью, сохранился когда-то сделанный мною, так сказать, «конспект чемодана», — конспект, который был уложен в ящик, который я бог знает почему отнес к соседу. В этом же ящике, вернувшемся ко мне, находилось и начало «Таланта».

Встретив в Берлине День Победы, побывав затем в Маньчжурии, повидав Харбин, Порт-Артур, Дайрен, я возвратился к тем, с кем меня сроднила прошлая литературная работа, к героям индустрии.

Ряд лет после того, как оттремело оружие, я трудился над романом, который был отложен в первый день войны, — над романом о жизни конструктора авиационных моторов Бережкова, о творчестве, таланте, о временах, когда совершилось преобразование России.

Порой приходилось прерывать этот большой труд, ибо меня не раз влекла, призывала современность. Я снова откладывал «Жизнь Бережкова», ездил то в «Запорожсталь», написав в итоге этой поездки повесть «Тимофей — открытое сердце», то на строительство Куйбышевской и Цимлянской гидроэлектростанций (повесть «Новый профиль»), то в Сибирь, где на бывшей площадке Кузнецкстроя вырос завод-чайка и подле него город, который в романе «Молодые люди», написанном мною совместно с Натальей Лойко, назван Ново-Доменском.

Поныне люблю воздух газеты, люблю зайти в редакцию, заглянуть в отделы, взять задание, командировочное корреспондентское удостоверение, привезти из поездки очерк, увидеть его на полосе. Отмечу как курьез, что в справочнике, содержащем перечень членов Союза писателей, напротив моей фамилии в графе «Жанр» по ошибке значилось: «Поэт, очеркист». Что же, возможно, тут есть и доля истины.

Скажу в заключение о том, над чем работаю сейчас, о своих литературных мечтаниях. Книга «Волоколамское шоссе» была задумана в четырех повестях. Две из них известны читателю. Ныне я отважился продолжить эту книгу. В 1960 году в печати появились новые страницы «Волоколамского шоссе».

Затем я взялся за большой роман о металлургах.

Рассказываю в этом произведении, как на смену зако-
стеневающим, подавлявшим техническую мысль, инициа-
тиву, порядкам пришли новые времена. Благодатные
для промышленности перемены — такова тема этого
романа.

Меня всегда привлекает, волнует современность,
но пришла пора перебирать, приводить в порядок, в
годный для печати вид всякие накопившиеся у меня
прежние записи. Пока что из них выделилась или,
так сказать, отпочковалась повесть из времен граж-
данской войны «Такова должность».

Исподволь пишу большую вещь, где сквозным
действующим лицом является В. И. Ленин. Буду сча-
стлив увидеть в некий час на своем письменном столе
законченную рукопись этого трудного и дорогого мне
романа.

Есть у меня еще одна мечта. Хочется потрянуть стари-
ной, вновь прийти, как бывало, в «Кабинет мемуаров»
(восстановим ли мы когда-нибудь его!), стать штат-
ным «беседчиком», жадно внимающим рассказам бы-
валых людей. Я теперь еще тверже знаю: если они не
расскажут о себе, то и нам, писателям, о них не
рассказать.

В 1968 году опубликована моя новая книга «Почто-
вая проза». В ней в какой-то степени характеризуются
тридцатые годы, литературные искания, связанные с
«Историей заводов», «Кабинетом мемуаров», а также
мои первые шаги писателя-прозаика.

1959—1969



КУРАКО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЮГ

I

Домны, расклепанные, разобранные, разложенные в штабеля гнутых листов, плит, балок, труб, пересекли океан вместе с мистером Джулианом Кеннеди и его братом Вальтером.

В теплом городе Мариуполе, на берегу зеленоватого моря, сложили из кирпича на извести и цементе два пня. Они поднимались на четыре метра. На пнях начали сборку печей.

Джулиан Кеннеди был знаменит. Решающие конструкции печей носили его имя. Засыпные устройства — системы Кеннеди. Охладительные приборы — системы Кеннеди. Каупера — системы Кеннеди. Джулиан Кеннеди был самым талантливым американским доменщиком — инженером, конструктором, строителем.

В 1898 году американцы закончили передачу завода Никополь-Мариупольскому акционерному обществу. Они уехали на родину, пробыв в Мариуполе пятнадцать месяцев.

Ведение печей приняли французы и поляки. Американские домны охотно и безропотно подчинялись американским инженерам. Когда поводья перешли в другие руки, печи вышли из повиновения.

Печь № 1 считалась погибшей. Тяжелое расстройство хода постигло и вторую домну.

В кабинете директора — мрачные лица. Там говорят по-французски. Распахивается дверь. Входит мокрый и грязный человек. Его сапоги обшиты грубым парусным брезентом. На голове войлочная шляпа, прожженная в нескольких местах. Так одеваются рабочие доменных печей.

Разговор в кабинете смолкает.

Вошедший спрашивает:

— Могу ли я переговорить с мосье директором?

Он произносит эту фразу по-французски. Французские слова вылетают у него непринужденно и легко, как родные.

Директор спрашивает:

— Кто ты и что тебе нужно?

Мастеровой вскидывает голову. Он тоже переходит на «ты».

— Ты должен меня знать. Я горновой второго номера. Берусь наладить печи.

— Что? Какие печи? — раздраженно спрашивает директор.

— Обе!

Это происходило в 1899 году. На Юге России ни один русский инженер не допускался к ведению доменных печей. Еще не началась пятнадцатилетняя война русского инженерства за вытеснение с площадок доменных печей французов, англичан, бельгийцев и немцев.

Горновой был наглец или сумасшедший. Его следовало бы выгнать вон. Директор не сделал этого. Он разрешил воскресить «труп»: в распоряжение горнового предоставлена была погибшая печь.

Печь умерла, едва изведав сладость белого огня, бушующего, как вихрь, под напором горячего дутья. Всего три недели назад раскаленный воздух, в мгновение при прорыве сжигающий насмерть человека, рвался внутрь через двенадцать отверстий, суживающихся, как брандспойты. Они называются фурмами. Теперь печь не дышала ни одной из фурм. Черным застывшим шлаком залиты изящные фурменные рукава системы Кеннеди. Ни одного кубометра воздуха нельзя вогнать в печь. Она холодна, неподвижна, она — труп.

Четверо суток, не смыкая глаз, горновой и трое подручных бились над печью. Утром на пятые сутки, когда песок на берегу хранил еще ночную свежесть, горновой побежал купаться. Он сбросил пробитую огнем брезентовую рубаху, хотел окунуться, упал на песок и заснул.

Печь гудела. Стенки ее клепаного железного панциря дрожали. Если бы у нее был голос животного, она заржала бы от полноты сил. Сквозь глазки фурм, через синее стекло — с ним никогда не растаются

доменные мастера — отчетливо виднелось горение кокса. Сияющие куски двигались, не останавливаясь ни на мгновение, «танцевали», как говорят доменщики. Из руды каплями выступал чугуи, и тяжелый огненный дождь непрерывно падал в печи.

Горновой расплавил «козел», какого в России никто никогда не расплавлял. «Козел» — злое слово. «Козел» — застывший, затвердевший чугуи в печи. «Козел» — это значило капут, каюк, конец: печь надо разбирать до основания.

Кувалдой, ломом, нефтяной форсункой горновой пробил и прожег в спекшейся черной чугуиной массе узкий кротовый ход от фурмы к выпускной щели. И, не отходя от печи, по капле, по ложке, по ведру спустил из печи «козел».

Юг узнал фамилию горнового. Это был Курако.

II

О детстве Курако известно немного. Его мать была единственной дочерью Арцымовича, помещика Могилевской губернии. Арцымович не имел сыновей и искал верного человека дочке в женихи, чтобы без опаски передать имение. Где-то встретил Арцымович отставного полковника Курако, инвалида Севастопольской кампании. Полковник приехал к Арцымовичу, познакомился с имением, посмотрел Геннусю и сделал предложение. Арцымович согласился. Дочь вышла за нелюбимого, за старого. Через год она родила мальчишку. Его назвали Михась.

Вскоре Арцымович умер. После его смерти молодая Геннуся полюбила кучера. Полковник бил и запирали жену. Она скрывалась в черный лес и по ночам бегала к любовнику. Полковник уехал от позора.

Михась рос диким, заброшенным мальчишкой. Он перечитал всю библиотеку Арцымовича, проглотил лучшее из французской и русской литературы, знал Чернышевского и Писарева, декламировал наизусть поэмы Пушкина. Его воспитывал гувернер француз, которого мальчик однажды избил.

Пятнадцати лет Курако удрал из родных мест. Он ударил бутылкой по голове директора училища, побегал к реке, разделся, оставил одежду на берегу и исчез. Крестьянский хлопец Максименко, его молоч-

ный брат, дал Курако мужицкую одежду. Они бежали вместе.

Спустя несколько дней в доменный цех Брянского завода в Екатеринославе приняли двух мальчишек. Это были Курако и Максименко.

Больше года Курако разносил в цехе пробы чугуна и стаканы чаю — в горячем виде то и другое.

Невозвратно уходили времена, когда тихая степная Украина получала железо с Урала, за две тысячи верст по водному пути, с речным весенним караваном. В семидесятых годах в таганрогском порту сгрузили с английских кораблей первый южный металлургический завод. Медлительные быки протащили завод от Таганрога до будущей Юзовки. Даже кирпич везли на быках. Больше миллиона штук шамота привез для завода из Англии кузнечный мастер Юз, Иван Иванович — порусски, Джон — по-английски.

Завод был поставлен на жирных донецких углях. Одна из шахт выходила устьем во двор завода, прямо к коксовым печам. Руда нашлась близ завода — бурые донецкие железняки. Через десять лет были открыты криворожские руды, богатейшие в мире по содержанию железа.

И пришла на Украину небывальщина. О ней писали так:

«Пустынный Юг наш, еще так недавно представлявший одни безбрежные ковыльные степи, ожил. Среди былых пустынь выросли гиганты, извергающие миллионы пудов железа. Возникли поселки и целые города там, где так недавно шумел один бурьян».

Восемнадцать заводов привезли на Юг из-за моря. Старый Урал имел полтора десятка заводов, прекрасные руды и ни одной тонны кокса. Уральские домны не знали другого горючего, кроме древесного угля, дорогого и негодного для высоких печей — он крошится под давлением столба плавильных материалов. Кокс порист и крепок. Он не разбивается при ударе о чугунные плиты и не пачкает рук. Коксующиеся угли жирны, смолисты. Их размельчают в тяжелую черную пыль и накачивают без доступа воздуха. Продукты разложения смолистых веществ склеивают частицы угля в компактную пористую массу. Старый Урал не имел кокса. Восемнадцать южных заводов стали выдавать чугуна в четыре раза больше, чем полтора десятка уральских.

Хотя Курако и побил опостылевшего француза-гу-

вернера, он по-прежнему ежедневно слышал французскую речь. Инженеры, мастера и старшие рабочие Брянского завода были французами. Все книги и записи велись по-французски.

Брянский завод принадлежал русским предпринимателям — Губонину и Голубеву. Это было редкостью. Из восемнадцати южных заводов только четыре основаны с участием русских капиталов.

Но и здесь ни одного русского инженера не допускали к доменным печам. Начальник доменного цеха, бывший французский мастер Пьерон, не доверял им даже лебедек — грубых простых машин, поднимающих кокс и руду.

Французы острили, что, не в пример Наполеону, им удалось завоевать Россию без крови и без выстрелов. Острики ошибались — грохот взрывов и черные лужи «дешевой» крови русской «мастеровщины» отмечали путь металлургического Юга.

Пьерон гордился изобретенной им системой крепления горна — нижней части домны, где скопляется жидкий чугун. Старые доменщики помнят систему Пьерона — знаменитый пикотаж, который Курако вывел впоследствии из употребления.

Система пикотажа была системой взрывов. На полном ходу, на самом горячем дутье, белый и пузырящийся, как кипящее молоко, чугун проедал горн, вырывался на мокрую глину и тысячами тяжелых молний ударял из-под печи. Иногда чугун просачивался в трещину огнеупорной кладки, прожигал себе длинный извилистый ход и вдруг начинал бить фонтаном в нескольких метрах от печи.

Взрывов бывало по десятку в год. Случались взрывы такой силы, что однажды чугунная плита весом в восемьдесят пудов была сорвана со своего места у печи, с бешеным свистом и звоном пробила кровлю, влетела в соседнюю контору и подмяла под себя письменный стол самого Пьерона.

Франция, Англия и Бельгия посылали нам старые, изношенные домны и невежественных, неискusstвенных мастеров. Они приезжали обогащаться в «дикую» обильную страну.

Курако не прятался от взрывов. Со всех ног он бежал на грохот. Прижавшись к печи, вытянув голову вперед, он слушал дыхание домны. Он начинал понимать домну на слух, различать ее запахи и оттенки

бьющегося внутри огня. Через год он научился предугадывать взрывы. Это было первое проявление его замечательного таланта.

Однажды ночью мастер-француз поймал Курако в лаборатории. Перед Курако лежали раскрытые записные тетради цеха и толстая французская книга о металлургическом процессе. Парень был наказан. Его перевели в катали.

Через два дня Курако выгнали с квартиры. Каталей в городе на квартирах не держали. Они находили себе пристанище в селах, у мужиков. Когда Курако проходил после работы по улицам, мальчишки кричали ему вслед:

— Дяденька, дай лапоть — чай заварить!

Как и другие катали, он весь — одежда, обувь, белье, поры кожи — был пропитан красной мельчайшей тяжелой пылью криворожской руды. Прохожие сторонились его.

Изо дня в день он подвозил по чугунным плитам двора доменного цеха тачки с рудой, коксом и известняком. Он вкатывал тачки в клеть, и она взвивалась наверх, на колошник домны. Там колошниковые рабочие — «верховые» — высыпали руду, кокс, известняк в ненасытное чрево печи. Держать печь постоянно полной — азбука доменной плавки.

Двенадцать часов в сутки работал Курако. По двенадцать часов ежедневно работали все рабочие доменных печей. Заводы плавил чугун непрерывно, ночью и днем, в праздники и будни, на пасху и на рождество. Печи не терпят остановок, они любят ровный непрерыванный ход. Две смены служили домнам. *Только две.*

Через год Курако перевели на колошник. Он дышал выбивающимися кверху газами, спасался в специальной железной будке от вылетающих неожиданно, как из вулкана, столбов синего пламени и кусков руды, видел, как погиб, скорчившись, брат его друга, охваченный взметом огня.

Отец нашел пропавшего сына через семь лет после его исчезновения. В этот год Курако был «тигром» — так назывались рабочие, которые жили у завода, но не имели на нем постоянной работы. Они собирались около казенной винной лавки и ждали, не придет ли мастер. Мастер появлялся и кричал: «Пять человек на уборку шлака!» или «Трое перетаскивать рельсы!». Тогда

сидевшие бросались, как тигры, и, отталкивая друг друга, захватывали случайную работу.

У казенной винной лавки Курако декламировал «тиграм» «Гавриладиу» Пушкина. «Тигры» валялись в траве и рычали, захлебываясь хохотом. Никто не встал, когда показался старый полковник. Курако увидел отца, и ему стало стыдно перед «тиграми».

Полковник не узнал сына и испуганно оглядывался кругом. Провожатый показал отцу пальцем. «Тигр» подошел к полковнику и, глядя немигающими черными глазами, сказал, что никогда не вернется домой, что будет жить и умрет у доменных печей.

— Михась, пойдем отсюда. Поговори со мной.

У Курако перехватило дыхание, подступающие слезы защемили горло. Стало жаль дряхлого одинокого отца. «Тигры» молчали, Курако оглянулся на них и сказал:

— Ребята, возьмите старика. Донесите его до извозчика. Я не хочу его видеть.

«Тигры» увели полковника.

III

Решающим событием в жизни Курако была встреча с мистером Кеннеди.

Россия не знала американских домен. Мариупольская печь была на несколько метров выше всех других южнорусских приземистых и громоздких домен немецко-бельгийского типа. Мариупольская печь была одета невиданными устройствами. Ее производительность была почти вдвое выше самых больших южнорусских домен.

На Юге не было людей, которые умели обращаться с американкой. Никто на Юге не владел одноцилиндровой пушкой, автоматической засыпкой, секретами десятка приспособлений и приборов, носивших имя Кеннеди. С заводов Юга вербовали в Мариуполь грамотных и способных горновиков. В их число попал Курако.

Американская домна покорила Курако сразу и навсегда. Чутьем прирожденного доменщика Курако понял, что американская конструкция соответствует самой природе организма домны, ее назначению, как природе коня соответствуют четыре крепкие ноги, стя-

нутые копытами, и мощная грудная клетка, как природе рыбы — сплющенное тело, жабры и плавники.

В Мариуполе Курако выучился читать со словарем по-английски и перечитал американскую доменную литературу, которая нашлась у Кеннеди. Уезжая, Кеннеди назначил Курако первым горновым — старшим рабочим домны.

Когда пароход навсегда увез братьев Кеннеди, Курако долго стоял на берегу, провожая глазами исчезающие в море огни. Вернувшись домой, он всю ночь с молочным братом Максименко пил водку. Ему хотелось в Америку, страна мощных домен манила его. Но он не поехал туда.

IV

В сентябре 1902 года в Мариуполь примчался немец Томас — директор Краматорского завода. Томас заехал в дирекцию, потом прошагал к доменному цеху, нашел Курако и усадил его с собой в коляску. Специальный поезд в составе паровоза и одного вагона доставил их на станцию Краматорская на линии Ростов — Харьков. Одна из печей Краматорки стояла четыре месяца, вторая — восемнадцать дней. Эту последнюю Курако выправил в шесть суток.

Правление Краматорского завода пригласило его начальником доменного цеха.

Курако поставил условие: свой штат и переделка печей.

Курако не был инженером, — и в 1902 году стал первым русским начальником доменного цеха на Юге. Он привез с собой из Мариуполя восемнадцать человек и Максименко поставил горновым.

В день приезда Курако угощал доменщиков. Дирекция предоставила ему квартиру в двенадцать комнат. Доменщики собрались там.

За полночь пришла горькая весть.

Второй брат Максименко — чугушник — стал жертвой несчастного случая. Неизвестно, что хуже — профессия каталя или чугушника. Из горна жидкий чугун выпускают по канаве на литейный двор под открытое небо, в песок. Когда разлитый чугун начинает сверху темнеть, его посыпают песком, чтобы на нем можно было стоять, и чугушники начинают свою адову работу.

Они ломанами выковыривают красные чушки чугуна из песочных форм. Струи воды из пожарных рукавов поливают чугуны и чугуны. Кверху валит пар. Чугуны не могут работать в сухой одежде — сгорят. Они захватывают чушки клещами, волочат их по песку и грузят затем на платформы. Двое хватают чугунную чушку клещами — в каждой шесть, семь, восемь пудов — и подбрасывают кверху. Брат Максименко поскользнулся при взбросе, чушка сорвалась и раздавила ему череп.

Ночной кутеж оборвался. Курако подошел к своему другу. Все молчали, как всегда, когда близко-близко проходит смерть. Курако не знал, что сказать. Ему хотелось сказать что-то очень важное, очень большое, самое важное и самое большое. Образы Джулиана Кеннеди и чугуны с залитыми кровью черными усами встали перед ним.

Курако положил руку на твердое плечо Максименко и сказал, что перестроит завод по-американски.

— Чугуны на заводе не будут. Ни одного! И каталей не будет! И на колошнике ни одного человека! Верить мне, брат?

— Верю, — ответил Максименко.

— Печь пойдет так ровно, что у горна можно будет спать. Не будь я Курако, если не заставлю вас спать, барбосы. Верить мне, брат?

— Верю, — сказал Максименко и не поверил.

V

Курако не исполнил своих обещаний. Ему удалось установить автоматическую засыпку своей системы. Вагончики с грузом взбирались по наклонному мосту и сами опоражнивались, ссылая шихту в нутро печи. Колошниковые рабочие стали не нужны. Он перестроил по-американски горны своих печей и поднял вдвое производительность цеха. Дальнейшие нововведения дирекция сочла излишними. Рабочие руки были дешевы, и рентабельность затрат казалась сомнительной.

Подошел пятый год. Начальник цеха Курако становится начальником боевой дружины Краматорского завода. Боевая дружина контролирует движение на магистрали Харьков — Ростов. Она — власть на станции Краматорская и на Краматорском заводе.

В 1906 году Курако ускользает от жандармов и возвращается на родину после длительного отсутствия. Отца нет в живых, и Курако вступает в права наследства.

Когда формальности закончены и приложена последняя сургучная печать, Курако отдает имение крестьянам. В губернии полыхают аграрные волнения. Курако схватывают и в арестантском вагоне везут в Петербург.

Идут годы, перекатываются волны времени — о Курако ничего не слышно на Юге.

ГЛАВА ВТОРАЯ ОТКРЫТИЕ КУЗБАССА

I

Профессор Леонид Иванович Лутугин лежит желтый, с провалами старческих щек, полузакрыв глаза. Он не ел четыре дня. Из-за волнений последних дней у него разыгралась нервная астма. Когда приходили приступы, единственное облегчение он находил в том, чтобы дышать диафрагмой, животом, не подымая ребер. Это возможно только при пустом желудке.

В двенадцать ночи кто-то нажал кнопку звонка. В спальню, отстранив горничную, входит Кратов, один из директоров Донбасса.

— Извините, Леонид Иванович, что я врываюсь. Ради бога, не вставайте. Я только что с поезда, в Петербурге всего три часа. Мне нужно переговорить с вами немедленно.

Лутугин смотрит на ночного гостя. Он знает Кратова давно. Они старые приятели. Леонид Иванович показывает Кратову на горло и знаком предлагает сесть.

Кратов не садится. Он ходит по комнате, странно помолодевший, оживленный и взвинченный.

— Скажите, Леонид Иванович, — Кратов останавливается и смотрит на Лутугина острыми стального цвета глазами. — Скажите, примиренье с Геологическим комитетом еще не состоялось?

Лутугин отрицательно трясет головой.

— Забастовка продолжается?

Лутугин кивает.

— Прекрасно,— говорит Кратов, прохаживаясь по комнате.

Он низкого роста, плотен, плечист и весит пять с половиной пудов. Он совершенно лыс, руки и пальцы покрыты густым черным волосом, как шерстью.

Леонид Иванович Лутугин — мировая геологическая величина, знаменитый следопыт и разведчик угля, открыватель подземных Америк, прославленный исследователь Донецкого бассейна.

Он, только он с озорной и веселой ватагой своих учеников знал запутанные, петляющие угольные пласты Донбасса. Он составил геологическую карту Донбасса и получил за нее золотую медаль на всемирной туринской выставке.

В феврале 1914 года директор Геологического комитета Богданович сказал в публичном докладе, что группа Лутугина за последнее время ведет исследования крайне медленно: «Денег истрачено много, а сделано неизвестно что».

На заявление Богдановича гордые лутугинцы ответили забастовкой. Пока Богданович не принесет публично извинений, ноги их не будет в Донбассе. Вышел скандал. Лутугин нужен углепромышленникам. Он безошибочно указывал точки для закладки новых шахт. Ползая неделями на коленях в грязи, прорывая канавы, отбивая геологическим молотком белые и коричневые камешки, он находил внезапно исчезнувшие пласты.

Посредничать взялся сам фон Дитмар, председатель совета съездов горнопромышленников Юга России. Примирение, казалось, готово было состояться, но в Петербург примчался Кратов.

II

— Прекрасно,— повторил Кратов.— Леонид Иванович, вы знаете, кто я?

Лутугин смотрит недоумевающе. Кратов прячет улыбку в усы.

Иосифа Петровича Кратова Лутугин знает со студенческой скамьи. Лутугин был профессором, когда Кратов кончал Горный институт. Леонид Иванович хорошо помнит выпуск 1900 года. Этот выпуск прозвали директорским. В тот год вместе кончили Пальчинский, Гоготский, Свицын, Бенешевич, Кратов. Сейчас все —

директора крупнейших предприятий или акционерных обществ.

Отец Кратова — адмирал Черноморского флота, два брата — морские офицеры. Приезжая в семью, Кратов бравировал своей инженерской тужуркой — два молоточка для него выше, чем черные орлы и золотые шевроны.

В студенческие годы Кратов считал себя социал-демократом, левым, очень левым, самым левым среди своей блестящей компании. На студенческой выпускной вечеринке один из его друзей задорно поклялся, что через пять лет станет директором завода. В ответ Кратов дал иную клятву: никогда не быть директором, никогда не идти в услужение капиталу.

Он отклонил ряд выгодных предложений и пошел заведовать маленькой захудалой спасательной станцией в Донбассе. Он избрал себе миссию: спасти рабочих при подземных катастрофах — при пожарах, взрывах, обвалах — и считал это единственно достойным делом для инженера-социалиста.

— Имбецил, — сказал о сыне старый адмирал, любитель непонятных слов: таким термином в медицине называют идиотов.

Через несколько лет спасательная станция стала вседонецкой. Кратов оснастил ее по образцу лучших станций Европы и Америки. Шесть подъездных путей расходились от нее в разные концы Донбасса. Через двадцать секунд после тревожного телефонного звонка из депо выкатывал специально оборудованный поезд, люди прыгали на подножки и в вагонах надевали маски. В 1904 году Кратов получил золотую медаль с надписью: «За спасение погибающих».

Было так. Подземный пожар охватил шахту «Иван». Колодец шахты затянут удушливым дымом. Дым лежал внизу колыхающимся серым пластом и не поднимался — он тяжелее воздуха. Никто не решался войти в мертвое газовое море. Кратов долго рассматривал план шахты и сказал, что можно ходить внизу без опасности для жизни. Никто не поверил, и Кратов пошел один. Он пробирался по штрекам и вентиляционным ходам, дым доходил до груди, ноги спотыкались о бревна и трупы.

На восстающей выработке Кратов нашел живых, забаррикадировавшихся брезентовым парусом от дыма. Кратов вывел их на-гора. Его китель почернел, лицо было белым. Он никогда не рассказывал о часе, проведенном над тяжелыми волнами удушливого дыма.

Лишь однажды, чтоб отделаться от вопросов, Кратов сказал:

— Здесь не было отваги, только аналитический расчет. Я руководствовался теорией движения легкой жидкости в тяжелой.

В пятом году Кратов не мог усидеть в Донбассе. Он едет в Петербург и издает журнал социал-демократического направления «Труд техника и инженера». За два года девять раз правительство закрывало журнал, и он девять раз возрождался под привычным названием «Труд и техника», «Труд техника», «Техника и труд». В просторной квартире Кратова на Загородном помещался в пятом году Всероссийский союз инженеров и Союз союзов.

Революция подавлена. Спускалась ночь после битвы. Шел 1908 год — год отречения, столыпинских галстуков, богоискательства и декадентства. В 1908 году Кратов влюбился в красавицу Елену Евгеньевну Баньолесси. Обрусевшая семья Баньолесси осела в Петербурге. Горные инженеры собирались в их уютной квартире. Елена, Леля, была почти девочкой, тоненькой и смуглой. Она щелкала Кратова по проступающей лысине, звала его Оськой, дразнила Моськой. Свадьбу сыграли в девятьсот девятом. Кратов любил жену, как одержимый. Она хотела выезжать, одеваться, жить. В девятом году Кратов впервые принимает выгодное положение — он становится директором Берестово-Богодуховского рудника, запущенного и разрушенного после огромного пожара.

Изменив юношеской клятве, Кратов не считает себя подлецом — перекрещенные молоточки для него по-прежнему выше двуглавых орлов и золотого шитья.

— Нормален! — говорит старый адмирал о сыне.

В один год Кратов выводит Богодуховку вперед. Это десятый — холерный — год. Холера свирепствует в Донбассе. В паническом страхе бегут рабочие с шахт. Кратов в белом халате ежедневно обходит больницу и холерный барак. На глазах рабочих он здоровается за руку с холерными больными. Ему удается сбить волну паники. Бегство с рудника прекращается. Окрестные шахты сокращают добычу из-за отсутствия рабочих рук, у Кратова работы идут нормально.

— Здесь не было риска, только расчет, — говорил Кратов впоследствии. — У французов есть поговорка: трудные положения создаются для того, чтобы выхо-

доть из них с выгодой. Я принимал соляную кислоту и мыл руки карболкой. Заболеть я не мог.

С этого времени благосостояние шахты Кратов измеряет количеством оседлых рабочих и количеством коров. Он вводит премирование за огороды и насаждения. В 1912 году он считается лучшим директором Донбасса и получает восемнадцать тысяч в год.

Все это знает Лутугин. Он не понимает усмешки Кратова.

— Нет, Леонид Иванович, не угадаете. С первого января я директор-распорядитель Копикуза.

Взгляды Лутугина по-прежнему выражает непонимание.

Кратов ходит по комнате и объясняет: Копикуз — это копи Кузбасса. Копикуз — это новое акционерное общество. Владимир Федорович Трепов, тайный советник, придворный, брат знаменитого Дмитрия Трепова — «патронов не жалеть» и Александра Трепова, министра путей сообщения, получил от кабинета его величества в концессию на девяносто девять лет, до 2012 года, целое государство между Обью и Томью. Там лежала кузнецкая угленосная котловина, Кузнецкий бассейн. Какими сложными и тонкими ходами удалось Трепову пробить брешь в кабинете, этого Кратов не знал. Здесь была тайна.

Свои права Трепов передал акционерному обществу Копикуз. Он получил куртаж — сто тысяч рублей — и был избран председателем общества со стотысячным годовым окладом. Директором-распорядителем общество пригласило Кратова с окладом в двадцать четыре тысячи в год.

Лутугин никогда не бывал в Кузбассе. Производить исследования на кабинетских землях строжайше запрещалось. Геологи кабинета, носившие офицерскую форму, определяли угольные запасы Кузнецкого бассейна в полтора миллиарда тонн действительных и одиннадцать миллиардов возможных. Ерунда. В шесть раз меньше Донбасса.

— Дикое место, Леонид Иванович, — говорит Кратов. — Анализы исключительные — уголь без золы, без серы. Где пласты, сколько их — не знает ни одна собака. Двинем, Леонид Иванович, на новые места. Дадим Уралу кокс. Понимаете, что это значит — дать Уралу кокс?

Лутугин знает, что Кратову можно верить. Ему

приятно присутствие этого человека. Леонид Иванович повертывается, садится и неожиданно вздыхает всей грудью. Боли нет, дышится легко. Приступ ушел неожиданно, как всегда.

— Осип Петрович, едем к нашим, они ведут все переговоры, боюсь, что вы опоздали.

В половине второго приятели будят лутугинскую ватагу на Петербургской стороне. Леонид Иванович подобрал себе команду талантливых озорников, работяг и чудаков. Снятков Авенир Авенирыч отказался сдавать дипломную работу в Горном институте, прекрасно зная курс. Он считал диплом буржуазным предрассудком. Лутугин взял Сняткова к себе. Гапеев Александр Александрович, здоровяк и силач, печатал научные работы, будучи студентом; в дни студенческих забастовок бросал в аудиториях химические бомбы и дважды исключался из института. Его взял Лутугин к себе. В лутугинской группе было четырнадцать молодых геологов. Шести из них была запрещенная государственная служба и двум — проживание в столицах.

Ночью вопрос был решен. Кратов уговорил лутугинцев окончательно плюнуть на Донбасс, показать Богдановичу шиш и ехать на разведку Кузбасса.

В процедуре составления договора Леонид Иванович не участвовал. В таких вещах он был младенцем и мог запродаться за гроши. Его приглашали банки, предлагали сумасшедшие оклады, чтоб работал только для них. Лутугин отвечал:

— Я стар, много нахапать не успею, а некролог испорчу.

Переговоры с Кратовым вели Снятков и Гапеев. Леонид Иванович поставил только два условия: во-первых, результаты разведок он считает достоянием науки и будет публиковать во всеобщее сведение, не стесняя себя коммерческими тайнами; во-вторых, он не согласен получать ни копейки больше, чем его ученики.

Условия были ультимативными, и правление Копикуза согласилось. Лутугину нельзя было предложить меньше восьми тысяч в год. Все лутугинцы получили по столько же.

Копикуз не останавливался перед затратами. После разрыва с Богдановичем лутугинцы не считали возможным пользоваться библиотекой Геологического комитета, и Кратов купил для них превосходную геологическую библиотеку Глушкова, замечательно подобран-

ную, со множеством редчайших изданий. Это обошлось около десятка тысяч. В Петербурге была снята для геологов квартира, в ней оборудована лаборатория, кабинеты, поставлены телефоны. Были приобретены микроскопы, компасы, палатки, всяческие приборы и инструменты, вплоть до больших банок из толстого стекла с герметически завинчивающимися крышками для хранения образцов. Всем лутугинцам Копикуз подарил бельгийские охотничьи ружья.

В марте 1914 года группа Лутугина отправилась в Кузбасс.

III

Четыре месяца спустя, восьмого июля 1914 года, в свои владения выехал председатель Копикуза тайный советник Трепов. К курьерскому поезду прицепили салон-вагон Копикуза и платформу с двумя автомобилями, укрытыми брезентом. С петербургского вокзала Трепов отправил две телеграммы — начальнику Алтайского горного округа генералу Михайлову и директору Копикуза — Кратову.

«Выезжаю вместе французскими русскими горными инженерами. Тринадцатого июля буду станции Юрга, чтобы проехать оттуда Кольчугино потом Тельбес. Трепов».

Пять дней несся курьерский поезд на восток. Смотреть в окна было утомительно. За Уралом шла равнина, пустая и гладкая, как мертвое морское дно. Города были похожи на деревни.

Кратов встретил гостей в Юрге. Из вагона вышел Трепов, розовый и слегка надушенный, с круглой рыжеватой бородкой, в скромном сером костюме и соломенной шляпе-канотье. Тайный советник был огненно-рыжим и стригся наголо... Начальник станции вытянулся для рапорта. Трепов улыбнулся, сказал: «Не надо, не надо» — и пожал ему руку. Из семейства Треповых он единственный занимается коммерцией, пустив в оборот близость к придворным кругам и к государственной казне. Он куплен петербургским Международным банком или, говоря иначе, передал банку исключительное право пользоваться его услугами.

Когда-то он был губернатором Туркестана, интриговал против Столыпина и попал в немилость. Ему дали

отставку, уволили из Государственного совета и послали путешествовать за границу. По возвращении Трепов дал обещание политике не заниматься. Ему было даровано августейшее прощение.

На высочайшей аудиенции Николай спросил:

— Чем ты теперь займешься, Владимир Федорович?

Трепов сказал, что чувствует склонность к промышленной и коммерческой деятельности.

— Не еврей ли ты, рыжик? — сострил Николай и расхохотался.

Трепов покраснел и не улыбнулся государевой остроте. Он всегда считал царя хамом. Николай обещал покровительство новому дельцу.

— Иди в кабинет, что-нибудь выбери там, — сказал император.

Канцелярия кабинета его величества помещалась в Аничковом дворце на углу Невского и Фонтанки. Кабинет ведал землями, составлявшими личную собственность царя, в отличие от удельного ведомства, управляющего земельными угодьями членов императорской фамилии.

Два огромных куска земли, каждый величиной в Центральную Европу, принадлежали царю — Алтайский округ и Забайкалье. В Алтайском округе умещался Кузнецкий бассейн и за тысячу километров от него риддеровские полиметаллические месторождения, содержащие золото, серебро, свинец, цинк и медь. Алтайский округ не давал кабинету прибыли. Уголь не разрабатывался за отсутствием рынка. Геологи кабинета уделяли каменному углю не больше внимания, чем всякой другой горной породе, и на геологической карте Алтая оконтуренная площадь угленосных отложений носила название: «Площадь красных песчаников каменноугольной системы». В начале прошлого столетия кабинет делал попытки самостоятельно добывать серебро и свинец, но после истощения самых богатых месторождений дело было оставлено из-за трудностей. Богатства Риддера заброшены к черту в зубы, за тысячу километров от железной дороги, в гористый безлесный район. Кабинет отдавал в концессию риддеровские месторождения. Пять концессионеров прогорели там, и в 1910 году кабинет отдал Риддер за бесценнок знаменитому Уркварту.

В канцелярии кабинета Трепов встретил Мамонтова — младшего и неудачливого сына большого Мамон-

това, Саввы Иваныча, известного купца, покровителя искусств и строителя Архангельской железной дороги. Мамонтов, промотавшийся барин с холеной бородой, обосновался в Барнауле заведующим химической лабораторией Алтайского горного округа. Через его руки проходили образцы руд и углей. Мамонтов рассказал Трепову о богатствах Кузбасса. Трепов задумался. Знакомые дельцы не посоветовали ему связываться с кузнечными углями — они помнили прогоревших концессионеров Риддера. Трепов попросил у кабинета золотосносные участки в Забайкалье. Ему отказали. Мамонтов пришел к Трепову в особняк. Он рассказал о Цейдлере, директоре Надеждинского — самого крупного уральского завода. Цейдлер выступал реформатором старого Урала. Он переоборудовал надеждинские домны и поставил производство рельсов, которые раньше не катали на Урале, — для этого слишком дорога древесно-угольная сталь.

Стране не хватало металла. С 1911 года был разрешен беспошлинный ввоз железа в Россию: его везли по морю и по суше из Западной Европы, и Цейдлер решил на опыт, который изумил Урал. Цейдлер организовал примитивный выжиг кокса на краю Кузнецкого бассейна, заарендовав крестьянские участки, выходящие за пределы владений кабинета. Производство кокса не ладилось, но уральский новатор, пренебрегая насмешками и предостережениями, упрямо добивался своего.

Трепов подумал и решился. Он попросил концессию на Кузнецкий бассейн. Она всемилостивейше была ему дана. Вместе с Мамонтовым Трепов отправился по банкам. Он предлагал недра и искал капитал. Ни один банк не согласился взять недра Кузнецкого бассейна. Русские банкиры с улыбкой разъясняли Трепову элементарнейшие вещи: капитал не может оставаться неподвижным, он требует вложения, но нуждается в одном условии, это условие — гарантированная прибыль.

— Мы получим там рубль на рубль, — уверял Трепов.

Каминка, бывший «марксист», глава Азовско-Донского, самого солидного из русских банков, ответил Трепову:

— Вы наивны, Владимир Федорович. Это у Маркса написано, что капитал становится разбойником и очертя голову бросается куда угодно, если поманить его стопро-

центной прибылью. А нам дайте двадцать процентов, но наверняка. Нет ли там рассыпного золота, в этом вашем бассейне?

Трепов не мог возразить: он не знал Маркса и не имел рассыпного золота.

Отчаявшись, Трепов выехал в Париж, захватив Мамонтова, концессионный договор, образцы и анализы угля и краткий меморандум, отпечатанный по-французски на меловой бумаге. Парижский маклер свел Трепова с банками и финансистами, которые специализировались на колониальных странах. Удалось заинтересовать сомнительную и несолидную фирму, носившую звучное название — «Акционерное общество железных дорог Африки и Азии».

Председатель правления мосье Бардэк, низенький неряшливый еврей с брюшком, принял Трепова в конторе — темной комнате с запыленными окнами и нематыми полами.

— Что даст нам это? — спросил Бардэк.

— Миллионы, — ответил Трепов.

— Я верю, там есть хорошие угли. А сбыт? Слишком стесненный рынок.

— Мы имеем покровительство кабинета его величества.

— А сбыт? — повторил Бардэк. — Впрочем... Обеспечена ли вам поддержка военного ведомства?

Трепов перечислил свои связи, Бардэк смягчился, узнав, что начальник главного артиллерийского управления — ближайший друг Трепова.

Африканско-азиатское общество согласилось прощупать дело. Бардэк послал с Треповым двух инженеров-французов Громье и Барильона — обследовать положение на месте.

В 1913 году французы в сопровождении Трепова осмотрели Кузнецкий бассейн, побывали на Тельбеском железорудном месторождении, написали брошюру «Миссион д'Алтай» («Алтайская экспедиция») и дали умеренно благоприятный отзыв о бассейне. Мосье Бардэк согласился финансировать дело при условии, что в дело войдет один из русских банков. Азовско-Донской отказался, Русско-Азиатский отказался, согласился петербургский Международный.

В ноябре 1913 года министерство торговли и промышленности зарегистрировало акционерное общество Копикуз с капиталом в шесть миллионов рублей. Перед

обществом встала задача — создать рынок кузнецкому углю. Metallургический завод — крупнейший потребитель угля. Трепов заручился согласием брата — министра путей сообщения — предоставить петербургскому Международному банку концессию на постройку Южно-Сибирской магистрали, с тем чтоб все рельсы, подкладки и накладки шли с завода, который будет сооружен Копикузом. Главное артиллерийское управление гарантировало военные заказы. Сто миллионов рублей требуется на постройку завода, — это вне масштабов мосье Бардэка. Он заинтересовывает пушечную и металлургическую фирму Шнейдер-Крезо. В июне 1914 года они прибыли в Петербург — Бардэк с сыном, Громье и доверенный Шнейдер-Крезо — горный инженер Рено. Старый Бардэк остался в Петербурге, остальные выехали с Треповым в Сибирь.

Вслед за Треповым из вагона выходят французы: Бардэк-сын, — Трепов называет его «бардачок», — за ним Рено, толстый, с седыми усами и длинным желтым лицом; последним прыгает с подножки молчаливый Громье. С платформы скатили машины. За рулевое колесо сел Кратов и двинулся впереди, указывая дорогу. Вторую машину повел Рено.

В Кемерово — центральный пункт Кузбасса, где расположилась штаб-квартира лутугинской группы, — приехали к обеду. Трепова качали — он улыбался, пожимал руки и бросил рабочим сто рублей на водку.

День стоял чудесный. После обеда вся компания вместе с Лутугиной выехала по реке Томи на моторной лодке, захватив копикузовского повара Федю, горького пьяницу и мастера на все руки. Правый обрывистый берег вздымался крутизной. Желтый глинистый песчаник исполосован наискось черными выходами угля, как зебра.

Подъехали к кемеровской штольне. Ее устье выходило на реку, и в половодье можно на лодке въезжать в огромный, длинный коридор, прорубленный в сплошном массиве угля.

Выйдя из штольни, вскарабкались по обрыву. Федя обмахнул французам сапоги, притащил из лодки бутылки, икру, консервы, пирожки и разложил костер.

Трепов разделся и полез в реку. Он любил воду, как утка. В вагоне он принимал душ из огромного резинового мешка.

Лутугин нарвал букет диких тюльпанов, из их ча-

шечек пили водку. Кратов притащил снизу полную корзину угля. Руки его почернели. Он бросил куски в костер и следил, как они краснели, трескались и исчезали, как бы растворяясь в пламени. Разговор шел по-французски.

— Сокровища валяются под ногами,— сказал молодой Бардэк.

— И их не берет никто. Кому нужен уголь в этой пустыне? — поморщился мосье Рено.

Рено и Бардэк пикировались всю дорогу. Бардэк восхищался ландшафтом. Рено поражался безлюдью. Он все брал под подозрение. Царство Копикуза явно не нравилось ему. Он бросил банку из-под шпрот и искоса взглянул на измазанные руки Кратова. Кратов перехватил взгляд, и скулы его покраснели. Он сжал пальцы, и в кулаке хрустнул уголь.

— Это не грязь,— сказал он.— Здесь самый чистый уголь во всем мире. Это лучшие коксующиеся угли. Смотрите, какая прелесть.

Кратов разжал ладонь и протянул Рено кусочки и крошки раздавленного угля. Они играли на солнце матовым неярким блеском.

Рено достал из кармашка лупу, протер ее замшей и взял двумя пальцами кусок. Он рассматривал его полминуты.

— Уголь обманул вас,— проговорил он язвительно и вежливо.— Он годится только для паровозных топок.

Отбросив кусок, он вытер пальцы носовым платком.

— Леонид Иванович, разрешите ваш молоток...

Лутугин передал Кратову геологический молоток с длинной полированной ручкой. На камне Кратов растолок в муку несколько кусков угля. Он ударял яростно и осторожно. В коробку из-под шпрот он высыпал угольную пыль, утрамбовал ее, забил зазубренную отогнутую крышку и щели замазал глиной. Он разгреб костер, бросил банку в самый жар и высыпал сверху уголь из корзины. Зеленоватый дымок пополз по ветру. Кратов побежал к реке мыться.

Солнце заходило. Лутугин встал. Седая борода охватывала его лицо, как веер. Он показал рукою на юг. Уходящее солнце окрасило розовым какие-то далекие снежные грани высокой горы.

— Это гора Мустаг. По-русски — Белок. Мы видим ее за полтораста километров. Я не знаю места, где воздух так прозрачен.

Лутугин стал говорить о Сибири. Он влюбился в эту страну. Он вынул из бумажника и показал фотографию. На снимке была лутугинская группа спустя несколько дней после приезда. Они расположились полукругом у сугроба снега. В центре стоял Лутугин с букетом цветов, которых не знает среднерусская равнина. Дикие орхидеи с чашечками величиной в маленький стаканчик; огоньки яркого и чистого тона, как хорошо обожженный кирпич; адонисы и пульзатиллы, из которых делают лекарства. Цветы собрали здесь же, рядом с сугробом. Это сибирская весна. Не сошел еще снег в затененных сопками впадинах, а рядом лопухи встают выше человеческого роста.

Чем дальше к востоку, тем воздух суше. В Казани суше, чем в Москве, в Омске суше, чем в Казани. Выстиранное белье в Сибири просыхает скорее. Рояли и пианино в Сибири высыхают, и в крупных сибирских городах есть специальные мастерские по переборке рассохшихся инструментов. Сухой воздух Сибири необыкновенно прозрачен. Вечерние зори и лунные ночи Сибири красивее западных. Звезды ночного неба крупнее. Весенний ковер богаче.

Кратов долго плескался и плавал. Он растерся на берегу докрасна. Солнце зашло. Из лодки он захватил ведерко с водой. Совсем стемнело, когда Кратов выгреб жестянку из костра. Глина почернела и потрескалась. Кратов не стал ждать, пока коробка остынет. Он поставил ее на ребро, прицелился и одним взмахом отбил крышку.

Красный камень отлетел и засветился в ночи. Трава вокруг него задымилась. Кратов плеснул из ведра. Камень зашипел и погас. Кратов взял его в руки, ладони ожгло, и Кратов кинул камень высоко вверх. Он шлепнулся о землю и не разбился. Угольная пыль спеклась. Камень был коксом. Все поочередно брали его, и он не пачкал рук.

— А много ли здесь угля? — спросил представитель Шнейдер-Крезо. Впервые в его голосе послышался живой интерес.

— По данным кабинета, двенадцать с половиной миллиардов тонн, — ответил Трепов.

Кратов вскочил:

— Я ручаюсь, что здесь несколько десятков миллиардов. Не меньше, чем в Донбассе.

— Разрешите сказать мне.

Все обернулись к Леониду Ивановичу. Мировое имя Лутугина известно французам.

— К вашему приезду я сделал приблизительный подсчет. Здесь шесть Донбассов. Здесь угля больше, чем в Германии и Англии, вместе взятых. Здесь двести пятьдесят миллиардов тонн, господа.

Все молчали.

За четыре месяца работы Лутугин выяснил общий характер бассейна. В Донбассе он разработал свой метод прослеживания запутанных путей угольных пластов. Он ввел в науку слово «свита». Он тщательно собирал и изучал под микроскопом породы, идущие сверху и снизу пласта, — известняки, песчаники, сланцы. Угольный пласт идет вместе с облегающими его породами, — они повсюду сопровождают его, как свита.

Лутугинцы разбились в Кузбассе на три партии и пошли по течению рек. На Томи, у деревни Балахна, был обнаружен выход колоссального пласта, толщиной в пятнадцать метров — выше четырехэтажного дома. Таких пластов Лутугин не видал нигде. По берегам рек, прорезающих бассейн, лутугинцы искали обнаженные горные породы. За сто, за двести километров от деревни Балахна они находили породы в точности такие, какие облевали выход пятнадцатиметрового пласта у Томи. Не видя угля, лутугинцы знали, где он проходит. В Кемерово они везли со всех сторон груды разноцветных камней. Первую свиту Лутугин назвал балахонской. Широкой лентой она шла вокруг всего бассейна, окаймляя его. За балахонской шла безугольная или пустопорожняя свита. Дальше — кемеровская. На поверхности свиты шли концентрическими кругами, в глубину бассейн походил на срезанный сверху кочан капусты. Нижний лист — балахонская свита, второй — пустопорожняя, третий — кемеровская и т. д. Угленосная чаша была глубиной в восемь километров.

Все молчали, и только Рено повторил еще раз:

— Кому нужен уголь в этой пустыне?

На следующий день Трепов повез иностранцев на Тельбес.

IV

На Тельбесе Трепова ожидал Павел Павлович Гладков, молодой профессор Томского технологического института. Мягкий, добрый человек с русыми волосами

и развинченной походкой, он был самым даровитым из сибирских геологов. Ему поручил Кратов разведку руды.

Гора Тельбес подготовлена к приезду иностранцев. Гладков вместе с бароном Фитингофом — заместителем Кратова — еще раз оглядел ее. Они смотрели на гору сверху. Она стояла как на блюде. Штольни, пробитые в массиве магнитного железняка, открыты, и можно взглянуть в их темную пасть. Канавы и шурфы расчищены и обведены жидким мелом. Буровые скважины отмечены столбиками с надписями. Можно сразу понять, где и какого качества лежит руда. Река Тельбес омывает гору. Дно реки железное. Предполагалось, что руда идет дальше за реку и противоположный берег тоже железный.

Гора стояла на столе. Это макет, тщательно выполненный Павлом Павловичем Гладковым. Больше двух недель со дня получения известия о приезде Трепова Гладков мастерил из дерева и глины железную гору. Даже барон Фитингоф, присланный Кратовым, не мог не признать, что идея представить Тельбес в миниатюре — превосходна. Вместе с Гладковым он увлекся макетом и приклеивал веточки пихты на вершину горы.

— Владимир Федорович может увезти эту гору в Петербург,— сказал Фитингоф.— Он будет там всем показывать, сколько железа имеет в Сибири Копикуз.

Из Томска верхами прибыли повара. Волоком и вьюком — телега на Тельбес не проходила — доставили кровати на сетках, столовое серебро, белье. В корзинах привезли закуски, в ящиках — шампанское. У шорцев — маленького охотничьего народа с плоскими лицами и зоркими глазами — скупили рябчиков. Из комнат самого большого дома выкурили комаров и гнус. Окна забелели марлей. Дорожки к штольням и к реке подчистили и посыпали песком.

Восемнадцатого июля утром прискакал верхом Кратов. Под мордой его лошади гремел большой колокольчик,— в тайге так отгоняют медведей. Он обогнал кавалькаду Трепова и явился первым на Тельбес, чтобы проверить, все ли в исправности. Он прошел по дорожкам, заглянул в комнаты, узнал, что готовят ужинать. Все было в порядке.

О макете Гладков молчал. Он хотел сделать Кратову сюрприз. Миниатюрный Тельбес стоял на столе в конторе.

— Это что? — спросил Кратов.

Гладков, улыбаясь, разъяснил и, указывая на столбики, тут же подсчитал запасы Тельбеса. Он округлил цифру и подвел итог — шесть с половиной миллионов тонн.

— Топор, — сказал Кратов быстро.

Ему подали топор, и он сплеча, как забойщик, разбил в куски игрушечный Тельбес. Дерево, глина и стекло разлетелись по полу. Сторож, старик Костенко, качая головой, убрал остатки красивой игрушки.

Вдали звенели уже колокольчики Трепова и иностранцев.

Первый день отдыхали. Молодой Бардэк восхищался всем. Он сделал три дюжины снимков в душистой тайге, заросшей пыреем и густо оплетенной хмелем и синим башмачком. Виды Тельбеса он находил красивее швейцарских, пихты — стройнее кипарисов. Узнав, что шорцы язычники, он захотел непременно купить идолов из бересты и перьев. Был вызван охотник Майдаков, проводник Гладкова. Кратов переводил его рассказ. Француз записывал в книжку мудреные названия шорских богов: Ульгена — бога земли и неба и бога-разрушителя — Одазы, что значит отец.

Майдаков рассказал легенду шорцев о железе. Предводитель дьяволов Ярлык-Баш-Хан подрался с духом гор — Темир-Баш-Тагом — железной головой. Три дня и три ночи продолжался бой. Реки вышли из берегов. С деревьев опали листья. Гром стоял на горах. Предводитель дьяволов победил. Железная голова Темир-Баш-Тага разбилась на куски. С той поры появились в тайге горы из черного камня.

— Теперь эти горы принадлежат нам, — пояснил Трепов.

На следующее утро приступили к ознакомлению с Тельбесом. Павел Павлович плохо владел французским. С трудом подыскивая слова, он разъяснил, какие богатства таит в себе гора. Кратов помогал Гладкову в каждой фразе. Цифру запасов Кратов не назвал. Он сказал, что рудные богатства Тельбеса неисчислимы, что речь идет о десятках, а возможно, о сотнях миллионов тонн. Гладков понял, почему был уничтожен макет.

Пошли смотреть руду в натуре.

Штольня «Семейная» пробита в сплошной руде. В ней стены, потолок и пол — железные. Руда черна,

и куски ее глухо звенят при ударе друг о друга, как чугуны. Мелкая пыль магнитного железняка пристает к молотку и пушистыми сосульками свешивается со стального бойка. Мосье Рено надел странную куртку, которая вся была покрыта маленькими карманчиками и казалась сшитой из них. В каждом карманчике лежал желтый холщовый мешочек под номером. Рено отбрасывал куски первоклассной руды, которые подносили ему. Он укладывал в мешочки пустую породу и куски руды с белыми жилками кальцита и золотистым налетом серы. Положив образец, он тут же что-то записывал в книжку. Гладков исподтишка передразнивал француза, и Трепов, улыбаясь, грозил ему пальцем.

В конторе на канцелярских столах, покрытых скатертью, сервировали торжественный обед. Шампанским запивали тосты. Рено сел за стол в своей куртке с карманчиками. Он никому не доверял ее. Он пил не меньше других, и казалось, его скептицизм начал таять.

Трепов провозгласил тост за союз русского и французского народов. С бокалом встал Кратов.

— Один из наших любезных гостей спросил, куда девать колоссальные сокровища угля в сибирской пустыне. Здесь, в глухой тайге, на тельбесских рудах мы воздвигнем металлургический завод. Наш кокс будет свежей кровью для одряхлевшего Урала. Сибирь — огромная дикая страна, которая не знает железа, — поглотит миллионы тонн металла. Владимир Федорович поднял бокал за союз народов. Я пью за союз капиталов.

Все закричали «ура».

Рено поднялся для ответного тоста. За столом стихло, и все вдруг услышали звон колокольчика. Он звенел слишком лихорадочно. Видимо, верховой гнал галопом по просеке. Лошадиная морда показалась в окне конторы. Верховой подал телеграмму. Она адресована Трепову.

— Господа, — сказал Трепов, вскрыв телеграмму, — Германия объявила войну России. — И повернулся к Кратову: — Прошу распорядиться: немедленно лошадей.

Обед прервался. Рено не сказал своего тоста. Он вышел из конторы и выбросил камни из своих карманчиков.

Все поняли, что теперь вряд ли найдутся капиталы,

чтобы освоить новый район, провести железную дорогу, заложить рудники и построить завод.

На дворе спешно седлали лошадей. Гости уехали под вечер, и Тельбес погрузился в темноту и неизвестность.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ТЕЛЕГРАММА

I

После революции пятого года дружина Курако расеялась по белу свету.

Максименко вернулся из ссылки в Донбасс в 1913 году. Он отпустил длинные жесткие усы, черные и блестящие, как смоль. Такие усы носили его братья — чугунищик, раздавленный в Мариуполе, и «верховой», сгоревший на Брянке.

Максименко ехал в Юзовку — центр металлургического Юга — наниматься горновым или подручным. Из окна вагона видно было тяжелое красно-бурое облако. Будто прижатое к земле, оно недвижно лежит среди степи. Ветер обтекает, лижет его и не может сдвинуть. Это Юзовка. Скопище пыли непроницаемо для глаза — даже трубы завода не угадываются в нем.

В этом поселке солнце кажется грязным. Среди дня на него можно смотреть незащищенным глазом. Зелень в Юзовке не зелена. Черно-бурый слой мельчайших частичек руды и угля покрывает листья и траву. Этот налет можно снимать пальцем с гляцевитой поверхности листьев, как сажу с закопченного стекла. Сады директорской дачи и бальфуровского дворца, куда приезжает каждое лето из Англии главный акционер завода Арчибальд Бальфур, омываются ежедневно из брандспойтов.

Сквозь пробоину в заводской ограде Максименко входит на территорию завода. Десятки гигантских факелов пылают над батареями коксовых печей. Огонь ярко-красен даже при свете дня. Это сгорают коксовые газы, — старые коксовые печи Юзовки не знают приборов для улавливания газа. Всюду заметны следы разрушения и изношенности. Напирая плечами, каталы продвигают вагонетки без рельсов, по чугунным плитам. Плиты сошли с мест, покосились, кое-где отбиты углы, и выбоины темнеют, как гнезда выпавших зубов.

По железной лесенке Максименко поднимается на рабочую площадку домы № 6. Горн протекает и свистит. Мокро и грязно.

Максименко спускается и переходит на рабочую площадку соседней печи. Он останавливается в изумлении. Несколько доменщиков лежат на сухом, чисто подметенном полу. Двое спят, Максименко видит это совершенно ясно. Один стоит, глядя в глазок фурмы сквозь синее стекло. Печь с головы до пят герметически закована в железную броню. Охлаждающая вода спрятана в трубки. Ни одной капли не проступает наружу. Максименко подбегает, наклоняется над спящими. Ровное дыхание, испарина на побледневших лбах. Они спят — в этом не может быть сомнения.

Максименко кричит, не помня себя:

— Где Курако? Где Курако?

Кто-то отвечает без удивленья:

— Он прошел на литейный двор.

Курако стоит во дворе доменного цеха. Он одет, как мастеровой, — синие широкие штаны, синяя куртка. Рядом высокий худой человек. Его странная шляпа — плоская, с широкими полями — бросается в глаза: такие шляпы носят ковбои в американских трюковых картинах.

На литейный двор прямо к печам въезжает коляска. Лакированные крылья матово блестят сквозь свежую пленку пыли.

С подножки соскакивает директор завода Адам Александрович Свицын. У него фигура спортсмена и танцора. Свицын — светский лев среди инженерства Юга, самая яркая его звезда, самая блестящая карьера.

Два человека подходят к Курако с разных сторон — директор завода и вернувшийся из ссылки горновой.

— Здравствуйте, Михаил Константинович, — говорит Свицын. — Из правления получен ответ на ваше предложение. Пойдемте...

— Курако? Константиныч? Ты ли?

Курако оборачивается и видит молочного брата. Они обнимаются, целуются, откидываются назад, смотрят друг другу в глаза и обнимаются вновь.

Курако мало изменился за восемь лет — он отпустил усы и бородку, глаза остались прежними — черными и блестящими, как черносливины.

Свицын прищуривает глаз. Он ожидает. Скулы двигаются, будто он жует.

Курако обращается к человеку в американской шляпе:

— Знакомьтесь. Это Максименко, я рассказывал о нем. Это Макарычев, Иван Петрович,— мой помощник.

Максименко не привык здороваться с инженерами за руку. У Курако все было иначе — Макарычев крепко тряхнул руку горнового.

— Иван Петрович,— говорит Курако Макарычеву,— слышали, получен ответ. Пройдете с Максименко ко мне. Я скоро приду.

Свицын пожевывает. Он садится вместе с Курако в коляску и молчит всю дорогу.

II

Максименко и Макарычев ждут Курако.

В Юзовке у Курако квартира в восемь комнат. Он занимает две, остальные пустуют. В самой большой комнате стены выложены книгами. Корешки, как разноцветные кирпичики, поднимаются до потолка. Здесь беллетристика, история, социология, и ни одной книги по металлургии. На большом столе несколько пузатых квадратных папок, похожих на переплетенные комплекты газет. Это знаменитый куракинский альбом чертежей. Из заграничных и русских журналов, из книг Курако вырезает чертежи, собирает из заводских архивов и клеивает в альбом. Таких альбомов в России только два: у Курако и у профессора Михаила Александровича Павлова — отца русской металлургии.

Рядом с папками пишущая машинка «мерседес». Ее косой курсивный шрифт знают в Юзовке, в Мариуполе и на Краматорке. Курако отмечает интересные статьи в американских журналах, их переводят и размножают на «мерседесе». Курако рассылает их своим ученикам.

После ареста Курако отбыл ссылку в Вологодской губернии.

В 1910 году он вернулся к любимым печам. Свицын пригласил его начальником доменного цеха Юзовки.

В Юзовке Курако перестроил две печи — ввел наклонные мосты, американские глубокие горны, пушки для механической забивки лётки после выпуска. Печи шли ровно и выдавали чугуна вдвое больше, чем раньше.

Летом 1912 года в Юзовку, как обычно, приехал из-за моря Бальфур. Он имел обыкновение обходить завод в день приезда. Курако приказал рабочим горна подмести площадку и, оставив одного дежурного, лечь, уснуть.

Через два часа на площадку поднялся Бальфур. Никто не вскочил. Бальфур покраснел. Курако стоял подле печи, ожидая взрыва негодования, но Бальфур повернулся и вышел, не сказав ни слова. Он прекратил обход и уехал в главную контору. Туда вызвали Курако. Курако сказал, что спящие у горна рабочие — высший класс доменного искусства. Если рабочие спят, значит, печь идет отлично, не зависает, фурмы не прогорают, вода не сочится.

— Я прошу одного,— сказал Курако,— разрешите мне быть первоклассным доменщиком.

Бальфур рассмеялся.

— Ваш юмор победил меня,— сказал он.

Три года провел Курако на Юзовке. За три года он дал Югу двух начальников доменных цехов, трех помощников и шесть горновых.

Студенты-практиканты целыми днями обстреливали Курако вопросами — он водил их к себе и переворачивал страницы огромного альбома.

В распоряжения сменных инженеров, ведущих плавку, Курако не вмешивался. Ошибки разбирались, когда инженер кончал смену.

— Пусть плавит сам,— говорил Курако.— Через год он будет готовым начальником цеха или из него никогда не выйдет доменщика.

Курако сам рассылал своих выучеников. Американские печи Мариуполя, привезенные мистером Кеннеди, и Краматорки, перестроенные Курако, повели инженеры, окончившие юзовскую академию. В Мариуполе и на Краматорке вновь ввели в употребление забытые, снятые с петель пушки. Ими управляли горновые, прошедшие в Юзовке школу Курако.

В 1912 году Курако увидел во дворе завода высокого худого человека в широкополой шляпе блином. Американская шляпа заинтересовала Курако, и он подошел к Макарычеву.

Макарычев только что вернулся из Америки. Два года Макарычев работал на заводе Герри — величайшем в мире, и только на Юзовском заводе в разговорах с Курако осмыслил, что видел за океаном. В Юзовке

Курако открыл Макарычеву Америку. Разрозненные впечатления Макарычева получали идею в комментариях Курако и давали форму, полновесную и плотную, мечте русского доменщика-американиста.

Металлургический процесс построен у Герри на основе непрерывного потока. С Верхних Озер движется конвейер пароходов с рудой к заводским пристаням. По железной дороге каждые пять минут подходят составы с углем. Гигантские грубые механизмы опрокидывают руду в огромные печи, неизвестные Европе. По непрерывной ленте к печам ползет кокс. Металлу не позволяют остыть до превращения в готовое изделие: в рельс, балку, цельнотянутую трубу. Жидкий чугун из ковшей выливают в сталеплавильные печи. Раскаленным болванкам стали не дают потемнеть. Огромные и красные, как свежееобдранные туши, они подъезжают на железных платформах к колодцам блюминга. Потoki металла непрерывно льются в страну. Рабочих на заводе не видно. Слабые человеческие руки — будь их тысячи и десятки тысяч — не справятся с движением огромных масс металла и плавильных материалов. На заводе Герри люди нажимают рычаги и кнопки. Такой завод жил в голове у Курако. Такой завод лежал в альбоме чертежей. Такой завод во всех подробностях, в звуках и красках, вставал в рассказах Макарычева.

В дирекцию Новороссийского акционерного общества — ему принадлежал Юзовский завод — Курако вошел с предложением выстроить такой завод на Юге.

Максименко и Макарычев ждут прихода Курако. Что-то скажет ему Свицын, какой ответ получен из правления?

III

Они сидят у стола друг против друга — директор завода и начальник цеха, Свицын и Курако, самые прославленные имена металлургического Юга.

Свицын — первый после Курако — самостоятельно повел доменную печь на Юге. В списке директорского выпуска фамилия Свицына стояла первой. Вторым шел Скочинский. По всем предметам они имели круглые пятерки и на мраморную доску золотыми буквами были записаны оба — единственный случай в истории Горного института.

В 1903 году царское правительство решило провести керосинопровод Закавказской железной дороги. Шла жесточайшая борьба за колоссальный заказ на трубы. Победы добиваются Губонин и Голубев — владельцы Брянского завода в Екатеринославе. Договор готов к подписанию, но начальник цеха Пьерон заявляет, что брянские домны никогда не плавят литейный чугун и не годны для этого — они могут давать лишь передельный, идущий в мартен для передела в сталь. Сделка рухнет, удача ускользает. К владельцам завода является Свицын. Он два года был в Екатеринославе на практике. Он берется дать первоклассный литейный чугун из екатеринославских печей.

С доверенностью правления Свицын едет в Екатеринослав. В его полное распоряжение предоставляется одна только что выстроенная печь.

Домну подготавливали к задувке. В те времена перед задувкой печь набивали сухими березовыми вениками, стружками, дровами. В фурменное отверстие просовывали раскаленный на конце лом — веники воспламенялись, и семь суток в печи горели дрова. Лишь после этого загружали шихту. Свицын смотрит, как подвозят к печи дрова, и отчаянное решение зреет в нем. Он уходит и бродит по городу, не замечая улиц. Теоретический расчет говорит, что печь можно сразу загружать коксом; он должен вспыхнуть моментально при соприкосновении с горячим дутьем — с раскаленным воздухом температурой 800 градусов. Свицын знает из иностранных журналов, что этот способ успешно испытан за границей. Опыт воспламенения кокса раскаленным воздухом демонстрировался в лаборатории института. В России никто не решался применить новую задувку домны: при неудаче можно погубить печь.

Свицын возвращается и приказывает отбросить от домны веники, стружки и дрова. Никто не понимает, чего он хочет. Свицыну изменяет выдержка, и он кричит:

— Очистить площадку печи! Все вон! Все к черту!

Свицын приказывает сразу загружать домну коксом, потом тяжелой шихтой по рецепту литейных чугунов.

Французы со всех цехов собираются к печи. Они стоят поодаль, и никто не подходит к Свицыну. Он сам поднимает клапан горячего дутья. Французы бросаются к фурмам и без синих стекол прилипают к глазкам.

В ту же секунду Свицын видит — Пьерон отпрянул от глазка, как обожженный, повернулся и, не сказав ни слова, медленно пошел прочь. Свицын не может справиться с собой, у него дрожат от радости руки — он понимает, что кокс загорелся мгновенно. Через двадцать четыре часа печь выдала первую плавку — великолепный литейный чугун, марка ноль-ноль. В двадцать четыре часа Свицын стал знаменитостью. Он шел первым в списке директорского выпуска и первым сделал карьеру. Через три года после окончания института он получает две тысячи в месяц.

В пятом году на Брянском заводе дважды стреляли в директора. Его помощника убили. Пьерон удрал. Никто не соглашался занять пост директора Брянского завода.

Свицын не побоялся пуль. Оппозиционная интеллигенция собиралась в его квартире, как в салоне. Приставу он не подавал руки. Свицын дал понять правлению, что не откажется занять директорский пост. Он получил предложение и стал самым молодым директором Юга.

Они сидят у стола друг против друга, Курако и Свицын, самые прославленные имена металлургического юга. Пятый год сделал одного директором, другого ссыльным.

Свицын говорит:

— Вышло так, как я предсказывал. Правление отклонило ваш проект, как безудержную фантазию.

— Почему? — спрашивает Курако тихо.

Свицын видит, что Курако больно. Ему хочется что-то сказать в утешение.

— Михаил Константинович! Вы превосходный начальник доменного цеха. К чему портить себе жизнь? Россия сильна мужиком. У нас сколько угодно самых дешевых в мире рабочих рук, и нет оснований вкладывать капитал в дорогие механизмы. Вам сорок лет. Зачем вы мучаете себя пустяками?

— А когда руки не захотят задешево работать?

— Вы витеаете в облаках, Михаил Константинович, я стою на земле. Мы не пойдем друг друга.

— Я не останусь на заводе, — тихо говорит Курако.

Он встает и выходит из директорского кабинета. Дома ждут его Максименко и Макарычев.

— Я фантазер и дурак, — говорит Курако Макары-

чеву.— Ничего не вышло. Уйду к бельгийцам в Енакиево.

— Возьмите меня с собой, Михаил Константинович,— просит Макарычев.

Он знает — если Курако велит, придется остаться в Юзовке вести перестроенные печи.

— И я с вами! Плюнь на все, Константиныч!

Курако невесело открывает крышку альбома.

IV

На Енакиевском заводе Русско-Бельгийского общества Курако пробыл два года. Там шесть печей, и в договоре была обусловлена переделка всех шести. Он получал двадцать четыре тысячи в год и обычно не имел денег. Никогда не отказывал подполью и содержал за свой счет в Петербургском политехническом институте двух студентов — сыновей ослепшего юзовского шлаковщика.

По-прежнему днем и вечером Курако ходил в синей рабочей спецовке. Он часто и много пил. Четверть водки ему выпить легче, чем четверть молока.

Вяло и неохотно перестраивал Курако енакиевские печи. Исчезла прелесть новизны. Он повторял пройденное — наклонные мосты, фурменные рукава Кеннеди, глубокий горн, герметическая броня.

Выплавка металла снизилась в годы войны. Транспортные артерии страны переместились, и железные дороги Юга пришли в расстройство. Станы не были подготовлены к прокатке нового сортамента металла, нужного войне.

Курако высчитал, что в сражении на Марне из французских и немецких пушек вылетело за три дня миллион двести тысяч тонн металла — за три дня треть годовой продукции всей России.

— Нечего спорить, кто победит,— говорит Курако.— Воюют металлом. У кого больше металла, тот победит.

Война давала колоссальные прибыли заводам. Можно было работать прескверно и загребать миллионы. В 1915 году Енакиевский завод получил пятнадцать миллионов прибыли. Юзовка — столько же. Курако злился и не сомневался, что Россию раскрошат вдребезги.

В начале 1916 года Енакиевский завод объявляет забастовку. Прорывается скопившееся недовольство. Рабочие требуют бесплатных квартир, доставки воды на квартиры и бесплатного угля. На митингах кричат: «Долой войну, долой самодержавие!»

В печах поднимается уровень жидкого чугуна. Он стекает через отверстия фурм.

— Спустить чугун? — спрашивает Максименко.

— Ну его к черту, — отвечает Курако. — Остановившей на ходу. После расплавим «козлы».

Забастовка кончается победой.

В двадцать дней Курако расплавил шесть «козлов». Это был новый рекорд, но Курако не радовался ему.

В конце 1916 года он закончил переделку печей. Ему нечего больше делать в Енакиеве. Его наперебой зовут южные заводы. Он уезжает, оставляя Макарычева начальником цеха.

Из вагона он смотрит на переделанные печи. К наклонным мостам катали подвозят свои тачки. Чугунщики клещами волокут сизые чушки. Нет бункеров, нет разливочных машин, нет американского непрерывного потока.

— Американцы, — говорит Курако, презрительно глядя на перестроенные домны. — Во фраках без штанов.

Курако кружит по югу, смотрит заводы, где был мальчиком каталом, «тигром», где расплавлял «козлы» и перестраивал печи. Он чувствует себя усталым. Ему кажется, что ни один завод нельзя переделать. Надо срыть старье до основания и на ровном месте строить новые заводы. В Мариуполе Курако долго смотрит на море и вспоминает братьев Кеннеди. Курако перевалило за сорок. Что осталось ему в жизни? Ничто не влекло его.

В декабре 1916 года Курако приезжает в Юзовку. Он сидит одинокий в номере гостиницы и вспоминает слова Свицына: «Зачем вы мучаете себя пустяками?» В самом деле, зачем? Не проще ли кончить все сразу?

В номер приносят телеграмму.

«Юзовка тчк Гостиница «Великобритания» Курако тчк Акционерное общество Копикуз просит немедленно прибыть Петроград для переговоров строительству металлургического завода-гиганта Кузнецком бассейне Сибирь тчк Директор-распорядитель Кратов».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«С ЮГОМ КОНЧЕНО, БАРБОСЫ!»

I

В министерской ложе сидят трое — Трепов, Кратов и Шайкевич — член правления Копикуза, брат директора петербургского Международного банка.

Дума взволнована вчерашним известием об убийстве Распутина.

В правительственной ложе нет ни одного министра. Заседание близится к концу, идет вермишель — мелкие законопроекты.

Сонливый и толстый Родзянко объявляет:

— Переходим к законопроекту министерства путей сообщения о выдаче беспроцентной ссуды в двадцать миллионов рублей Акционерному обществу кузнецких металлургических заводов.

Секретарь читает проект. Чиновник министерства путей сообщения, одергивая парадный вицмундир, подходит к трибуне, чтобы быть наготове для справок.

— В порядке записи слово предоставляется члену Государственной думы профессору Постникову, — цедит Родзянко.

Трепов вынимает золотой портсигар и вспоминает, что в зале заседаний курить воспрещено.

— Сейчас начнут трепать мою фамилию. Трепка Трепова, — неуклюже каламбурит он. — Осип Петрович, пойдемте походим.

Трепов и Кратов выходят в коридор. Шайкевич пожимает плечами — слабость нервов высокопоставленного дельца вызывает в нем легкое презрение.

Волнение Трепова передается Кратову. Он вновь оценивает план Шайкевича, и сомнения поднимаются в нем.

Кратов не верит банкам. У петербургского Международного особенно плохая репутация. Кратов знает несколько дел, раздутых банком и брошенных, как ненужная ветошь, после удачной игры на повышение акций.

Шайкевич — большой Шайкевич, директор банка — предложил создать наряду с Копикузом новое акционерное общество для постройки завода. Правление Копикуза стало одновременно правлением Акционерного общества кузнецких металлургических заводов,

председатель — Трепов, член — Шайкевич-младший. Брат большого Шайкевича был членом правления едва ли не всех акционерных обществ, которые финансировал банк: общества Бахмутской соли, Горско-Ивановского каменноугольного, Жилинского брикетного, Николаевского судостроительного и других.

— Зачем два общества в одном деле? — спросил Кратов.

Шайкевич ответил:

— Копикуз укрепился, нельзя его ставить под удар. Если дело с заводом сорвется, это не отразится на акциях Копикуза.

«Копикуз укрепился», — повторяет про себя Кратов, прохаживаясь с Треповым по коридору Думы. Это сделал он, Кратов. Из шести миллионов рублей он получил четыре с половиной. Остальные растворились в банке. Кратов представил смету на закладку двух шахт в Кольчугине и в Кемерове, каждая на двадцать миллионов пудов в год. Бардэк настаивал на уменьшении вдвое масштаба работ, ссылаясь на стесненность рынка. Кратов наотрез отказался возиться с мелкими шахтенками: он хотел строить европейски оборудованные шахты.

— Кокс на Урал! Вот наш рынок! — твердил Кратов.

Он поехал к Цейдлеру, директору Надеждинска. От имени правления Копикуза Кратов просил Цейдлера принять заказ на рельсы. Цейдлер рассмеялся: заказы распределены вперед на три года. Кратов предложил Цейдлеру повышенную цену на рельсы.

— Сочувствую, но помочь не могу, — ответил Цейдлер.

Тогда Кратов, делая вид, что идет на крайнюю уступку, предложил Цейдлеру поставку кокса в обмен на рельсы. Цейдлер поднял брови, — с выжигом кокса у него все еще не ладилось, — и заключил сделку. Кратов получил рельсов на два миллиона рублей, не тронув капитала, и рынок для кокса.

Бардэк снял возражения.

Кратов выехал на юг в представительства французских и бельгийских коксовых фирм. Все коксовые печи России построены иностранными компаниями — Копперс, Эванс Коппе, Оливье Пьетт, Семет Сольве, Бремер и другие. Обратившись к любой из фирм, владелец коксующихся углей мог получить кокс без за-

траты капитала. Фирма строила коксовые печи за свой счет. Шахтовладелец доставлял уголь к коксовым печам и получал кокс. За выжиг кокса фирма опять-таки не брала ни копейки. Вознаграждением для нее был дым — побочные продукты коксования. Триста различных компонентов можно получить из каменноугольного газа — сернокислый аммоний для удобрений и взрывчатых веществ, анилин для красочной промышленности, духи, вазелин, аспирин и нафталин. В школах рисуют генеалогическое дерево — внизу кусок угля, из него поднимается ствол, расходящийся на триста веток.

Коксовые фирмы имели миллионные прибыли. Высокие стены ограждали коксовые заводы в Донбассе. Туда не пускали русских инженеров. Фирмы охраняли секреты коксовых печей.

Кратов предполагал заключить договор на обычных началах — получить печи без затраты капитала. Ни одна фирма не согласилась рисковать капиталом в диком месте, в Кузбассе.

Кратов вспомнил поговорку французов о трудных положениях, которые создаются для того, чтобы выходить из них с выгодой. Он обратился непосредственно к французскому инженеру Пиррону, работавшему у фирмы Оливье Пьетт. Кратов стороной узнал, что фирма держала Пиррона в черном теле, мало платила ему, хотя он был знающим коксовиком-специалистом. Сделка с Пирроном стоила Копикузу дорого и состоялась быстро. С полным комплектом чертежей Пиррон сел с Кратовым в вагон петербургского экспресса.

В Петербурге Трепов, используя старые военные знакомства, получил от Главного артиллерийского управления заказ на поставку бензола и толуола — побочных продуктов коксования. Из них делают взрывчатые вещества для снарядов. Копикуз обязался выстроить коксохимический завод в восемнадцать месяцев — неслыханный для России срок — и получил под заказ ссуду в два миллиона рублей.

В Петербурге Кратова разыскал Оливье Пьетт. Он просил отказаться от договора с Пирроном.

— Вы зарезали фирму, — говорил мосье Пьетт.

Кратов неумолим. Оливье Пьетт согласился выстроить коксовый завод Копикуза, лишь бы Пиррон остался у фирмы.

Строительство начинается осенью 1915 года. Строитель Кемеровского рудника говорит, что в восемнадцать месяцев постройку закончить невозможно.

— Нам придется расстаться,— отвечал Кратов.— Мы найдем людей, которые сделают это.

Кратов назначает строителем рудника и коксохимического завода техника Садова, с которым работал в Донбассе. Сумрачный и нелюдимый Садов прошел тяжелый жизненный путь. Он сибиряк, уроженец Омска, не получивший ни высшего, ни среднего образования. Он не курил и не пил, выбился в люди из монтеров, любил Сибирь, был предан Кратову, как пес. Рабочие боялись его — он суров и груб, может ударить под горячую руку.

В четырнадцатом и пятнадцатом Садов вел строительство Кольчугинского рудника. Он закончил там проходку шахты, выстроил рабочие казармы, колонию служащих и директорский дом. Дом директора-распорядителя Садов спроектировал сам,— там было два этажа, двадцать комнат, бильярдная и зимний сад, столовая на сто человек, комнаты для приезжающих, каждая с отдельной ванной и уборной.

Зимой 1915 года в Кемерове работы велись в тепляках — огромные тесовые коробки покрывали площадь стройки. К весне 1916 года на левом берегу Томи стоял готовый железобетонный каркас коксобензольного завода. Кратов носился по южным заводам, вырывая металл и огнеупор. Оборудование ждали из Англии.

С каждым месяцем внимание Кратова все больше привлекала южная часть бассейна, смыкающаяся с рудами Тельбеса. Становилось очевидно, что лучшие богатства бассейна сосредоточены там. Заведующим южной группой Кратов назначил Перлова — инженера с двумя значками, окончившего Горный институт и математический факультет Петербургского университета.

Перлов восторгался углями Прокопьевска.

— Как могла природа создать такое чудо? Пласт семнадцать метров — и ни одного прослойка породы. Это чистый углерод. Природа герметически прикрыла его и хранила тысячулетья.

— Она хранила его для нас, Алексей Александрович,— отвечал Кратов.— Она ожидала, пока мы родимся.

Однажды Кратов рассматривал географическую карту России. Под рукой лежала готовальня. Он взял циркуль и воткнул острие в центр Кузнецкого бассейна. Другую ножку он оттянул до Минска и одним движением очертил полный круг — линия проходила через Батум, Одессу, Ригу, через пограничные пункты западного рубежа, пересекала Северный Ледовитый океан, шла сквозь Камчатку, резала пополам Сахалин и касалась Владивостока. Радиус круга был три с половиной тысячи километров. В центре находилась точка, вокруг которой сосредоточивалось три четверти угольных запасов страны. Он, Кратов, стоял в этой точке, затаив дыхание, с циркулем в руках. Проносились неясные мечты. Об этой минуте он не рассказал никому.

Копикуз укрепился, но с металлургическим заводом все оставалось неясно. Французы опасались вкладывать капиталы во время войны. Летом 1915 года Трепов повез на Тельбес представителя английской металлургической и пушечной фирмы Виккерс. К финансовой связи переговоры не привели.

Дальнейшее расширение рынка кузнецкого угля упиралось в необходимость иметь металлургический завод, и Владимир Федорович Трепов сделал попытку достать деньги у правительства. Через брата — министра путей сообщения — он получил казенный заказ на восемьдесят семь миллионов пудов рельсов и скрепленый. Банк создал новое акционерное общество. Кратов представил расчет мощности завода. Он настаивал на крупном масштабе — иначе не оправдывались капитальные затраты на сооружение железной дороги и освоение района. Трепов уговорил брата сделать следующий шаг — просить у Думы двадцатимиллионную беспроцентную ссуду для сооружения завода.

Трепов подходит к министерской ложе, приоткрывает дверь и слышит голос кадета Постникова:

— Придворная камарилья, бездарная в священном деле обороны, делит казенный пирог.

Трепов осторожно прикрывает дверь и говорит Кратову:

— Походим еще.

Через десять минут в коридор выходит Шайкевич.

— Провалили, — говорит он Трепову. — Поедем в правление. Я вызову брата по телефону.

Большой Шайкевич молча выслушал рассказ о заседании.

— Скандал! — сказал он. — Общество металлургических заводов придется ликвидировать — с такой репутацией не покажешься на бирже. Строительство завода начнет Копикуз. У нас казенный заказ — это уже капитал.

Правление Копикуза испрашивает у министерства финансов разрешение на новый выпуск акций в двенадцать миллионов рублей.

Кратов телеграммой вызывает Курако.

II

В центре Юзовки два ресторана смотрят друг другу в окна — «Великобритания» и «Гранд Отель».

Шестнадцатого января 1917 года в «Гранд Отель» не впускали завсегдаев. У дверей стоял розовый и пухлый человек.

— Ресторан закрыт, — говорил он, таинственно понижая голос. — Провожаем Михаила Константиновича.

Напротив, через улицу, старший официант «Великобритании» сообщал:

— Закрыто. Кутят доменщики. Провожаем Михаила Константиновича.

Даже старый татарин Джэп — так прозвали его англичане: джэп по-английски японец — не пускает никого в свой подвальчик на пятой линии. Утром шлаковщик Нестор, удивительный безобразник и знаменитый пьяница, передал Джэпу триста рублей от Макарычева и забронировал, выражаясь современным языком, все наличие ликеров и шампанского.

Кутеж начался в «Великобритании». Когда стол залили вином и в грязных тарелках появились окурки, доменщики всем гуртом перешли на свежие скатерти «Гранд Отеля». На рассвете пир угаснет у старого Джэпа, где подается только черный кофе и шампанское. После кофе доменщики пойдут к печам.

Пятьдесят человек сидят за длинным столом. Вперемежку расселись начальники доменных цехов, старшие и сменные инженеры, горновые, механики и слюшники. Из Мариуполя, Енакиева, Краматорки, Екатеринослава съехалось куракинское братство — его

ученики, птенцы его гнезда, русские американисты. Старший по чину здесь Белоконь — директор Тульского завода. Он единственный директор в этой компании инженерства и мастеровщины.

Курако сидит в голове стола, сбросив пиджак и оставшись в белой косоворотке, заправленной в брюки, и черной жилетке, застегнутой на пять пуговиц. По правую руку Курако — Максименко, слева — Макарычев.

— С Югом кончено, барбосы! — кричит Курако.

Шум мгновенно стихает. Все, кто сидел за столом, обожали своего Константиныча, и каждый чувствовал себя счастливым, когда Курако подходил к нему.

— С Югом кончено! — повторяет Курако.

Это нелепость. Но все пьяны, и никто не спорит.

— Через год мы устроим пир в Сибири. Кто придет ко мне?

Все отвечают:

— Приедем, приедем...

Курако приглашает каждого в отдельности. Он знает геройские подвиги за каждым, вспоминает вслух, как лазали вместе в горячие домны, как распаривали «козлы» и перестраивали печи. Каждого спрашивает Курако:

— Поедешь работать в Сибирь?

С ним выезжает завтра десять человек. Остальных Курако зовет к пуску. Никто не отказывается. В ответ кричат:

— Да здравствует Курако, отчаянный доменщик!

Это высшая похвала.

— Вот кто отчаянный доменщик, — говорит Курако, показывая на Макарычева. — Иван Петрович, ты будешь начальником кузнечных печей. Согласен?

Макарычев встает и смотрит на Курако влюбленно:

— С тобой хоть на край света, Константиныч.

III

Три месяца Курако живет в петроградской гостинице «Астория». Он томится бездействием. Южане, которых он взял с собой, ежедневно приходят и спрашивают:

— Когда же наконец поедем?

Курако ничего им не может ответить.

Революцию он встретил вдали от родного юга. Там шли забастовки, все кипело на доменных заводах, а он сидел, ожидая, чем решится судьба Копикуза.

Владимир Федорович Трепов разгуливал по улицам с пышным бантом из красного шелка. Он первый поднял шляпу при встрече с Шайкевичем-большим. Директор Международного банка не заметил поклона.

Трепов звонил Кратову:

— Осип Петрович! Приезжайте, расскажите о новостях.

— Приехать не могу, занят.

Трепов вздыхал и не сразу опускал трубку — он ждал, не пригласит ли его Кратов к себе. Трубка молчала.

Владимир Федорович надевал бант и шел к Аничкову дворцу. Канцелярию кабинета занял Совет рабочих депутатов.

Революция обесценила связи Трепова и сделала Кратова первым лицом в Копикузе. В новом министерстве торговли и промышленности Кратов чувствовал себя, как в инженерном клубе. Министерством управлял Степанов, горный инженер, приятель Кратова по Донбассу. Директором горного департамента стал инженер Малявкин. С ним Кратов учился в Горном институте и работал на донецких углях.

Посещая министерство, Кратов обычно проходил прямо в огромный кабинет, который занимал Петр Акимович Пальчинский, его ближайший друг, душа директорского выпуска. Смолоду Пальчинский считал себя анархистом, в пятом году был арестован и предан военно-полевому суду, бежал за границу, сблизился с Кропоткиным и женился на его племяннице. Он увлекался утопиями Уэльса и идеей технократии — государства, которым правят инженеры. В первые дни объявления войны Пальчинский вслед за Кропоткиным объявил себя оборонцем, примирился во имя победы с правительством царя, вернулся в Россию, работал в банках. Февральская революция сделала Пальчинского товарищем министра торговли и промышленности и председателем комиссии по государственной обороне. Он возмущался мягкотелостью Керенского, требовал введения смертной казни и разгрома большевистской партии. Он говорил Керенскому: «Объявите Петроград прифронтовой полосой, назначьте меня генерал-губернатором — и посмотрите, как наведет

порядок горный инженер». Анархист рвался к власти, к военной кровавой диктатуре.

Кратов просил Пальчинского «провести» через Временное правительство подтверждение договора с кабинетом и казенного заказа на рельсы.

Пальчинский сочувственно кивал. Огромный нос делал некрасивым его подвижное лицо.

— Проведем, — успокаивал он. — Дело бесспорное. Я всегда советовал заняться Кузбассом. Минеральное топливо Уралу — это ведь моя идея.

Кратов знал привычку Пальчинского приписывать себе все крупные экономические планы. О чем бы ни заходил разговор, Пальчинский обязательно вставляет: «Я об этом говорил, я это советовал». Кратов обычно защищал своего друга, когда Пальчинского называли хвастуном, Хлестаковым. Кратов объяснял, что Пальчинский — всеобъемлющий, энциклопедический ум, что он действительно размышлял и высказывался о великом множестве вопросов.

На этот раз Кратов сказал:

— Как же, как же... Ты Еве советовал соблазнить Адама. Все знают, что это твоя идея.

Решение вопроса задерживалось во Временном правительстве. Углепромышленники требовали отмены копикузовской концессии и распространения на Кузнецкий бассейн права свободных заявок, как в Донецком бассейне, как во всех бассейнах мира.

А Курако сидел без дела, впереди темнела неизвестность.

Двадцать девятого апреля утром его вызвал к телефону Кратов.

— Есть важные новости. Буду у вас через полтора часа.

Через час в дверь постучали.

— Входите, Осип Петрович, я жду вас.

В дверях не было Кратова. В комнату вошли четыре доменщика с Юга. Курако расцеловался с молочным братом. Максименко рассказал, что Курако избран членом Юзовского Совета рабочих депутатов. Доменщики звали Курако на Юг. На заводах Юга явочным порядком вводится восьмичасовой рабочий день и рабочий контроль. Недалеко время, когда рабочие возьмут заводы в свои руки.

— Нас послали за тобой, — сказал Максименко.

Курако задумался. Снова раздался стук в дверь.

Вошел Кратов и вопросительно оглядел незнакомых людей.

— Говорите, Осип Петрович,— это мои друзья.

Кратов вынул из портфеля несколько хрустящих бумаг.

— Прочтите.

Курако развернул договор Копикуза с Временным правительством. Оно подтверждало все права и привилегии Копикуза, предоставленные ему кабинетом и свергнутым правительством. Копикуз получал ряд добавочных льгот.

— Когда можете выехать в Сибирь, Михаил Константинович?

— Поедем с нами, Курако. Тебя ждут в Совете рабочих депутатов.

Курако посмотрел на Максименко, потом на Кратова. Он сказал:

— Нет, барбосы, с Югом кончено! Завтра курьерским, Осип Петрович.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ВАГОН №...

I

Из Петрограда до Москвы Гапеев ехал двое с половиной суток. Два матроса с маузерами пробили ему дорогу в вагон. Гинденбург стоял в тридцати километрах от Питера. Город эвакуировался. На поезд нельзя было попасть.

В день приезда Гапеев прочел в «Правде» приказ Реввоенсовета: «Каждый чех, обнаруженный с оружием в руках на линии железной дороги, подлежит расстрелу на месте без суда и следствия».

Леонида Ивановича Лутугина уже не было в живых. Он умер в 1915 году в Кузбассе. После приступа астмы, после четырехдневной голодовки, он выпил недоброкачественного молока и отравился. Кратов выслал из Томска лучших врачей. Они застали труп. Цинковый гроб Гапеев привез в Питер. За катафалком шло пятнадцать тысяч человек. Максим Горький вошел в комитет по увековечению памяти Лутугина.

Лутугинская группа не распалась. Каждую весну лутугинцы уезжали в Кузбасс. Бассейн раскрывал им

свои тайны. Цифра, названная Леонидом Ивановичем, — двести пятьдесят миллиардов тонн, — была обоснована и подтверждена. Выплывала новая — четыреста миллиардов.

Весной восемнадцатого года никто не послал лутугинцев в Сибирь. Трепова арестовали и после убийства Володарского расстреляли на взморье против Кропштадта. Копикуз, казалось, перестал существовать. Советские правительственные учреждения покидали Питер.

Лутугинцы не могли там добиться толку и послали Гапеева в Москву. Они заканчивали составление геологической карты Кузнецкого бассейна, и бессмысленно было терять лето.

Десять дней Гапеев курсировал от Главугля к Горному совету ВСНХ и обратно. Ему говорили, что в Сибирь едут на крышах и на буферах, что лутугинцы доберутся в Кузбасс только к зиме, что по дороге их ужокошат чехи.

Никто не давал средств на продолжение разведок. Будучи решительным по натуре человеком, Гапеев плюнул и обратился в Совнарком. В Кремле его принял управляющий делами Совнаркома.

— Напишите... Я доложу о вашей просьбе... Позвоните мне через неделю...

— Через неделю... Пропадают золотые дни...

— Вы думаете, у Совнаркома нет более важных дел?

Гапеев уходит злой. Хочется бросить все и пробираться обратно в Питер. Он сидит в Москве без дела, мрачный и недовольный.

Через два дня Гапеев застаёт у себя в номере гостиницы человека в кожаном костюме. Его руки маслянисты и черны. На правом боку висит браунинг.

— Вы товарищ Гапеев?

— Да...

— Я шофер Совнаркома. Мне приказано немедленно доставить вас в Кремль. Пойдемте в машину.

В Кремле Гапеева встречает управляющий делами. Он сообщает, что Совнарком предлагает лутугинской группе выезжать немедленно, по возможности без задержек. Ленин распорядился предоставить лутугинской группе все нужное, не допуская ни малейшей волокиты.

— Владимир Ильич хотел бы, чтобы вы не думали о

продовольствии, об одежде, а только о работе. Вам предоставляется отдельный вагон. Он будет продвигаться как военно-оперативный. Вот предписание комиссарам и начальникам станций. Желательно, чтобы вы были на месте через восемь-десять дней. Сколько нужно денег?

Гапеев прикидывает на бумаге. Управляющий делами округляет цифру и выписывает чек.

— Что нужно еще? Продовольствие... Одежда... Вот ордера... Нужны ли инструменты, приборы? Вот мандат... Машина в вашем распоряжении до отъезда. Поезжайте на вокзал и переселяйтесь в вагон. Охрану потребуйте от комиссара узла. Сообщения из Кузбасса шлите прямо сюда — Кремль, Совнарком.

— А чехи? — спрашивает Гапеев.

— Чехи? Мы их раздавим в две недели... Ну, не задерживайтесь, не теряйте времени... Счастливого пути...

Гапеев выходит с мандатами, ордерами и чеком. Его ждет машина. Он садится и не знает, куда ехать. Прежде всего к себе — обдумать, опомниться. Машина взлетает вверх по Тверской.

II

На Страстной площади Гапеев вскочил и дернул шофера за плечо.

— Стой, товарищ!

Гапеев видит знакомую фигуру. Согнувшись, медленно шагает Кратов и тащит на плечах чемодан. Сзади красногвардеец с винтовкой.

«Конец Копикуза», — проносится в голове. Гапеев кричит:

— Осип Петрович!

Кратов оглядывается на крик. Пот заливает глаза, он никого не видит. Присев на чемодан, он вытирает лысину, лоб и шею платком.

Гапеев соскакивает с подножки.

— Куда вас ведут, Осип Петрович? А это что? Останки Копикуза?

— Поднимите-ка, батенька, — весело говорит Кратов.

Когда-то Гапеев славился своей силой. Он берет ручку, отрывает чемодан от земли и бросает обратно: чемодан мягко шлепается об асфальт. В Кузбассе Гапеев нажил грыжу, а в чемодане явно больше двух пудов.

— Чем вы его набили? Образцы тельбесских руд, что ли?

— Здесь десять миллионов восемьсот семнадцать тысяч керенками. Студа Копикузу от Советского правительства...

— А разве он не национализирован?

— Пока живем и здравствуем.

Кратов рассказал, что коллегия ВСНХ решила по-временить с национализацией Копикуза. Две недели провел он в Москве в непрерывных хождениях по главным, убеждая, что национализация Копикуза в данный момент преждевременна и развалит дело. Он виделся несколько раз с председателем ВСНХ.

— И вот...

Кратов похлопал чемодан по вздувшемуся пузу.

Гапеев рассказывает о своих новостях.

— Прекрасно... Еду с вами... Возьмете? — спрашивает Кратов.

— Пожалуйста... А почему вы пешком?

— Извозчика не найду... Дали охрану...

— Я вас подвезу... Садитесь...

Рука Кратова тянется в карман. Он нащупывает бумажку, чтобы дать красногвардейцу на чай. Тот стоит, усталый и мрачный, опершись на винтовку. Темное лицо, как истрескавшееся дерево, изрезано морщинами. На губах нет улыбки. Кратов передумывает. Рука выскальзывает из кармана, Кратов хватается ручку чемодана и тащит через площадь к автомобилю.

III

В 1918 году Ленин особенно много думал о востоке. Немцы захватили Украину. Прусские остроконечные лакированные каски появились в Ростове-на-Дону. Советская Россия потеряла Донецкий бассейн и металлургические заводы Юга. Страна потеряла девяносто процентов годовой добычи угля и семьдесят процентов выплавки металла. Ленин думал о востоке. Он писал, что Страна Советов, несмотря ни на что, может стать страной крупной индустрии, страной угля, железа, машин, электричества и химии, потому что пролетарская революция имеет в резерве гигантские запасы первоклассной руды на Урале и коксующегося угля в Западной Сибири.

Еще из Питера Ленин посылает на Урал телеграмму с предложением разработать проект создания «единой хозяйственной организации, охватывающей область горно-металлургической промышленности Урала и Кузнецкого каменноугольного бассейна».

Президиум ВСНХ объявляет конкурс на лучший проект создания комбината на основе естественных богатств Сибири и Урала. Срок конкурса — шестимесячный. Премия — десять тысяч.

Общество сибирских инженеров высказывается против конкурса. Кратов, бессменный председатель общества, выдвигает иное предложение. От имени общества он входит в переговоры с ВСНХ, заявляя, что в шесть месяцев проект создать невозможно, что десять тысяч — ничтожное вознаграждение. Общество предлагает выполнить работу в порядке договора и представляет смету. ВСНХ дает согласие, Кратов получает в Москве по смете деньги для общества на полугодие и везет их с собой вместе с десятиmillionной ссудой Копикузу.

Разработку урало-кузнецкого проекта Кратов мыслит как продолжение дела Копикуза.

Он всегда рассматривал Общество сибирских инженеров как одну из подсобных организаций в системе Копикуза, одну из фигур его шахматной партии. Общество и раньше занималось проблемой сбыта кузнецкого угля. Предложение ВСНХ подвернулось кстати. Кратову хочется как можно скорее получить вычисления наивыгоднейших вариантов урало-кузнецкого проекта с точностью до одной сотой копейки. Близится время завоевания Урала эшелонами кузнецкого кокса. Кратову кажется, что в осуществлении этого — его миссия на земле.

IV

В вагоне Кратов неразговорчив и замкнут. С ним в купе поместился профессор Владимир Климентьевич Котульский — крупнейший специалист по рудным месторождениям, приятель Кратова по Горному институту. Котульский ничем не напоминал геолога. Полный, медлительный, с породистым барским лицом и холеными розовыми ногтями, он походил скорее на оперного певца. Котульский и в самом деле обладал превосходным баритоном.

Человек двадцать геологов пристроились к вагону, предоставленному Совнаркомом лутугинской группе. Ехали все, кто оставил в Сибири незаконченную поле-вую работу.

По вечерам собирались группами, пели хором. Котульский солировал:

Что день грядущий нам готовит?
Его мой взор напрасно ловит...

Он ехал на разведки руды в Забайкалье и всю до-рогу изводил Кратова. Над урало-кузнецким проектом он издевался:

— Везить уголь за две с половиной тысячи верст... У тебя его раскрадут по дороге...

— В Кузбассе свой завод будет,— вяло отвечал Кратов.

Котульский таил давнюю обиду на Кратова. Он был оскорблен, что Копикуз пригласил разведывать руду в Горной Шории не его, а какого-то Гладкова.

— Завод в Кузбассе? На тельбесской руде? — спросил Котульский и расхохотался.

Кратову захотелось выйти из купе, хохот Котуль-ского действовал ему на нервы.

— О тельбесской руде поговори с Гладковым.

— Что такое твой Гладков? Разве есть в этой си-бирской дыре хоть один настоящий ученый?.. Осканда-лишься ты со своим Гладковым.

— Владимир, оставим этот разговор...

В Екатеринбург поезд прибыл на шестые сутки. Цвели липы. Белые пушинки садились на желтовато-серый, низкий, как черепаха, бронепоезд. На путях — люди с винтовками. Пулеметные ленты крест-накрест опоясывали грудь. Геологам объявили, что на линии идут бои и дальше вагон не пойдет. Гапеев с мандатом Совнаркома бросается к командующему фронтом. Он уверяет, что геологи стоят вне политики, что чехи не тронут лутугинцев и вагон проскочит в Кузбасс. Коман-дующий рассматривает печать Совнаркома и обещает снести по прямому проводу с Кремлем.

Геологи разошлись по городу. К вечеру они воз-вращаются в вагон с покупками и новостями. У Котуль-ского пластырем заклеен нос. В городе он заинтере-совался домом купца Ипатьева. Ограда была обшита неструганым тесом, будто внутри шла стройка. Котуль-

ский заглянул в щелку, и доска стукнула его по носу. Кто-то изнутри ударял прикладом и кричал:

— Проходи! Стрелять буду!

В доме Ипатьева сидел Николай Романов с семьей.

v

Вагон стоял на вокзальных путях. Кратов скучал в вагоне. Кремль не отвечал.

Достав циркуль, он вырисовывал диаграмму добычи угля рудниками Копикуза. Кружочки становились крупнее с каждым годом.

Семнадцатый год — год потрясения и развала — по-прежнему давал повышение, добыча возросла на сорок шесть процентов. Кратов не допустил забастовок: не дожидаясь требований, он сам повысил ставки и сократил рабочий день.

Вся промышленность переживала депрессию, крупнейшие общества замирали, много предприятий национализировано, а Копикуз дышал легко и свободно в его, Кратова, руках.

Кратов тихонько напевает по-французски:

Труд-ные положе-ни-я соз-даются для того...

В купе входит Котульский со свежей газетой. Агитпункт вокзала ежедневно выдает для геологов по одному экземпляру «Правды».

— Поздравляю, — говорит Котульский. — Распрощайся с Копикузом. Сегодня декрет о всеобщей национализации.

Кратов кладет циркуль. Вспоминается карта, взмах руки, окружность от Батума до Владивостока.

Кратов говорит спокойно:

— Покажи.

Он читает:

«В целях упрочения диктатуры рабочего класса и деревенской бедноты, объявить собственностью Российской Социалистической Федеративной Советской Республики все принадлежащие акционерным обществам предприятия...

Подпись: Ульянов (Ленин)»

Кратов читает:

ОТ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ФИНАНСОВ

«Все акции и облигации объявляются аннулированными и не подлежат приему ни в государственных учреждениях, ни в частном обращении, как не имеющие никакой цены».

Кратов переворачивает лист. Он проглядывает подвал — «Пророческие слова», статья Ленина.

«Рождение человека связано с таким актом, который превращает женщину в измученный, истерзанный, обезумевший от боли, окровавленный полумертвый кусок мяса. Маркс и Энгельс, основатели научного социализма, говорили всегда о долгих муках родов, неизбежно связанных с переходом от капитализма к социализму».

Кратов говорит:

— Они не родят.

Вагон стоит на вокзальных путях. Кремль не отвечает. Каждый день геологи читают «Правду».

«Правда», 4 июля

Открытие пятого Всероссийского съезда Советов состоится сегодня, 4 июля, в 2 часа дня в Большом государственном театре.

На съезд Советов прибыло около 1000 делегатов, большевиков — 617, других партий — 340.

Передовая — «Пятый съезд»:

Печать буржуазии усердно подсчитывает мандаты левых эсеров, прибавляет к ним максималистов, анархистов, новожизненцев. Некоторые прибавляют еще не менее 50 левых коммунистов и обнаруживают, таким образом, большинство против Совета Народных Комиссаров... Но мы должны разочаровать буржуазию. Ей еще не суждены триумфы. Партия большевиков и на этом съезде выйдет победительницей.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Чехословацкий восточный фронт. Златоуст занят противником.

«Правда», 5 июля
ПЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
СОВЕТОВ

Свердлов. Итак, фракция левых эсеров покинула зал заседаний. Заседание Всероссийского съезда продолжается. (Аплодисменты).

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Чехословацкий восточный фронт. Шадринск занят противником.

«Правда», 7 июля
ВО ВСЕ РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ РКП,
ВО ВСЕ РАЙОННЫЕ СОВДЕПЫ,
ВСЕМ ШТАБАМ КРАСНОЙ АРМИИ

Около 3 часов дня брошены две бомбы в немецком посольстве, тяжело ранившие графа Мирбаха. Мобилизовать все силы, немедленно поднять на ноги все для поимки преступников.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Ульянов (Л е н и н)

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сегодня 6 июля около 3 часов дня убит бомбой германский посланник граф Мирбах.

Россия теперь по вине негодяев левого эсерства на волосок от войны.

На первые же шаги, предпринятые для захвата убийцы, левые эсеры ответили восстанием против Советской власти.

Все на свои посты! Все под оружие!

«Правда», 8 июля
ТЕЛЕГРАММА

Задерживать все автомобили. Везде опустить шлагбаумы на шоссе. Арестованных не выпускать без тройной проверки и полного удостоверения в непричастности к мятежу.

Л е н и н

ПОДРОБНОСТИ
ЛЕВОЭСЕРОВСКОЙ АВАНТЮРЫ

Захватив центральный телеграф, левые эсеры разослали телеграмму по всем линиям:

«Всякие депеши за подписью Ленина, а равно депеши, направленные контрреволюционными партиями правых эсеров, меньшевиков, кадетов и монархистов, задерживать, признавая их вредными для Советской власти вообще и правящей в настоящее время партии левых эсеров в частности».

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ

Отдано распоряжение об аресте всех левых эсеров и прежде всего об аресте всех членов ЦК ПАРТИИ ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ. Оказывающих сопротивление при аресте — расстреливать.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Восточный чехословацкий фронт. Вследствие прорыва Волго-Бугульминской жел. дороги и недостатка сил Советской власти пришлось оставить Уфу.

«Правда», 11 июля

ЯРОСЛАВЛЬ В РУКАХ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

Белые выступили в ночь на 6 июля в 2 часа. Председатель Совета тов. Закгейм заколот штыками. Военный комиссар тов. Нахимсон захвачен в номере гостиницы «Бристоль». Он расстрелян во дворе офицерским отрядом... Населению сообщено, что Советская власть в Москве свергнута.

НА МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Англо-французско-сербскими войсками занята вся железнодорожная линия от Мурманска до Сорок. За вчерашний день неприятель продвинулся на 11 верст к югу от Сорок. Расстреляны члены Совдепа — Мальцев, Каменев, Вицук.

«Правда», 12 июля

Муравьев, бывший главнокомандующий войск внутреннего фронта, левый эсер, пытался двинуть войска на Москву. Получив отпор, он покончил самоубийством.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Чехословацкий восточный фронт. Ялуторовск занят чехословаками. В районе Екатеринбурга восстания против Советов подавлены.

«Правда», 16 июля

Сегодня в номере:

Германское правительство потребовало от Советского правительства допущения батальона германских солдат в Москву для охраны германского посольства. Совет народных комиссаров в этом отказал.

Коммунист!

Умеешь ли ты обращаться с оружием?

Справишься ли с пулеметом, с ручной бомбой, с минометом?

Если нет, немедленно приди в свой район и запишись на обучение.

Будь готов защищать социализм!

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Восточный чехословацкий фронт. Бирск занят противником. Наши силы отходят.

«Правда», 17 июля

ПРИКАЗ ПО АРМИИ И ФЛОТУ

Среди военных специалистов было за последние недели несколько случаев измены. Мохин, Муравьев, Звягинцев, Веселаго и некоторые другие перебежали к иностранным насильникам и захватчикам.

Никакой пощады предателям!

«Правда», 19 июля

Сегодня в номере:

Николай Романов расстрелян.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Восточный чехословацкий фронт. Противник ведет наступление по двум железнодорожным линиям: Екатеринбург — Челябинск и по Западно-Уральской. На первой из указанных линий наши войска отошли в районе станции Мраморской.

«Правда», 24 июля

ПЕРЕДОВАЯ — УГРОЗА РАСТЕТ

Чехословаки взяли Симбирск. Волга перерезана еще в одном месте. Самая крупная артерия страны перехвачена тугой веревкой. Мятеж расплзается, как жирное пятно на бумаге. Да здравствует натиск на врага!

Коммунист!

Умеешь ли ты обращаться с оружием?

Справишься ли с пулеметом, ручной бомбой, минометом?

ГУБЕРНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ

...Слово о текущем моменте предоставляется тов. Ленину.

«Последние дни,— начинает оратор,— ознаменовались крайним обострением дел для Советской Республики. Голод — самый отчаянный враг Советской России».

Товарищи!

Ввиду появления холеры в Москве прививайте себе противохолерную вакцину и убеждайте других делать это.

Прививки производятся бесплатно.

РЫТЬЕ МОГИЛ БУРЖУАЗИЕЙ

Петроград. Введенная среди буржуазии повинность по рытью могил для холерных проводится энергично. Ежедневно обеспеченное население отправляется на рытье могил.

«Правда», 25 июля

Товарищи и граждане!

Чехословацкие банды временно лишили нас возможности получать и то скудное количество питания, которое мы получали до сих пор. Вчера и сегодня мы не могли совершенно выдавать хлеб населению. Приняты экстренные меры, чтобы добыть муку.

Товарищи рабочие!

В Финляндии и на Украине, где хозяйничают враги народа, на почве истощения работает новая болезнь под названием испанка. Что же будет здесь, где хлеба нет, если удастся дьявольский план взять рабочих измором.

Теснее революционные ряды!

Все на своих местах, все на страже в эти тяжелые дни!

ЯРОСЛАВЛЬ НАШ

Чрезвычайная комиссия выделила из общей массы арестованных 350 человек, в большинстве бывших офицеров. По постановлению комиссии эти 350 человек расстреляны.

ВОССТАНИЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ В ВОЛЬСКЕ

Вооруженные банды захватили Вольск, распространившись и на уезд.

КРОВАВАЯ РАСПРАВА В СЫЗРАНИ

Расстрелянные рабочие насчитываются сотнями, если не тысячами.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Восточный чехословацкий фронт. Наши части с боем отходят к Екатеринбург.

Номер «Правды» от 25 июля был последним, который видели геологи. Страна, как женщина, истерзанная, обезумевшая от боли, рожала новый строй.

Утром 29 июля геологи увидели чехов. Екатеринбург стал белым.

Гапеев растерялся. Что делать с мандатом Совнаркома?

Геологи сошлись в проходе и спорили, не зная, что предпринять.

Из купе выходит Кратов. За ним парикмахер, — Кратов никогда не посещал парикмахерских, вызывая мастеров к себе. Он выбрит, подстрижен и надушен. На нем новый костюм вместо дорожной тужурки — позолоченные молоточки празднично сияют на солнце. В руках поблескивает портфель крокодиловой кожи.

— Успокойтесь, господа. Прошу не выходить из вагона... Все дальнейшее я беру на себя...

Он вынимает из портфеля сложенный вчетверо лист плотной бумаги. Она голубая.

Это засвидетельствованная петербургским нотариусом полная доверенность акционерного общества Копикуз. Кратову передоверялись все права общества — он мог заключать договора на неограниченные суммы, продавать имущество общества и приобретать для него, отвечать на иски и вчинять таковые, производить любые расходы по собственному усмотрению, выдавать векселя, обеспеченные всем активом общества.

Через два часа Кратов возвращается из города. Вагон прицепляют к первому поезду, отправляющемуся на восток.

Через двое суток геологи прибыли в Омск. Там заканчивалось формирование временного сибирского правительства.

В Омске стояли несколько дней. Кратов пропал в городе. Он провел крупную деловую операцию, заключил договор с сибирским правительством на поставку угля и получил в качестве аванса полтора миллиона керенками — они ходили у всех властей.

К пузатому московскому чемодану, покоившемуся всю дорогу на верхней полке, Кратов привязывает ремнями тяжелый маленький баульчик.

Он раздает лутугинцам удостоверения от нового правительства с предписанием военным и гражданским властям оказывать всяческое содействие геологоразведочной работе в Кузбассе.

С едва заметной усмешкой, потонувшей в усах, Кратов сообщает, что Павел Павлович Гладков получил портфель министра торговли и промышленности в новом кабинете.

Котульский прекратил остроты по адресу Гладкова. Вагон покатил дальше на восток. Его номер не сохранился для истории.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ВОССТАНИЕ

I

Шампанское стынет в серебряных ведрах со льдом. Погоны мелькают среди черных фраков.

В зал входит Кратов.

Оркестр военнопленных мадьяр играет встречу. Кратов в дорожном костюме — сапоги на двойной подошве, инженерская куртка.

Пятого апреля 1919 года Кратов выехал из Томска в Кемерово. Через два дня на недостроенном Кемеровском коксохимическом заводе в маленьких печах упрощенного типа начнутся испытания коксуемости осиновских углей. Пласты осиновского угольного месторождения выходили на реку Кондому как раз против площадки будущего металлургического завода. Осиновка — ближайший пункт к Тельбесу. Кратов был уверен, что результаты испытаний будут превосходны, но все же волновался. Он выехал, чтобы лично проследить за процессом коксования.

По пути в Кемерово Кратов остановился ночевать в Кольчугине и попал на офицерский бал. Кратову скучно, после дороги у него усталость и насморк. Поручик Зеленков, начальник гарнизона, бывший псаломщик, лезет к Кратову целоваться. Трезвые глаза Кратова брезгливо щурятся. Оркестр играет. Никто не замечает, что музыканты следят за стрелками на больших часах и переглядываются. Кратов исчезает с бала. Он идет в недостроенный директорский дом, где двадцать комнат, столовая на сто человек, бильярдная и зимний сад. Там ему приготовлена комната на ночь.

Поселок угрюмо чернеет сплошным пятном без единого огонька. Музыка прорывается сквозь двойные рамы. Часовой у казармы поглядывает на яркие окна. Из дверей пулеметной команды выставил рыльце «максим» с заправленной лентой. Офицерские комнаты на втором этаже пусты — все на балу. Кратов идет в темноте, сунув правую руку в карман, где лежит маленький браунинг без кобуры.

Когда-то здесь стоял сплошной березняк; три лета все трещало на этом месте — крестьяне рубили, тесали и возили лес. В 1913 году Кратов привез сюда триста шахтеров из Донбасса. Он отбирал их лично и всех

знал по именам. Он приобрел для них крестьянские избы и каждому купил корову и свинью. Рабочие ежемесячно выплачивали за это. Теперь в бараках кольчугинских копей шесть тысяч человек. В бараках все знают фамилию Кратова. Там получают деньги, на которых стоит его подпись,— собственные деньги Копикуза, боны от рубля до ста. Их называют «кратовками» или «копикюзовками», другими деньгами рабочим не платят.

В директорском доме Кратов ложится в постель, насыпает сухую горчицу в носки и надевает их. Горчичник у пяток на двадцать минут — лучшее средство от насморка.

Бал продолжается. Сменяются мазурки и вальсы.

Штейгер Вагнер выпивает последнюю рюмку и смотрит на часы. Две минуты первого. Аккуратный немец идет за калошами. Он рано встает.

В передней его сбивает человек в белье, весь в крови. Он влетает в зал и дико кричит:

— Восстание!.. Восстание!..

Офицеры сразу трезвеют, хватаются за оружие и кидаются к дверям. Оркестр ударяет залпом из шести револьверов. Падают тела. Офицеры выскакивают из окон. Дамы в бальных туалетах бегут в темноту.

Завыл гудок протяжно и тревожно. Из шахтерских барачков выбегают люди. Поручик Зеленков бросается к казарме. Часовой пропускает, не спрашивая пароля. Едва Зеленков переступает порог, часовой выстрелом в спину кончает с поручиком. Это кольчугинский подпольщик, снявший часового.

Офицеры, отстреливаясь, бегут к лесу. По ним трещит пулемет.

Кратова поднял надрывающий душу гудок. Он подошел к окну и пытался разглядеть зарево пожара. Сквозь двойные рамы слышны выстрелы.

Кратов одевается, не попадая ногами в сапоги. Он выбегает на улицу и мечется, как слепой. Он знает: его не пощадят подпольщики. Год назад, в начале восемнадцатого, в контору Кольчугинского рудника пришли представители ревкома. Кратов собирался уезжать в Петербург: связь с правлением была утеряна, оно притаилось в столице, поток ассигнований иссяк. Перед отъездом Кратов собрал администрацию рудника в директорском кабинете. Ревкомовцы вошли туда. На основании декрета о рабочем контроле они потребовали права участвовать в управлении рудниками.

дела в Сибири, создали временные правления и поддерживали друг друга. Кратов изворачивался, перехватывая ссуды, выпуская «копикузовки», распределяя за половину номинала новый выпуск акций среди сибирского купечества.

Собранные крохи Кратов бросал на заводскую площадку и на южную группу рудников. Проектное бюро металлургического завода было переведено ближе к площадке — в город Кузнецк. Туда выехал со своим штабом сумрачный и неутомимый Садов, назначенный главным строителем завода. Центральное правление Копикуза оставалось в Томске.

Рядом с кабинетом приемная. Там ковры и картины. На столах образцы тельбесских руд и кузнецких углей. Без доклада в кабинет не входят. Докладывает о посетителях швейцар Константин. Обычно он спрашивает: «Как прикажете доложить?», уходит, возвращается и сообщает: «Просили немного обождать».

Сегодня все проходят мимо Константина без доклада.

Входит человек в адмиральской форме. Это брат Кратова — Михаил Петрович, адмирал Черноморского флота, друг Колчака, ныне начальник Томского гарнизона и вооруженных сил Томской губернии.

Он здоровается с Константином за руку. В 1918 году при Советской власти адмирал служил в Копикузе экспедитором — клеивал пакеты, перевязывал бечевкой посылки и носил их на почту. С тех пор он сохранил дружеские отношения с некоторыми низшими служащими Копикуза.

— Что слышно на фронте, Михаил Петрович?

— Плоховато, Костя, отдали Уфу.

— Что же так, Михаил Петрович?

Адмирал вертит пальцами в воздухе. Он считает, что Колчак много лучше понимает в морских делах, чем в сухопутных. Не отвечая, адмирал проходит в кабинет.

— Ну, как? — спрашивает Кратов брата. — Что слышно из Кемерово, с Гурьевска?..

— Кажется, спокойно... Карательную экспедицию отправляем в Кольчугино завтра.

Дверь распахивается. Быстро входит Елена Евгеньевна — жена Кратова. Она любит благотворительность и верховую езду.

— Иоська! Я открываю сбор. Ты должен подписаться первый.

— Какой? Куда?

— В Кольчугине перебьют рабочих. Надо помочь сиротам?

— Но ведь их еще не убили, Елена Евгеньевна,— говорит адмирал.

— Давай лист, Леля...

Кратов целует у жены руку и смотрит на нее влюбленными глазами.

Он пишет крупными буквами:

«В пользу вдов и сирот рабочих Копикуза, погибших при подавлении кольчугинского мятежа,

И. П. Кратов — 1000 рублей».

— Теперь вы, Михаил Петрович.

— Мне неудобно, душенька...

— Ну, как хотите... Потом вот что, Иоська: я хочу сегодня на доклад Грум-Гржимайло. Возьмешь меня?

— Тебе будет неинтересно...

— Нет, нет... Офицеры собираются... Я обязательно поеду.

Братья договариваются о субординации между начальником отряда и прикомандированным к карательной экспедиции представителем правления Копикуза. Адмирал шутит, поминутно отвлекается, любезничает с Еленой Евгеньевной. Кажется, что речь идет о деловой поездке, а не об убийстве сотен людей. На листе бумаги Кратов аккуратно и быстро, без единой помарки, перечисляет необходимые меры содействия военных властей быстрейшему восстановлению добычи. Эту памятку он вручает адмиралу. Поболтав еще несколько минут, адмирал прощается и покидает правление.

В кабинет входит Курако в азыме — светло-коричневом костюме из грубой верблюжьей шерсти. Он посещает Кратова редко и всегда приходит запросто.

— Осип Петрович! Я перебрасываю свой штат из Кузнецка на Гурьевский завод.

— Почему?

— На фронте отступление. Будут мобилизовывать всех, кто не на заводах...

— Пожалуй, вы правы.

— Я беру с собой всех, кроме Близунова. С ним можете делать, что хотите.

— Почему?

— Из него не выйдет доменщика. Он слишком любит свою жинку...

— Фу, какой вы...— говорит Елена Евгеньевна.

— У вас странные взгляды, Михаил Константинович,— поддерживает ее Кратов.

— Доменщик должен любить только одну женщину — домну.

В кабинет входит Константин. Он наконец дождался посетителей, о которых следовало доложить...

— Приехали с коксом из Кемерова... Прикажете обождать?

— Давай их сюда сейчас же...

Кемеровцы привезли новости. В Кемерове не было никаких попыток к восстанию — испытание осиновокских углей прошло спокойно в назначенный срок. Приезжие развернули упакованные в бумагу конусообразные серебристые куски. Кокс был превосходен. При ударе друг о друга куски издавали металлический звук.

— Прекрасно,— говорит Кратов.— Могу вас поздравить, Михаил Константинович. Вы будете иметь уголь для коксовых печей в трех километрах от завода.

— Разрешите, Осип Петрович, взять один кусок...

— Пожалуйста. Вы будете на докладе Грума?

— Приду...

III

Актовый зал Томского университета переполнен. Сидят профессора, инженеры, студенты, дамы. Много офицеров. В первом ряду Кратов. Рядом адмирал, геологи Гладков и Усов, профессор Гутовский и барон Фитингоф.

Грум-Гржимайло выступает против урало-кузнецкого проекта, выдвигая взамен собственный план — так называемый «план северной сибирской магистрали».

Проекты Грума всегда неожиданны и часто скандальны. Промышленники не допускали его к предприятиям. Он не шел на сомнительные сделки и мешал темным делам акционерных обществ.

Грум вырос на Урале, стал лучшим мастером качественной стали, называл вздором все, что было написано о производстве черного металла, увлекся металлургией войны, изготовлением орудий смерти. Со всех заводов прогоняли его, как скандалиста. Студентом он прочел у Добролюбова, что русским писателям не даются практические деятели, Штольцы (из романа «Обломов»), потому что не с кого писать.

«Я решил стать Штольцем»,— записал Грум в своей автобиографии. Это не удалось ему. Цейдлер, умнейший делец Урала, директор акционерного общества Надеждинских заводов, сказал однажды Груму:

— Вы слишком порядочный человек, чтоб быть управителем завода.

Грум любил вспоминать эту фразу.

Грум выходит на трибуну. Он огромного роста, с длинными зубами, с насупленными мохнатыми бровями, седая борода спускается до пояса — настоящий дед-черномор. Его встречают аплодисменты.

— Господа,— произносит Грум.

В зал врывается ветер.

Не закрывая за собой дверей, в зал входит Курако и одиннадцать куракинцев вслед за ним. Все одеты одинаково — в светло-коричневые куртки и штаны из грубой верблюжьей шерсти. Среди них инженеры, окончившие по два высших учебных заведения, но ни один не носит форменной фуражки. Курако ненавидел инженерскую форму. Он говорил:

— Не тот инженер, у кого два молоточка на лбу, а тот, кто за рубль сделает то, что дурак за два.

— Господа,— повторяет Грум.— На свете есть страна, работающая черный металл на древесном угле в маленьких заводах, очень напоминающая Урал. Однако в противоположность Уралу железная промышленность не влачит в ней жалкого существования. Напротив, она побеждает на мировом рынке колоссы Западной Европы и Америки, ввозя свои изделия в мировые центры промышленности и культуры. Эта страна — Швеция. Она поставляет сталь недосыгаемого для Европы качества. Эта маленькая страна справедливо вызывает удивление металлургов всего мира.

Курако всю жизнь воевал с металлургами немецко-бельгийского типа. Он впервые видел перед собой нового противника — представителя шведского течения — и слушал его с интересом.

Грум перешел к личным воспоминаниям о Швеции. Он рассказал о маленьких чистеньких заводах, об огромных лесах, прорезанных паутиной железных дорог. Железные дороги Швеции приспособились к малой населенности и к малой провозоспособности. Большинство станций упрощенного типа. Это домики в два окна с верандой для пассажиров. К проходу поезда начальник станции, он же стрелочник, телеграфист и

сторож, открывает станцию, пропускает поезд и возвращается к себе.

— В середине прошлого столетия,— продолжает Грум,— шведская железная промышленность находилась накануне краха. Рост коксовой металлургии и падение цен на железо на мировом рынке грозили совершенно погубить слабую металлургию Швеции, работавшую на древесном угле и потому поневоле дорожую. Шведы нашли выход. Они открыли свою страну для иноземного дешевого грязного железа и объединились для борьбы с мировой конкуренцией в области высших сортов стали.

Грум подходит к критике урало-кузнецкого проекта. Год работали над ним инженеры, геологи и профессора Сибири. Кипы экономических записок, таблиц, чертежей могут заполнить небольшую комнату. Основа проекта проста и понятна ребенку. Строятся четыре — только четыре — завода. Один в Сибири на рудах Тельбеса, три на Урале — у горы Магнитной, у Байкала и Алапаевска. Каждый завод американского типа, производительностью 800 тысяч тонн металла в год. Все четыре дадут мощность довоенной русской металлургии. Кузнецкий бассейн даст заводам кокс.

Грум говорит:

— Урал обладает самыми чистыми в мире, бессернистыми рудами. Чистота руд — столь драгоценное качество, что засорять их плавкой на коксе, всегда содержащем серу,— государственное преступление.

Грум изложил проект, которому Курако не мог отказать в остроумии. Грум предлагал провести круговую магистраль из Томска на Урал. Он называл ее Северной Сибирской магистралью. Свыше трех тысяч километров железной дороги просекут сплошной массив почти безлюдных лесов площадью больше Германии. Отсюда Урал получит практически неисчерпаемое количество древесного угля.

Грум перечислил изделия, требующие высококачественного древесноугольного металла: цилиндры паровозов, поршневые пружины, изложницы, прокатные валы с закаленными поверхностями, детали автомобилей, инструментальная сталь.

— Кроме того...

Грум возвысил голос:

— Кроме того, уральские руды как бы специально созданы для предметов вооружения и обороны. На

Урале мы возродим булат древних. История металлургии указывает, что все изобретения в ее области делаются и применяются прежде всего в военном деле. Война — это лаборатория мирной культуры. Человеческая культура проходит дорогую и суровую школу милитаризма и только путем этой школы познает возможности, вложенные в металл.

Грум подводил итог. Страна настезь открывает ворота потокам грязного коксового железа из-за границы. Урал становится мировым центром древесно-угольного железа, несравненного по качеству. Россия выделяет лучшие в мире орудия войны. Этим она обеспечивает свою мощь в концерне мировых держав. Миллионные капиталы, русские и иностранные, частные и государственные, надо направить не в Кузнецкий бассейн и не в четыре сверхгиганта, а на сооружение Северной Сибирской магистрали и в уральскую древесноугольную промышленность.

Кратов не пошевелился в течение всего доклада. Проект Грум-Гржимайло резал под корень дело, которому он посвятил себя.

Общество сибирских инженеров разрабатывало урало-кузнецкий проект по заданию Высшего Совета Народного Хозяйства на советские средства. Пока Гладков был министром, власти смотрели на это сквозь пальцы. Когда Колчак стал диктатором и создал новое правительство, Кратова вызвал премьер Вологодский, — раньше он был присяжным поверенным в городе Томске.

— Вы занимаетесь странными делами, Осип Петрович, — сказал Вологодский. — Знаете, как называется то, что совершаете вы, работая для большевиков?

— Для большевиков? — переспросил Кратов. — Я никогда не работал и не буду работать для них. Ни для них, ни для кого другого. Вы знаете меня не первый день, Петр Васильевич. Я создаю проект, пригодный для любой общественной структуры и нужный всякой власти.

— Как хотите, Осип Петрович! Я не делаю формального запрета, но предупреждаю. Это опасная дорожка. Советую оставить ее. Подождите до спокойных времен и придумывайте тогда что угодно.

Разработка урало-кузнецкого проекта свернулась. Кратов дорабатывал его в своем домашнем кабинете с самыми близкими людьми. В основу расчетов Кратов клал принцип коммерческой выгоды. Смета полного

осуществления урало-кузнецкого проекта составляла миллиард рублей золотом. Вся южная промышленность — металлургические заводы, шахты Донбасса, рудники Криворожья — стоила четыреста миллионов. Миллиард не пугал Кратова, он строил проект так, чтоб его можно было осуществить по частям, растягивая сроки хотя бы на столетие. Даже постройка каждого завода в отдельности мыслилась по принципу концентрических кругов — сначала две домны, четыре мартена и один прокатный стан, потом еще две домны, четыре мартена и стан, потом еще и еще.

Лишь одна проблема оставалась неразрешенной. Кратов ночами думал о ней и не мог ничего придумать. Уголь при перевозке в обычных условиях удваивается в стоимости через каждые шестьсот километров. Переброска огромных масс кузнецкого угля на Урал станет коммерчески выгодной при условии сооружения сверхмагистрали — прямой, как натянутая нитка, и абсолютно ровной, без единого подъема и спуска. Треть миллиарда падала из сметы на сверхмагистраль. Ее нельзя вводить в действие по частям — тут требовалось триста пятьдесят миллионов сразу.

Банки не подымут этой суммы. К большевикам Кратов не относился серьезно. Он считал их падение неизбежным. На правительство военной диктатуры Кратов не рассчитывал: кумир военных — Грум, колчаковцы поддерживали его.

В одну из бессонных ночей Кратов впервые подумал об инженерном правительстве, вспомнил Пальчинского и улыбнулся. Инженеры всегда смеялись, когда Пальчинский, размахивая руками, фантазировал о государстве, которым правят инженеры. Кратов усмехался вместе со всеми, как практик и реалист.

Бессонной ночью, в тупике от бесплодных поисков реальной комбинации, Кратов взвесил идею Пальчинского. Она уже не казалась смешной.

Кратов сидел сутулый и скучный. Он плохо слушал Грума и думал о проблеме транспорта.

Грум проявлял в Сибири кипучую активность. Он расколол надвое томскую профессуру. Многие отошли от Кратова. В Томске в Обществе сибирских инженеров уже действует урало-сибирская комиссия под руководством Грума, наподобие урало-кузнецкой.

Профессор Поварнин ведет опыты над улавливанием продуктов перегонки при производстве древес-

ного угля. После доклада Грума Поварнин будет демонстрировать керосин из древесины, порох и шелк из древесины и множество других чудес.

Грум заготовил эффектный конец речи.

— Любопытно,— сказал он,— что, составляя сокращение, как это теперь принято, для древесноугольного железа, мы получим слово — «друг». Древесный уголь действительно есть истинный друг русского народа.

Под шум оваций Грум сошел с трибуны.

— Генеральский бред! — раздался выкрик из зала.

Все обернулись. Крикнул Курако.

— Вывести его! — закричал один из офицеров.

На офицера зашикали. Странному украинцу, чья слава украшала город, позволялось многое, что не прощалось другим.

Курако попросил слова. Одиннадцать человек в верблюжьих куртках и в верблюжьих штанах захлопали ожесточенно и весело.

Курако говорил коротко и резко. Он сказал, что грязное железо — это рельсы, паровозы, машины, заводы. Стране серой и нищей нужны миллионы и миллионы тонн грязного металла. На пятьсот килограммов железа идет один килограмм качественной стали. Отказаться от выплавки грязного железа и вместо этого лить пушки из древесноугольного металла — нелепость, плод разгоряченного генеральского воображения.

В переднем углу поднялся офицер и что-то прокричал. Курако остановился на полуслове. Он хотел сказать, что берется выплавить в новых американских печах металл, не уступающий качеством древесноугольному, что изумительная чистота кузнечных углей позволяет добиться этого. Выкрик офицера отвлек его. Неясная мысль шевельнулась у него. Курако показалось, что не это и не здесь он должен говорить. Он посмотрел по рядам, увидел погоны, петлицы и не захотел больше говорить.

Курако махнул рукой и сошел с трибуны, недвольный собой.

Елена Евгеньевна наклонилась к мужу:

— Мне нездоровится. Проводи меня домой.

Кратов не мог уйти и обратился к Гутовскому. Профессор с готовностью встал. В трудные времена он сохранил верность Копикузу. Он работал с Кратовым с 1914 года, выбирал площадку для завода, поворачивал вместе с Гладковым общественное мнение Сибири

в пользу нового начинания и председательствовал в урало-кузнецкой комиссии.

На трибуну входил Гладков. Бывший министр возглавлял Сибирский геологический комитет и выступал против Грума.

— Господа...— начал Павел Павлович.

Внизу щелкнул выстрел. Еще и еще... Публика вскопчила. В руках офицеров замелькали револьверы. Заметались истерические крики. Начали прыгать из окон.

Гутовский получил в раздевальне пальто Елены Евгеньевны. К ним подошел офицер-каратель, влюбленный в Елену Евгеньевну.

— Прощайтесь со мной, Елена Евгеньевна. На рассвете я еду прямо в бой.

Он протянул ей руку.

— Вы мне надоели, уйдите,— сказала она и не подала руки.

Капитан выхватил револьвер и выстрелил несколько раз. Последний патрон пустил себе в висок и упал мертвый.

Елена Евгеньевна еще дышала, ее сейчас же увезли в университетскую клинику. Когда Кратов пробился в раздевальню, там швейцар, отталкивая любопытных, вытирал половой тряпкой лужицы крови. Кратов бросился в клинику. Елена Евгеньевна умерла на извозчике, не приходя в сознание. Кратов вернулся домой, упал головой на письменный стол и всю ночь оставался как каменный. Приходили и уходили люди. Кратов не сделал ни одного движения. Только к утру он заплакал. В комнате был Гладков. Кратов посмотрел на него и сказал:

— Теперь мне остался только Копикуз.

Елену Евгеньевну похоронили в тот же день. Кратов не проронил больше о ней ни слова. Вечером после похорон он спросил брата:

— Карательная экспедиция выехала?

— Да. Восемь пулеметов. Начальником полковник Ромашев.

IV

Следующей ночью к Курако постучали. Экономка Анна Ивановна впустила невысокого худого человека с глубоко запавшими черными глазами. Иногда он приходил каждую ночь, иногда исчезал надолго.

Это Сергей Дитман, большевик, член томского подпольного комитета партии. Когда-то, еще до войны, он работал у Курако в Юзовке студентом-практикантом, в 1914 году был арестован и сослан в Нарым.

В дни колчаковщины Курако встретил его на одной из улиц Томска и радостно кинулся с протянутой рукой, крича:

— Дитман, вы ли?

Дитман вздрогнул, быстро взглянул. Курако почудилось что-то странное в его лице, потом выражение изменилось, мелькнуло облегчение, в глазах вспыхнул огонек улыбки и исчез, словно прихлопнутый. Лицо стало отчужденным и непроницаемым.

— Вы ошиблись, я Харин, а не Дитман.

— А-а-а...— понимающе произнес Курако. Потом покраснел и вспыхнул: — Ты что, барбос, Курако подлицом считаешь?

Дитман молча пожал ему руку.

Сейчас он сидит в кабинете Курако и, забыв об остывшем чае, рассказывает подробности восстания. Он говорит негромко, перемежая речь длительными паузами. Ему тяжело. Он знает, хотя и не сообщает Курако, что в Кольчугине поднялись раньше времени, не зная, что срок перенесен. Этим сломан план общего всекузбасского восстания и кольчугинцы обречены на разгром. Посланы люди, чтобы вывести их в тайгу к партизанам.

Дитман скупо повествует. Курако сидит на столе, обхватив руками колено, и слушает не перебивая.

— Вчера отправились каратели,— говорит Дитман и вновь замолкает.

Курако вспыхивает и нервным движением выхватывает из кармана браунинг:

— Вот. Возьмите.

— Зачем? У меня есть...

— Кому-нибудь понадобится.

Дитман пристально смотрит на Курако. Курако вдруг густо краснеет и отводит глаза. Во взгляде Дитмана он прочитал: «Что же ты, оружие отдаешь кому-нибудь, а сам?»

Револьвер чернеет на протянутой ладони, Курако смотрит в сторону, залившись краской стыда. В мыслях смятение, весь жизненный путь в эту минуту кажется неправильным. Он сует револьвер в карман и искоса взглядывает на Дитмана. У того на лице хорошая

улыбка. Курако невольно улыбается в ответ, скидывает голову и произносит:

— Я пригожусь вам вместе с этой штукой.

Дитман молчит, его глаза просветлели. Курако шагает по комнате, овладевая собой. Прерывая затянувшееся неловкое молчание, он спрашивает:

— А что там?

Взмахом руки он указывает куда-то далеко. Дитман понимает. Он рассказывает последние новости о Советской России. На юге белых теснят — взяты Бердянск, Мариуполь, Юзовка. Знакомые названия вызывают улыбку воспоминания у Курако, — там сражается сейчас его доменная гвардия, отвоевывающая заводы.

На восточном фронте плохо — Колчак подступает к Волге. Внутри тяжелей всего с транспортом, на месяц совершенно прекращено пассажирское движение, чтобы протолкнуть к центру уголь и хлеб. На днях закончился восьмой съезд партии, там принята новая партийная программа.

— Вот, вот, расскажите.

Дитман отвечает, что новая программа в Сибирь еще не дошла, но в прошлом году, в период передышки, Ленин много писал о том, как организовать хозяйство.

— Подробнее, подробнее, — просит Курако.

Дитман оживляется, голос становится звучнее. Статьи Ленина были не только прочитаны, но и пережиты им. Он говорит, каждая его фраза согрета чем-то глубоко личным и оттого приобретает какую-то добавочную силу сверх своего логического смысла. Ему самому было бы невозможно различить, если бы он захотел это сделать, где он пересказывает Ленина и где говорит свое, много раз передуманное, отложившееся из жизненного опыта.

Курако слушает, налегши на стол, подперев голову руками и неотрывно глядя в лицо Дитмана. На минуту ему становится странно: две тысячи километров отделяют Томск от черты фронта, за которой изнемогает Советская республика, далеко вокруг властвуют колчаковцы, в этот час они чинят, быть может, расправу в Кольчугине, а Дитман с увлечением говорит об организации социалистического общества.

— Вопрос будет решаться тем, — восклицает Дитман, — сумеем ли мы, сумеет ли социализм создать более высокую производительность труда по сравнению с капитализмом.

— Неужели Ленин так и написал?

Стараясь быть точным, Дитман приводит наизусть некоторые выдержки.

— Как это верно, как это верно! — произносит Курако.

— Прежде всего придется преодолеть расхлябанность, распущенность, падение дисциплины.

Возбужденный разговором, Курако с воодушевлением развивает свои планы преобразования России. Центр металлургии и угля будет в Кузбассе, здесь он построит невиданные во всем мире домны. Его черные глаза блестят.

Они сидят далеко за полночь. Курако сам стелет гостю постель на кожаном диване и спрашивает:

— А как там доменные печи?

— Где-то я читал, что одна еще работает.

— Какая? Где?

— В Енакиеве.

— В Енакиеве? Мои барбосы? Откуда вы все это знаете?

Дитман улыбается, не отвечая. За окном синеет. Ночь прошла незаметно.

— Ну, ложитесь, ложитесь, — говорит Курако.

Пожелав спокойной ночи, Курако идет к двери и на полдороге останавливается. На лице непривычное смущение.

— Мне хочется... — неуверенно говорит он.

С письменного стола он берет серебристый кусок кемеровского кокса.

— Мне хочется переслать это в Россию, на Енакиевский завод. Не знаю, можно ли...

— Кому там передать?

— Инженеру Макарычеву.

— И что сказать?

— Ничего. Это первый кокс Кузбасса. Они сами все поймут.

— Экий вы неисправимый доменщик. Давайте.

Дитман улыбнулся, качая головой.

V

Самодельный броневик и эшелон повстанцев были разбиты карателями около Раскатиhi. Повстанцы ушли в тайгу.

Утром каратели на конях влетели в Кольчугино. Поселок был оцеплен.

В штаб отряда сгоняли прикладами все взрослое мужское население. Начался допрос и проверка документов.

Весь день около штаба стояла длинная очередь. Впускали через одну дверь, выпускали в другую.

У тех, кто выходил из дверей, были землистые лица. Их мутило от противного сырого запаха крови и страшных криков. Подозрительных избивали и сбрасывали в подвал.

На рассвете начались расстрелы. Людей уводили к лесу. Трупы убирать запретили. Собаки выли по ночам и бегали с окровавленными мордами. На третьи сутки стали расстреливать днем.

Военным приказом оставшиеся по гудку спускались в шахты. Везде сверкали штыки и шашки наголо.

Каждую ночь рабочие тайком уходили в тайгу к Рогову и Новоселову, наводившим ужас на колчаковцев.

Пустые места на барачных нарах занимали прибывающие сибирские крестьяне.

Черная пыль, прокаленная жарким солнцем, садилась на огромный холм братской могилы, не отмеченный ничем.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЧЕРНОЕ ЗНАМЯ

I

Маленькие тюремные окна пробиты высоко, под самым потолком. Светит луна. Тени решеток накрест перечеркивают каменную стену.

Слышится шепот. Людей не видно. Они лежат, притаившись, укрытые мягкими охапками стружек. Их двенадцать человек — проектное бюро доменного цеха Копикуза.

Чернеет толстое железное кольцо, намертво вделанное в стену: когда-то к нему приковывали каторжников на ночь. Курако пробирается к двери. Он шуршит в стружках, как мышь. У дверей он замирает и прислушивается. Тишина. Давно смолкли скрипы саней на дороге.

Белые ушли с Гурьевского завода. Опасаясь, чтоб они не забрали с собой конструкторов, Курако спрятался с ними в стружках модельного цеха.

Когда-то Гурьевский завод был сереброплавильным и принадлежал кабинету его величества. Он выстроен каторжниками. В старинной книге приказов писали гусиным пером: «Рабу божьему имярек отпустить полста розог».

Триста километров отделяют Гурьевский завод от железнодорожной магистрали. На лошадях везут к заводу уголь и руду, на лошадях отправляют железо.

Завод считается работающим на оборону. Курако перебросил сюда свою группу и включил ее в штат завода. Это гарантировало от мобилизации.

Осматривая впервые завод, Курако отплевывался и хохотал. Маленькая домна с открытым колошником не зашита железной броней. Огонь выбивается сквозь щели каменной кладки и длинным синим языком выхлестывает кверху. Руду и уголь возят на колошник лошадьми по деревянному помосту. Чугунную летку забивают березовыми клиньями, «пихлами» — от слова пихать.

Вода — единственный источник двигательной силы завода. Из пруда — его называют «водяной ларь» — лавина воды ниспадает на огромное деревянное мельничное колесо. Дутье в доменную печь подается деревянной воздуховодкой. В огромных деревянных чанах медленно ходят вверх и вниз деревянные поршни, нагнетая воздух.

— Черти! — хохотал Курако. — Деревом железо делают. Эх, Сибирь деревянная!

Из дерева сделан в доменном цехе подъемный поворотный кран в виде огромной буквы Г. Даже механические молоты в кузнице деревянные.

Курако долго стоял у деревянного молота. Молот поднимался медленно, еле полз и внезапно срывался со страшной силой, расплющивая податливое раскаленное железо.

— Гордишься, старик? — сказал Курако и потрогал горячую обугленную поверхность молота. — Думаешь, дерево сильнее железа? В музей тебя, чудака, поставим.

Около года провели куракинцы на Гурьевке. В лунную декабрьскую ночь 1919 года, зарывшись в стружки, они выждали ухода белых. Завод остался без власти. Белые ушли, красные не приходили.

Отряд Рогова идет на рысях из Кузнецка на Гурьевский завод.

Переднюю кошеву несет отобранная у золотопромышленника пара коней, гладких, как налимы. Дуга увита красными лентами. Полощется по ветру большое черное полотнище — черное знамя отряда.

Трое суток провели роговцы в Кузнецке. Они вошли туда без боя, как почетные и званые гости. Белый гарнизон Кузнецка поднял восстание, и начальник гарнизона полковник Скурат был убит из пулемета, когда скомандовал пулеметчикам открыть огонь по восставшим. Наступающие красные войска были еще далеко. Кузнецкий ревком разослал гонцов в тайгу искать партизан, звать на помощь.

Отряд Рогова, обмерзший, обтрепанный, изголодавшийся, скрывался на звериных тропах от карательных отрядов. На войсковые соединения белого тыла роговцы наводили панический страх. Они обрушивались внезапно и деревянными саблями рубили наповал. Пленных не брали. Всем смерть.

Нестройной тысячной массой с присвистом и гиканьем вступили роговцы в Кузнецк. На замороженных конях сидели верхами по двое. У большинства самодельное оружие — деревянные сабли и длинные колья. Одеты в полушубки, в женские салопы, в купеческие дохи, в солдатские шинели. Некоторые в одних гимнастерках. Всевозможным тряпьем обернуты ноги, редкие имели пимы. Там и сям блестели одежды из поповских риз. Иметь штаны из ризы или накрыть ризой коня вместо попоны считается у роговцев особым щегольством.

У кузнецкого собора на базарной площади отряд остановился.

Человек в ладной синей бекеше, в черной папахе, в сапогах тронул коня и по каменным ступеням въехал верхом в раскрытые двери собора. Несколько всадников поднялись за ним. Отряд рассыпался по улицам.

Через несколько минут окна собора озолотились изнутри огнем.

Огромный костер горел посреди собора. Туда под-

брасывали разрубленные иконы и резную деревянную утварь.

Рогов стоял поодаль, задумчиво глядя на огонь. Каменщик по профессии, он построил много церквей и теперь жег их подряд. К нему подошли представители ревкома договориться об организации власти.

— Не треба народу власти,— сказал Рогов.— Наша мать — анархия.

Он вышел из собора и приказал поджечь его со всех четырех сторон.

Единственным промышленным предприятием Кузнецка был спирто-водочный завод. Рогов послал отборных бойцов с пулеметом на охрану завода. Он запретил трогать только спирт, все остальное — «грабь награбленное».

Из трех тысяч жителей Кузнецка больше половины приходилось на торговые семьи. За Кузнецком не было больше городов. Он стоял на границе тельбесской тайги. Шорцы приносили сюда соболя, горностаю и белку, здесь скупали свеженамытое золото, охотники и золотоискатели увозили отсюда продовольствие, одежду, порох и водку.

Торговцы у роговцев вне закона. Купцов рубили на месте, добро вывозили на подводах.

В сомнительных случаях Рогов предоставлял суду народа вынесение приговора. Возле сгоревшего собора сколотили высокий деревянный помост. Сюда выводили обвиняемых, и скопище людей собиралось вокруг. Отряд голосовал — жизнь или смерть. Однажды к Рогову привели торговца, у которого дома осталось девять человек детей. Рогов передал купца на суд народа. Суд решил — башку долой и жителей Кузнецка обложить данью, чтоб хватило на прокорм детей. Сию же минуту купцу на помосте снесли голову.

На следующий день Рогов судил своих. Четыре роговца убили старика — сторожа копикузовских складов. В суматохе он захватил со склада несколько кусков мыла и нес домой.

— Куда идешь? Стой! — раздался окрик.

Старик испугался и побежал. Четверо всадников настигли его, затоптали конями и насмерть засекали плетью — в концы плетей в кожу было зашито железо. Рабочие пришли жаловаться Рогову.

— Я за справедливость борюсь, товарищи,— сказал Рогов.— Рабочего человека убивать не дам.

Четырех роговцев вывели на помост. Им прогословали смерть, и они упали на доски с раскроенными черепами.

Копикуз Рогов ненавидел. Его брата заporоли при кольчугинской расправе. Роговцы сорвали замки со складов Копикуза. Склады были набиты скобяным товаром — дверными ручками, петлями, шпингалетами и оборудованием для квартир — умывальниками, ватер-клозетными суднами и ваннами. Это предназначалось для жилых помещений на площадке. Ванны привели роговцев в ярость — они стали разбивать в куски фаянс и мрамор, раскидывать петли и ручки. На защиту складов бросился Садов. Жестокого администратора узнали. Сабельным ударом его положили на месте.

Начались поиски инженеров Копикуза. Всем им Кратов давно роздал на случай таблетки с цианистым калием. Захватили инженера Челпанова — коксовика. Один из роговцев нащупал у него в кармане что-то твердое и вытащил две белых пилюли.

— Ишь, буржуй, конфеты носит, — сказал партизан и сунул таблетку в рот.

Он захрипел и свалился мертвым. Челпанова прикончили на месте.

Роговцам указали квартиру Курако. Когда партизаны узнали, что там живет один из главных копикузовцев, начальник проектного бюро, они начали разгром. Все вещи выволокли из комнаты. Принялись рвать и топтать огромную библиотеку Курако. Мимо проезжал Рогов. Он увидел книги, падающие на снег из разбитых окон, и сказал:

— Гадов бейте, а книжки не тревожьте. От них народу вреда не будет.

Через трое суток отряд Рогова оставил Кузнецк и двинулся на Гурьевский завод.

Идет отряд на рысях. Полощется по ветру большое черное полотнище, черное знамя отряда.

III

Завод остался без власти, а куракинцы, как всегда, в восемь утра садятся за чертежные столы. Ни одного дня не позволял прогуливать Курако.

С утра Курако обходит чертежные столы и просматривает работу каждого.

— Расскажите, что вы сделали, — спрашивает он.

Курако обладал способностью в две-три минуты проникнуть в смысл сложнейших чертежей и улавливать ошибки расчетов, производившихся несколько дней.

Курако проектирует завод по типу величайшего в мире завода Герри, но вчетверо меньший по размеру.

У окна за чертежным столом сидит Жестовский — студент последнего курса Петербургского политехнического института... Он набело вычерчивает рудный кран. Курако смотрит.

— Ну как, Михаил Константинович?

— Постольку — поскольку. По-эсеровски, пан Жестовский.

Это обычная поговорка Курако, когда он недоволен работой. Лицо Жестовского мрачнеет.

— Эта балка слаба, — говорит Курако. — Возьмите вдвое больше.

— Я два дня высчитывал.

— Еще посчитайте. Вечером скажете.

Курако отходит.

В группу Курако Жестовский попал случайно. В 1917 году в номере петербургской гостиницы, ожидая, как решится судьба Копикуза, Курако сделал карандашом несколько эскизов деталей домны и попросил знакомого профессора поручить студентам сработать чертежи по карандашным наброскам. Профессор передал работу Владимирскому и Жестовскому — студентам последнего курса. Гордые, что чертят для знаменитого доменщика, студенты быстро закончили работу и принесли Михаилу Константиновичу.

Курако посмотрел на чертеж и удивленно взгляделся в лица студентов. Он никогда не видел их, а между тем чертеж выполнен так, как делали только его, Курако, выученики.

На Юзовском заводе доменный цех имел самостоятельное проектное бюро под руководством Гребенникова, не получившего инженерского диплома, но восемь лет проведшего в Америке на металлургических заводах.

Доменное проектное бюро Юзовки стало школой конструкторов-американистов. Они отличались от других даже в мелочах — чертежи исполнялись на стандартных листах одинакового формата, рамка чертежа отступала от края на пять миллиметров, надписи

располагались в правом верхнем углу. Достаточно бросить взгляд на чертеж, чтоб узнать работу куракинской школы. Такой чертеж принесли Жестовский и Владимирский.

— Кто научил вас так чертить?— спросил Курако.

Студенты ответили, что провели лето на одном из уральских заводов, там их учил Казарновский, и с тех пор они не могут чертить по-иному.

— Чему еще вас научил Казарновский?

Студенты стали рассказывать. Курако слушал, улыбаясь. Как упругие мячи, к нему возвращались слова, которые он бросал на Юге. Студенты говорили, и Курако узнавал свою теорию, свое понимание печи, излюбленные свои словечки.

Казарновский два лета — в одиннадцатом и в двенадцатом году — провел на студенческой практике в Юзовке, и это навсегда решило его инженерскую судьбу. Он стал куракинецом, американистом. Он передавал другим, что воспринял от Курако. Так создавалась школа.

— Казарновский едет со мной,— сказал Курако.— Не поехали бы вы? Дело найдется.

Два года провели студенты с Курако, отрезанные от Петербурга.

Вечером Жестовский приходит к Курако. У него решительный и мрачный вид. Он говорит:

— Михаил Константинович, вы правы. Предельной нагрузки балка не выдерживает.

— Вот и отлично.

— Я решил уйти от вас, Михаил Константинович. Из меня ничего не выйдет. Ничего я не знаю, ничего не умею. Люди без институтского образования работают лучше меня.

— Вот это правильно, вот это хорошо.

Курако смеется, и глаза его светятся радостью.

Жестовский стоит, понуря голову.

— Вы действительно ни черта не знаете. Поздравляю, из вас выйдет человек. Об уходе бросьте думать. У меня есть спиртыга, отпразднуем этот случай. Только чур, Жестовский,— помните: каким бы большим начальником вы ни были, никогда не воображайте, что вы много знаете.

Вечером Курако созывает доменщиков.

В праздники у них любимое развлечение — охота; окрестные деревни знают куракинецов. Когда приезжает

Курако, крестьяне выпрягают и прячут лошадей, кучера поят допьяна, чтоб Михаил Константинович никуда не мог выбраться от них, чтоб жил с ними сутки, двое и трое.

Другое развлечение доменщиков — споры. Все объединяются против Курако. Никто не помнит, чтоб в споре удалось уложить его на обе лопатки.

Казарновский, Жестовский и другие подолгу готовились к спорам. Последние дни они рылись в гурьевском заводском архиве и перевели разговор на историю сибирской металлургии.

Жестовскому удалось прижать Михаила Константиновича к стенке. Курако не знал, когда и почему был закрыт первый в Сибири Томский железоплавильный завод.

Развеселившийся Жестовский притащил архивную папку и разыскал доклад о закрытии Томского завода. Завод закрылся два года спустя после отмены крепостного права.

Курако взял архивное дело из рук Жестовского и прочел сам:

«Переход алтайских заводов от обязательного труда к вольнонаемному изменил условия выгодности заводского хозяйства до такой степени, что в некоторых местностях, где могла существовать горная промышленность при обязательном труде, принося выгоды, по совершенном заменении этого труда вольнонаемным она вместо выгод будет приносить прямой убыток, ибо для привлечения вольнонаемных рабочих придется значительно возвысить заработную плату».

Курако побледнел, как всегда в минуту волнения. Никто не понимал, почему он взволнован.

— Что теперь с Томским заводом? — спросил Курако.

— Он сровнялся с землей, — сказал Жестовский. — Там вырос молодой пихтач.

— Это будущая судьба заводов Юга. Три дня готовились, барбосы — и ничего не поняли.

Курако ходил по комнате и говорил. В Америке на одного рабочего приходится шесть тонн суточной выплавки, в России половина тонны. Техническую отсталость заводы Юга перекрыли нищенской заработной платой и двенадцатичасовым рабочим днем. Старые заводы не выдержат революции — восьмичасового рабочего дня и высокой оплаты труда, потому что

там в десять раз больше рабочих, чем требуется уровнем современной техники. Американские гиганты — вот что несет революция.

— Учитесь, барбосы!— говорит Курако.— Кроме вас, никто не умеет проектировать американские печи. Вам придется строить заводы, которые сейчас никому не снятся.

Дверь распахивается без стука.

— На улицу, товарищи! Красные партизаны идут!

— Ура!— кричит Курако.— Вот она — революция!

Все население Гурьевска на улице. Рабочие с красными знаменами встречают партизан.

Впереди отряда скачет Рогов на белой лошади. Он выкрикивает приветствие и поворачивает к церкви. Через несколько минут деревянная церковь пылает.

Курако стоит с Жестовским и Казарновским. Клубы дыма кажутся белыми в темноте. Вздвигаются языки огня. Как бы продолжая прерванный разговор, Курако говорит тихо:

— Так расправляется революция со старьем.

Несколько роговцев с деревянными саблями наголо подходят к ним. Курако тянется к деревянному оружию.

— Ха-ха-ха... Покажи, покажи...

Роговец спрашивает:

— Вы что за люди?

Курако называет себя.

— Попался, гад! — кричит роговец.

Он замахивается саблей. Дерево почернело от времени и крови.

Всех троих ведут к Рогову.

Рогов занял лучший дом поселка. Это квартира Курако.

На полу валяется архивное дело. Видны заглавные буквы — «Доклад о приостановке действия Томского горного завода...».

Рогов ждет обеда и чистит ногти перламутровым перочинным ножиком. Ему докладывают об арестованных.

Курако всматривается.

— Откуда у тебя ножик?— вырывается у него.— Ведь это Садова.

— Народ башку ему срезал,— хмуро отвечает Рогов.— И тебе то же будет.

Рогов поднимает голову, и Курако видит добрые глаза и простое спокойное лицо.

— Завтра народ вас судить будет. До завтра живите,— говорит Рогов.

Приносят щи. Курако смотрит остановившимся взглядом на дымящуюся миску. Белый пар поднимается и исчезает бесследно.

— Есть хочешь? — спрашивает Рогов.— Садись, хлебай последний раз.

Курако сбрасывает оцепенение, садится к столу и кричит:

— Под кроватью у меня две бутылки. Помирать, так с музыкой.

Рогов недоверчиво щурится. Он помнит пилюли цианистого калия.

— Наливай первый,— говорит он.

Курако наливает стакан. Он выпивает залпом, переводит дыхание и, не закусывая ничем, нюхает корку черного хлеба. Все выжидающе смотрят. Курако выпивает еще полстакана, крикает и тянется к шам.

Наливает из бутылки Рогов. Привычным жестом он опрокидывает стакан в рот, и в то же мгновение лицо его наливается кровью, глаза выпучиваются, как у удушенника, он хрипит и со свистом хватается воздух. Роговцы бросаются на Курако с саблями. Рогов машет руками на своих.

Курако смеется.

— Это чистый спирт,— говорит он.— Девяносто шесть градусов.

Отдышавшись, Рогов смотрит на Курако и не может скрыть восхищения.

— За что судить будешь?— спрашивает Курако.

— Не я буду судить — народ. Как жизнь прожил? Кому служил? Паразитам служил.

Курако молчит. Вся жизнь пробегает в секунду. Вспоминается то, о чем не любил вспоминать,— товарищи уговаривали стать подпольщиком-профессионалом, он отказался и вернулся к печам. Не здесь ли ошибка всей жизни? Неужели вот оно — пришло возмездие? Курако отвечает:

— Я железо плавил. Оно нужно народу...

— Не треба народу железа,— задумчиво и убежденно говорит Рогов.— От железа — насилие. Без железа все равны будут. Войн не будет. Сильных не будет и слабых.

Рогов понижает голос и с доверчивым детским любопытством спрашивает:

— Не умеешь ты этого — чтоб все железо в порошок, в пыль? Составы такого не знаешь?

— Не знаю.

— Я б тебя в помощники взял... Сибирь подняли бы, в Китай пошли бы. Китай мою программу примет.

— Да тебя в музей надо! — восклицает Курако.

Наутро в модельном цехе собрался народный роговский суд. Туда привели арестованных.

— На верстаки вставайте, — тихо командует своим Курако, — народа не бойтесь, пусть видит народ.

Они взбираются на верстак. В маленькие тюремные окошки, пробитые под самым потолком, видно небо и солнце. Чернеет в стене толстое железное кольцо. Они прятались здесь позавчера.

Рабочие и роговцы наполняют цех. Первым судят Казарновского.

Рогов голосует.

— Инженеру Казарновскому, угнетателю народа, башку долой. Подымите руки...

— А мы дадим?

Рядом с Казарновским вырастает над толпой старик котельщик Егоров. Он большевик. Несколько месяцев назад Казарновский случайно поймал обрывок разговора офицера и уловил несколько фамилий, в том числе Егорова. Инженер предупредил всех. Ночью каратели перерыли все барахло в каморке Егорова, но котельщика не нашли. Он скрывался около завода и появился, когда ушли белые.

Маленький человек в защитной шинели, в сдвинутой кубанке с красноармейской звездой вбегает в цех.

— Товарищи! — кричит он. — Я делегат сто двадцать девятого красного полка. Красные бойцы послали меня приветствовать товарищей рабочих. Ура!

Он снимает кубанку и машет. Долго не смолкает приветственный рев. Андрияшко — это фамилия делегата — спрашивает, почему собрались. Ему объясняют.

— Самосуды запрещают! — кричит Андрияшко. — За самосуды расстрел! Объявляю открытым митинг о международном положении и задачах Советской власти.

— С Красной Армией мы не бьемся, — хмуро говорит Рогов.

Он встает с председательского места и выходит из цеха.

Через час роговцы покинули Гурьевск.

Сутки спустя в Гурьевск вошел 129-й кавалерийский красный полк. Он растянулся длинной лентой. Через каждые три ряда верховых двигались на санях пулеметы.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

БЕГСТВО

I

Поезд движется медленно, часами простаивая у semaфоров. Они сидят в отдельном купе — Кратов, Гладков и Валентина Петровна — жена Гладкова. По обеим сторонам пути валяются красные коробки товарных вагонов. Товарные составы сбрасывались с рельсов, чтобы очистить путь на восток.

Потянулась Анжеро-Судженка — крайний северо-восточный угол Кузбасса. Геологическая карта Кузбасса, составленная учениками Лутугина, напоминает силуэт летучей мыши — два огромных распластанных крыла, острая мордочка смотрит на восток. Краем правого крыла Кузбасс касается сибирской магистрали. В сумерках темнеют загрязненные вышки надшахтных зданий. Зажигаются редкие огни. Кратов, не отрываясь, смотрит в окно.

— Валя, — говорит Гладков, — куда нас несет? Может быть, останемся?

Жена Гладкова не произносит ни слова. Вторые сутки она не умывалась. В уборных спят и едят. Сейчас она совсем не похожа на свои портреты. Там высокая дама с пышной грудью в кружевах, с китайским веером и белым зонтиком в руке. Здесь грязная женщина, подернутые просинью губы, посеревшее злое лицо.

— Валя, — еще раз ласково и робко повторяет Гладков.

Ответа нет.

— Осип Петрович, как вы думаете? Ведь не расстреляют же нас, а?

Кратов молчит. Он уткнулся в окно и не поворачивается к Гладкову.

Гладков смотрит поочередно на жену и на Кратова. Это два человека, которые семь лет вели его жизнь. Почему они молчат сейчас?

Они сделали его министром сибирского правительства.

— Осип Петрович, почему вы сами не пошли в правительство? Ведь вам же предлагали.

Кратов молчит. Да, ему предлагали, он отказался. Он порекомендовал Гладкова, руководителя разведками Копикуза, открывателя новых богатств Сибири, искателя сибирского железа. Валентина Петровна настояла, чтобы Павел Павлович согласился. Он упирался, но уступил. Она стала женой министра торговли и промышленности временного сибирского правительства. И вот... Поезд, мешки, посеревшие лица, впереди неизвестность. Почему они молчат?

II

Фигура Гладкова была подходяща для министерского поста. Коренной сибиряк, геолог, путешественник, открывший в Сибири железо, связанный с Копикузом, друг Кратова.

Первое сибирское контрреволюционное правительство, подготовившее диктатуру Колчака и разогнанное им, называло себя демократическим и выступало под флагом сибирского областничества, под знаком потанинства. Потанинцем считал себя и Гладков.

Во время февральского переворота Потанин встречал демонстрацию, сидя в кресле на крыльце Томской городской управы. Ему трудно стоять. Старикун шел девятый десяток. Толпе не видно Потанина. Студенты бросились к креслу и подняли его на руках. Его длинная в серебре борода развевалась по ветру, как знамя.

Потанин любил Сибирь, любил свою родину. В этом его программа, его мировоззрение, его жизнь. Он получил за это девять лет каторжных работ, не будучи ни социалистом, ни революционером. О себе и о своем друге Ядринцеве Потанин писал:

«Мы видели перед собой свою родину, лишенную культурных благ, мы видели ее отсталость и хотели уравнивать ее в культурном отношении с остальными областями России. Нам хотелось, чтоб на нашей родине было равное количество школ, чтоб безопасность и удобства жизни были такие же, как и к западу от Урала, чтобы и здесь процветали и богатели города, чтобы росла сибирская интеллигенция».

Три кита составляли основу программы Ядринцева и Потанина — отмена уголовной ссылки, создание сибирской интеллигенции путем учреждения университета и свержение московского мануфактурного ига, то есть создание местной промышленности.

«Что бы вы, москвичи, сказали, если бы мы собрали в Сибири весь наш таежный гнус, всех наших ядовитых змей, перевезли через Урал и выпустили на ваши поля? Зачем же вы посылаете в Сибирь убийц, воров, растлителей, всю гнусь вашего общества?»

Их усилия не были бесплодны. Ссылка уголовных преступников в Сибирь была отменена. В Томске открылся первый сибирский университет. Но промышленное иго по-прежнему тяготело над Сибирью.

Перед смертью Ядринцев писал своему другу из Чикаго:

«Америка меня поразила. Это Сибирь через тысячу лет. Я вижу будущее родины. Сердце замирает, и боль, и тоска за нашу родину. Боже мой! Будет ли она такой цветущей?»

К Копикузу сибиряки отнеслись настороженно. Они увидели пришельцев, чужаков, завоевателей. Они называли приезжих «навозным элементом». Безликие банки, протягивающие руки из Петрограда и Парижа, пугали их. В 1914 году умный Кратов привлек к работе Гладкова и Гутовского. Сибирская интеллигенция поворачивалась к Копикузу. Она начинала видеть в нем осуществление своих надежд.

III

— Что сейчас в Томске? — вслух спрашивает Гладков.

Он не может долго выносить молчания. Он отвечает сам себе:

— Усов перебирается на мою квартиру.

Гладков передразнивает Усова. Он надувает щеки, расправляет плечи, делается грузным и солидным.

— Тэк-с, тэк-с... — говорит он голосом Усова. — Ну-те-ка, Павел Павлович, примерим ваши брюки. Коротковаты-с, коротковаты-с.

Гладков передразнивает так похоже, что Кратов не может удержаться от улыбки. Гладков продолжает разговор с собой:

— Усов получит кафедру геологии. Он станет директором Сибирского геологического комитета. Я всю жизнь стоял ему поперек дороги.

Гладков внезапно что-то вспоминает и заливается смехом.

— Но его Котульский съест, ей-богу, съест, помяните мое слово, Осип Петрович.

Гладков хохочет. Кратов молчит. Гладков изображает Котульского. Движения становятся медлительными, голова высокомерно поднимается, губы брезгливо отвисают.

— Это мальчишка из бакалейной лавки, а не профессор геологии,— говорит он голосом Котульского.

Очень похоже и очень смешно, но никто не смеется, Гладков становится грустным.

В этот час в Томск приходит телеграмма Сибревкома.

«Примите все меры возвращению Гладкова убеждению его остаться имени Сибревкома гарантируйте ему работу».

Гладков пробыл министром сибирского временного правительства меньше года. Он помогал Кратову и проводил в правительстве субсидии Копикузу. Но единственным настоящим делом, совершенным им в бытность министром, было, по его мнению, создание Сибирского геологического комитета. Еще в программе Потанина создание Сибирского геологического комитета шло вслед за учреждением сибирского университета. Потанинцы хотели, чтоб сами сибиряки искали и разрабатывали несчетные богатства сибирских недр. Петербургский геологический комитет считал это блажью. Все разведки в Сибири велись петербургскими геологами. Кратов едва ли не первый нарушил эту традицию.

В конце 1918 года Гладков использовал власть министра и создал Сибирский геологический комитет. Во главе его встали сибирские геологи — сам Гладков и Усов. С этого времени все разведки полезных ископаемых Сибири могли проводиться лишь по заданию или разрешению Сибирского геологического комитета. Петербургские геологи боролись против этого. Котульский пришел в ярость. Он отказался подчиняться «соплякам» и не подавал им руки. Он дошел до Колчака и с его дозволения создал Российский геологический комитет в Сибири. Кратов пытался примирить врагов. Успеха он не добился.

Поезд останавливается в поле и стоит всю ночь. На рассвете Кратов соскакивает с подножки. Его меховые сапоги уходят в снег по колено. Паровоз не дымит. Кратов идет в поле. Спереди и сзади, насколько хватает глаз, стоят красные и зеленые составы, теряясь вдаль, по обе стороны горизонта. Кратов переходит через площадку на другую сторону пути. В двух километрах виднеется дорога. По ней непрерывно двигаются сани, увозя людей на восток. Кратов возвращается в вагон. Чугунная печка покрылась изморозью. В вагоне нет угля. Гладков и Валентина Петровна прижались друг к другу, накрывшись шубами и одеялами. Гладкова прохватывает временами мелкая дрожь.

— Пробка, — говорит Кратов. — Поезд дальше не пойдет.

— Что же делать?

— Добывать лошадь и сани.

— А может быть, останемся, — жалобно просит Гладков.

— Мы замерзнем здесь, как котята.

Увязая ногами в снегу, падая и задыхаясь, они выходят на лощенную полозьями дорогу. Бесконечной чередой сани уходят навстречу поднимающемуся белесому солнцу. Трупы лошадей со вздутыми животами и надтреснутыми задами лежат по краям дороги, отмечая черными вехами путь на восток. Глядя вниз, тащатся пешеходы.

— Бросайте вещи и пойдем.

Кратов говорит властно, словно приказывает.

Впереди неожиданно останавливается пара лошадей. Там сбиваются люди. Кратов проталкивается вперед, схватив под руку Валентину Петровну.

В санях сидит старик в меховом картузе, обвязанный пуховой шалью. Правой рукой он обнимает седую женщину в собольем салопе. Лицо его побелело. Уши, щеки, седые баки одинакового грязновато-молочного цвета. Это один из томских золотопромышленников с женой. Они ехали всю ночь и оба замерзли, уснув на ходу. Их грубо выволакивают из саней. Старик ударяется носом о деревянный ободок, и кончик носа отлетает, как у гипсовой статуи. Из саней выкидывают сундуки и узлы. Кратов вталкивает в сани Валентину

Петровну и Павла Павловича. Туда втискиваются еще двое. Для Кратова не остается места.

Директор-распорядитель Копикуза стоит на дороге, притоптывая меховыми сапогами, и провожает глазами уплывающие сани.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПАРТБИЛЕТ № 1

1

«Срочная.

Новониколаевск. Тайга. Юрга, Кольчугино, Кемерово, Топки. Кузнецк, Гурьевск.

Михайлу Константиновичу Курако.

Уполномоченный Совета обороны немедленно просит прибыть его поезд станцию Томск. Милютин».

Никто не знал, где Курако и жив ли он. Милютин телеграфировал в восемь адресов.

Поезд Ивана Михайловича Милютина из шести классных и двух товарных вагонов подтягивался за наступающей пятой армией. В вагонах расположились крупнейшие специалисты Москвы и Петрограда по всем отраслям хозяйства. В вагоне Милютина стоял сундук, доверху набитый тугими связками желтых советских миллионов — лимонов, как их называли тогда. Экспедиция была сформирована и двинута из Москвы по предписанию Ленина. Милютин имел право без сношения с Москвой делать окончательные распоряжения по всем хозяйственным вопросам. Ленин просил сугубо, архи-сугубо нажать на восстановление нормального движения по сибирской магистрали. «В этом сейчас гвоздь для снабжения фронта, для переброски сибирского хлеба в голодающий центр», — говорил на прощание Владимир Ильич.

Хозяйство Сибири было парализовано откатывающимся фронтом. Так ползучий гусеничный танк, подминающий деревья, изгороди, дома, оставляет после себя широкую омертвелую полосу, и не скоро встает придавленная рассеченная трава.

Средняя скорость движения по сибирской магистрали была три километра в час.

Больше половины железнодорожного персонала лежало в тифу. На станционных платформах валялись

полуголые трупы. Теплую одежду живые снимали с мертвых. Тела примерзали к обледенелым платформам, их заносило снегом, и некому было убирать.

На станциях не было угля. Паровозы простаивали без топлива. Милютин пошел на крайнюю меру — он остановил все движение на пять суток. Военное командование устраивало ему скандалы по прямому проводу. Пять суток по линии проходили лишь составы с бурым углем из Челябинских копей. На станциях появились крохотные запасы угля — на два, на три, на четыре дня.

Поезд пробивался на восток, к углям Кузбасса. Надо во что бы то ни стало восстановить там добычу и дать магистрали кузнецкий уголь.

Перед Новониколаевском поезд застрял. Впереди линия забита пробкой. Несколько сот пассажирских и товарных поездов стояли в затылок с замороженными паровозами. Лента поездов тянулась на сорок километров. Подобной пробки не знала мировая история железнодорожного движения. Колоссальные трофеи на колесах преграждали движение, как взорванный мост.

Пробку рассасывали с двух концов. Ремонтные бригады развертывали походные кузницы на снегу. За каждый оживленный паровоз премии выплачивались немедленно, на месте. Москва стучала по телеграфу: «Хлеба, хлеба». Разогретые паровозы уходили на запад. Они назывались ленинскими. Поезд Совета обороны просекало красное полотнище с лозунгами: «Дадим паровозы Ленину». Из пробки вышло двести исправных паровозов.

— Угля! Угля!

Паровозным топкам не хватало топлива. Несколько вагонов с теплой одеждой Милютин отправил из пробки в Кузбасс, чтоб поднять там добычу.

Кузбасс угля не давал.

В конце января 1920 года поезд прибыл в Томск. Милютин вызывал управляющего Сибугля. В вагон явился заместитель управляющего — главный инженер Сибугля Кратов Иосиф Петрович.

Кратову не удалось бежать от красных. Распрошавшись с Gladковым, уехавшим в санях с женой, Кратов пошел пешком к Красноярску. Советские войска взяли Красноярск боковым ударом. Gladков проскочил, Кратов не успел. Он вернулся в Томск. Там его назначили техническим руководителем Сиб-

угля. Кратов сел в свой кабинет, за свой письменный стол,— Сибуголь расположился в помещении бывшего правления Копикуза.

II

После ухода роговцев Курако вернулся из Гурьевки в Кузнецк. Квартира поразила пустотой. Голос странно отдавался в белых штукатуренных стенах. Роговцы топили печи письменным столом, комодом, стульями. Не осталось ни одной смены белья. Рукопись «Доменная печь», над которой Курако работал два года, исчезла. Обрывок Курако нашел во дворе в уборной, и ему бросилось в глаза выбитое прописными буквами имя Джулиана Кеннеди. Курако хотел прочесть и не смог. Буквы танцевали и сливались. Двухлетняя работа погибла. Сам не зная зачем, он сложил аккуратно обрывок и положил в бумажник.

После прихода Красной Армии Курако ввели в члены Кузнецкого ревкома и назначили председателем уездного совнархоза. Одновременно ему пришлось стать управляющим южной группой копей Кузбасса. Его просили взяться за это, чтобы не допустить развала. После испытания на кокс осиновских углей Копикуз нагнал в Осиновку около тысячи рабочих. Они сверлили землю, вкапывались в пласты. Проходку вели и в Прокопьевске, богатейшем месторождении Кузбасса, в сорока верстах от Кузнецка. Теперь все грозило рухнуть. Три месяца рабочие не получали денег. На зиму остались без пимов, рукавиц и полущубков. Курако не знал, что будет дальше с заводом.

Телеграмма Милютинина не застала Курако в Кузнецке. Он выехал на Осиновку. Три дня подряд на него валились неожиданности. В санях на паре коней ему привезли на квартиру два каравая черного хлеба. Они затвердели на морозе, как чугун. Не снимая тулупа, привезший разрубил их в комнате топором. Выпали слежавшиеся холодные деньги. Две недели везли их из Томска. Шайки дезертиров шесть раз обыскивали сани. Никто не польстился на черный замерзший хлеб — в Сибири было много пшеницы, сала и молока. Курако выдал расписку в получении. На следующий день пришло извещение о прибытии на станцию Бочаты двух вагонов с теплой одеждой и трех вагонов с оборудованием — буровой инструмент, проволока, гвозди, ло-

паты... Курако послал на разгрузку лошадей и людей. На третий день он получил бумажку из Сибугля. Курако сразу узнал энергичный лапидарный стиль Кратова и его вытянутую, как проволока, подпись. Кратов сообщил о высылке денег, одежды, оборудования и предписывал ни на день не приостанавливать работ на Осиновке и Прокопьевске.

Курако сам повез деньги на Осиновку. В трех километрах от осиновского улуса, на Туштелепской площадке, — она предназначалась для завода, — он остановил коня. Курако находился на самом возвышенном месте площадки, — здесь будет народный дом. Лесопилка, склады, штабеля камня укрыты снегом. Курако знал площадку наизусть. Он видел под снегом ее террасы, бугры и впадины. Курако нашел глазами точку, где станет первая домна, — он угадал ее безошибочно. Печь, спроектированная им, встала в воображении. Большие и маленькие трубы, оплетающие ее во всех направлениях, похожи на вывороченные внутренности какого-то гигантского животного.

Будет ли здесь завод? Или останется нерожденный, на кальке, как шестимесячный выкидыш в банке с желтоватым спиртом?

Распоряжения Сибугля давали надежду. С какой стати всаживать сюда капиталы, если не будет завода?

Курако тронул коня и шагом проехал мимо площадки.

Вернувшись в Кузнецк, он застал телеграмму Милютина.

Курако запрыгал на одной ноге. Ему захотелось поделиться с кем-нибудь новостью. В городе не было никого из своих, и Курако при свече набросал карандашом своему другу и лучшему ученику, с которым не виделся три года:

«Не знаю, дойдет ли эта цидулька. Сейчас получил телеграмму от Милютина, представителя центра. Будем строить завод. Хорошо в Сибири. Здесь быстрые реки и чистая вода. Когда купаешься и залезешь по шею, на дне видны ноги. Не то что юзовская муть. Фурмы не будут гореть. Приезжай в гости. Может, через год пустим первый номер — останешься совсем. Курако».

На обороте он написал: «Енакиевский завод. Инженеру Ивану Петровичу Макарычеву».

Перед рассветом Курако выехал на лошадях к поезду.

Милютин пробыл в Томске больше недели. Он несколько раз говорил с Кратовым. Перед отъездом он пригласил его последний раз. В вагоне появился самовар. На столе варенье, лимон, торт. Милютин хотел поговорить с Кратовым дружески, начистоту.

Иван Михайлович Милютин — мягкий и деликатный человек. С высшим образованием, побывавший за границей, имевший массу знакомств в кругу московской и питерской интеллигенции, он просто и легко устанавливал отношения взаимного понимания со специалистами. Новая власть появилась перед сибирской интеллигенцией в лице чрезвычайно вежливого и деликатного человека. Из каждого крупного города он слал телеграммы по линии «всем, всем, всем» с призывом бережного и чуткого отношения к интеллигенции. Всем специалистам, работавшим у Колчака, гарантировалась полная безопасность от имени центральной власти. Милютин делал это по прямому поручению Ленина.

Когда Кратов вернулся в Томск, он не подвергся никаким репрессиям.

В первые же дни своего пребывания на посту главного инженера Сибугля Кратов отправил все, что можно, — насосы, железные изделия, теплую одежду — по Кольчугинской ветке южной группе рудников — Осиновке и Прокопьевску. Он послал туда всю наличность, чтобы обеспечить ход капитальных работ.

Милютин считал это непростительной ошибкой. Он дал указания Сибуглю, но Кратов все же проводил свое.

Милютин заварил чай и откупорил бутылку черного муската. Он говорил о столичных новостях, сообщил подробности гибели Трепова и потом спросил Кратова, какое впечатление произвел на него управляющий Сибуглем, большевик Рождественский.

— Мне кажется, он справится не хуже Трепова, — сказал Кратов без улыбки.

Сдержанность Кратова тает. Милютин переводит разговор на урало-кузнецкий проект. Кратов может говорить об этом до утра.

Милютин слушает.

— Нужны ли деньги для окончания проекта?

— Да, Иван Михайлович.

— Сколько?

Кратов называет сумму.

— Общество сибирских инженеров может получить деньги завтра здесь, у меня в вагоне. Скажите, Осип Петрович, почему вы противитесь развитию Анжеро-Судженки?

Кратов смотрит на Милютину с удивлением. Неужели этот человек ничего не понял из того, что он только что говорил о завоевании Урала кузнецким коксом, о перспективах Кузнецкого бассейна? Кратов отвечает сухо и точно:

— Потому, что там бедные, грязные, тощие пласты. Там нет коксующихся углей.

— Но ведь Анжерка и Судженка прилегают к магистрали... Близ магистрали нет больше шахт. Нам нужен уголь немедленно, сегодня, грязный, зольный, тощий, какой хотите. У нас стоят паровозы.

Кратов не понимает этой логики.

Он объясняет Милютину, что единственная коммерчески правильная стратегия — гнать все, что можно, в Прокопьевск, в Осиновку, в южную часть бассейна. Анжерка не дает перспектив Кузбассу; ее нужно, конечно, поддерживать, но не она создает мировое положение бассейну. В Прокопьевске чудесные угли выходят на поверхность. Можно снять два-три метра покрова и обнажить пласты, ввести экскаваторы в семнадцатиметровую угольную толщу и прямо в вагоны подавать оттуда уголь. Через год-другой туда подойдет железная дорога, там будет золотое дно России. Разве можно равнять Анжерку с Прокопьевском?

— Через год-другой? Нам нужен уголь немедленно. Только Анжерка может завтра дать его паровозам.

— Я считаю, что мы снабжаем Анжерку достаточно.

— Мало, мало... Как вы не понимаете, Осип Петрович, что жизнь страны, что судьба революции зависят сейчас от сибирской магистрали, от продвижения составов с сибирским хлебом?

Кратов пожимает плечами. Он безразличен к судьбе революции.

В дверь стучат.

— К вам товарищ Курако... По вызову.

— Ага! Попросите его сюда...

— Здравствуйте, Осип Петрович! — восклицает Курако, увидя Кратова. — Опять мы вместе. Вместе завод будем строить.

— В Москве другие планы, — говорит Кратов.

Милютин здоровается с Курако.

— Я много слышал о вас, Михаил Константинович. Вы нужны республике.

Спор продолжается. Курако слушает молча.

Опять стучат в дверь. Телеграмма.

Милютин читает про себя, потом вслух:

— «Поезд Совета обороны Милютину.

Передаю полученную телеграмму кавычки Омск Сиб-продком тчк ввиду обострившегося до крайности положения продовольствием предписываю в порядке боевого приказа напряжение всех сил повысить погрузку отправку хлеба центру до максимума тчк ежедневно прямому проводу сообщайте лично мне и наркомпроду первое наличие на станциях желдором второе количество подвезенного станциям хлеба за сутки третье погрузка хлеба за сутки четвертое если был недогруз причины последнего тчк предсовобороны Ленин кавычки тчк движение погруженных маршрутов задерживается отсутствием угля прошу сосредоточить все силы даже ущерб другим заданиям на снабжении магистрали углем тчк запредсибревкома Михайлов».

— Как хотите, Осип Петрович, а я попрошу вас все средства направить в Анжеро-Судженку. Нам нужна крепкая, бесперебойно работающая угольная база у магистрали. Прокопьевск и Осиновку поставьте на консервацию.

— Я подчиняюсь, но...

— Никаких но... Михаил Константинович, ну убедите же его...

— Курако никогда не согласится с вами,— говорит Кратов.

Курако встает. Он чувствует себя нехорошо. Голова горит. Во рту противно. Вывороченные внутренности гигантского животного промелькнули в глазах.

— Товарищ Милютин прав,— говорит он.

Кратов простился. Милютин попросил Курако остаться. Через час Курако выходит из вагона. Светит луна. Курако вынимает бумажник. На глаза попадает обрывок. Курако разворачивает и видит выбитое прописными буквами имя Джулиана Кеннеди. Курако мнет и бросает бумажку.

IV

Через сутки пара коней доставила Курако на Гурьевский завод. Из Томска он привез спирт. Курако разбудил

Казарновского, Жестовского, Зайцева, Джумука — все орлиное гнездо.

— Постройка завода отложена, — говорит он. — Правительство зовет на Юг, восстанавливает старые калоши. Собирайтесь, барбосы. Выступим через неделю.

Лицо его пылало. Он закуривал и выбрасывал папирсы. Табачный дым, казалось, оседал на слизистой оболочке рта какой-то тошнотворной пленкой. Казарновский спросил:

— Не больны ли вы, Михаил Константинович? Поставьте термометр...

— Ерунда. Пей, Казарновский. Мы еще вернемся сюда.

На рассвете Курако выехал в Кузнецк. Через три дня пришло известие, что у Курако сыпняк. Куракинцы послали Жестовского ухаживать за больным.

Жестовский приехал накануне кризиса. Он привел местного доктора и военного полкового врача. На груди Курако вокруг сердца пошла темно-синие, почти черные пятна. Это самая тяжелая форма тифа.

Курако метался в бреду. Он видел аварии. Он кричал:

— Прорвался чугун! Забивай летку! Пушкой! Пушкой! Пусти, я сам. Не умеете работать! Кто меня держит? Почему не пускаете?

Он бредил только домнами. Только доменщик мог понять, что кричал Курако.

Он строил в бреду завод, придумывал новые конструкции, требовал вынести газоочистку из пределов доменного цеха. Доктор сказал:

— Сегодня в двенадцать ночи все решится.

После двенадцати Курако пришел в сознание. Температура упала. Жестовский вздохнул облегченно. Через несколько минут Курако снова забылся. Он лежал тихо, без бреда, с закрытыми глазами. Жестовский не спал трое суток. Он уснул на стуле. Его разбудил вопль.

— Умер! Умер! — кричала сиделка.

Светало. Бледное солнце заглядывало в окно сквозь ветви березы. Полосы света и тени лежали на лице Курако. Жестовский взял руку Курако, — она была теплой. Жестовский хотел найти пульс и не мог. Пальцы дрожали. Он бросился к врачу и поднял его с кровати.

Врач констатировал смерть. Весть о смерти Курако облетела город. Кто-то смерил покойника и сколотил гроб. Мертвого не во что было одеть, в пустой квартире не было ничего, кроме верблюжьего азяма. Жестовский

снял тужурку и надел на Курако. Пришли музыканты. Принесли красные знамена. С кирпичного завода пришли рабочие. Съехались крестьяне из соседних сел. Появились попы с хоругвями и образами. Их прогнали, они не уходили. Курако решили похоронить на заводской площадке. Гроб вынесли в полдень, поставили в сани и покрыли ковром. Красноармейцы дали три залпа. Из Кузнецка до площадки двадцать пять километров. Несколькo сот человек двинулось за гробом. Падал снег. Шли целый день. По пути крестьяне выходили встречать покойника, становились на колени, и снег заносил их. Они знали Курако. На полдороге процессию встретили рабочие Осиновки. Они подняли гроб на плечи и донесли до площадки. Было темно, когда гроб опускали в могилу. Похоронили Курако на самом высоком месте площадки, где предполагался народный дом.

— Отсюда ему будет видно завод, — сказал кто-то.

На Гурьевском заводе о смерти Курако узнали на следующий день. Скорбную весть привез уполномоченный Реввоенсовета пятой армии. Он остановился у секретаря гурьевской ячейки Лагзинга. Туда сошлись куракинцы. Они молча слушали рассказ о похоронах.

— А вы знаете, — обернулся представитель Реввоенсовета к Лагзингу, — Курако был партийным. У него в бумажнике нашли партийный билет. Партбилет номер первый кузнецкой организации РКП(б). Он давно был связан с нами и вступил в партию за три недели до смерти.

V

Четыре года — с тысяча девятьсот семнадцатого — в улус Майдакова не приезжали купцы. Шкурки — длинношерстные горностаи, седые соболя, козы, такие мягкие, что от одного их вида становится тепло — были навалены в кладовой. Четыре года работы лежало там. Никто не приезжал. Кончались запасы пороха.

Майдаков вышел на охоту. В буреломе он разглядел горностаеву тропинку. Кора поваленных деревьев оцарапана у основания острыми коготками зверька. След вел на Тельбес. Он поднимался вверх по Мрас-су. Рядом по бурелому параллельно шел соболь, и это было важнее. Соболю шел рядом, шел на Тельбес.

Странно было Майдакову. Тельбес — населенное место, стоят там рудничные дома. Соболю живет в нетрону-

той дикой тайге. В самой целине живет соболь. Но след шел к Тельбесу. По бурелому шла запутанная соболиная дорожка.

И рядом горностай. Это еще понятно. Горностай глупее соболя. Он подходит к человеческим жилищам. Охота на него — развлечение мальчишек.

Они вышли втроем к Тельбесу. Впереди шел горностай — императорская шкурка, потом шел соболь, потом Майдаков.

Пусто было на Тельбесе. Дома исчезли. Сгинули постройки. Заросшие, заплывшие, занесенные снегом, стояли шурфы и штольни. И только над горой расставлены улы пасечника Костенко.

Майдаков знал Костенко. Соболь потерялся в буреломе и пропал. Горностай шел дальше — на Темир, но идти за ним не стоило. Майдаков постучался к Костенко. Костенко угостил Майдакова светлым липовым медом. Под образами стоял игрушечный Тельбес. Костенко собрал разбитую Кратовым игрушку, скрепил куски глиной и проволокой. Трещины насквозь просекали Тельбес. Там, где стояли столбики с надписью «Руда», не было ничего, кроме окаменевшей глины.

Это все, что осталось от металлургического завода Копикуза. Штабеля камня на площадке разобрали и увезли крестьяне, лесопилку растащили, склады в Кузнецке разгромили роговцы, чертежи Курако уложили в ящики и отправили неизвестно куда.

Старики любят поговорить. Костенко знал пять-шесть слов по-шорски. Майдаков так же говорил по-русски. Они разговорились, ломая для понятности родные языки.

Сказал Костенко:

— Мой, понимаешь, сторожит рудник. Якши, понимаешь? Постройка мой сторожит, а постройки-то нету. Мед мой собирает немного. Понимаешь.

Сказал Майдаков:

— Я много стрелял. Четыре года я стрелял. Никто не менял. Никто не приезжал. Хлеба нету, меду нету, порох тоже нету. Куда пойдем?

VI

В 1934 году на могиле Курако поставлен памятник — рельс Кузнецкого металлургического завода.



СОБЫТИЯ ОДНОЙ НОЧИ

I

Круглая комната обита черным бархатом, черен пол, и черен вращающийся купол. Четко тикает часовой механизм, на столе мерцает маленький фонарик, свет не отражается от стен. Наверху открыт люк, и виднеется звездное небо. Смутно поблескивают металлические части телескопа — огромной трубы величиной в человеческий рост, опирающейся на чугунную штангу. Штанга черна, ее не видно, труба кажется висящей в воздухе.

Крицын выписал цейсовский семидюймовый телескоп из Иены, выстроил над домом круглую башенку и оборудовал домашнюю обсерваторию. Нежнейший инструмент установлен на специальном железобетонном фундаменте, чтобы ничтожнейшая вибрация здания не передавалась ему. Башенку Крицын обил изнутри черным бархатом, поглощающим свет, чтоб посторонние лучи не мешали ночным наблюдениям.

Для наблюдателя устроено деревянное крылечко с четырьмя ступеньками; по ним можно подниматься или опускаться вслед за вращением телескопа.

Сейчас на ступеньках сидит женщина, прижав лицо к глазку. Сквозь открытый люк проникает зимний холод. Она придерживает руками шубку, надетую на белое бальное платье. Это жена Кратова, директора соседних Чистяковских рудников.

Рядом стоит Крицын, в черной инженерской тужурке и в высоких сапогах. Его фигура на фоне бархата неразличима, видно лишь лицо.

— Ну, что же вы видите, Елена Евгеньевна?

— Какой-то завиток, вроде локона.

— Присмотритесь хорошенько. Это мириады точек, скопление звезд, туманность Андромеды.

Женщина смотрит; тикает часовой механизм, телескоп двигается вслед за туманностью, на которую наведен. Вращение трубы и купола незаметно для глаза.

Крицын рассказывает об Андромеде. Луч света, пронзающий пространство с невероятной скоростью — триста тысяч километров в секунду, — доходит от Андромеды до земли через много тысяч лет. Каждая пылинка в туманности во много раз больше нашей планеты.

— Это мир бесконечности, — говорит Крицын. — Представьте себе, Елена Евгеньевна, куб из алмаза, самого твердого вещества, которое мы знаем. Огромный куб, в версту длины, в версту ширины и в версту высоты. Один раз в тысячу лет прилетает ворон и точит свой клюв об алмаз. Один раз в тысячу лет. Когда ворон сточит весь алмазный куб, пройдет лишь один миг вечности, и ничто не изменится во Вселенной.

— А мы?

— Мы? Наша жизнь, Елена Евгеньевна, нуль, бессмыслица. Проживем ее повеселей.

Крицын говорит о звездных мирах, о Млечном Пути, опоясывающем нашу Вселенную, и о множестве других вселенных... Он увлекается астрономией с ранней юности. В студенческие годы он мечтал о такой обсерватории и теперь, через десяток лет, выстроил ее в дымном заводском поселке, где доступна ночным наблюдениям лишь половина неба, противоположная заводу, не озаренная пламенем доменных печей.

Женщина отрывается от телескопа и зябко кутается в шубку.

— Закройте там, наверху, Адам Александрович. Я не хочу этих звезд. Мне холодно. Мне страшно. Ося, ты здесь?

От стены отделяется фигура невысокого человека, одетого, как и Крицын, в черную инженерскую тужурку с перекрещенными молоточками в петлицах. Смутно блестит в полумраке его большая лысина. Это Иосиф Петрович Кратов, муж Елены Евгеньевны, приятель Крицына по институту. Он угольщик, директор рудников — и занимается только углем, целиком отдаваясь делу. Дилетантские причуды Крицына не нравятся ему.

Он обнимает жену и говорит:

— Ты никогда не жалеешь, Адам, что не стал астрономом?

Поворотом рычага Крицын закрывает створки люка, в круглой черной комнате становится еще темнее, тиканье механизма прекращается. Он отвечает не сразу:

— Никогда...

Дверь обсерватории открывается, падает свет из коридора, в башенку заглядывает жена Крицына.

— Адам, Норочка с тобой? Я не могу ее найти...

Норочка — пятилетняя дочь Крицына. Отец балует ее, часто берет с собой в кабинет, в обсерваторию или в комнату для проявления фотоснимков. Он любит болтать и возиться с ней.

— Не волнуйся, киса. Сейчас мы ее разыщем.

Пропустив вперед Елену Евгеньевну и Кратова, Крицын выходит в коридор. У него вытянутое продолговатое лицо с высоким лбом. Небольшая рыжеватая бородка и прическа ежиком делают лицо еще длиннее. Улыбка открывает зубы; верхний ряд правилен и ровен, нижние кривы и сдвинуты.

Юлия Петровна мельком взглядывает на мужа. У нее гордая, властная посадка головы, правильные, точеные черты лица. Она очень внимательна к своему туалету — никаких бантиков, кружев, все просто, изящно и дорого. Ей нравится, когда говорят, что она одевается в английском стиле. Она влюблена в мужа, ревнива и наедине нередко устраивает сцены. Улыбка Крицына сейчас кажется ей принужденной; он как будто чем-то удручен.

Со второго этажа они спускаются в огромный двухсветный танцевальный зал, отделанный мореным дубом. В углу большая елка; маковка с блестящей звездой поднимается к потолку.

Под елкой, украшенной гирляндами стеклянных разноцветных бус и шелковыми флагами всех стран, сидит в красном колпаке Дед Мороз величиной с пятилетнего ребенка. Фрукты и сладости остались только наверху, снизу их уже сорвали дети. В ветвях заметно много серых колбасок. Это бенгальские огни, они в несколько раз толще обычных. Крицын сам их изготовил в своей лаборатории. Детский праздник уже кончился, елку сдвинули в угол, теперь в центре зала стоит концертный рояль.

Сейчас четверть десятого. Гости только начинают съезжаться. В зале немного народу; он кажется пустынным, как площадь. Сияют две большие хрустальные люстры, отражаясь в блестящем паркете.

Балы у Крицыных устраиваются по-английски. Таков стиль дома. Хозяева не встречают и не занимают

гостей; в нижнем этаже все комнаты открыты, каждый сам ищет развлечений, танцы начинаются после ужина, и разрешается уходить не прощаясь.

Войдя в зал, Крицын издает протяжный легкий свист. Два белых фокса, Боб и Кики, с обрубленными хвостами, с черными пятнами на спинах, мчатся к нему через зал. Крицын любит животных. Во дворе у него есть шестипудовые собаки, на задних лапах они выше человека, — то созданная им самим порода, помесь дога с сенбернаром; в парке у него гуляют павлины и живет медвежонок.

Крицын делает движение к Елене Евгеньевне, чтобы снять с ее плеч шубку. Собакам кажется, что он начинает игру; они улепетывают с радостным визгом, кувыркаясь, падая и скользя по паркету. Удирать от погони — любимейшее развлечение Боба и Кики.

Смешная беготня собак сейчас не забавляет Крицына. Он снова свистит, фоксы мгновенно возвращаются и прыгают, помахивая обрубками хвостов. Собаки понимают Крицына. Они чувствуют, что ему не хочется играть, перестают скакать и вертятся у ног, заглядывая ему в глаза. Он говорит:

— Нора... Где Нора? Ищи, ищи...

Фоксы понимают. Они кидаются из зала, и через минуту издали раздается их веселый лай.

— Слышишь?.. Вот тебе и Норочка, киса...

У Елены Евгеньевны, похожей на цыганку смуглым и живым лицом, слегка растрепались волосы; одна черная блестящая прядка, в мелких завитках, упала на лоб.

Она уходит поправить прическу. Ее платье со шлейфом отражается в паркете мутным белым пятном. Юлия Петровна прислушивается к лаю: он доносится из кабинета. Она торопливо идет туда. Крицын передает шубку подошедшей горничной и следует за женой вместе с Кратовым.

В кабинете на большом письменном столе стоит девочка, наступив желтыми башмачками на бумаги, и бросает в собак тяжелыми разноцветными камешками, лежащими на зеленом сукне. Камешки падают бесшумно — пол устлан темным пушистым ковром.

Норочке пять лет. Она родилась в конце 1905 года, когда Крицын был начальником доменного цеха. Крицын не крестил ее. У девочки единственная в своем роде метрика: в ее документе написано, что Нора Адамовна

Крицына не принадлежит ни к какому вероисповеданию. Канцелярия екатеринославского губернатора долго не хотела выдавать такой документ, хотя Крицын основывал свое требование на манифесте 17 октября о свободе слова, свободе совести и свободе вероисповедания. «Это нельзя,— говорили ему в канцелярии,— у нас и книг таких нет».— «Никому нельзя, а мне можно!» — ответил Крицын.

Он передал дело адвокату и добился, чтобы завели книгу для лиц, не принадлежащих ни к какой религии. Первая запись в книге была сделана о его дочери.

Юлия Петровна прекращает забаву Норы. Взяв девочку на руки, она сурово пробирает ее. Юлия Петровна — строгая мать, она часто сердится на мужа из-за того, что он балует дочь.

Норочка видит отца. У нее в кулаке зажат зеленоватый тяжелый кусочек. Повернувшись на руках у матери, она бросает им в собак и кричит:

— Папа, откуда у тебя такие камешки?

Мать выносит ее из кабинета. Крицын кричит вдогонку:

— Спокойной ночи, Норочка! Завтра расскажу...

Он подбирает разноцветные кусочки, раскиданные по ковру, и кладет на стол. На письменном столе директора завода можно увидеть порой самые странные предметы: битые кирпичи, золу на листе бумаги, конусообразные надтреснутые куски кокса или обломок железа.

На столе вырастает кучка камней — желтоватых, красноватых, фиолетовых, словно собранных на морском берегу,— это пробы специального чугуна, известного ферромарганец серый с ясно проступающими кристаллическими иглами, на воздухе он жадно присоединяет кислород, окрашиваясь в цвета радуги. Все металлургические заводы мира нуждаются в ферромарганце для производства литой стали. В России не умели плавить ферромарганец в больших доменных печах, кое-где его выделяли в маленьких вагранках.

Россия — мировой монополист марганцевой руды: чиатурские месторождения на Кавказе богаче всех марганцевых залежей земного шара, вместе взятых. Марганцевая руда вывозилась из России за границу; оттуда после переплавки ее везли обратно в виде ферромарганца. Крицын недавно перестроил домну № 3, перевел ее на плавку специальных чугунов, и, как всегда, ему улыб-

нулась удача. Он получил первоклассный восьмидесятипроцентный ферромарганец. Он захватит теперь весь рынок специальных чугунов в России и бросит за границу тысячи и десятки тысяч бочек с русским ферромарганцем. Три миллиона ежегодной прибыли — вот что означают разноцветные камешки, лежащие на его столе.

Кратов молча ходит по кабинету, рассматривая коллекции руд, шлаков, бабочек и полевых цветов, выставленных вдоль стен.

Кратов невысок и массивен, у него холодные серые глаза, он необщителен и замкнут по натуре. Собаки, бабочки, цветы — все это не нравится ему. Кратов убежден, что человек может достигнуть чего-либо действительно крупного, лишь посвятив себя целиком какому-нибудь одному большому делу, — он не верит в Крицына.

Искоса взглянув на кусочки ферромарганца, он спрашивает:

— А не прижмет ли тебя «Продамета»?

Кратов и Крицын понимают друг друга с полуслова. Они вместе десять лет назад, в тысяча девятьсотом, окончили Горный институт.

Крицын чувствует, что Кратов скептически относится к его успеху. В нем поднимается раздражение, он смеется.

— Сейчас посмотришь, какой у меня разговор с «Продаметой».

Он берет ручку, лист бумаги и оглядывается непроизвольно на дверь.

На вечерах у Крицына строжайше запрещается разговаривать о делах. Юлия Петровна неукоснительно проводит это правило. Крицыну угрожает большая неприятность, если сейчас войдет жена.

Он пишет два адреса: петербургскому представителю завода Высоцкому и председателю правления «Продаметы» Ясюковичу.

«Продамета» — «Продажа металла» — могущественный синдикат. Он возник после кризиса 1900 года, когда один за другим обанкротились заводы Керченский, «Русский Провиданс», Донецко-Юрьевский, Тульский, Липецкий и Таганрогский. Пять крупнейших металлургических заводов, устоявших среди паники и ликвидаций, объединились в синдикат. Его возглавил знаменитый в летописях южнорусской металлургии Игнатий Игнатьевич Ясюкович, директор Днепровского завода. Некото-

рые заводы пытались остаться вне синдиката, но политикой цен, губительной для конкурентов, Ясюкович безжалостно раздавил нескольких противников и принудил присоединиться к «Продамете» все металлургические предприятия Юга. Десять лет металлургия России переживает застой после подъема девяностых годов, но цены на металл стоят выше предкризисного уровня. Синдикат стал монополистом продажи металла, помимо «Продаметы» нельзя купить ни одного вагона южной стали, все заказы принимались только синдикатом, и Ясюкович распределял их по заводам. Заводы были загружены лишь в половину мощности, но приходилось мириться со скудным рационом «Продаметы». Директора понимали, что в условиях застоя попытка сбросить твердую руку Ясюковича была бы безнадежна. Недовольные ожидали нового подъема для борьбы. В 1910 году появились некоторые признаки оживления рынка: кое-где возобновилось железнодорожное строительство второстепенных линий; заказчиком, как и в былые времена, вновь выступало государство. Это были пока незначительные, мелкие заказы; но много говорилось о грандиозных проектах соединения Царицына с Уралом, о постройке Южно-Сибирской магистрали, о восстановлении флота, потерянного в японскую войну, — только такие дела могли поднять металлургию. Правда, подобные слухи возникали не впервые, и кто знает, являлись ли они на этот раз действительными предвестниками высокой конъюнктуры.

Набросав несколько строк, Крицын передает бумагу Кратову. Кратов читает.

Телеграмма в Петербург извещает, что с 1 января 1911 года завод Новороссийского общества выходит из конвенции синдиката по специальным чугунам и объявляет о приеме заказов на ферромарганец, феррошпигель и ферросилиций по ценам на пятнадцать процентов ниже прейскуранта «Продаметы». Под телеграммой подпись: «Директор-распорядитель А. Крицын». У Крицына красивый, четкий почерк, без завитушек и украшений. Чернила еще не просохли, блики электричества сияют в его подписи, в ней разборчива каждая буква. Этой телеграммой он первый бросает вызов «Продамете».

— Смотри, Адам, — предостерегающе говорит Кратов. — Игнатий Игнатьевич не прощает таких фокусов...

— Никому нельзя, а мне можно! — отвечает Крицын. — Помнишь легенду о фортуне? Спереди у нее длин-

ные локоны, а затылок выбрит, лови ее сразу, сзади уже не схватишь...

Он открывает дверь кабинета, которая выходит в большую переднюю с зеркалом во всю стену,— там раздеваются гости.

Высокий, худощавый и изящный, в инженерской ту-
журке и высоких сапогах, он раскланивается с приез-
жающими, любезно улыбаясь.

— Виктор Казимирович! — кричит он.— Здравствуйте!
Идите сюда на минуту.

В кабинет мелкими быстрыми шагами входит началь-
ник доменного цеха Виктор Казимирович Дзенжан.
В инженерском кругу его называют Джим-Джам. Так
окрестило его здешнее начальство — заводские англи-
чане, будучи не в силах произнести трудную фамилию.
У него седеющие густые усы и маленькие хитрые глаза.
Он одет во фрак и белую манишку, на ногах лакирован-
ные бальные туфли,— Джим-Джам любит танцевать.

— Поздравляю вас, Адам Александрович, с днем
рождения. Я вам нужен?

Дзенжан говорит с сильным польским акцентом и
приятно улыбается.

— Спасибо, голубчик. Прочтите-ка вот это.

Крицын передает Дзенжану телеграмму. Дзенжан —
выученик Ясюковича. Он начал службу на Днепров-
ском заводе и продвинулся там до поста начальника
доменного цеха. Когда-то, в 1901 году, Дзенжан, уже
будучи начальником цеха, перевел с французского
книгу де Ватера «Курс доменного дела» и издал под своей
фамилией с изменениями и дополнениями. Крицын, тогда
только что выпущенный инженер, знал в подлиннике
курс де Ватера. Он сличил перевод с оригиналом и
высмеял Дзенжана в остроумной, оскорбительной
статье, напечатанной в «Горнозаводском листке». В от-
вет Дзенжан разразился в печати бранью, назвав Кри-
цына молокососом и моськой, той, которая лает на слона.
Восемь лет спустя Крицын, уже директор Новороссий-
ского завода, получил от Дзенжана письмо с предложе-
нием услуг в качестве начальника доменного цеха.
Крицын взял его на службу и через несколько месяцев
поймал на некрасивой проделке. Желая показать отлич-
ный результат работы и получить дополнительную пре-
мию, Дзенжан подбрасывал по ночам в доменные печи
годный чугун со склада под видом бракованного, увели-
чивая этим выплавку. Пойманный, он суетливо и жалко

оправдывался, ссылаясь на недоразумение. Крицын видел его насквозь. Дзенжан тоже хотел славы и денег, но играл трусливо и мелко,— ему никогда не подняться выше начальника цеха.

Прочтя телеграмму, Дзенжан восторгается, всплескивая руками. Он карикатурно изображает старика Ясюковича — у него отвисает челюсть, дрожит голова и трясутся руки, Джим-Джам высмеивает своего старого пана, выслуживаясь перед новым. Крицын говорит:

— Возьмите моих лошадей, Виктор Казимирович, прокатитесь на телеграф, отправьте Игнатию Игнатьевичу этот подарок к рождеству. Это вас не затруднит?

Ему хочется послать с телеграммой именно Дзенжана, выпестованного Ясюковичем; какое-то жестокое удовольствие есть в этом для Крицына.

Дзенжан склоняется, округлив спину:

— Пожалуйста, мне очень приятно, Адам Александрович.

Крицын медленно сгибает лист бумаги. Он сам не понимает, почему у него сейчас такое тягостное настроение. Он счел бы это предчувствием, если бы верил в предчувствия. Он поворачивается к Кратову. Этот невысокий лысый человек молча наблюдает за ним пронизательными, острыми глазами. С веселой, легкомысленной улыбкой Крицын вручает телеграмму Дзенжану.

В кабинет вбегает Елена Евгеньевна.

— Что вы здесь сидите? — восклицает она.— Как не стыдно, Адам Александрович! Идемте, вас требуют дамы.

Бесцеремонно подхватив Крицына под руку, она влечет его в танцевальный зал к роялю.

В зале уже больше народу, слышится смех, из бильярдной доносится шелканье шаров.

— Господа! — объявляет жена Кратова.— Адам Александрович нам сейчас споет.

Крицына обступают молодые женщины; они называют романсы и арии. Крицын отказывается, его не отпускают от рояля.

Он с детства любит музыку; у него длинные тонкие пальцы пианиста и сильный мягкий баритон. На этажерках у стен множество нот, целая нотная библиотека. Сейчас ему не хочется петь, он шутит и не сдается.

Со второго этажа в зал спускается Юлия Петровна. Елена Евгеньевна зовет ее:

— Юлечка, идите сюда, уговорите его спеть.

Женщины, окружившие Крицына, расступаются перед его женой.

— Адам, споем что-нибудь вместе.

— Не хочется, киса...

Юлия Петровна быстро взглядывает мужу в лицо. Она знает, что Крицын давно уже красит волосы. Он молод — сегодня день его рождения, ему исполнилось всего тридцать пять, — но почему-то он рано поседел. Он стал директором в тридцать лет, и именно в тот год у него проступила седина.

Знаток и любитель органической химии, Крицын сам вернул волосам естественный цвет, приготовив окрашивающий препарат в собственной лаборатории. Лишь посвященным в тайну заметно, что сильный блеск небольшой рыжеватой бородки и зачесанных ежиком волос несколько ненатурален. Крицын любезно улыбается, но глаза не веселы. Юлия Петровна знает, что это не настоящая улыбка. Она видит, что Крицын чем-то расстроен, и за улыбающимся молодым лицом ей чудится другое — мрачное, с потухшими глазами и седыми волосами.

— Не просите! — восклицает она. — Адам не будет петь.

Дамы энергично протестуют. Крицын разводит руками с комически покорным видом.

— Не сердитесь, — говорит он Елене Евгеньевне. — Хотите, я покажу вам ваш портрет?..

— Мой портрет? Откуда он у вас? Где?

— Здесь! — Крицын обводит рукой зал. — Найдите его.

На дубовых стенах зала почти нет картин, висят лишь два больших полотна Айвазовского и несколько гобеленов — вышитые на канве охотничьи сцены, виды средневековых замков и фигуры детей. Вдоль стен в кадках, в горшках и вазах расставлено множество живых цветов и растений. Крицын сам их выращивает в оранжерее своего сада. Он любит ботанику. Каждое лето он пополняет свою ценнейшую коллекцию полевых цветов; в оранжереех он производит опыты по скрещиванию и прививке... Сегодня он выставил изумительный экземпляр черной розы. Около нее толпятся, ее нюхают, хотя она не пахнет.

Елена Евгеньевна бегаёт зал в поисках своего портрета. Юлия Петровна отводит мужа в сторону и спрашивает шепотом:

- Ты чем-то расстроен?
- Нисколько.
- Тебя огорчило письмо Александра?
- Нет, просто тебе померещилось...

Юлия Петровна беспокойно вглядывается в лицо мужа. Ей днем показалось, что глаза Адама омрачились, когда он прочел открытку от брата Александра. Брат не забыл о нынешней дате, но до прошлого года он поздравлял Адама куда сердечней. В прошлом году он побывал здесь в этот день и, признаться, оказался весьма некстати в блестящем кругу приглашенных. Да что спрашивать с этого совершенно не приспособленного к жизни человека. Давно окончив Горный институт, он оставался скромным геологом, живущим на двести рублей в месяц, разгуливающим в стоптанных сапогах. Можно бы ему помочь, устроить его получше, но ему нравится неустанно искать медь и уголь в ледяной пустыне, в вечной мерзлоте, за Полярным кругом.

Юлия Петровна вспоминает принужденную улыбку мужа, когда он вышел из обсерватории.

— Напрасно ты повел их на второй этаж... — произносит она. — Не удержался, чтоб не похвастать своим телескопом...

Год назад Адам Александрович с гордостью водил брата по своему дому, или, как он любил говорить, коттеджу. Молодому директору хотелось, чтоб молчаливый долговязый геолог восхитился умением младшего устраивать свою жизнь. Дом, по единодушному признанию юзовского общества, был восхитителен. Все здесь как принято у англичан: первый этаж предназначен обществу, второй — интимной жизни. В первом этаже — танцевальный зал с концертным роялем, кабинет, бильярдная, зимний сад, парадная столовая, несколько гостиных и четыре комнаты для приезжающих. На втором этаже — спальня, детская, ванная, семейная столовая. Там же Крицын устроил лабораторию для занятий органической химией, комнату для фотографии и домашнюю обсерваторию. «Здесь, наверху, моя забава, мой отдых, интимная жизнь, — сказал Адам брату. — Хорошо?» — «Хорошо, — ответил тот, глядя в окно на грязный, убогий поселок. — Хорошо, да совестно». Хозяева дома почувствовали облегчение, когда уехал этот тяжелый родственник... И вот сегодня пришла открытка, сдержанно поздравляющая с семейным торжеством.

— Где же мой портрет, обманщик? — подбегает к Крицыну черноволосая женщина.

Крицын улыбается; видны верхние ровные и нижние кривые зубы.

— Вот он.

Крицын указывает на черную розу, возвышающуюся на подставке у стены.

Вместе с обеими женщинами он подходит к необыкновенному цветку и с видимым удовольствием рассказывает, как удалось ему вырастить этот уникум. Он увлекается, вынимает из кармана пинцет, наклоняет цветок, осторожно раскрывает лепестки и просит заглянуть, как деформированы тычинки у роскошного гибрида, который никогда не даст семян. Он говорит как садовод и ботаник, забыв, что вокруг дамы. Юлия Петровна видит, как светская улыбка сменилась настоящей. Адам увлечен.

— Какая прелесть, какая прелесть! — восклицает Елена Евгеньевна.

В эту минуту в зал входит группа инженеров. Хозяин приветливо машет рукой. Это его однокурсники, приехавшие к нему в день рождения из Екатеринослава.

— Ну, баловень судьбы, — говорит один из вошедших, — чем собираешься нынче удивлять?

Не отвечая, Крицын небрежным движением отламывает чудесную розу, которую выращивал два года. Он прикалывает цветок к платью Елены Евгеньевны, улыбкой приглашая собравшихся полюбоваться сочетанием белого и черного.

— Зачем вы сломали? — восклицает Елена Евгеньевна.

— Чтобы украсить ваше платье.

II

Максим Луговик сидит на полу около кровати. Вокруг беспорядочная груда книг. Это справочники и руководства по химии. Максим быстро перелистывает страницы, отыскивает раздел галоидов, внимательно просматривает и бросает книгу за книгой на кровать. Нигде, ни в одном из этих толстых томов, не сказано ни слова об аллотропической модификации треххлористого йода. Он, Максим Луговик, сын юзовского горнового, первый открыл это явление.

На коленях у Максима пробирка, наглухо закупоренная притертой пробкой. Он поднимает ее, рассматривает и тихо смеется. В пробирке сухие оранжевые хлопья треххлористого йода. Максим добыл его, пропуская хлор сквозь кипящие йодистые соединения, и обнаружил, что хлопьевидный, марающий руки, вонючий осадок обладает замечательным свойством: при нагревании он становится белым, переходя из одной кристаллической системы в другую, при охлаждении принимает прежний вид, в обоих случаях оставаясь неизменным по химической структуре. Все подобные явления, носящие общее название аллотропических модификаций, наперечет в науке. Они имеют особое значение в нарождающейся теории химического равновесия.

Максим улыбается. О свойствах треххлористого йода не знает еще ни один химик мира. Неужели ему, Максиму, суждено внести что-то новое, что-то свое в теорию равновесия?

Глядя на пробирку, он обдумывает новый опыт. Надо испытать, как будет вести себя треххлористый йод в условиях измененного давления. От последней полочки у Максима осталось десять рублей, этого хватит, чтоб устроить самодельный ртутный манометр. Выяснив критические точки температуры и давления, установив константы, он выступит со своей первой научной работой. Вот удивятся в Юзовке!

Он сидит на полу с мечтательной улыбкой, маленький, небритый, сутулый и невероятно грязный. Оранжевые полосы и пятна, следы треххлористого йода, покрывают одежду и лицо. Рубашка и штаны служат ему для вытирания рук; руки не должны быть грязными — это отразится на точности анализа. Среди стриженных мягких волос круглая плешь величиной с полтинник; двенадцать лет назад, когда Максим был мальчиком в заводской химической лаборатории, ему на голову упала капля азотной кислоты, волосы никогда не вырастут на этом месте.

На столе среди множества склянок с химикалиями пылает едва заметным синим пламенем спиртовая горелка. На ней выпаривается бурая жидкость в химическом стакане.

На столе его лаборатория. Химик рассмеялся бы, увидев самодельный пирометр Максима. У Максима нет вытяжного шкафа, и острый, удушливый запах хлора стоит в комнате.

Максим снова берет новейший английский справочник. Он откидывает кожаный твердый переплет, на главном листе надпись по-английски от руки: «Наука выше всего. Люис Морган Робертс». Эту книгу ему прислал из Англии бывший начальник заводской лаборатории.

Среди других англичан Юзовки Робертс казался странным: он не делал различия между английскими и русскими мальчиками, работающими под его началом; он одинаково свирепо гонял и штрафовал всех.

Максим вздыхает, вспоминая о лаборатории. Шесть лет назад, в тысяча девятьсот четвертом, его уволили оттуда за бунт. С тех пор его имя числится в черном списке завода. Он служит теперь конторщиком в потребительском обществе, получает тридцать пять рублей в месяц и по вечерам занимается химией в своей комнате. Химия — его страсть. Сберегая по десять рублей в месяц, он покупает реактивы, стремясь добыть один за другим все элементы менделеевской таблицы и увидеть своими глазами их соединения — простые, двойные, комплексные. Занимаясь группой галоидов, он набрал на треххлористый йод.

— Наука выше всего, — тихо повторяет Максим, опустив голову на колени.

Лучше бы ему не знать этих слов. Разве наука доступна таким, как он? И все же он не может отказаться от мечты работать вновь в настоящей, большой лаборатории...

На спиртовке с треском лопается химический стакан. Максим поднимает голову и замечает дым, застилающий комнату. В треснувшем стакане жидкость выкипела и дымится почерневший осадок. Максим хватая тряпкой горячее стекло, стакан рассыпается в руках. Он с сожалением смотрит на осколки, — новый стакан стоит сорок копеек.

— К тебе можно, Максим? Иди на минуточку к нам... Фу, как у тебя дымно!..

В комнату заглядывает Шура, семнадцатилетняя сестра Максима. Едкий запах хлора ударяет ей в нос. Она кашляет и морщится.

— Иду, иду, — отвечает Максим.

Он достает из пробирки ярко-желтый кристалл и кладет на стеклянную пластинку. С горелкой в одной руке, с пластинкой в другой, он идет к сестрам.

Квартира Луговиков состоит из двух комнат и кух-

ни. Одну комнату занимает Максим, другую три его сестры, в кухне живут мать и отец. В комнате сестер на комодѣ стоит маленькая рождественская елка, обвита серебряными нитями, с блестящей звездой на маковке. Сегодня сочельник, но в семье Луговиков елку зажгут только завтра утром, когда вернется с ночной смены отец, доменный мастер; без него не начинают праздника. Рождественскую ночь отец проводит дома лишь один раз в два года. Доменщики строго соблюдают очередь на эти ночи.

Вдоль стен стоят три девичьи постели. Перешептываясь и смеясь, сестры в новых сатиновых платьях вертятся у зеркала. Они все уже невесты. Старшей двадцать, младшей семнадцать лет.

Максим осторожно идет с горелкой и стеклянной пластинкой в руках. Он самый старший, ему двадцать четыре года, но в сравнении с сестрами он выглядит ребенком. Он физически недоразвит, очень мал ростом, у него слабые, маленькие руки. Лицо малокровно, бледно. И все же большие, светло-голубые глаза заставляют забывать о его немощи. Сейчас они блистают увлечением.

— Смотрите, что я покажу! — восклицает он.

Поставив горелку на стол, он подносит к ней крошку треххлористого йода на стекле. Пластинку он держит не над огнем, а сбоку, медленно нагревая ее около пламени.

Сестры подходят к столу и с опаской смотрят на синеватое пламя горелки.

В какое-то неуловимое мгновение желтая крупинка становится белой. Максим радостно смеется и восклицает торжественно:

— Видали? Об этом еще не знает химия.

Сестры недоумевающе смотрят на Максима. Он оглядывает их и огорченно говорит:

— Неужели вы ничего не заметили?

Девушки выталкивают вперед Шуру, самую младшую и самую смелую.

— Отгадай, Максим, зачем мы тебя позвали. Ты ничего не замечаешь?

Максим обводит взглядом комнату, смотрит на елку, на белые девичьи постели, на потолок и отвечает:

— Ничего.

— Посмотри на нас.

Максим смотрит на сестер, улыбающихся и ожив-

ленных. Сестры кружатся перед ним, чтоб он осмотрел их со всех сторон.

— Ну, заметил?

Максим беспомощно улыбается.

— Дайте подумать...

— Эй, Максюша... Ведь мы же в новых платьях.

— А... Верно, верно... Куда же вы собрались?

— Сегодня в школе вечер. Помнишь, ты обещал дать нам деньги на билеты...

— Да, да... Сколько же вам надо?

— Два рубля билет.

— Ой, как дорого!

Сестры сразу грустнеют... С сегодняшним вечером у них связано столько планов!

— Но ведь будет ужин... Ты же обещал, Максим. В голосе Шуры звучат слезы.

— Сейчас, девочки, сейчас...— торопливо бормочет Максим.

Что делать, он не умеет отказывать сестрам. Он бежит в свою комнату и выдвигает из-под кровати сундучок. Там лежат десять рублей, отложенные на покупку ртути для манометра. Получив деньги, девушки весело принимаются одеваться. Максим прислушивается к их радостной болтовне, затем прикрывает дверь. Он знает, что они не позовут его с собой...

В квартире становится пусто и тихо: отец на работе, мать в церкви, сестры ушли. Максим гасит спиртовую горелку, медленно идет к себе. На полу разбросаны книги, у кровати стоит раскрытый сундучок. Максим поднимает толстый английский справочник, на главном листе которого написано: «Наука выше всего». Максим печально смотрит на пробирку с оранжевыми хлопьями. Что ж, придется отложить на месяц испытание треххлористого йода под давлением.

Максим убирает книги на полку, потом склоняется над раскрытым сундучком. Сверху лежит белорусская пастушеская дудка. Максим достал ее через земляков отца, чтоб подарить ему на рождество. Дудка очень длинная, конец торчит из сундука. Под нею студенческая фуражка и тужурка. Максим вынимает свою студенческую форму. Два года назад он выдержал конкурсный экзамен в Екатеринославский горный институт. Из всех, кто окончил заводскую школу Новороссийского общества за тридцать лет ее существования, он, Максим Луговик, один-единственный пробился

в высшее учебное заведение. Он числится студентом, а работает конторщиком, потому что нужно помогать отцу, пока девочки не вышли замуж.

Максим надевает форму и идет к зеркалу в комнату сестер. Фуражка с черным бархатным околышем и синим верхом не помята и не выцвела, лакированный козырек блестит, как новый. Максим не вынул из нее железного кольца, как делают обычно, чтоб пригнуть края, и верх стоит торчком, как в магазине. Фуражка ему велика, налезает на уши и совсем не идет: его маленькое лицо кажется еще меньше. Форменная ту-журка с блестящими металлическими пуговицами тоже почти не ношена. Слежавшиеся складки топорщатся, она тоже велика Максиму.

Он смотрит на себя с улыбкой, опускает взгляд и видит измазанные брюки и грязные порывевшие ботинки.

«С грязными ботинками ты, мальчик, не сделаешь карьеры!» Так предсказал Максиму давным-давно мистер Альберт Юз в тот день, когда принимал его в лабораторию.

Максим вздыхает, грустно смотрит на красивую студенческую форму и возвращается к сундучку. Там на дне лежат тетради с его стихами.

Он перелистывает тетрадь. Свои стихи он знает наизусть. Вот «Забойщик»:

Когда ненастной ночью или днем,
В то время, как снаружи ветер завывает,
Сижу один я пред огнем,
Который так приветливо пылает,
Приятно тело согревает
И так шумит,— вот этот шум собой
Мне навевает грустных мыслей рой.
Мне стыдно и не хочется тепла,
Я знаю, кем и как оно добыто,
Я знаю, сколько связано с ним зла
И сколько пота тем пролито,
Кто, как живой, теперь встает передо мной...
Работает... Удары глухо раздаются.
Он, голый, рубит, лежа на спине.
Пылинки, наполняя воздух, выются
И затмевают слабый лампы свет,
Грудь, тяжело хрипя, вздыхает,
Здесь душно, лампа потухает.
А он стучит, стучит. Конца ударам нет...

Максим долго стоит, опустив тетрадь. На столе потухшая горелка и смешные самодельные приборы. Максим

смотрит на колбы и стаканы, он вспоминает заводскую лабораторию, видения проносятся перед ним.

...Вот он дежурит ночью один в лаборатории, четырнадцатилетний мальчик, на столе перед ним раскрытая книга «Мученики науки». Соскользнув с высокого стула, он идет к двери таинственной комнаты, там его любимое местечко. Он стоит около закрытой двери и прислушивается. Через плечо у него полотенце со множеством дыр, выжженных кислотами. Оно пахнет протухшими яйцами, запахом сернистых органических соединений. Слышны шаги. Он отскакивает от запретной двери. В лабораторию входит десятник мартеновского цеха с пробой рельсовой стали. Максим берет пробу, сталь еще теплая; ее, кипящую, зачерпнули из печи железной ложкой, и, застыв, сталь сохранила форму ложки, форму полуайца. Он сверлит пробу на маленьком ручном станке, собирает стружки на вогнутое часовое стеклышко, высыпает в пробирку и осторожно льет туда азотной кислоты. Смесь внезапно вскипает, стружки шипят, поднимаются удушливые темные пары, пробирка становится горячей. Он делает анализ механически, по установленным рецептам, таинственные превращения вещества непонятны ему. Через десять минут анализ окончен, десятник уходит, он снова остается один. На стол взбирается мышка, рядом с ней появляется другая. Это его друзья. Мыши становятся на задние лапы и ждут угощения. Улыбаясь, он достает из ящика кусок хлеба с сыром и крошит ломтик сыра для мышей. Они едят втроем. Одним пальцем он осторожно гладит мышку. Она перестает есть, но не убегает. Кусочек сыра он кладет около крысиной норы; оттуда с шумом выскакивает большая серая крыса, хватая сыр и исчезает, ее не удается приручить.

В лаборатории тихо. С книгой в руках он идет к таинственной комнате, осторожно приоткрывает дверь и входит. В центре комнаты на высокой подставке стоит светящийся графин с водой. Во всей комнате это единственный источник света. Максим подходит, и при каждом движении в граненом графине возникают прекрасные цвета — фиолетовый, пурпурный, оранжевый. Он приближается к графину и отходит от него, вызывая переливы светящихся красок. Улыбаясь, он долго играет в эту чудесную игру. Графин освещается снизу скрытой электрической лампочкой. Слабый рассеянный свет падает из графина на пирометр старин-

ного типа. На мраморной доске колеблется тонкая черная стрелка. В ее движущийся конец вделано маленькое зеркальце. Оно отражает свет вниз. Там тикает часовой механизм, медленно вращающий светочувствительную фотобумагу. Луч от зеркальца чертит на матовой белой бумаге темную зигзагообразную линию. Пирометр измеряет температуру дутья доменной печи. Где-то далеко в трубу, сквозь которую рвется в печь раскаленный воздух, вставлены две спаянные пластинки из разных металлов. Пластинки расширяются не одинаково, и возникает электрический ток. Ток приходит по проводам в лабораторию и колеблет магнитную стрелку. Максим садится на пол у подножия сверкающего шара и старается не двигаться, чтоб не нарушить таинственной системы. Здесь он любит читать. Он раскрывает книгу и рассматривает портреты великих людей науки. Вот Фарадей — знаменитый английский физик и химик. Художник изобразил его юношей. Фарадей моет посуду в лаборатории, через плечо полотенце, волосы растрепаны, глаза смотрят вдаль. Максим читает биографию Фарадея. Фарадей — сын кузнеца, двенадцати лет начал работать в переплетной мастерской и ночами прочитывал книги, принесенные для переплета. Шестнадцать лет Фарадей поступил мальчиком в лабораторию мыть посуду. Наверно, это была такая же лаборатория, такие же непонятные приборы поблескивали на столах. Максим думает о чудесах и тайнах, которые окружают его. Вот он обливал стружки кислотой, вдруг шипение и дым, и пробирка стала горячей. Почему? И кто придумал этот таинственный пирометр? Может быть, Фарадей? Великий химик тоже служил мальчиком в лаборатории, мыл посуду, тер уголь и толоч руду. Тикает часовой механизм. Обняв ножку высокой подставки пирометра, сидит четырнадцатилетний мальчик, сын русского горнового, и видит себя ученым — добрым волшебником своей страны. Таким же, каким был сын английского кузнеца. Слышится шорох. Максим испуганно оглядывается и видит в раскрытой двери длинного, невероятно худого человека. Это мистер Робертс, начальник лаборатории. Его высохшее лицо обтянуто пожелтевшей кожей. Он хватается за шиворот Максима и вытаскивает из чудесной комнаты. Робертс кричит: «Damn your eyes! Damn your bloody eyes!»

Это значит: «Проклятые твои глаза, проклятые твои кровавые глаза!» Это любимое ругательство Робертса.

У англичан оно считается совершенно неприличным, при женщинах этих слов нельзя произнести. У Робертса странная и редкая болезнь: зрачки ни секунды не стоят неподвижно, они непрерывно бегают, будто дрожат. Робертс замечает книгу, выхватывает из рук Максима.

Портрет Фарадея спасает маленького работника лаборатории. Начальник смягчается, увидев своего соотечественника. Улыбка появляется на тонких темных губах Робертса...

Слабая улыбка возникает сейчас на лице Максима. Он бродит по комнатам, снова подходит к зеркалу и видит себя, худенького и маленького; студенческая фуражка и тужурка сидят на нем, как чужие.

Внезапно ему становится нестерпимо ясно, что он никогда не станет ученым. Отвернувшись от зеркала, он обводит глазами комнату. Вдоль стен белеют три девичьи постели. Бежать отсюда! Нет, сестер он не бросит, это свыше его сил.

Одиночество сжимает ему сердце. Ему хочется побыть с людьми, поговорить, укрепить веру в себя.

Прислонившись к косяку окна, он размышляет о том, куда ему деться в этот праздничный вечер, в эту ночь под рождество.

III

Обер-мастер доменного цеха Курако проводит рождественскую ночь один в будке под четвертой печью.

Кирпичная нештукатуренная будка, почерневшая снаружи и внутри, приютилась у подножия доменной. Печь возвышается над ней, как огнедышащая башня, как гора с пылающей вершиной.

О печах доменщики так и говорят, как о горах. На их языке будка стоит под печью; так в обыденной речи дом у подошвы горы называется домом под горой.

Курако смотрит на часы, они показывают без четверти десять. Впереди трудная ночь. Он решает прилечь. Со стены он снимает полушубок, расстилает на столе, из-под стола вытаскивает валенки и кладет их в виде подушки.

На нем коричневые штаны из дешевого плиссированного бархата, называемого манчестер; и такая же куртка со множеством пуговиц; материя изъедена

искрами, как оспой; на ногах сапоги. На завод Курако ходит без пальто: здесь мягкий климат, зимой обычно стоят легкие морозы в три-четыре градуса, днем часто капает с крыш. Полушубок, привезенный из ссылки, он употребляет в качестве постели.

Курако расстегивает куртку, кладет ее на табурет и идет к раковине водопровода, стягивая через голову нижнюю сорочку.

Худощавое смуглое тело обнажено по пояс. На груди большое белое пятно — это давний ожог, затянутый бледной кожей.

Курако тридцать пять лет. Он разглядывает свое голое тело — не начало ли оно сдавать. Вприпрыжку он пробегает несколько шагов, переворачивается — и вот... он стоит уже вниз головой, упершись в пол руками. На руках он идет к умывальнику, в воздухе двигаются сапоги, подбитые железными гвоздями. У раковины Курако вскакивает на ноги; лицо покраснело, волосы упали на коричневый лоб: рывком головы он их откидывает назад, они торчат непокорными вихрами.

Горстями он плещет на себя холодную воду, прыгает и покрикивает, как в лесу.

Застекленная перегородка разделяет будку на две половины. За перегородкой, на высокой деревянной стойке бесшумно и медленно вращаются шесть цилиндров, обтянутых желтой бумагой — миллиметровой. К ним тянутся по стене линии электропроводов. Это пирометры всех шести печей, самопишущие приборы, показывающие температуру дутья и выходящих газов.

Умывшись, надев чистую сорочку, Курако проходит за перегородку к пирометрам и долго наблюдает за движениями изогнутых стрелок.

Их острия сочат красные чернила и касаются вращающейся цилиндрической поверхности. Глядя на красные ломаные линии, непрерывно возникающие из-под кончиков стрелок, можно, не выходя из будки, следить за ходом печей.

Будка представляет странное смешение жилища и технической конторы. На стене против двери свешивается от потолка до пола огромный чертеж доменной печи.

Рядом с чертежом к стенке прикреплен телефон, над ним — круглые настенные часы, на подоконнике — чайник, маленький бочонок пива, черный хлеб и кусок

колбасы, на полу вдоль стены высокими стопками сложены книги и пачки чертежных синек.

За окнами ночь. Иногда горизонт освещается будто утренней зарей,— это на краю завода под отвал выливают шлак, его отсветы видны километров на сорок. В будке два окна. Одно выходит на доменный цех, другое смотрит в поселок.

Сколько таких вот поселений без садов, с тесно стоящими, похожими на сарайчики домишками разбросано по Донецкому бассейну... Всюду наряду с закопченными мазанками тянутся ряды приземистых длинных барakov... И все же эти убогие жилища казались такими милыми сердцу, когда он в глуши Вологодской губернии рассказывал товарищам ссыльным о житье доменщиков Юга. Как хотелось скорее вернуться сюда, вдохнуть тяжелый дух барakov, где обитают доменщики.

Выйдя из-за перегородки, Курако бросает взгляд на часы и сильным взмахом ноги без помощи рук сбрасывает тяжелый сапог. Иной раз в цехе точно таким же движением Курако демонстрирует, какая обувь должна быть у доменщика. Он не позволяет рабочим горна носить тесные сапоги или привязанные к ногам плетеные чуни. Если ступишь невзначай в канаву с жидким чугуном, надо скинуть обувь мгновенно...

Неожиданно с силой распаивается дверь.

— Михаил Константинович! На третьем номере темнеют фурмы...

Влас Луговик, сменный мастер доменного цеха, выкрикивает эти слова с порога. Их покрывает и глушит шум доменных печей, ворвавшийся в будку вместе с клубами холодного пара.

У доменщиков возглас «темнеют фурмы» подобен звуку сигнального колокола у пожарных. В обоих случаях промедление губительно. Потемнение раскаленных масс в печи прогрессирует со зловещей быстротой. Через час-полтора после появления темных пятен печь, если будет предоставлена сама себе, станет бездыханной.

— Закрывай дверь! — кричит Курако.

Влас входит. В будке становится тихо. Возбужденный и потный, он торопит Курако.

— Скорей, Михаил Константинович! Третий номер стынет.

— Знаю,— спокойно говорит Курако и сбрасывает второй сапог.

Влас поднимает седые и насупленные брови. Приземистый, с мускулистой и короткой шеей, в грибовидной войлочной шляпе, в мокрой парусиновой куртке, из-под которой высовывается стеганный ватный пиджак, он с недоумением смотрит на Курако, потом оглядывает будку глубоко запавшими глазами, словно ища объяснения странному поведению Курако. Руки Власа полусогнуты, сильные пальцы двигаются. Он ждет распоряжений, чтоб ринуться в ночь и действовать.

Он восклицает:

— Михаил Константинович! Печка холодает. Приказывайте, что делать!

— Прежде всего — по банке выпить. С праздником, Влас!

Курако выдвигает ногой из-под стола скрипучую плетеную корзину. Из-под крышки торчат концы чистого белья. Курако достает бутылку с красной нераспечатанной головкой, ударяет под доньшко ладонью, от стены отскакивает пробка. Курако никогда не пьет на работе, сегодня он нарушает это правило.

Он наливает два стакана и один протягивает Власу.

Влас смотрит на стакан. Электрическая лампочка блестящей точкой отражается в стекле. Он медленно подходит. С сапог стекают черные капли тающего снега — на заводе и в поселке снег не бывает белым.

Влас бережно принимает стакан.

— С рождеством Христовым, Константиныч!

Старые доменщики много пьют. В Юзовке говорят: «Не выходи за доменщика замуж — пропадешь». Ни Курако, ни Власа стакан водки не выведет из строя. Выпив, Курако водой запивает водку. Власу он отрезает колбасы и хлеба.

Влас ставит на подоконник опорожненный стакан и снимает войлочную шляпу. У этого коренастого, с мощными руками, широкого в плечах человека выпуклый лоб, как у мудреца, и лысина во всю голову. Коротко подстриженная борода, изрядно тронутая сединой, охватывает лицо от виска к виску.

Жуя и улыбаясь, Влас говорит:

— Нет дела, когда водки нет. Родился — водка, женился — водка, умер — водка, печку раздувать — опять водка, за все она отвечает. Скорей обувайтесь, Михаил Константинович...

Курако стоит перед Власом в своей излюбленной позе — широко расставив ноги и скрестив руки на груди.

Ворот рубахи раскрыт, обнажая смуглую грудь, прядь волос ниспадает на лоб. Курако смотрит на часы и отвечает:

— Подожди, сейчас придет начальник. Он сам распорядится.

Влас беспокойно двигается, ему не стоит на месте. Он произносит:

— Давно бы пора ему быть!

— Сейчас узнаем, может быть, пан изволит почивать после обеда. Я бы этого пана...

Курако умолкает, но презрительная усмешка достаточно ясно говорит о его отношении к начальнику цеха. Подойдя к телефону, Курако вертит ручку и просит квартиру Дзенжана. Оттуда не отвечают. Курако не спеша вертит и вертит ручку.

Влас с нетерпением озирается на дверь, оглядывает будку и произносит:

— Михаил Константинович, хватит в будке жить... Для вас-то найдется квартира на поселке.

Со дня поступления на завод Курако живет в будке под четвертой печью. По ночам он спит на столе, положив валенки под голову. Десять месяцев назад он явился сюда в северной одежде из вологодской ссылки. Четыре года о нем ничего не слыхали на Юге, но многие помнили, как гремело когда-то это имя на заводах, имя Курако, начальника доменного цеха Краматорки.

В девятьсот пятом году он, начальник цеха, командовал боевой дружиной Краматорки, затем за революционную работу был арестован и сослан. Отбыв ссылку, он появился в Юзовке, пришел к директору завода Крицыну. Когда-то Крицын, еще будучи молодым инженером, считал себя соперником Курако на поприще доменного дела. Теперь, любезно улыбаясь, он предложил Курако место обер-мастера. Такую должность обычно занимали мастера-практики, не имевшие инженерного образования. Курако вспыхнул, выслушал предложение Крицына, — вспыхнул, сдержал себя и согласился.

Стокосовавшись по доменным печам, Курако дни и ночи проводил около них.

К нему постепенно перешло командование плавкой.

Начальник цеха Дзенжан последнее время совсем перестал наблюдать за ходом печей и возился только с третьим номером, переведенным на плавку ферромарганца.

Рецепты шихты третьей печи Крицын и Дзенжан дер-

жали в секрете; они не доверяли ведению этой печи никому — ни мастерам, ни Курако; было строжайше запрещено производить какие-либо изменения процесса без приказа Дзенжана. Поэтому Курако и не спешит сейчас. Ему не раз давали понять, что третий номер его не касается.

Влас подходит к Курако. Они смотрят на заводской поселок, поднимающийся в гору. Красноватое небо освещает ряды хибарок, выбеленных мелом к рождеству и уже успевших посереть.

Вдали, высоко на горе, виднеется ярко освещенное двухэтажное здание, господствующее над местностью. Свет из окон прорывается сквозь голые сучья деревьев, окружающих дом. Это дом директора завода Крицына, вокруг раскинут большой парк, единственный в поселке. В доме двойной праздник в эту ночь — сочельник и день рождения Крицына. Инженеры со всего Донецкого бассейна, из Криворожья и с Екатеринославщины ежегодно съезжаются к нему в этот день.

— Придется там их потревожить,— говорит Курако.

Он опять вертит ручку аппарата, просит соединить с домом директора. Но жена Крицына, взявшая трубку, кратко отчеканивает:

— Сегодня у нас в доме не занимаются делами. Вам это следовало бы знать.

Не ожидая ответа, она прекращает разговор.

Влас вопросительно смотрит на Курако и видит усмешку под острыми усами.

— Попал в невежи,— произносит Курако.— Ладно, будем ждать.

Но Влас сокрушенно вздыхает, поворачивается и идет к двери.

— Куда ты, Влас?

— Ждать нельзя. Поищу начальника.

IV

Много лет назад Влас Луговик отправился из родной деревни искать счастья. Полтора месяца он шел из Белоруссии в Юзовку. Украина была пустынной степью, покрытой сухим ковылем. На завод Юза вела из Белоруссии проторенная дорожка. Влас пробирался по ней, ночуя в чабарнях — пастушьих хижинах, крытых камышом.

В одной чабарне Влас нанял немец на косовицу в Таврию. Сумрачный старый пастух отозвал Власа в сторону:

— Ты знаешь, малый, к кому нанялся?

— Не знаю...

— Может, он людьми торгует. Заведет тебя к туркам и продаст.

Двадцатилетний Влас заплакал, выпросил обратно паспорт, убежал и спрятался в степи.

В Юзовку он пришел осенним вечером на второй месяц пути. Впервые в жизни Влас увидел паровоз. В белой белорусской свитке, в белой шапке, он долго стоял, как столб, у рельсовых путей. Дул ветер — норд-ост, суховей. Осенью норд-осты в донецких степях дуют по несколько дней непрерывно. Они выжигают зелень, даже листья дуба сворачиваются.

Из заводских труб вылетали языки огня; стремительно несущийся мутный воздух, насыщенный сернистым газом и тяжелой пылью, хлестал Власа по лицу.

Поздно вечером нашел Влас землянку белорусов. В ней жил его брат Антип, жили земляки, все одной волости, одной деревни. При свете керосиновой коптилки Влас увидел черных, измазанных углем людей в черной грязной одежде. Влас не узнал никого. Антип встретил брата нерадостно.

— Ради чего дом бросил? На что надеешься?

Ночью Влас лежал на нарах. Сквозь дырявую крышу просвечивали звезды. Воспоминания проходили перед ним.

В ту первую ночь на заводе Влас вспомнил своего дядю, который прослужил двадцать пять лет в солдатах. Дядя провожал его из родной деревни и говорил при расставании: «Слушай, Влас, мое напутствие. Утирайся всегда сухим полотенцем. Жить будешь в артели с чужими людьми, вставай раньше всех, чтоб полотенцем еще никто не утирался. Держись этих слов, и будешь человеком».

Лежа на нарах, Влас твердил про себя слова дяди.

Дядя часто рассказывал о службе. Один рассказ особенно запомнился Власу.

«Строгий был у нас ротный командир,— рассказывал дядя.— Всегда в походах посылал меня вперед — искать ему квартиру: «Иди, смотри внимательно, чтоб в доме ни одной души старше меня не было». Командиру сорок восемь лет. Если есть кто-нибудь хоть на год

постарше, квартира не годится. Выбрал раз ему квартиру. Живут молодые муж с женой и малое дитя. «Ну как, нашел?» — «Так точно, ваше благородие». Переночевал командир, наутро вызывает и бац в зубы. «Я тебе приказывал найти квартиру, чтоб старше меня не было, а этот ребенок кричит всю ночь, он старше всех, меня не боится, никого не слушает». И еще раз по зубам. Потом под ранец. Выкладка двенадцать кирпичей, два часа должен стоять как истукан, винтовку держать на караул. И ничего, Влас, не поделаешь, надо терпеть. Узнаешь, что такое служба».

Наутро братья пошли к шахте. Антип там работал саночником. Клеть швыряла людей в черную глубокую дыру.

— Я боюсь шахты,— тихо сказал Влас,— она меня заморит.

— Возись тут с тобой, ну тебя к черту! — ответил брат.— Поворачивай домой оглобли.

Люди на заводе были странно грубы и злобны. Влас промолчал и пошел искать работы где-нибудь на вольном воздухе.

Завод раскинулся в степи без ограды. Под открытым небом плавили металл, под открытым небом ухали паровые молоты и скрежетали прокатные станы. Проход на завод был свободен для всех. У доменной печи шумел базар.

Два месяца Влас ходил по заводу. Придет под доменную, снимет шапку и просит у подручного:

— Дозвольте, дяденька, я за вас канавку сделаю.

Потом пойдет к каталям, постоит и попросит:

— Позвольте, я тачку покатаю.

Его взяли чугушником, убирать чугун за шестьдесят копеек в день. Чугушники работают попарно. После выпуска чугуна они хватают горячие, еще красные снизу чушки клещами, волокут по песку и рывком бросают на платформы. На ногах у чугушников плетеные веревочные чуни. Время от времени они окунают ноги в жидкую глину (для этого устроена специальная лужа), чтоб, не обжигаясь, ходить по раскаленному песку. Напарники становятся братьями-близнецами, на работе их движения ритмичны; раскачав чушку для броски, они разжимают клещи в единую долю секунды; они вместе пьют водку и в драках вступаются друг за друга.

Напарником Власа стал земляк, Василий Школьні-

ков, человек исполинского роста и удивительной силы. Он мог носить рельс на плечах. Это была странная пара, два неразлучных друга — маленький и большой. Иногда по ночам они подшучивали над другой парой чугуников. Из рельсопрокатной Василий приносил несколько рельсов. Улучив минуту, он накрывал рельсами ряды чушек, которые полагалось убрать второй паре. Те вдвоем, ругаясь, долго ворочали рельсы, чтоб сбросить их с чугуна. Василий и Влас скорее кончали свой урок и ложились на теплый песок. Из жерла печи вырывался столб огня, по стенкам сбегала вода. Сквозь нее из швов и трещин каменной кладки пробивались синие языки сгорающего газа. Влас вспоминал о родной Белоруссии или рассказывал сказки об Иване-дураке.

Он получал восемнадцать рублей в месяц и десять отсылал домой. Жил по-прежнему в землянке, не знал праздников, не ходил в церковь; днем работал — ночью спал; ночь работал — спал днем. В землянке менялся народ, смерть была там привычной — людей сжигало и давило, по ночам случались убийства, умирали от тифа, от водки, от грязи.

Иногда после работы напарники уходили в степь с бутылкой водки. Выпив, Влас пел песни и играл на белорусской дудке, которую привез из дому.

Четыре года Влас работал на уборке чугуна, на пятый Юзы построили вторую доменную печь. Власа и Василия, привыкших к огню, взяли работать на горно.

Вскоре после пуска печь забастовала, чугун не пошел из летки. Достали самую тяжелую трамбовку; двенадцать человек, ухватившись за нее, мерными ударами вгоняли в летку лом. Выбить назад его не удалось. Лом приварился и не выходил из летки. Тогда лом обмотали якорной цепью, привязали цепь к паровозу, выдернули — из летки не пошло ни чугуна, ни шлака.

Юз собрал рабочих горна. Переводчик передал слова хозяина:

— Спасете печь, будет всем награда.

Горбатый мастер англичанин Джон-Джон приказал Власу и Василию прорубить отверстие в стене печи поверх фурменного пояса на высоте двойного человеческого роста.

Устроив склепанные наскоро железные подмости, напарники пробили стену и докопались ломом до горячего красного кокса. Джон-Джон подвел к отверстию трубу, вставил фурму, укрепил глиной и пустил горячее

дутье. Ниже напарники просверлили дырку для выпуска чугуна и шлака.

Всю ночь Влас и Василий ухаживали за печью, выпуская время от времени маленькие порции жидкого металла.

Под утро они отдыхали на песке под доменной. — Расскажи про Ивана-дурака,— попросил Василий.

Влас знал множество сказок об Иване-дураке. В то утро он рассказал такую:

— Обеднял Иван и решил у помещика хлеба выпросить. Взял гуся и понес его в подарок. «Спасибо, мужичок, только ты нам его подели». Изжарил повар гуся и подал на стол: «Ну, мужичок, дели». Иван отрезал голову и дал барину: «Вы — голова, вот вам голова». Барыне дал задок — в креслах сидеть; барчукам по ножке — на охоту ходить, барышням по крылышку — замуж лететь. «А я, мужик, глуп — мне весь труп». Барин засмеялся и дал Ивану воз хлеба. Встретил Ивана с возом богатый сосед и позавидовал. Взял пять гусей и понес в подарок барину. «Спасибо, мужичок, только ты нам их подели». Изжарил повар гусей и подал на стол. «Ну, мужичок, дели». — «Я не умею, барин, вы делите сами». Барин отправил богатого мужика на конюшню, велел дать розог и послал за Иваном. Пришел Иван, видит пять гусей. «Садитесь за стол, сейчас поделим. Вам, барин и барыня, один гусь — вас будет трое, двум барчукам гусь — их трое; двум барышням гусь — их трое; мне, Ивану-дураку, два гуся — и нас трое. Начинаем обедать». Засмеялся барин: «Этого мужика надо за смекалку наградить, поставить его начальником по двору». Так улыбнулось Ивану счастье.

— Вот и нам с тобой счастье улыбнулось,— сказал Василий, показывая на длинные языки огня, вздымающиеся над печью. Он разумел награду, обещанную Юзом.

Василий поднялся, подошел к печи.

— Русский народ берет смекалкой,— сказал Влас.— Мужик в лесу кладет бревна на сани, один поднимает сто пудов. Этого барин не придумает.

Василий полез наверх по железным перекладинам. Вдруг что-то хрустнуло, и подмости под ногами подломились. Сверху вылетела глиняная запорка, и поток чугуна полился Василию на голову. Он поднялся, с нечеловеческой силой ломая и разбрасывая полосы желе-

за, и, освободившись, побежал, горя, как факел, не видя ничего перед собой. Человек исполинского роста неся с неимоверной быстротой, огненные космы развевались по ветру, за ним погнались и не могли догнать. Через минуту он упал мертвым.

Власа забрызгало жидким чугуном, на нем загорелась одежда. Срывая с себя рубаху, он покатился по песку к луже с жидкой глиной, в которой чугунышки мочат свои веревочные чуни. Обожженный, облепленный глиной, побежал спасать печь.

Старый Юз подошел к обугленному мертвецу, снял шляпу, перекрестился, посмотрел на столпившихся рабочих, одного ударил палкой, другого сапогом, погнал помогать Власу.

Когда восстановили рухнувшее сооружение, Юз позвал Власа и через переводчика сказал:

— Ты, Лас, самый лучший у меня рабочий...

Печь «разогнали» через три недели. Впервые за много дней чугун нормально вышел из летки. Влас получил в награду месячное жалованье — двадцать четыре рубля.

Из первой плавки рабочие отлили чугунный крест, чтоб поставить на могиле Василия.

Старый Юз увидел крест и отправил на весы. Крест потянул на восемь рублей. Юз приказал вычесть эту сумму поровну со всех рабочих горна. Они не согласились. Крест по приказу хозяина разбили под копром и бросили обратно в печь.

Старый Юз ходил по заводу с толстой палкой, сам вмешивался во все и на месте расправлялся палкой с виноватым. Миллионное дело досталось ему неожиданно и легко. В Англии Юз был начальником кузнечного цеха на железодельном заводе в Миттельсборо. Российское правительство заказывало там броневые плиты для военных кораблей после поражения в Севастопольской войне. Юз привез партию плит в Петербург. Заказ принимал шеф флота великий князь Александр Михайлович. Он сказал Юзу:

— Почему вы, заводские люди, не поставите завод у нас? Беритесь, мы поможем.

Юз привлек к делу родственника, торговца железом Арчибальда Бальфура; взяв с собой английского геолога, они отправились в степи Донецкого бассейна. Эти места назывались Новороссией, Новой Россией, при Петре здесь были турецкие владения. Старый пастух показал

англичанам выходы угольных пластов. К осени овечьи отары вырывают и вытаптывают траву, земля становится голой и шлифованной. Пастух повел англичан к истокам реки Кальмиуса. На много километров вдоль и поперек обнаженная земля была перечерчена черными полосами саж. В русской истории Кальмиус известен под именем Калки. Когда-то в битве на Калке татары победили русских; связанных пленных воевод рядами положили на землю, покрыли досками; всю ночь победители плясали и пировали на этом помосте, растапывая живых людей. Пять столетий спустя Юз выбрал эти места для завода и получил субсидию от русского правительства. Теперь завод — громадина, он весь изрезан рельсовыми путями. Часто и резко кричат паровозы, воют и гудят печи, извергая пламя и тяжелую бурую пыль. За много лет эта пыль толстым слоем покрыла всю заводскую территорию. Ноги увязают в ней, как в песке. Далеко вокруг завод убил траву и деревья, вода и воздух пропитаны запахом сернистого газа.

В мечтах Влас чаще всего видел себя стариком, видел сынов и внуков; все жили одной дружной семьей. Дом стоял у реки, утром поднималось солнце, бабы выгоняли коров, сыны запрягали коней, внуки играли в разбойников, сам он возился в пчельнике, немощный, добрый, счастливый.

Работая в заводе, Влас по-прежнему получал восемьдесят копеек в день, двадцать четыре рубля в месяц, половину он отсылал домой и терпеливо ждал счастья.

Прошло несколько лет с тех пор, как он поступил на завод.

Брат Антип попал в шахте под обвал. Многих раздавило насмерть. Антипу разможило левую кисть и выбило глаз. Непрерывно выли гудки, как всегда при взрывах, пожарах и обвалах. Отовсюду сбегались люди. Толпа женщин в молчании теснилась к клетки, ожидая первого трупа, и первое рыдание, прорезавшее гудящий воздух, возвестило о его появлении.

Антип вышел сам; дрожащей правой рукой он поддерживал левую, обмотанную кровавой тряпкой; из пустой глазницы, не закрытой ничем, сочились кровь, стекала по лицу, измазанному углем, и капала на темный снег

Дело обошлось без суда. Антип подписал с конторой мировую, получив девятьсот рублей наличными за руку и глаз.

Влас проводил брата на станцию. Они решили выстроить новый дом над рекой и развести пчел. Поезд увез брата. Влас остался на заводе до весны.

В доменном цехе все знали, что Влас уезжает домой. Плотник сделал ему сундук, маляр выкрасил зеленой масляной краской и сверху нарисовал розы. Первый раз за годы пребывания на заводе Влас не вышел работать в воскресенье; он отправился с земляками на базар. Впервые в жизни Влас купил праздничный костюм — сапоги, пиджачную пару, картуз и голубую рубаху. Земляки заставили надеть все это в магазине и повели Власа к парикмахеру. В зеркале Влас увидел себя, обросшего светлой русой бородой, в новой, непривычной одежде, и засмеялся от радости. «Вот он, Иван-дурак!» — подумал Влас о себе. Он возвращался с гостинцами в обеих руках пьяный, счастливый и бритый.

Дома, окруженный земляками, он укладывал покупки в новый сундук. Ему принесли письмо. Малограмотный, он вертел конверт, и сердце заняло у него. Письмо прочитали вслух. Антип просил выслать двадцать рублей, чтобы вернуться в Юзовку. О деньгах он писал, что высудили за старые отцовские долги, а остальные с горя пропил. «Пришли, брат, денег на дорогу, может, возьмут сторожем. На заводе каждый месяц хоть маленькая, а все-таки получка, а здесь я работать не гожусь, и без меня хлеба не хватает». Влас сидел неподвижно, потом стал озираться вокруг, ища улыбок на лицах земляков; он не поверил письму — должно быть, над ним посмеялись. Он взял конверт и бумагу, разорвал и бросил на ветер.

Через две недели почтальон принес еще одно письмо, брат снова просил выслать денег на дорогу. Влас сел и заплакал. Он ревел, как ребенок, громко, содрогаясь всем телом, не стесняясь посторонних глаз.

Семь лет Влас провел на заводе, ничего не скопив и не нажив. Что ж, опять посылать деньги домой? Там кадушка без дна, сколько ни лей — все порожняя.

Земляки посоветовали ему жениться.

— Заводи, Влас, семейство на чужой сторонке, а то век с тебя будут деньги тянуть; этим отрежешь, как ножом.

Влас долго присматривал невесту. Юзовские девушки казались ему слишком чисто одетыми, избалованными и капризными. Ему указали шестнадцатилетнюю девочку, сироту, худенькую, забитую и робкую, мачеха отдала ее в няньки. Влас послал сватов, девочку отдали легко, довольные, что сбыли с рук.

Влас пришел знакомиться с невестой, когда дело было уже решено. Она впервые увидела будущего мужа. Они сходились на всю жизнь, еще не перемолвившись словом.

На свадьбе после трех стаканов водки Влас заплакал, свадьба показалась ему похоронами, — в эту ночь он навсегда прощался с родиной.

Из землянки Влас перебрался в семейный балаган, большой дом без комнат. Из деревянных брусьев он сколотил козлы и прибил к ним три нестроганные доски. Это была первая кровать молодых.

Через год у них родился сын, его назвали Максимом. На крестинах Влас взял сына на руки и долго смотрел на маленькое синеватое существо со скрюченными ножками и приплюснутым носом. Его, Власа, жизнь продолжалась в жизни сына. Может быть, счастье, которое обошло Власа, улыбнется когда-нибудь сыну.

Рядом с Власом стояла семнадцатилетняя жена, худенькая, с узкими угловатыми плечами и недоразвившейся грудью.

Глядя на ребенка, Влас сказал строго:

— Теперь он у нас самый старший. Никого у нас старше его нет.

V

Четверть часа спустя Влас возвратился в будку Курако.

Старый мастер сбегал на воздуходувку, обошел рудный двор, заглянул к весовщику — нигде не оказалось начальника цеха.

— Что будем делать, Константиныч?

— Не знаю... Нам с тобой приказано не вмешиваться. Обождем Джим-Джама.

— Эх... Давно бы ему надо быть.

— Садись, Влас... Скажи-ка — как живет сынок?

Влас растерянно озирается вокруг, медленно поворачивая шею. Потом присаживается. Бледное лицо

Максима, его кроткий, тоскующий взгляд всплывают в памяти. Вздыхая и не глядя на Курако, он отвечает:

— Малые дети — малое горе, большие дети — большое горе, Константиныч.

— Хороший у тебя сынок, только слишком смиренный. Смирных топчут, Влас.

— Это моя смирнота у него.

Трудно понять, отцовская гордость или отцовская горечь слышится в голосе Власа. По-прежнему не поднимая глаз, он добавляет тихо:

— Из лозового куста не вырастет сосна.

Курако останавливается у окна и смотрит на дом Крицына, источающий потоки света. Потом снова ходит, крутит острый ус и откидывает со лба непослушную прядь.

— Скоро мне понадобятся люди для большого дела. Я возьму Максима к себе. Через три года он станет инженером и будет строить вот такие печи.

Сильным и страстным движением Курако протягивает руку к большому чертежу. За стеклянной стеной бесшумно вращаются пирометры, еле слышно тикают стенные часы. Курако стоит перед чертежом, голова вскинута, застыла взлетевшая в стремительном взмахе рука. В будку доносится заглушенный шум печей. Курако прислушивается к гулу; в ровном слабом гудении он различает звуки отдельных домен. В будке тихо. Влас тоже слушает смутное рокотание печей, слегка раскрыв рот и вытянув голову к окну. Чтобы лучше слышать, он снимает широкополую войлочную шляпу. Вновь обнажается высокий выпуклый лоб и большой лысый череп. Влас вновь становится похожим на мудреца. Оба доменщика уловили звук третьего номера; свистящие ноты, всегда различимые в глухом гудении домен, у третьей печи сейчас пронзительней и тоньше, чем обычно.

— Садись, Влас,— говорит Курако.

Влас не садится. Он надевает широкополую войлочную шляпу и направляется к двери.

— Куда ты, Влас?

— Искать начальника.

Они стоят друг против друга — легкий, худощавый Курако с уверенной и дерзкой улыбкой, ворот белой рубахи у него распахнут, открывая коричневую грудь, и тяжеловесный, сильный Влас.

Снаружи кто-то дергает дверь.

— Слава вышнему, кажется, начальник! — восклицает Влас.

Он радостно улыбается, напряжение покидает его тело. Курако откидывает крючок и толкает дверь ногой. Врывается и стелется на полу белый клубящийся пар.

В будку входит Максим. Бережно, боясь помять, он несет перед собой, поддерживая обеими руками, какой-то странный конусообразный предмет, накрытый холстиной. Курако затворяет дверь и отходит к окну.

— Я принес вам елку, папа. Здравствуйте, Михаил Константинович!

Максим одет в студенческую форму. Он знает — отец любит, чтобы по большим праздникам он надевал форменную фуражку и тужурку. Сейчас он кажется кособоким, под тужуркой у него что-то спрятано. Сняв фуражку и освободившись от теплых вещей, Максим подходит к Курако с протянутой маленькой рукой. Курако пожимает ее, — это не мужская рука, она податлива и мягка, словно в ней нет костей.

Улыбаясь, Максим осторожно разворачивает холст и водружает на стол маленькую рождественскую елку, обвитую серебряными нитями, с блестящей звездой на маковке. Лукаво и ласково поглядывая на отца и на Курако, довольный своей выдумкой, Максим поправляет елочные украшения.

Влас с нежностью смотрит на сына.

— Зажигайте елку, папа!

Курако чиркает спичку и горящую подает Власу.

— Зажигай, Влас.

Вертя шеей, будто давит ворот, Влас зажигает свечи.

— Тушите свет, Михаил Константинович! — восклицает Максим.

Курако поворачивает выключатель, и сразу резко выступают красноватые проемы окон. За окнами ревет доменные печи, вдали сверкает электричеством директорский дворец, а будку под четвертым номером освещают несколько тонких мерцающих свечек на маленькой елке. Ушли в полутьму пирометры и огромный чертеж, будка кажется меньше и уютнее. Максим тихо смеется. У него глаза и улыбка ребенка, он похож на мальчика с приклеенными жидкими усами. Он вытаскивает из-под тужурки и протягивает отцу рождественский подарок — настоящую белорусскую сопилку, сделанную из двух дудок: одной — короткой, другой — длинной. Сколько раз Влас вспоминал о такой со-

пилке. Его старая дудка, привезенная с родины, давно треснула; он вырезывал новые из бузины и из камыша, они не нравились ему; в Юзовке и далеко вокруг он не находил деревьев, которые растут в Белоруссии. Максим достал дудку через земляков и долго прятал, чтоб преподнести отцу на рождество.

— А это вам, Михаил Константинович.

Максим подает Курако толстую хлопушку, украшенную цветной и серебряной бумагой. Внутри хлопушки неизвестный сюрприз — колечко, бумажный колпак или свисток.

Максим познакомился с Курако полгода назад, вскоре после поступления того на завод. Курако сидел у Власа в гостях, они выпили по стопке, по второй и по третьей и вели нескончаемый разговор о доменных печах. Это странная особенность многих доменщиков: где бы они ни встретились, о чем бы ни начали беседовать, разговор обязательно перейдет на печи. Они говорят о домнах, как о живых существах. Доменщики часами могут спорить, как шла печь, и их трудно оторвать от такого спора, как картежников от игры. В разгар такой беседы пришел со службы Максим.

— Это наш обер-мастер, Михаил Константинович Курако,— сказал Влас сыну.

Узнав, что Максим студент, Курако стал расспрашивать, кто экзаменовал его по металлургии. Максим называл профессоров; каждое имя было известно Курако, о каждом он имел суждение, резкое и категорическое. «Если это мастер, то очень знающий мастер»,— подумал Максим. Манера Курако бросать отрывистые, резкие фразы не понравилась ему — это казалось рисовкой. Курако продолжал спрашивать и непечатными словами выругал профессоров за то, что они не понимают значения конструкции доменной печи, для них все равно — большая печь или малая, механизированная или с ручной завалкой; они знай себе толкуют об абстрактном доменном процессе. Максима поразила меткость этого замечания. Он сам, читая институтские учебники, постоянно ощущал какой-то разрыв между наукой и живым заводским производством. Эти мысли Максим высказал Курако. Как обычно, он говорил медленно и тихо, как бы размышляя вслух. Курако вскочил, когда услышал, что Максим знаком с трудами

Чернова и Павлова. Максим приостановился. Курако пробормотал:

— Говори, говори.

Максим продолжал. Живое, подвижное лицо Михаила Константиновича выражало искреннее удовольствие.

— Вот это здорово, вот это ловко! — восклицал он.

Он налил три стопки. Максим отказался: он не мог и не умел пить водку.

— Удивительно, — сказал Курако. — Настоящий доменщик, и непьющий.

В тот вечер они долго говорили. Влас лег спать, а они просидели допоздна. Максиму уже не казались искусственными и наигранными резкие жесты и отрывистые фразы Курако, он принял его целиком. Уходя, Курако стукнул кулаком по столу и сказал:

— Подожди, Максим, скоро я войду здесь в силу.

После этой встречи Михаил Константинович частенько заходил к Луговикам. Всегда оживленный и веселый, он показывал Максиму интересные статьи в журналах, чертежи и, увлекаясь, развивал свои мысли. Между ними повелось, что Курако говорил ему «ты». Встречи с Михаилом Константиновичем волновали Максима, для него это были праздники мысли. В каждом слове Курако он чувствовал силу, волю и дерзость, чего не хватало ему. Смелый доменщик-революционер заставлял его ненавидеть собственное смирение. Сейчас, в канун рождества, Максим ушел из дому в тайной надежде увидеть Курако...

Влас долго смотрит на дудку, поворачивая ее в руках; отблески свечей играют на сухой коричневой коре, покрытой мелкими пупырышками. Это настоящая крушина, редкое дерево белорусских лесов, которого не знают на Украине. Губы сами складываются для игры, пальцы ложатся на дырочки. Влас поднимает дудку и останавливается, не донеся до губ. Он вертит шей, кладет дудку на стол и порывается к двери.

— Папа, сыграйте что-нибудь нам!

Весело горят свечи на елке, в углах сгустилась тьма, все утратило четкость очертаний.

Влас молчит.

— Он стесняется вас, Михаил Константинович. Если б вы знали, как хорошо он играет!.. Прошу вас, папа, сыграйте нам.

Влас отходит в угол, в полутьму, его почти не видно.

Он пробует новую дудку, извлекая отдельные ноты; звуки не гаснут сразу, а замирают постепенно, дудка звучит прекрасно. Курако отходит от двери и садится к столу. Максим стоит у елки, поправляя оплывшую свечку. Влас играет, летится простая и грустная мелодия. Это бедная, неукрашенная музыка, полная тоски. Звуки дудки замирают. Влас начинает тихо петь:

Занует сердце мое, загрустит
По родине своей.
Отцовский дом покинул я,
Травой зарастет...

Слова песни снова сменяются музыкой. Курако сидит неподвижно, подперев руками склоненную голову. Максим застыл, как замороженный он смотрит на блестящую звезду. Маленькие белые кисти рук беспомощно повисли.

Влас поет:

На кровле филин прокричит,
Собачка верная моя
Залает у ворот...

Максим смотрит на блестящую звезду. Отец поет о родине, а сын тоскует о лаборатории — там его родина, его родная мать.

Украшен божий свет,
Моря я вижу,
Вижу небеса,
А родины здесь нет,
Не быть мне в той стране родной,
В которой я рожден.

Влас опустил дудку, а Курако все еще сидит с закрытыми глазами, подперев рукой склоненную голову, и Максим все еще смотрит на звезду. В будке тихо, едва потрескивают свечи, слышен шум доменных печей.

Влас прислушивается и вздрагивает. Он кричит:

— Слышите, как она свистит?.. Я не могу, Михаил Константинович!

Бросив дудку на стол, он кидается к двери и исчезает из будки.

— Куда он побежал? — спрашивает Максим.

Курако идет к распахнутой двери. Власа уже не видно, он пропал в красной полутьме. Максим подходит к Курако, они стоят рядом в раскрытой двери, перспектива цеха открывается перед ними. Печи ревут. Огненные короны пылающего газа вздымаются на их верши-

нах. Домны стоят в ряд под открытым небом — шесть башен, сложенных из камня. Сверху по стенкам сбегают потоки воды, охлаждающей камень. Печи очень стары, потрескавшаяся каменная кладка схвачена железными обручами, синие языки газа проступили сквозь трещины и лижут водяные рубашки, отражения огня играют в мокрой струящейся поверхности. То над одной, то над другой печью пламя внезапно вздымается сильнее — это открывают заслонку на колошнике, чтоб засыпать в печь очередную колошу материала. Тогда вместе с пламенем вырываются из печей темные столбы тяжелой клубящейся пыли; она не поднимается высоко и медленно оседает. Пыль настолько густа, что даже ночью видно, как она садится. Над третьим номером пламя по-прежнему ярко-желтое; оно то вспыхивает сильнее, то ослабевает.

— Черт знает как Влас любит эти печи! — произносит Курако.

Дуновение холодного воздуха из раскрытой двери отклоняет слабые огоньки свечей. Они бьются и трепещут. Ветер гасит свечи одну за другой.

— Куда он побежал? — вновь с беспокойством спрашивает Максим.

Курако затворяет дверь и подходит к выключателю. Вспыхивает белый свет. Снова высится профиль печи на огромном чертеже, четко проступают на стене линии электропроводов, идущие к пирометрам; мизерная елка с дешевыми лакомствами кажется странной и ненужной здесь.

— У нас расстройство на третьей печи, и он не может усидеть. Ее ведет начальник, сейчас он будет здесь. Ждем его с минуты на минуту.

Курако смотрит на дверь и повторяет:

— Как твой отец любит эти печи!.. А я снесу их начисто.

Он замечает хлопушку в руке и с треском разрывает ее. Оттуда выпадает сюрприз — воротник, затейливо вырезанный из папиросной бумаги. Курако вертит сюрприз, бумажное кружево шуршит в руках, воротник становится пышным. Курако кидает его на стол.

— Почему вы бросили, Михаил Константинович, мой подарок?

Не отвечая, Курако идет в угол, где сложены стопы чертежей и книг, он берет сверху последний номер «Журнала Русского металлургического общества» —

журнала, который выходит в Петербурге под редакцией профессора Михаила Александровича Павлова.

— Смотри, Максим, этого номера ты еще не видел... Есть интересная статья «План доменного цеха».

Курако быстро переворачивает большие журнальные листы, находит рисунок во всю страницу, изображающий панораму доменного цеха. Восемь печей уходят вдаль. Впереди высится бронированная домна, одетая множеством механизмов и приборов, оплетенная трубами, с причудливыми устройствами на колошнике.

Рисунок отделан тщательно. Печь работает, идет выпуск чугуна, над канавой поднимается дымок. У горна, держа наготове двухцилиндровую пушку, стоят двое рабочих. Около печи больше нет людей.

Ни одного подобного цеха не существует в России, но «Журнал Русского металлургического общества» из года в год разрабатывает теорию передовой, механизированной доменной печи, ратует за нее.

Курако вслух разбирает проект, отдельные решения вызывают его восхищение. Редактор журнала, отец русской металлургии Павлов, для него — учитель. Курако знает все работы Павлова, не пропускает ни одной его статьи. Эх, показать бы ему вот этот чертеж, висящий тут, в доменной будке,— конструкцию печи, которую изобрел, создал Курако.

Обер-мастер Юзовки влюблен в свою мечту, в свою конструкцию. Ему хочется поговорить о ней с Максимом. Протянув руку к чертежу, он восклицает:

— Если б у меня был миллион, я построил бы такую печь и спал бы на колошнике!

Курако хватает дудку со стола и действует ею как указкой.

— Смотри, этот кирпич работает на сжатие, этот на распор, этот на удар. Смотри, как она свободно стоит, она может качнуться от ветра, она может вибрировать. Это, Максим, симфония, музыка. Ее можно так ажурно построить, что она запоет, когдапустишь дутье: «До-о-о...» А можно все это подтянуть ту же, она запоет тогда тоньше: «Ля-а-а-а...» Я слышу, черт побери, как она поет...

Курако смотрит на дудку, которую держит в руках, кладет пальцы на дырочки и приставляет ко рту. В будке гудит чистое низкое «До-о-о».

Максим прислушивается.

— Не то, Михаил Константинович. Здесь нужен звук металла.

— Правильно! — кричит Курако. — Неужели ты тоже ее слышишь?

— Кажется, слышу.

Эти простые слова приводят Курако в восторг.

— Неужели слышишь? Чем тебя за это наградить? — Он обводит взглядом будку. — Вот надену твой подарок.

Он обвивает шею пышным воротником из бумажных кружев, подхватывает Максима под мышки, поднимает, кружится с ним вокруг стола и опускает на пол у окна, которое смотрит в поселок. Дом Крицына сияет вдали. Курако указывает дудкой туда и говорит:

— Там пляшет сейчас горная порода (горной породой Курако называет горных инженеров). Хоть дуй им в уши, ни один из них не услышит этой музыки. Надо стать сильным. Слабых бьют, Максим.

Курако стоит, вытянув руку с длинной дудкой, словно со шпагой; волосы взъерошены, на шее пышный белый воротник.

Максим восклицает:

— Как вы похожи сейчас на Дон Кихота! Только камзола не хватает. Я буду вашим Санчо Пансой, Михаил Константинович.

Отворяется дверь. В будку входит Влас и говорит по-нурьски:

— Третий номер не берет дутья...

Это значит, что застывший шлак закупорил фурмы и в печь уже не проходит воздух.

Курако срывает воротник, подбрасывает под потолок и ловит на лету.

— Надо искать пана Дзенжана... Иди, Влас, к Крицыну. Теперь мы вправе побеспокоить господ.

Влас медленно выходит. Курако кричит ему вслед:

— Захвати палку, разгонишь там собак.

Он оборачивается к окну и поднимает дудку.

— Когда-нибудь я сам их разгоню...

— Что это? «Козел»? — тревожно спрашивает Максим.

— Паны наляпали! — отвечает Курако.

Он обувается и надевает подбитую ватой куртку со множеством пуговиц.

— Я пойду к печи, Максим. Если хочешь, оставайся здесь, читай журнал.

Максим смотрит на чертеж.

— Построите ли вы, Михаил Константинович, когда-нибудь такую печь?

Надев зеленатоватую широкополую шляпу, Курако застегивает последние пуговицы и восклицает:

— Придет наше время, Максим! Я их настрою столько, сколько пуговиц у меня на куртке!

Он уходит, захлопнув за собою дверь. Максим смотрит ему вслед с обожанием.

VI

На доменных заводах Курако начал работать с пятнадцати лет. К этому времени он был исключен из четырех учебных заведений — из кадетского корпуса, из двух гимназий и из реального училища. Причина исключения всюду была одна — мальчик не переносил наказаний. Чем строже его наказывали, тем упорнее он не покорялся.

В окружающих усадьбах детям строго запрещалось вести знакомство с отпетым Курачком. Встречаясь по воскресеньям в церкви, они не здоровались с ним. Курако втайне страдал от этого и никогда не кланялся первым. Он стал атаманом крестьянских мальчишек и, обтрепанный, без шапки, с рогаткой в руках, совершал набеги на помещичьи сады. Горе было барчукам, попадавшим в его руки!

Влюбился он все же не в деревенскую девчонку, а в барышню. Он встречал ее в церкви, хорошенькую, остроносую, с очень тонкими ножками в черных чулках, с лентами в темных косах. Однажды, забравшись в чужой сад, он неожиданно столкнулся с ней.

— Здравствуйте, Иночка, — сказал он, покраснев. Она поджала губы и не ответила.

— Почему вы молчите?

Она дернула плечиками и искоса взглянула на него. Он увидел свою исцарапанную грязную руку, босые, покрытые цыпками ноги и, не помня себя, закричал:

— Дура, дрянь!

Он отхлестал ее по щекам и убежал...

Когда Курако исполнилось пятнадцать лет, мать отдала его в уездную земледельческую школу. Туда принимали всех, кого исключали отовсюду; директор славился жестокостью и выдержкой.

В первое же утро директор заметил, что на общей молитве Курако стоял небрежно, вразвалку. В наказание после обеда вместо прогулки он было поставлен на колени перед иконостасом. Следующим утром на молитве директор искоса наблюдал за мальчиком. Курако поймал взгляд, вздернул голову и принял вызывающе небрежную позу. Дуэль продолжалась несколько дней. На молитве он стоял, расставив ноги, сунув руки в карманы, потом на два часа его ставили на колени перед богом. Затем директор усилил наказание: после уроков Курако отправился в карцер. Выйдя на следующий день оттуда, он в большую перемену запустил кегельным шаром в окно директорской квартиры. Воспитанники были выстроены, директор грозно спросил:

— Кто это сделал?

Курако вышел из строя. Это была его манера: совершать буйные поступки и дерзко сознаваться. Смуглый мальчик в белых холщовых брюках, в белой гимнастёрке стоял перед директором, длинным, тощим человеком с причёской ежиком, и смело смотрел на него выпуклыми черными глазами. Директор применил сильно действующее средство — пытку лишением сна. После того как воспитанники ложились спать, Курако должен был четыре часа стоять на коленях в пустом зале перед иконой божьей матери. Ночью, переминаясь на коленях, зевая и томясь, Курако нашупал в кармане карандаш. Ему взбрела в голову шальная мысль, и он немедленно ее осуществил. Подмалевав усы богородице и младенцу, он вновь опустил на колени. Святотатство было обнаружено утром. Курако заперли в карцер и в тот же день назначили порку. Трое дядек притащили его, отбивающегося, брыкающегося, в зал, положили на скамейку у оскверненного иконостаса и всыпали двадцать пять розог. Директор сам считал вслух удары. Когда дядьки слезли с Курако, он кинулся вниз по лестнице в сад, перелез через забор и скрылся. Под утро он постучался к своему молочному брату и верному другу, деревенскому парню Максименко, и рассказал ему все.

— Пойдешь со мной на завод,— сказал Максименко.

Так решилась судьба Курако.

Мальчики ушли на рассвете в крестьянской одежде, в лаптях по екатеринославскому тракту.

Они устроились на Брянский завод в Екатеринославе, стали с той поры считать себя доменщиками. Вначале молочные братья работали оба каталями, затем

Курако взяли пробносом и рассыльным к доменным печам. Он исполнял функции телефона, которого тогда еще не было, бегал по заводу в тяжелых башмаках на толстой деревянной подошве — такую обувь носили рабочие горячих цехов.

Дух непокорности и дерзости по-прежнему жил в нем. На заводе был старый француз сталевар. Он умел перешибать ладонью струю жидкого металла, словно это была струя воды. Никто на заводе не решался повторить этот фокус. Однажды француз проделал свою штуку при Курако — быстрым движением ладони перерезал струю стали. От удара далеко полетели брызги. Мастер поднял на лоб синие очки и с победоносным видом оглядел окружающих. Не думая, не рассуждая, Курако подбежал к белой, пышущей жаром струе и перерезал ее мгновенным ударом ладони. Секунду спустя он с удивлением смотрел на свою руку — она была невредима, и даже ощущение жара не коснулось ее.

Работа у доменных печей опасна. Курако навсегда запомнил картину прорыва горна, первого прорыва в его жизни. Он стоял на песке спиной к печи и вдруг услышал мощный глухой звук, покрывший шум домен, будто выбросило пробку из гигантской бутылки. Он обернулся и попятился. В печи вырвало стенку, оттуда со свистом рвалось пламя и хлестала раскаленная угольная пыль, во все стороны летели сияющие куски кокса, прорезая воздух огненными змейками. Все бежали от печи, спасаясь от неминуемого взрыва. Курако, ошеломленный, пятился, и вдруг словно какая-то сила вытолкнула его вперед. Сквозь град тяжелых огненных ядер он пробежал к печи, одним рывком повернул шибер и выключил дутье. Печь мгновенно затихла. Курако стоял, сжимая руками железный рычаг; тлея рукав брезентовой куртки, деревянные башмаки дымились, ресницы и волосы были опалены. Он стоял минуту и две, не чувствуя ожогов. Мелкая дрожь пробежала по телу. Он испытал несказанное наслаждение в ту секунду, когда печь покорила его, когда она замерла, повинувшись его воле. Медленно оседала бурая пыль, жаркая огненная куча выброшенных печью материалов покрывалась с краев легким пеплом; взрыва не последовало.

К Курако подошел начальник доменного цеха француз Пьерон, толстый, невежественный и надменный.

— Спасибо, мальчик, — сказал он на ломаном русском языке и сунул Курако два пальца.

Курако потянулся навстречу, увидел два пальца, откинулся назад и протянул французу ногу в обугленном деревянном башмаке. Пьерон побагровел, надулся и ушел...

Мастера ценили Курако, и он быстро продвигался в освоении доменных профессий. В восемнадцать лет он был уже горновым; отчаянный мальчишка стал отчаянным доменщиком.

Его характер оказался как бы специально созданным для доменного дела. Во многих случаях при работе у печей только мгновенные решения и отчаянная смелость могут удержать в повиновении огромные огненные массы, неистово стремящиеся разнести кирпичную оболочку.

Однажды Курако висел на стенке печи, держась за железную скобу, и подтягивал водяные брызгала, чтобы усилить охлаждение опасной точки в кладке горна. Такие точки возникают внезапно и обнаруживают себя неумеренно интенсивным испарением — печь дает знак, что в этом пункте чугун проедает кладку. Надо немедленно взобраться на стенку и направить на опасное место добавочную струю воды. Под действием энергичного поливания чугун, близко подошедший к охлаждаемой поверхности, может застыть и тогда сам защищает горн, как броня. Чтобы освободить обе руки и точнее направить брызгала, Курако повис на стенке вниз головой, уцепившись за скобу ногами. Его войлочная шляпа упала, сверху лилась вода в раструбы широких штанов и вытекала из рукавов брезентовой куртки, как из двух водосточных труб. Мимо проходил подручный и остановился посмотреть, что делает Курако. В эту секунду несколько огненных капель брызнуло из кирпичной стенки, вслед за ними сверкнуло длинное пламя — это хлестнул чугун и накрыл подручного. Курако обдало жаром. Он висел над несущимся потоком жидкого металла; волосы мгновенно просохли, затрепали и начали скручиваться, готовые вспыхнуть. Неимоверным усилием Курако бросил тело вверх и прижался к печи, скрываясь за струями воды от жгучего жара. Раздался оглушительный удар взрыва. Рывком воздуха Курако едва не сбросило с печи, рядом вплющилась в стенку лепешка чугуна, и все заволокло багрово-черной пылью.

Когда остановили дутье, Курако сидел на стенке, невредимый и мокрый. Спустившись, он не смотрел в глаза товарищам. В нем клокотала ярость; он всегда

чувствовал себя словно высеченным, когда не справлялся с печью.

Он знал, что не уйдет от домен, пока они не станут покорны ему. А они не были покорны!

Один за другим к нему приходили друзья детства и становились доменщиками. Со своей армией Курако бродил по заводам Криворожья и Донецкого бассейна. Он переходил от французов к бельгийцам, от бельгийцев к немцам, затем к англичанам — и уходил дальше, неудовлетворенный, ища и не находя мастера, перед которым мог бы преклониться.

На Юге строились новые и новые заводы. Среди доменщиков распространился слух, что американцы привезли в Мариуполь две диковинные печи. Курако отправился туда. Он приехал незадолго до пуска и с удивлением рассматривал необычайно высокие печи, забранные снизу доверху в стальной клепаный панцирь, с наклонным мостом для подъема сыпца, с автоматическим устройством на колошнике, со множеством других неведомых аппаратов и приборов. Его взяли горновым на первый номер. Задувка прошла неудачно вследствие незнакомства американцев со свойствами криворожской руды, и после недолгой безуспешной борьбы печь осталась с «козлом».

К печи подвели несколько резиновых шлангов с блестящими медными наконечниками. Это были нефтяные форсунки системы Кеннеди. Сам Кеннеди, конструктор и строитель мариупольских печей, всегда выбритый и хорошо одетый, сбросил пиджак, надел синие очки и опустился на колени перед печью с форсункой в руках. Он повернул кран, и далеко вокруг разнесся дикий, оглушительный вой; форсунка редела и стреляла, дрожала и дергалась, выбрасывая нефтяную пыль в струе накаливаемого воздуха.

Курако подошел вплотную к Кеннеди. Пламени не было видно, из летки медленно выползали красные струйки. Нагнувшись, Курако заглянул в летку: бесцветное пламя форсунки проело нору в мертвой глыбе металла, «козел» лился, как лед льется от огня.

Завернув кран, Кеннеди оттолкнул горнового, покаявая руками на глаза. Курако отвел взгляд от летки, перед глазами плыли красные круги, — на пламя форсунки нельзя смотреть без темных очков. Кеннеди продолжал форсунить. Курако быстро надел синие очки и страстным движением протянул обе руки к форсунке.

Кеннеди сердито мотнул головой. Курако энергично настаивал. Они безмолвно объяснялись среди пронзительного воя.

Кеннеди взглянул горновому в лицо, улыбнулся и подал дрожащую трубку.

Через сутки в застывшей печи был выжжен соединительный ход между леткой и центральной фурмой. Добиться такого соединения, работая форсункой, очень трудно. Освобожденное пространство заполнили коксом, дали горячее дутье, и печь стала работать одной фурмой, сама излечивая себя.

Спустя несколько дней печь шла полным ходом, буд-то в ней никогда не было «козла».

Незнание языка отделяло Курако от Кеннеди стеной. Курако пробил эту преграду. Пять учебных заведений не заставили его учиться. Теперь, когда его никто не понукал, он ежедневно по несколько часов просиживал за английским учебником.

Проникая в замыслы конструктора, Курако рвался к аппаратам, чтобы испробовать их своими руками, но всеми механизмами управляли американцы; для русских они были запретны.

Печи шли ровным, спокойным ходом, и доменный мастер, толстый американец Ричардсон, в рабочие часы часто отлучался из цеха. Подобных начальников Курако называл «баклушниками», они бесили его. Однажды он напрямик сказал Ричардсону:

— Для того чтобы так работать, не стоило пересекать океан.

— Почему не стоило? — хладнокровно ответил американец. — В России есть четыре превосходные вещи: русская водка, русская икра, русские папиросы и русские женщины.

Соответственно этой программе Ричардсон не терял попусту времени. Случилось так, что ход печи расстроился. Курако послал за мастером. Ричардсон веселился где-то в приморском кабачке, и его не нашли. Расстройство становилось тяжелее. Курако побежал к воздушной машине и потребовал усилить дутье. Машинист американец послал его к черту. Курако кинулся к регулятору, сам повернул ручку и дал большой пар. Машинист, огромный рыжий детина, отшвырнул Курако от регулятора ударом кулака. Сбросив шляпу, Курако ринулся на машиниста. Худой и невзрачный, он обладал исключительной физической силой, в минуты ярости

она удесятерилась. Он сбил машиниста с ног, тот пытался подняться и снова под ударами падал. Испуганный машинист отполз в угол. Курако стоял на площадке управления, положив на регулятор руку. В результате печь пошла исправно.

Постепенно в Мариуполь стекалась куракинская гвардия. Это были отчаянные доменщики, люди исключительного здоровья и редкой физической силы. По субботам они вместе с Курако уходили в трактир, пили водку, плясали и пели всю ночь, а наутро возвращались к печам. Но все чаще и чаще песни сменялись горячими беседами, спорами. Доменщики не могли оставаться безучастными к тому, что происходило вокруг них. Их захватывал революционный подъем, нараставший в стране.

Много было переговорено, передумано в те предшествующие первой революции годы. На заводе из рук в руки передавалась нелегальщина. Курако перечитал ее немало. Он искал истины, искал понимания жизни и в листовках, тайно напечатанных на папиросной бумаге, и в разных брошюрах и книгах, которые ему удалось доставать в Краматорке. Там познакомился с учением Маркса. Мысли о неизбежности социалистической революции, о решающей исторической роли рабочего класса были особенно дороги, близки Курако. Теперь он думал о Марксе, ссылаясь на Маркса, когда развивал среди друзей свою излюбленную идею, что развитие доменного дела, металлургии, индустрии влечет за собой преобразование общества.

Курако охотно ораторствовал в своей компании. Расстегнув ворот, он говорил увлекательно, красиво и страстно. В тесном кругу друзей доменный мастер мог свободно высказывать свои суждения о судьбах родины, о грядущих прекрасных временах. Ему рисовались новые города, новые заводы в свободной стране — в любимой России, где рабочий люд совершит революцию, где кончатся гнет и издевательства над рабочим человеком. Мысли о счастье народа неизменно переплетались у Курако с мечтой о техническом прогрессе, о современных, безукоризненно действующих домнах. Он, Курако, будет беспрепятственно создавать их при новом строе.

Счеты с богом и царем были у него давно покончены. В тот год впервые прокатилось по России имя Максима Горького; горьковские босяки, вольные, дерз-

кие люди, были понятны и близки Курако. Быть может, поэтому с особой остротой он ощутил ничтожество их судеб, их бессилие.

— Какие доменщики могли бы из них выйти! — воскликнул однажды он, ударив кулаком по столу.

Вскоре американцы уехали из Мариуполя. Ведение мариупольских печей приняли французы. Тут же они посадили «козла». Курако распарил его. Его слава победителя «козлов» широко распространилась на Юге, за ним часто приезжали с заводов, он воскрещал «закозленные» печи.

Осенью 1902 года, в разгар промышленного кризиса, к Курако приехали с Краматорского завода, принадлежавшего немецкой фирме Борзиг. Одна печь Краматорки стояла на «козле», вторая страдала длительным расстройством хода и выдавала сернистый, негодный металл. Три миллиона пудов бракованного, отвергнутого рынком чугуна лежало в огромных штабелях на дворе завода. В две недели Курако привел в порядок обе печи. Дирекция пригласила его стать начальником цеха. Разговор происходил в кабинете управляющего предприятием, тучного обрусевшего немца; его красная шея свисала толстыми складками на твердый крахмальный воротник. Курако поставил условие — механизировать обе печи.

— Зачем вам это нужно? — спросил благодушно немец. — Русский лапоть — самая дешевая механизация.

Побледнев, Курако ответил:

— Когда лаптем бьют по морде.

Немец не понял и переспросил:

— Что вы сказали?

Курако поднялся с кресла, стукнул кулаком по столу и повторил медленно и четко:

— Когда лаптем бьют по морде.

Директор принялся успокаивать доменщика и пошел навстречу его требованиям. Они договорились, что пять—десять процентов прибыли, которую даст Курако, будут ассигнованы на переустройство печей.

Курако стал первым русским начальником доменного цеха на Юге. Из Мариуполя в Краматорку перешла его армия. Буквально через несколько дней на заводе начались чудеса. Печи стали выдавать превосходный чугун, и в полтора раза больше, чем в лучшие свои

времена. Курако еще ничего не перестраивал, он лишь расставил своих людей и поселился в доменной будке, дни и ночи проводя в цехе. Это действовало, как волшебная палочка.

Его огромная квартира пустовала. Он по-прежнему ходил в одежде доменщика, и друзья у него были прежние.

Проведя полгода в Краматорке, Курако взял месячный отпуск и поехал домой.

Он бежал оттуда в свитке и в лаптях; теперь он вернулся прославленным начальником доменного цеха, зарабатывающим двадцать тысяч в год.

Мать с тихим вскриком бросилась ему на шею. Утекшие годы состарили ее слишком быстро.

Первый день он провел с матерью, на другое утро с ружьем за плечами, в охотничьих высоких сапогах ушел бродить по знакомым местам. Он долго ходил без дорог, узнавая поляны, перелески, болота; неожиданно уперся в высокий забор, огораживающий фруктовый сад соседней усадьбы, и понял, что стремился именно сюда. Он стоял у забора, вспоминал остроносою девочку в черных чулках с темными косами и тонкими губами. Это была его единственная настоящая любовь. На заводах он знал много женщин, но того незабываемого чувства, которое он пережил пятнадцатилетним мальчишкой, он больше не испытывал ни разу.

Он стоял у забора, отковыривая краску с прогнившей доски; ему захотелось увидеть то место, где когда-то стояла она. Отступив, он разбежался, вскочил на затрепавший забор и прыгнул в чужой сад. Бессмысленно улыбаясь, вовсе не похожий на прославленного доменщика, он пробирался меж кустов и деревьев. На яблонях наливались плоды. Он сорвал незрелое, твердое яблоко, закусил его и ощутил терпкий, вяжущий вкус, совсем как в детстве при набегах на чужие сады. Он вышел к широкой лужайке. Да, девочка стояла здесь, он протянул ей руку, она дернула плечиками и скривила губы.

— Кто это? Как вы сюда попали?

Курако услышал женский испуганный голос, обернулся и увидел незнакомую девушку в легком летнем платье. Он стоял, закусив яблоко, с ружьем за плечами, в сапогах выше колен, в мягкой зеленоватой шляпе с приспущенными широкими полями, и покраснел, как школьник. Он был все еще мальчишкой, краски юности

еще не стерлись с лица, губы еще были пухлыми, и его сразу узнавали все, кто помнил его Курачком.

Девушка изумленно ахнула и закричала:

— Мама, мама! Идите сюда, к нам пришел Михаил Константинович!

Все окрестные помещики знали о приезде Курако. Сюда давно докатилась слава о его удивительной карьере; теперь все двери были перед ним открыты.

Девушка подошла к Курако, протянула ему руку и сказала:

— Неужели вы забыли Иночку?

Курако раскрыл рот, закушенное яблоко упало к ногам. Идиот, как он сразу не узнал ее? Она стояла в розовом платье, все такая же милая, с тем же острым носиком, и улыбалась. Подошедшая мать увлекла Курако в комнату. Во все стороны верхами полетели гонцы за гостями. В усадьбу съезжались соседи — поглазеть на диковинного доменщика. Вино полилось за столом. Курако никогда не пил легких и сладких вин. Он привык к водке. Но в этот вечер, сидя рядом с Иночкой, он не нашел своего стиля, ему пришлось пить портвейн и наливки. Непривычные вина ударили в голову, он наклонился к Иночке и прошептал на ухо:

— Я люблю вас с тех пор. Помните?.. Только это я вам не скажу никогда.

— Ну и не говорите, — ответила она, улыбаясь.

Через три дня они уже целовались. Инина любила болтать. Он прислушивался. Это были бесконечные уездные сплетни. Курако слушал, морщился и думал о том, что надо увезти ее подальше от этих мест. В Донецком бассейне люди иные, и девушка станет другой.

Поглупевший от любви, он сделал ей предложение; получив согласие, обвенчался в тот же месяц и на завод вернулся с женой.

В день приезда Курако собрал у себя доменную братию. Инина задержалась с туалетом, пир начался без нее. Курако взобрался, как всегда, на спинку стула, бросил на подоконник галстук и крахмальный воротник, расстегнул сорочку и рассказывал о поездке. Доменщики хохотали и шумели. Все было по-прежнему, будто ничего не случилось.

В дверях показалась Инина в пышном белом платье с глубоким вырезом, волосы были завиты длинными локонами, в руках она держала веер.

— Вот, барбосы, моя доменщица! — закричал Курако. — Выпьем за нее.

Он налил себе водки, поднял стакан и взглянул на жену. Она стояла в дверях, скривив тонкие губы; и, сощурившись, оглядывала грубые усатые лица горновых, газовщиков и мастеров.

— Барыня... — донесся до Курако шепот.

Передернув плечами, она прошла к столу, не подав никому руки.

Курако отошел к окну и, сдерживая приступ ярости, смотрел на пламенеющие печи. Доменщики поднимались и, неловко прощаясь, уходили один за другим...

— Неужели, кроме этих мужиков, у тебя нет приятелей? — спросила Инина, когда они остались вдвоем.

Курако повернулся и медленно оглядел жену. Ее белое платье, полуоткрытая грудь, локоны и тонкие губы — все, что казалось любимым и милым, сейчас было противно ему.

Она подошла и сказала, ласкаясь:

— Ничего, не волнуйся, Михасенька! Теперь у нас все пойдет по-новому.

Он ушел пить водку в трактир и в эту ночь не вернулся домой. Со следующего дня он вновь поселился в доменной будке и лишь изредка появлялся дома.

Инина забеременела. Она жила одна в огромной квартире и ждала появления ребенка, который, как она надеялась, должен был вернуть ей мужа.

Приближалось окончание первого года службы Курако. Предварительные подсчеты показывали, что доменный цех даст около полумиллиона прибыли. Курако сконструировал доменную печь своей системы. Уже была сделана модель: по наклонному мосту двигались вагончики, поднимался конус, раскрывалась воронка, откидывались фурменные рукава, вода циркулировала по трубам. Он просиживал над моделью часами, размышляя о работе конструкций. Его не удовлетворяло грузозачное устройство. Он чертил и рвал чертежи, пока не нашел решения...

Инина родила девочку. Это было крохотное прелестное создание, такое же смуглое, как и Курако, с такими же выпуклыми блестящими и черными, как черносливины, глазами. Курако перенес чертежи и модели из доменной будки на квартиру и часто, оторвавшись от работы, подходил к детской кроватке, брал на руки дочку и с нежной улыбкой следил за бессознательными

движениями смуглого маленького тельца. Но Инина не замечала особых перемен в своей судьбе. У мужа остались все те же дружки, по-прежнему он был поглощен своими домами.

Через полгода перестроенная печь была готова к пуску. Она блестела, выкрашенная смолистым черным лаком, массивные колошниковые устройства системы Курако издали казались ажурными и филигранными, они словно плыли в воздухе. И все же Курако был недоволен. Это не то, о чем он мечтал! Размахнуться по-настоящему он все-таки не смог. Курако видел в воображении механизированный рудный двор, мощные большие печи, ленточные машины для разливки чугуна. Но вместо всего этого, что он уже создал на чертежах, дирекция позволила ему перестроить только одну домну.

В день задувки на завод приехал окружной инженер, желтый и хромой старик в фуражке с двумя молоточками. Согласно законоположению, он должен был подписать разрешение на пуск.

Осмотрев домну, инженер спросил:

— Кто строил?

Курако, в измазанном синем рабочем костюме, в неизменной войлочной шляпе, с гаечным ключом в маслянных руках, ответил, вскинув голову:

— Курако!

Инженер попросил предъявить диплом и разрешение на производство строительных работ. Узнав, что у Курако нет диплома, он запретил пускать печь.

— Вы намудрили здесь, молодой человек. Где у меня гарантия, что у вас не разнесет все это к черту?

Задувка печи — одна из наиболее ответственных и опасных операций доменного дела. Впуск газа в каупера часто сопровождается взрывами. Для образования гремучей смеси достаточно, чтобы какой-либо шов был неплотно зачеканен и пропускал воздух. Небольшие хлопки почти неизбежны при задувке, и обычно секунду спустя после пуска газа вихрь синего пламени с громким выстрелом вырывается через предохранительный клапан.

Сдвинув шляпу на затылок, глядя на старого инженера смеющимися дерзкими глазами, Курако спросил:

— Значит, вам нужно предъявить диплом?

— Да-с, молодой человек, это единственная для меня гарантия.

Курако прыгнул на трубу газопровода и побежал по ней к предохранительному клапану. Опершись ногою о железный рычаг, он крикнул, подняв руку:

— Петро, дай газ!

Все замерло вокруг печи, доменщики знали, что хлопок разнесет человека. Максименко взялся за шибер и остановился, нерешительно глядя на Курако.

— Дай газ! — вновь прокричал Курако, потрясая кулаком.

Максименко повернул рукоятку. В кауперах тотчас засвистело и запело пламя. Курако стоял, вскинув голову, секунду, другую и третью. Хлопка не было.

Спрыгнув с трубы, он подошел к инженеру:

— Вот мой диплом!

Инженер покачал головой, подвигал губами, повернулся и пошел.

— Что, хромой черт, скушал! — бросил Курако ему вслед.

Доменщики кинулись его качать...

В первые месяцы революционной борьбы 1905 года жизнь на Краматорском заводе внешне мало отличалась от обычной.

Представления Курако о том, как народ осуществит свою мечту, не сразу стали отчетливыми, определенными. Но ход событий в стране вносил все большую ясность в его мысли. Инженеры держали себя так, как будто ничего особенного не происходило. Но Курако напряженно ловил каждое известие, с нетерпением ожидал газет, пытаясь в каждой напечатанной строчке найти особый смысл. Все чаще и все горячее беседовал он со своей братией, все определеннее высказывался. Газеты сообщали о вспыхивавших то там, то тут забастовках. Когда большевики Краматорска призвали рабочих завода присоединиться ко всеобщей забастовке, выступить с оружием в руках, заводская администрация была поражена неожиданным оборотом дела. Первым забастовщиком оказался начальник доменного цеха Курако. Он сам отдал приказ остановить доменные печи. Его доменная армия стала боевой дружиной, и он сам командовал ею. Уже не в трактире, в тесном кругу друзей, а на площади у заводских ворот говорил Курако свои речи.

— Русский лапоть — самая дешевая механизация! — с яростью восклицал он, повторяя слова управителя немца.

Это изречение он приводил почти в каждой речи.

Начальник доменного цеха был самым красноречивым и пламенным оратором. И не только оратором, но и начальником боевой дружины. Когда краматорцы получили в свое распоряжение сотню винтовок, Курако сам распределил их между рабочими. Тут же около завода он, меткий стрелок, способный состязаться с любым обученным солдатом, учил рабочих открывать затвор, вкладывать патроны, глядеть через мушку, прицеливаясь в мишень.

Администрация бежала с завода. Властью в Краматорской стал рабочий революционный комитет. Доменщики избрали туда Курако.

По ночам, после заседаний, митингов, военных учений, ему не спалось. Он вскакивал со своего клеенчатого дивана, садился за чертежный стол и легкими карандашными штрихами набрасывал эскизы доменного цеха, который он выстроит здесь, когда победит революция. Неистовый доменщик, он и среди бурных событий, участником которых был, не переставал мечтать о нескончаемых потоках металла, которые преобразят Россию. Он перелистывал журналы, рассвет заставлял его за чертежами, он уходил на завод и, вымеривая стальной рулеткой расстояния, вбивал колышки в точках, где станут мощные механизированные агрегаты. Он видел, осязал новый завод на месте старой Краматорки. Завод, который выстроит освобожденный народ.

В 1906 году Курако был схвачен жандармами и выслан в Вологодскую губернию.

Через четыре года, отбыв срок, Курако вернулся из ссылки. Две тонкие морщинки, словно чуть намеченные острием карандаша, легли на высокий коричневый лоб; губы утратили пухлость, очертания рта, полузакрытого острыми усами, стали резче. Это были едва уловимые изменения, но теперь далеко не всякий, кто помнил Курако мальчишкой, узнал бы его. Вызывающее удалство уже не проявлялось на каждом шагу, глубоко внутрь ушла неистовая дерзость, теперь она лишь изредка проглядывала, когда он вскидывал голову прежним движением. Он не отяжелел, мускулы остались упругими и гибкими; он хранил в себе мечту, как заряд огромной силы, его взгляд по-прежнему выдерживали немногие.

Из ссылки Курако прежде всего заехал в Крама-

торку. Жизнь разметала его старую гвардию, и в Краматорке уцелели немногие. Как в прежние добрые времена, они собрались в трактире. Курако было о чем порассказать друзьям, было что послушать. На прощание он обещал доменщикам:

— Ждите, ребята, войду в силу — вновь будем вместе.

Однако его гвардия была теперь рассеяна по белу свету, и он, обер-мастер доменного цеха Юзовки, пока не в силах этого изменить.

VII

— Ужинать, господа, ужинать! — зовет Юлия Петровна.

Из всех комнат гости стекаются в столовую. Здесь, кроме большого стола на пятьдесят приборов, накрыто несколько маленьких. Такие же столики поставлены и в двух соседних комнатах.

Вместе с другими в столовую входит грузный, плечистый старик с красным лицом и пышной седой бородой. Это Арчибальд Бальфур, компаньон умершего Джона Юза, ныне главный пайщик предприятия. Ему семьдесят лет. Дважды в год он приезжает в Юзовку и ходит по заводу в цилиндре. Медлительный и благообразный, он прибыл на бал вместе с сыном. Крицын не встречал хозяина в дверях и не подошел к нему первый; старый Арчибальд был предоставлен самому себе наравне с остальными гостями.

Благодушно улыбаясь, Бальфур жмет Крицыну руку и произносит по-английски:

— Поздравляю вас, мой дорогой Адам!

Крицын обнимает старика за талию и ведет к большому мягкому креслу, поставленному в центре стола. Он спрашивает Бальфура о здоровье и дает медицинские советы. Арчибальд опускается в кресло, самодовольно улыбаясь, — в Англии у него двадцать девять внуков, и он намерен еще долго прожить...

Бальфур — делец старомодного, отжившего типа. Тридцать пять лет вел он коммерческие дела предприятия, и тридцать пять лет правление завода неизменно занимало одно и то же помещение — две небольшие комнаты в лондонском Сити. В делах Бальфур руководствовался нерушимой заповедью: все за наличный

расчет. Правление не выдавало и не принимало векселей. Банковских дельцов Бальфур опасался не менее, чем грабителей, и никогда не вступал с ними в сношения. Завод много лет производил и продавал рельсы; с 1901 года их перестали покупать в России, промышленный подъем сменился застоєм, и юзовское дело неудержимо покатило к упадку. Не имея сбыта внутри страны, южнорусские заводы экспортировали металл в Турцию, в Румынию и даже в Трансвааль по ценам ниже себестоимости.

Сыновья Джона Юза, с трудом овладевшие русским языком, получившие примитивное заводское воспитание, были не в силах вести обветшалый корабль по обмелевшему, опасному морю. После ряда убыточных годов Бальфур, по примеру многих других иностранных фирм, действовавших в России, решил пригласить русского директора. Ему рекомендовали Крицына, молодого инженера, прославившегося молниеносной карьерой, директора Брянского завода. Бальфур телеграммой пригласил Крицына в Лондон для переговоров и несколько дней спустя получил лаконичный ответ: «Места не ищу. Крицын».

Старый Арчибалд сам поехал к молодому директору. Крицын вел игру, как гроссмейстер, и продал дорого свои услуги. Он получил пятьдесят тысяч рублей в качестве твердого годового оклада плюс два процента прибыли и так называемую полную доверенность. Ему предоставлялись все права владельца: только он один, и никто больше, не исключая самого Бальфура, мог распоряжаться на заводе, вести переговоры от имени завода, совершать сделки и производить расходы, принимать и увольнять персонал. Только главный бухгалтер назначался Лондоном. Вне договора было заключено устное соглашение по двум пунктам: Бальфур просил, во-первых, не притеснять англичан, остающихся на заводе, и, во-вторых, прежде чем приступить к перестройке завода, максимально использовать прежнее изношенное оборудование, дожечь старые печи и выколотить все возможное из остальных устройств. Крицын словом джентльмена обязался исполнить обе просьбы Бальфура. Он стал директором-распорядителем огромного комбината, включавшего завод, угольные шахты, железные рудники и целый город. Даже полиция в поселке содержалась на средства завода и подчинялась Крицыну.

Старый Арчибальд сохранил за собой лишь одно право — прогнать Крицына в любой момент, когда он, Бальфур, сочтет это нужным...

Он сидит в мягком кресле и удовлетворенно улыбается. Крицын дал за этот год четыре миллиона прибыли, на следующий год эта цифра увеличится еще на три миллиона, их принесет плавка ферромарганца.

В столовой рассаживаются кто где хочет. Вокруг старого Бальфура сосредоточиваются заводские англичане: Монтегю Бальфур, его сын и его глаз, пребывающий на заводе постоянно; главный бухгалтер Томас, такой же седой и благообразный, как патрон; помощник начальника доменного цеха Флод, вялый, флегматичный человек, вечно страдающий головными болями; механик Колдервуд, химик Крайтрайт и другие.

В другом конце группируются поляки: доменщик Дзенжан, прокатчик Чехович, по прозвищу Чепухович, с красавицей женой Яниной Владиславовной, начальник мартеновского цеха Бусинский и много других.

Вокруг Крицына садятся его однокурсники, угольщики и металлурги. Они все в инженерских тужурках и в высоких сапогах — это мода горных инженеров. Десять лет назад они вместе окончили Горный институт; их выпуск теперь называют директорским. Это почетное звание завоевали они, победители, молодые директора Юга.

Крицын сидит, улыбаясь и оживленно болтая, а думает о своем. Жена угадала — у него сегодня действительно какое-то тягостное состояние. Он сам не понимает, что его гнетет сейчас.

На минуту забывшись, он в задумчивости слегка пожевывает, хотя еще ничего не ест. В Юзовке знают: когда Крицын начинает жевать, с ним надо быть осторожнее. В кругу юзовских мастеровых живет легенда, что Крицын катает во рту золотой шарик. Это будто бы вызвано тем, что при покушении в 1907 году пуля террориста задела нижнюю челюсть и перебила какой-то нерв; врачи-де прописали Крицыну передвигать во рту золотой шарик. В Крицына действительно стреляли, но никакого шарика во рту у него нет. Легенда, однако, упорно держится много лет.

В эту минуту у Крицына странное лицо: верхняя часть неподвижна, в ней все красиво, пропорционально — высокий лоб, умные глаза, тонкий длинный нос

с горбинкой,— а нижняя челюсть двигается взад и вперед вместе с рыжеватой бородкой. В этом движении есть что-то низменное, что-то животное.

«Ты никогда не жалеешь, Адам, что не стал астрономом?» — вспоминает он слова Кратова. Смешно. Разве астрономия дала бы ему такую жизнь? Он имеет свыше ста тысяч рублей ежегодно, у него имение в Крыму, парусная яхта и итальянская моторная лодка, у него великолепный автомобиль, прекрасный дом, огромный парк; он удовлетворяет все свои причуды, занимается спортом, химией, музыкой, фотографией, садоводством, ухаживает за женщинами...

Когда-то он всерьез увлекался астрономией, мечтал открыть новую звезду и после окончания гимназии поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, откуда выпустили астрономов. Через два года астрономия наскучила ему. Он решил оставить университет, успокоив себя простым соображением: стоит ли посвящать жизнь науке, когда свет дальних звезд идет до земли тысячелетия, когда само существование человечества не составляет и бесконечно малой величины в истории Вселенной; жизнь бессмысленна, надо насладиться ею.

Россия переживала в то время промышленный подъем девяностых годов. На Юге воздвигались мощные рельсопрокатные заводы, строилось множество железных дорог, вокруг рельсов густо вилась золотая пыль. Со второго курса университета Крицын перешел в Горный институт, стоило стать инженером.

С гимназических лет он отлично знал химию. Интерес к химии пробудился в нем вследствие увлечения фейерверками. Свой первый самостоятельно приготовленный фейерверк Крицын не забудет никогда. Это было в Гродно, в день рождения — ему исполнилось пятнадцать лет. Гости — взрослые и дети — наполнили небольшую квартиру отца, провинциального доктора. Нервничая от нетерпения, Крицын звал их в сад; они одевались слишком медленно, подсмеиваясь над возбужденным мальчиком. Ракеты были расставлены по всему саду и соединены электрическим проводом. Он сам сделал динамо из швейной машины. Он помнит, как включил ток, глухо бухнул ближний бурак, и взлетели огни — синий, зеленый и красный, в небе возникли четыре огненные буквы: он написал свое имя — Адам. Правда, кроме него самого, никто букв не разобрал,

но триумф этого вечера, сияние его имени остались ярким воспоминанием детства.

Приготовлять фейерверки Крицына научил знакомый пиротехник; но пиротехник знал только три огня, а Крицыну хотелось пускать в небо всю спектральную гамму. Он пошел по книжным магазинам искать фейерверочную литературу. Книгу о фейерверках он не нашел, но в одном магазине ему посоветовали взять курс химии Менделеева. Он купил оба тома и с увлечением проделал все опыты один за другим. Крицын помнит, как показывал химические фокусы брату Александру и колотил его, если брат не удивлялся. Как странно распределила между братьями свои дары природа: она наградила Александра невероятным упорством, не дав ему блестящего таланта. Адама она создала талантливым и лишила упорства. Ведь он открыл бы уже новую звезду, если бы не бросил астрономию...

Хлопает первая пробка от шампанского. Крицын стряхивает задумчивость и перестает жевать.

С бокалом поднимается Дзенжан. Он кричит с заметным польским акцентом:

— Пью за здоровье короля доменных печей Адама Александровича Крицына!

— Пожалуйста, без доменных печей! — слышится женский голос.

К Крицыну тянутся бокалы, тост Дзенжана приятен ему, хотя он недолюбливает грубую лесть и этот тон не принят в его доме. В глубине души Крицын знает, что за годы директорства он отстал от доменного дела, но он никому не признается в этом — даже себе.

Быстрыми мелкими шагами Дзенжан обегает стол, чтобы чокнуться с директором. Крицын тихо спрашивает через плечо.

— Как печь? Вы давно там были?

Дзенжану не хочется уходить с бала, у него бегают глазки, он врет:

— Все в порядке, Адам Александрович... Я заезжал туда...

Юлия Петровна прислушивается к разговору.

— Еще двое попались! — восклицает она. — Платика, Адам, штраф!

Юлия Петровна строго следит, чтобы в столовой никто не говорил о делах. Нарушители обязаны на месте уплатить трехрублевый штраф в пользу детского приюта.

— Я виноват, плачу за обоих,— говорит Крицын, вынимая бумажник.

— Нет, позвольте, я заплачу за себя.

Дзенжан вручает Юлии Петровне деньги и целует ей руку. Она собрала уже много штрафов. За столом все знают сенсационную новость — что Крицын отправил телеграмму о выходе из «Продаметы» по специальным чужунам, и немногие удерживаются, чтобы не посудачить об этом.

Провозглашаются тосты за сэра Арчибальда, за Юлию Петровну и за милых женщин. Ужин очень легкий, без водки; у Крицыных пьют только натуральные вина и шампанское, подается одно горячее блюдо и сладкое, затем для желающих — кофе.

На столе много острых закусок: пахучие сыры, салаты, крепко приправленные уксусом, маринованные рыбы, майонезы и пикули. Крицын любит все острое, даже суп он любит с уксусом; майонезы он делает сам, смешивая в точных пропорциях острейшие специи.

Он сидит среди приятелей-директоров и с удовольствием ловит в перешептываниях слово «Продамета». Он вновь всех опередил. С юности он привык быть первым — в списках окончивших институт его фамилия была на первом месте, и он первый стал директором...

Когда-то все они, его друзья, нынешние директора, считались левыми, участвовали в первой студенческой забастовке, после того как арестованная и изнасилованная курсистка Ветрова сожгла себя в Петропавловской крепости. Крицын кричал тогда вместе с другими: «Смерть палачам, долой самодержавие!» В 1904 году Крицын, уже начальник доменного цеха на Брянском заводе, подписал петицию Николаю с требованием конституции, свободы слова и свободы печати.

Этим и кончились его благие порывы. Получив в 1906 году пост директора Брянского завода, он быстро показал себя. В стране крепчала реакция. Молодой директор пачками увольнял рабочих, замеченных в беспорядках, левизна сползла с него легко и безболезненно, как отшелушившаяся шкурка. Он ходил по заводу с браунингом в заднем кармане. В него дважды стреляли, он отстреливался и убил одного из покушавшихся. Некоторое время спустя убили его помощника, инженера Мылова.

На следующий день Крицын объявил предприятие закрытым, рассчитал поголовно всех рабочих и на три

месяца уехал за границу, в курортное местечко на побережье Адриатического моря. Вернувшись, он открыл прием. На завод приняли лишь половину штата, все «подозрительные» были отсеяны, дисциплина восстановлена. Крицын ходил по заводу в сопровождении вооруженных ингушей, они верхами конвоировали его коляску, когда он проезжал по городу. После ряда убыточных годов предприятие начало давать дивиденд. Крицын выиграл игру. В тот год он поседел и начал пожевывать...

Хозяйка приглашает начать танцы. Гости поднимаются. Из-под стола выскакивают фоксы. Умные собаки знают, что люди сейчас начнут быстро кружиться по паркету, можно будет носиться и прыгать вокруг, пока за ними не начнут гоняться,— это будет самым интересным.

Внезапно Боб и Кики настораживаются и с тревожным лаем бросаются через зал в переднюю. Оттуда слышится их громкий лай. Это не игривое, беззлобное тявканье, они на кого-то кидаются с остервенением.

В дверях столовой появляется лакей Гавриил в белых перчатках, он ищет среди гостей Дзенжана. Из передней по-прежнему доносится злобный, хрипкий лай. Дзенжан уже встал из-за стола и идет с дамой в зал; он слегка подвыпил и расправляет густые поседевшие усы. Гавриил подходит к нему.

— Виктор Казимирович, за вами пришли с завода.

— А?..— вырывается у Дзенжана.

Он останавливается с полуоткрытым ртом, бледнеет, замирает рука, вцепившаяся в усы. Извинившись перед дамой, он суетливо проталкивается к дверям и бежит через зал по паркету в лаковых туфлях с бантиками. Его провожают любопытные взгляды, кое-кто следует за ним.

В большой передней с зеркалом во всю стену рядом с чуелом медведя стоит Влас, в сапогах, в грязной брезентовой куртке, в войлочной шляпе, низко надвинутой на лоб. Он обороняется палкой от собак. К нему подбегает Дзенжан. Влас снимает перед начальником шляпу.

— Что? Третий номер?

— Не берет дутья, Виктор Казимирович...

Ударом ноги Дзенжан отбрасывает лающего Бобку. Фокс взлетает на воздух, ударяется о зеркало и с пронзительным визгом ползет на животе. Дзенжан бормочет

польское проклятие. Услужливый Гавриил подает пальто и фуражку. Дзенжан грубо толкает Власа от двери и выбегает из дома. Он бежит на завод в бальных туфлях кратчайшим путем, прямо с горы, без дороги. За ним на сером снегу остаются белые следы — туфли выворачивают чистый снег из-под загрязненного копотью покрова.

А Влас хмуро озирается на окружающую его роскошь: зеркала, цветы, мрамор широкой лестницы, покрытой пушистым ковром. Из зала доносится музыка.

В переднюю собираются гости; поползло зловещее слово «козел». У Крицына никогда еще не случилось «козлов». «Козел» — это гибель печи, это волчий билет для инженера. Влас обступили и расспрашивают. Он молчит и порывается уйти.

В переднюю входит Крицын. Водворяется молчание, слышно, как скулит ушибленный Бобка. Перед Крицыным расступаются и отводят глаза в сторону.

— Ты зачем здесь? — тихо спрашивает он.

— Третий номер...

Крицын не дает ему договорить.

— Спасибо, дядя Влас, — говорит он весело и громко, будто Влас поздравил его с днем рождения.

Достав серебряный рубль, Крицын добавляет:

— Вот тебе, выпей за мое здоровье...

И шипит, едва шевеля губами:

— Сейчас же убирайся...

Влас держит рубль в толстых заскорузлых пальцах, кланяется, обводит глазами толпу инженеров и дам, поворачивается, видит в зеркале старика — лысого, седого, в сапогах, с суковатой палкой в руке. Он с трудом узнает себя. Он отворяет тугую дверь и уходит.

Крицын берет на руки и нежно гладит скулящего фокса.

— Кто тебя обидел, Бобка?

В переднюю торопливо входит старый Бальфур с салфеткой вокруг шеи.

— Что случилось, мой дорогой Адам?

Крицын спокойно улыбается и, поглаживая фокса, отвечает по-английски:

— Я расскажу вам, мой дорогой Арчибалд, анекдот из русской истории. Когда убили царя Александра Второго, полиция оцепила место происшествия. Из толпы спрашивают: «Кого убили?» Городовой ответил: «Расхо-

дитесь. Кого надо, того и убили». Так и у нас, мой Арчибальд,— что надо, то и случилось.

Уверенность и спокойствие Крицына действуют на всех. Анекдот вызывает улыбки; владеющие английским переводят на ухо соседям и соседкам. До Бальфура анекдот доходит не сразу. И только минуту спустя он начинает смеяться. Салфетка колыхается на его грузном теле.

Крицын видит в толпе Елену Евгеньевну с черной розой, приколотой к белому платью. Он подходит к ней.

— Пойдемте, Елена Евгеньевна, я что-нибудь спою. Вы будете аккомпанировать?

— Ура! Адам Александрович будет петь.

Крицын спускает на пол притихшего Бобку и идет в зал, к роялю. Гости следуют за ним. Елена Евгеньевна садится на круглый, без спинки, стул и пробегает пальцами по клавишам. Крицын стоит, худощавый и стройный, в инженерской тужурке и в высоких сапогах, положив на рояль длинные тонкие пальцы с коротко подстриженными ногтями. Улыбка играет на вытянутом продолговатом лице, украшенном рыжеватой бородкой. Раздаются вступительные аккорды. Крицын поет.

Его сильный и приятный голос хорошо звучит в просторном зале. Потом Крицыну шумно аплодируют, он в шутку раскланивается по-актерски. Бальфур пожмает ему руку.

Начинаются танцы. Когда закружились первые пары и оживившийся, забывший об ушибе Бобка вместе с Кики с веселым лаем запрыгали вокруг танцующих, Крицын незаметно ускользает в переднюю и, одевшись, выходит.

Рядом с домом гараж. Крицын отворяет ворота, входит, заводит мотор. Длинная зеленая машина дрожит. Он садится за руль, выводит машину, выезжает из парка и несется вниз, на завод.

VIII

Длинной железной пикой Дзенжан ударяет в фурму над шлаковой леткой. Острие вонзается в клейкую, еще не затвердевшую массу, пику трудно оторвать.

— Трамбовку и лом! — кричит Дзенжан.

Он торопит рабочих, топает ногами, суетится и бега-ет, ругается по-польски и по-русски.

Третья печь не гудит, вершина темна, над колошником не полыхает пламя, лишь изредка взвывается и погаснет желтый огонек. По стенкам не струится вода: при застывании печи охлаждающую воду выключают. Фурмы залеплены вязкой, кашеобразной массой стлого чугуна и шлака. В домне, работающей нормально, глаз фурмы светлый, ослепительный, чистый; через синее стекло можно различить стекающие вдоль раскаленных дрожащих кусков кокса белые струйки чугуна и светло-красные или желтые — шлака. При расстройстве печи глазки фурм темнеют, становятся оранжевыми и заволакиваются, как тучками, блуждающими комьями спекшейся размягченной руды. Сейчас глазки едва краснеют, некоторые совсем черны.

Дзенжан сам направляет толстый заостренный лом, двенадцать рабочих раскачивают тяжелую трамбовку, при ударах железо звенит о железо. Достаточно дыры от лома, чтобы открыть доступ дутью,— и печь будет спасена. Лом идет туго, рабочие громко дышат в такт движению трамбовки, при каждом ударе из двенадцати ртов одновременно вырывается «гох». Этот звук, похожий на стон, дает ритм дыханию и ударам.

— Выбивай назад! — кричит Дзенжан.

Двумя кувалдами рабочие бьют по хомутику, к подножию печи падает раскаленный добела, согнувшийся лом. Из фурмы выползает темно-красная густая масса. Это шлак, смешанный с ферромарганцем. Вялый и сонный шлак медленно стекает по стенке, темнеет на глазах и застывает огромной сосулькой, не дойдя до земли. Пробитое отверстие опять закупорено тестообразной массой.

Дзенжан срывает пальто и бросает на песок. Во фраке, в белой манишке, в лакированных туфлях, с грязными руками и измазанным лицом, он обводит вокруг взглядом, ища и не находя спасения. Недалеко, в тени кауперов, стоит Курако в войлочной шляпе, расставив ноги и сложив руки на груди. Горновой кувалдой отбивает сосульку. Дзенжан в ярости хватается пику и ударяет в фурму; острие застревает в липкой массе, длинный железный прут раскачивается на весу.

— Трамбовку и лом! — кричит Дзенжан.

Рабочие отдирают пику, наставляют в фурму новый лом. Дзенжан сам направляет его. Вновь раздаются тяжелые мерные удары. К печи торопливо идет Влас.

Продолжая ударять, рабочие слегка отодвигаются, освобождая Власу место впереди. Поймав трамбовку на ходу, Влас включается в общий ритм.

Лом заело — густой металл имеет склонность привариваться к стали. Лом перестал двигаться, трамбовка со звоном от него отскакивает. Дзенжан орет и ругается. Рабочие бьют и бьют, с хрипом вылетает:

— Гох! Гох! Гох!

— Идет! — протяжно орет Влас при каждом ударе.

Он видит, что лом не идет, чувствует, что удары слабеют, знает, что утомленными рабочими овладевает безнадежность, и кричит:

— Идет, идет, идет!..

Работа трамбовкой изнурительна, люди устало стоят. Влас учащает ритм, чтобы сдвинуть лом, не дав ему привариться.

Минуты текут и текут, трамбовка непрерывно ходит взад и вперед, и наконец лом действительно движется. Удары становятся сильнее, все по звуку слышат, что лом пошел. Теперь уже все кричат:

— Идет! Идет!

Через несколько минут по команде Дзенжана трамбовку бросают и выбивают лом обратно. Лом падает на песок, из фурмы выпучивается багрово-красная густая масса, вновь закупоривая пробитую дыру. Дзенжан шепчет проклятие и поднимает лом. Заостренный конец оплыл, подобно свечке, и светится белым калением, на песок скатываются две-три капли расплавленной стали. Это значит, что в печи горячо, там держится температура плавления стали, металл в горне еще жидок, и все же — проклятье! — «козел» неизбежен из-за того, что сгустился шлак. Дзенжан со злостью швыряет лом в кирпичную кладку печи.

Искусство ведения плавки в доменной печи есть искусство правильного шлакообразования. Само возникновение доменного производства стало возможным, когда плавильщики металла проникли в тайну шлага. В железной руде, кроме окислов железа, находятся землястые примеси, так называемая пустая порода, состоящая из кремнезема и глинозема. Вместе с тем от сгорающего кокса остается много золы. Все эти ненужные вещества получают в огромных количествах. Как удалить их из печи? Они неплавки, и нужны невероятные температуры, практически недоступные человеку, чтобы привести их в жидкое состояние. Оказалось, однако, что как

только глинозем и кремнезем встречаются в известной пропорции с известью, то образуется легкоплавкая смесь, становящаяся жидкой при температуре плавления чугуна. Эта смесь и получила название шлака. Материалы, которые добавляются к руде для получения шлака, называются у доменщиков флюсами. Вместе с рудой и коксом в печь всегда заваливаются флюсы, главным образом сырой известняк. Если в печи получается избыток извести, то, для того чтобы шлак оставался жидким, необходимо прибавить песок, который играет роль флюса по отношению к извести.

При плавке ферромарганца процесс шлакообразования усложняется. Сам марганец является флюсом для глинозема и кремнезема и стремится поэтому уйти в шлак. Чтобы избежать этого, необходимо обильным количеством извести вытеснить марганец из шлака, то есть держать шлаки сильно известковыми. Точка плавления таких шлаков выше обычной, в печи приходится развивать очень высокую температуру для поддержания текучести шлака. Достаточно небольшого охлаждения, совершенно неопасного для чугуна, как известковые шлаки густеют и утрачивают способность вытекать из печи.

Это случилось с третьей печью вследствие устарелости и изношенности воздухонагревателей. Два-три часа назад расстройство можно было бы легко выправить ценой потери некоторого количества марганца. Следовало дать на колошник песок и этим разжигить шлак. Теперь уже поздно.

Рабочие вновь загоняют в фурму лом. При «закозлении» эту мучительную и почти бесполезную работу продолжают по двадцать, по тридцать часов непрерывно и прекращают лишь тогда, когда теряющий теплоту металл совершенно отвердевает.

От заводских ворот к печи быстро идет Крицын, в легком изящном пальто и мягкой фетровой шляпе. Дзенжан видит директора, делает несколько шагов навстречу, нерешительно останавливается и мнетя на месте. Будто не замечая его, Крицын проходит мимо. Одного взгляда в глазок фурмы достаточно, чтобы понять положение печи. Молча он стоит у домны, следя за мерным движением трамбовки. Рабочие «гохают». Влас кричит:

— Идет, идет!

У Крицына ходит челюсть, будто он жует. Дзенжан

подходит к Крицыну сзади, пытается что-то сказать, шевелит губами, бессмысленно двигает рукой и не может выговорить. Крицын резко оборачивается.

— Вон отсюда! — негромко говорит он.

— Простите, Адам Александрович, это какая-то роковая неудача.

— Вон отсюда! Я прощаю воров, но не прощаю неудачников.

Он поворачивается к Дзенжану спиной. Седоусый поляк во фраке что-то бормочет в оправдание. Крицын говорит через плечо:

— Я позову сторожей, чтобы вывести вас за ворота. Потрудитесь в двадцать четыре часа избавить Юзовку от своего присутствия.

Дзенжан поднимает брошенное пальто и медленно бредет к воротам, пальто волочится за ним по песку.

— Где Курако? — спрашивает Крицын.

— Вот он, — указывают ему.

Курако по-прежнему стоит в тени кауперов. Крицын направляется туда.

— Что делать, Михаил Константинович?

— Отпустить людей, не стоит их напрасно мучить.

Крицын недоумевающе смотрит на Курако.

— Вы думаете, спасти печь невозможно?

— Невозможно, — спокойно отвечает Курако.

Он смотрит на Крицына с улыбкой. Оба они знают, что хороший доменный техник при расстройствах и «закозлениях» становится неутомимым и проводит у печи по двое и по трое суток.

— Невозможно, — улыбаясь, повторяет Курако. — Но кто совершает невозможное, тот истинный мастер. Если угодно, я расфорсую печь, через сутки она пойдет курьерским.

Крицын смеется:

— Вы оригинал, Михаил Константинович... Пойдемте в будку, я хочу с вами поговорить серьезно.

— Одну минуту, я отпущу рабочих...

Работу у печи ведет Влас. Рабочие бьют устало, равномерно, испуская одновременно стон, и не подбадривают себя криками. По распоряжению Курако трамбовку бросают. Рабочие ложатся отдыхать на песок. Влас выбивает лом и уходит осматривать работающие печи.

Курако и Крицын идут к будке под четвертым номером. Пламя домен освещает дорогу, под третьей печью темно, нарушены равные интервалы между факелами. Из трещин, зигзагами пересекающих каменную кладку печей, просачиваются синие огоньки сгорающего газа. Под ноги попадает много потрескавшихся кирпичей. Из расшатавшейся кладки кирпичи вываливаются сами и падают вниз. Они перегорели и крошатся от удара сапогом. Юзовские печи рассыпаются от старости, только железные обручи удерживают их от разрушения.

Крицын сдержал свое слово джентльмена, которое дал Бальфуру. Он дожигает старые печи, не затрачивая пока что капиталы на модернизацию завода, поэтому он смог показать высокую прибыль в балансе. Около юзовских печей опасно ходить, часто случаются прогары стенок и внезапные прорывы чугуна. Крицын с подчеркнутым спокойствием останавливается у каждой домны и, не торопясь, смотрит в глазки фурм.

Пройдя вдоль линии печей, они входят в будку. На столе прикорнул, свернувшись калачиком, Максим. Потухшая маленькая елка поставлена в угол, на книги и связки чертежей.

Максиму снится: он стоит у доски и решает задачу по тригонометрии. Эта задача перед конкурсными экзаменами полгода торчала как заноза у него в мозгу — он так и не смог отыскать решение. Сейчас на доске все идет так легко, уравнение следует за уравнением; он спешит, набрасывает мелом значки синусов и тангенсов. Вот наконец и решение! Из руки выпадает мел и со стуком падает на пол.

Максим пробуждается с улыбкой, поворачивается к двери, видит входящего Крицына и вслед за ним Курако.

Улыбка сползает с его лица. Он встает, неловко кланяется директору, одергивает тужурку и ищет взглядом фуражку, чтобы уйти.

— Знакомьтесь! — восклицает Курако. — Будущий доменщик Максим Власович Луговик. Бывший доменщик Адам Александрович Крицын.

Курако хохочет. Искорки прыгают в глазах, бесенок дерзости проснулся и играет в нем.

— Мы знакомы, — говорит Крицын и кивает Максиму.

Максим кланяется еще раз угловато и робко, поклон

кажется ему подобострастным, он презирает себя. Присутствие Крицына, самоуверенного, изящного, счастливого, сковывает Максима; он пытается улыбнуться, улыбка выходит тоже робкой, он чувствует себя ничтожным.

Год назад Максим несколько минут разговаривал с Крицыным в его служебном кабинете. Это произошло вскоре после того, как Крицын стал директором завода. В первые дни своего пребывания на заводе Крицын очаровал весь персонал. Элегантный и любезный, он приветливо улыбался, шутил, внимательно выслушивал всех, пожимал руки мастерам и старшим рабочим. Вкрадчивость его манер показалась естественной и непринужденной. Узнав, что Влас Луговик работает в Юзовке тридцать с лишним лет, Крицын долго с ним беседовал о печах, на прощание подал узкую руку и сказал:

— Если я вам буду нужен, Влас Степанович, приходите ко мне в кабинет и обо всем говорите прямо. Я всегда буду рад вас видеть.

Растроганным вниманием директора, Влас замялся:

— Сынок вот у меня...

— Пожалуйста. Что с вашим сыном?

Влас рассказал, что Максим выдержал экзамен в Екатеринославский горный институт, но не нашел службы в Екатеринославе.

— Пришлите сына ко мне,— сказал Крицын.

Максим пришел в директорский кабинет. Разговор скоро коснулся химии. Крицын проявил живой интерес к опытам Максима, бросил несколько оригинальных и остроумных мыслей о теории равновесия. Максим возразил, они спорили, как два завязтых химика. Через несколько минут в глазах Крицына мелькнуло утомление, и, посмотрев на часы, он спросил:

— Почему же вам не помогает отец? Он мастер и прилично зарабатывает.

— У меня сестры,— ответил Максим,— через их счастье я не могу переступить.

— А, вот как!.. Не можете переступить?

Максим взглянул на Крицына. Перед ним сидел уже не химик, а директор, переступивший через многое в своей карьере. Крицын любезно улыбался, но лицо его стало замкнутым и отчужденным. Максим прочел приговор в его глазах. Крицын сказал:

— Я подумаю и о результатах вам сообщу.

Максим понял, что ему нечего ожидать. Больше они не встречались.

— Мы знакомы,— повторяет Крицын.— Как ваши успехи, молодой человек? Я всегда с удовольствием вспоминаю нашу встречу.

— Благодарю вас,— бормочет Максим.

Он берет с подоконника фуражку, надевает ее как-то криво и, сутулясь, выходит из будки.

IX

Максим Луговик вырос у доменных печей. Мать ежедневно носила Власу завтрак и обед под доменные, ребенка не с кем было оставить, она брала его с собой. Доменщики играли с ним, как с котенком; возили в железной гроыхающей тачке и закапывали по шею в сухой теплый песок, при этом кто-нибудь нахлобучивал ему на голову мокрую войлочную шляпу; мальчик с трудом вытаскивал из песка свое маленькое тело и ползал в тяжелой шляпе доменщика около ревущей и дрожащей печи. С печи непрерывно стекала вода, охлаждающая стенки; горячая, она уходила в водяную канаву; от канавы подымался пар; здесь было любимое купанье Максима.

Сам Джон-Джон играл иногда с мальчиком, разговаривал на ломаном русском языке. В шерстяной полосатой фуфайке, с цветным шарфом, обмотанным вокруг шеи, горбатый Джон был не похож на русских рабочих, и Максим однажды спросил:

— Откуда ты взялся? Кто тебя сделал?

Джон-Джон рассмеялся:

— А ты откуда?

— Меня батька под доменной из чугуна сделал,— ответил мальчик.

Отец приходил с ночных смен в шесть часов утра. Максим всегда вскакивал с постели и бросался навстречу. Влас обычно приносил сыну маленькое угощение в измазанном красном платке — остаток сладкого чая в бутылке, корочку белого хлеба или что-нибудь еще.

— Это от зайчика,— говорил Влас.— Я шел с ра-

боты, вдруг выскочил зайчик. «Вот,— говорит,— передай Максиму».

Иногда Влас дарил сыну несколько копеек. Максим постоянно терял эти деньги — где играет, там бросит и забудет.

— Где же твои деньги? — спрашивал Влас.

— Не знаю,— беспечно отвечал мальчик.

Максима манило все таинственное, не похожее на обычную жизнь. Он часто бегал к центральной шахте, расположенной на территории завода, к крестному отцу — стволловому. Много раз Максим пытался проникнуть в шахту, но крестный не пускал. Крестный управлял клетью, опускаясь и поднимаясь с ней. Когда он выходил из клетки, с него стекала вода, как с водолаза; она струилась с широкополой шляпы, со спины и с рукавов. Максиму хотелось стать таким же, когда вырастет,— водолазом или стволловым.

Иногда в Юзовке появлялся дядя Антип, однорукий и одноглазый брат Власа. Он стал босяком и не любил встречаться с Власом. Каждую осень с первыми заморозками сотни босяков собирались в Юзовку греться у коксовых печей: они вповалку ложились на теплые своды печей и спасались от мороза. Максим часто бегал к ним. Он таскал из дому картошку, пришельцы пекли ее в горячей золе и ели вместе с Максимом. Он подсаживался к угрюмому дяде Антипу и слушал разговоры. Ему хотелось побродить с ними, увидеть море, увидеть мир. К весне Максим тайком сплел две пары веревочных чуней и на кладбище вырезал палку. Весной босяки не взяли Максима с собой. Антип отодрал его за уши и отвел к отцу.

— Что же ты, Максим,— спросил Влас,— не хочешь жить дома? — Мальчик засопел, уткнувшись в колени отца. Он не мог объяснить, что потянуло его из дому.

На следующую зиму Антип не вернулся, босяки сказали, что он заболел желудком и умер в степи.

Семи лет Максим научился читать, через год мать отвела его в школу. Он бегал туда через завод. В доменном цехе высилось уже шесть печей; по железной лесенке Максим поднимался на первый номер, проносился сквозь дым по мосту, соединяющему жерла печей, и спускался с шестого номера.

В своем классе он был самым маленьким, самым слабым и самым способным. Его прозвали «Мужичок с ноготок». Хилый, тихий, похожий на девочку, он избе-

гал драк и шумных игр. Его любовь к таинственному и нездешнему удовлетворяли книги. Он брал их из школьной библиотеки. Дома шумели и пищали девочки, Максим зажимал уши и читал запоем.

В школьной библиотеке была серия «Жизнь великих людей». Максим прочел все эти книги. Его героями стали подвижники мысли. Собственные бедствия мальчик привык переносить с сухими глазами, но горько плакал над судьбой сожженного на костре Бруно, затравленного Галилея, выпившего чашу с ядом Сократа.

Максим кончил школу первым учеником. Попечитель школы вызвал Власа и сказал:

— У вас, дядя Влас, одаренный сын, с редкими способностями. Такого мальчика нельзя оставить без внимания.

Влас покраснел. Ему было уже больше сорока, ранняя седина и большая лысина старили его, он был уже горновым, и в Юзовке его звали дядей Власом. От волнения он молчал и смотрел в землю, словно боясь взглянуть на долгожданную улыбку счастья.

Кроме четырехклассной, в Юзовке больше не было школ. Попечитель сказал, что Влас должен отправить сына в город, в гимназию.

— За двадцать рублей в месяц вы устроите его на полный пансион.

Влас еще ниже опустил голову и ничего не сказал. Он получал рубль пятнадцать копеек в день, тридцать четыре с полтиной в месяц. Четверо детей подрастало дома, мать часто плакала, когда он приносил получку.

Через некоторое время из дирекции завода в школу пришло требование — послать трех лучших учеников из числа окончивших в химическую лабораторию. Среди этих трех оказался Максим.

Летним утром Влас повел тринадцатилетнего сына на работу. Из лаборатории их послали в кабинет технического директора Альберта Юза, сына умершего основателя завода.

После смерти старого Юза предприятием управляли его сыновья — Джон, Артур и Альберт. Джон со старым Бальфуrom вели дела в главной конторе в Лондоне, Артур и Альберт жили в Юзовке. Первый был коммерческим, второй техническим директором. Мистера Альберта подтачивал туберкулез. Как и отец, он ходил

по заводу с палкой, но это была уже не грозная палка хозяина, а легкая трость больного. Альберт опирался на нее сутулым телом.

Когда Влас и Максим вошли в кабинет, Альберт встал, осмотрел мальчика с головы до ног и показал пальцем на ботинки Максима. Второпях Максим позабыл их почистить. Альберт вырос в России и говорил по-русски. Покачав головой, он сказал:

— Стыдно, мальчик! Мне говорили, что ты в школе лучший мальчик, а ботинки грязные. Надо, чтобы они всегда блестели, тогда у тебя все будет удачно и сделаешь хорошую карьеру. А с грязными ботинками станешь таким, как он.

Альберт указал на Власа, почтительно стоявшего перед хозяином. Низко кланяясь, Влас поблагодарил за науку.

— Иди, мальчик, в лабораторию, будешь мыть посуду,— сказал Альберт.

Максим попал в лабораторию в период коренных реформ на заводе. Раньше в Донецком бассейне было только два завода — Юзовский и Пастуховский. Два десятилетия спустя после основания Юзовки на Юге плавил железо около двадцати заводов. Преобразилась пустынная степь, по которой когда-то шел Влас от чабарни к чабарне. Воздух Донецкого бассейна приобрел новый цвет и запах. Горизонт подернулся дымчатым маревом, и везде слегка пахло серой.

Конкуренция новых, более совершенных предприятий стала чувствительной для Юзов. Они взялись за переоборудование завода, поломали старые доменные печи, на их месте поставили новые, удвоенной производительности, выстроили бессемеровский цех и новую рельсопрокатную.

Прежде на заводе не было ни одного инженера. Старый Джон-Джон, главный мастер печей, не умел даже грамотно писать на родном английском языке. Юзы выписали из Англии специалистов. Сначала приехал механик, потом электрик, потом химик мистер Робертс.

На третий день после приезда на завод Робертс застал в лаборатории Альберта Юза и горбатого Джона. Альберт беседовал с мастером, греясь у муфельной печи. Со свирепыми ругательствами Робертс выгнал обоих из лаборатории. Альберт попятился перед разъяренным химиком. Джон-Джон с этого дня избегал

даже ходить мимо лаборатории: Робертс фыркал, если случайно видел его.

Робертс ввел круглосуточную работу и экспрессные методы анализов. Он потребовал прислать мальчиков-учеников. Весь день он проводил в лаборатории, и по ночам часто видели его длинную фигуру, шагающую через завод.

Максим мыл в лаборатории посуду, тер уголь и размельчал руду. Он получал восемь рублей в месяц. Как и отец, мальчик работал по двенадцать часов в сутки, не зная праздников, одну неделю — днем, другую — ночью. Через год ему стали поручать простейшие анализы. Он научился по-английски; в лаборатории разговаривали только на этом языке. Англичане, приехавшие в Юзовку, не считали нужным учиться по-русски.

В лаборатории обычно стоял колеблющийся белый туман с запахом нашатыря. Этот туман образовывался удивительно странно. На одной горелке выпаривалась соляная кислота, на другой аммиак. Над обеими колбами подымались бесцветные пары; они соединялись в воздухе, и белые облака наполняли комнату. В этот момент Максим всякий раз замирал, поражаясь необъяснимому чуду.

Он делал анализы углерода в стали и кремния в чугунах по установленным рецептам, не понимая смысла реакции. Он сверлил пробы металла на ручном станке, делал навеску на химических весах, растворял стружки в кислоте, выпаривал в муфельной печи, взвешивал осадок и записывал результат. Каждое утро Робертс лично проверял работы мальчиков, из сотни проб выбирал он наугад десять — двенадцать, сам сверлил стружки и заново производил анализ. Он свирепел, если обнаруживал ошибку, ругался, заставлял виноватого переделывать анализ и штрафовал на полтинник. Если провинившийся работал ночью, Робертс посылал к нему рабочего на дом, мальчика приводили в лабораторию, чтобы он снова произвел анализ и сам исправил ошибку.

Четыре-пять раз в месяц сонного, усталого Максима поднимали с постели по вызову Робертса. Это было самое тяжелое в работе Максима. Его трудно было добудиться; мать приподнимала и сажала его на постели, сама ему надевала ботинки; его тело подергивалось, голова опускалась на грудь, сон вновь овладевал им, мальчик валялся на пол.

Физическое развитие Максима приостановилось из-за недосыпания, ночной работы и кислотных паров. Он перестал расти, потерял аппетит, не смеялся, глаза потускнели, мускулы расслабли.

Максим не мог понять, почему он делает ошибки. Он производил анализы самым тщательным образом, никогда не беря часового стеклышка или фильтровальной бумаги грязными руками, но ошибки все-таки случались. Однажды, когда его привели в лабораторию из дому после ночной работы и Робертс с руганью велел заново делать анализ, Максим закричал:

— Не буду!

Эти слова прозвучали неожиданно для него самого.

— Что ты сказал? — грозно спросил Робертс.

— Не буду,— упрямо повторил мальчик.

— Ступай тогда в контору, получай расчет.

Робертс сел и написал записку об увольнении Максима.

— Ну, будешь делать?

Максим не отвечал и плакал. Робертс долго смотрел на Максима, поднялся из-за стола, разорвал записку, бросил на пол, подошел к мальчику, погладил его и сказал:

— Сделай, Максим.

Судорожное рыдание вырвалось из горла Максима. Он взял со стола пробу стали и подошел к ручному сверлильному станку.

Ему приходилось напрягать все силы, чтобы вращать рукоятку станка. Он повисал на ней, поджав ноги, помогая себе тяжестью маленького тела.

Подошел Робертс, посмотрел и сказал:

— Иди, Максим, спать. Я сделаю сам.

После этого случая Максим еще тщательнее, еще точнее делал работу, проверяя себя повторными анализами. И все же Робертс вновь находил в его анализах ошибки и вновь штрафовал. Максим чувствовал здесь какую-то тайну и не мог разгадать. Он решил после каждого анализа оставлять для себя щепотку стружек. Он клеивал их в конвертики и надписывал сверху номер пробы.

Однажды, как обычно, посланный Робертсом рабочий поднял Максима с постели и повел в лабораторию. Робертс закричал, объявил о штрафе, и приказал переделать анализ.

Максим стал торопливо вытаскивать из карманов конвертики, белая бумажная горка выросла на столе Робертса. Максим нашел нужный номер и воскликнул:

— Сделайте из моих стружек!

Робертс не понял. Мальчик, волнуясь, настаивал:

— Я сделал правильно, у меня нет ошибки. Вот мои стружки, проверьте.

Путая английские слова, спеша, Максим с такой страстной уверенностью убеждал Робертса в своей правоте, что химик заинтересовался. Он взял конверт Максима и ушел к химическим весам.

Максим остался в конторке Робертса. У него колотилось сердце; вытянув тонкую шею, он следил за каждым движением химика. Робертс возвратился через десять минут и сверил записи. Результат анализа точно совпадал с первоначальной записью Максима. Бегающими глазами Робертс долго и удивленно смотрел на мальчика, потом стукнул себя по лбу и произнес непонятное слово:

— Сегрегация...

Сегрегировать — значит собираться в кучу. При медленном остывании жидкой стали прежде всего затвердевает оболочка сравнительно чистого железа, примеси уходят к центру, «собираются в кучу», сегрегируют, и застывают позднее. Стружки, насверленные с поверхности пробы, нередко имеют иной химический состав по сравнению со взятыми из центра. Максим, с трудом вращавший рукоятку станка слабыми руками, высверливал неглубоко, и при анализах ему всегда приходилось иметь дело со стружками верхнего слоя. Под сильным нажимом Робертса сверло вгрызалось глубже и доходило до центра пробы. В этом заключалась тайна, которую искал Максим. Явление сегрегации было давно известно науке, пятнадцатилетний Максим Луговик открыл его в юзовской лаборатории.

На следующий день Максим вышел на работу с утра. Он стоял с полотенцем через плечо и вытирал химическую посуду, перед тем как приступить к анализам. В лаборатории было полутемно, мутный осенний рассвет освещал комнату.

К мальчику подошел Робертс, сунул ему толстую книгу в твердом переплете и сказал:

— С этого месяца, Максим, тебе будет прибавка два рубля.

Мальчики за соседними столами приостановили от лобопытства работу. Робертс повернулся к ним и крикнул:

— За работу, отродья сатаны!

Максим раскрыл книгу. Это был учебник химии на английском языке.

Подаренный Робертсом учебник открыл новую главу в жизни Максима. Первые страницы ошеломили его, словно в глаза ударил нестерпимо резкий свет.

— Вот оно что! Вот оно что! — с восторгом шептал Максим.

Точные, скупые слова учебника раскрыли перед ним огромный мир, существование которого он смутно ощущал, работая в лаборатории и страдая от бессилия проникнуть в загадку превращения вещества. Он узнавал о существовании атомов и элементов, простейших составных частей вселенной. Перелистывая учебник, перескакивая от главы к главе, словно желая единым духом выпить всю мудрость толстой книги, Максим впервые уловил смысл привычных и непонятных анализов, которые он делал сотни раз по установленным рецептам. Он с нетерпением ожидал ночных дежурств: по ночам он производил в лаборатории опыты, упиваясь не сравнимой ни с чем сладостью познания.

Для понимания химических уравнений и формул Максиму потребовалось знание математики: он стал изучать алгебру и геометрию, достал физику Краевича и учебники по металлургии. Он поглощал страницы с жадностью; ему казалось, что он слишком медленно продвигается вперед; неведомо откуда брались силы в его хилом теле; он буквально истязал себя занятиями. У него появилась экзема. На груди вздувались маленькие пузырьки, наполненные бесцветной жидкостью, они лопались, мокли, кожа покрывалась струпьями. Максим мазал и забинтовывал пораженные экземой места, мазь стягивала кожу, болячки зарубцовывались, а рядом возникали новые гнезда пузырьков.

Целью Максима стало знание, полное знание во что бы то ни стало. Он вспомнил Сократа, о котором читал когда-то. Древний мудрец верил только в знание. В воображении Максима он вставал как живой — приземистый, с большой лысиной и громадным нависшим лбом. Максим часто вспоминал изречение Сократа: «Я знаю, что я ничего не знаю».

В 1903 году Робертс уехал в Англию. Он провел в Юзовке четыре года, срок его контракта истек. Максим с теплым чувством провожал Робертса, англичанина, во многом отличного от остальных заводских иностранцев-начальников, одинаково требовательного ко всем подчиненным — русским и своим соотечественникам. В этом свирепом человеке Максим уловил яростную, беззаветную преданность химии и старался не помнить былых обид. При прощании Робертс подарил Максиму несколько книг из своей библиотеки и сказал:

— Поступай в университет, Максим. Из тебя выйдет настоящий химик.

На смену Робертсу приехал молодой англичанин, мистер Ллойд. Новый начальник одевался нарядно, тщательно следил за костюмом и прической, в лабораторию являлся поздно и никогда не приходил по ночам. В нем, упитанном и самодовольном, совсем не было любви к науке, которая горела в Робертсе и сжигала Максима. Ллойд сразу провел резкое различие между русскими и английскими мальчиками, работавшими в лаборатории. С детьми англичан Ллойд держался вежливо и дружелюбно, с русскими обращался оскорбительно. Русские мальчики обязаны были вставать, когда он входил в лабораторию, англичане продолжали сидеть.

Русские мальчики сговорились отомстить Ллойд, напугать его бунтом. Все англичане Юзовки знали это страшное слово и смертельно боялись его.

В ближайший вечер, когда Ллойд задержался в лаборатории, мальчики выбежали наружу, ударили железками в ставни и закричали:

— Бунт, бунт!

Им не терпелось поглядеть, как выскочит перепуганный Ллойд. В сенях перед дверями они поставили ведра с краской и натянули проволоку. Скоро из сеней послышался топот и шум падающего тела. Максим заглянул в полуоткрытую дверь. С торжеством он рассмотрел мистера Ллойда, стоявшего на четвереньках в луже черной краски; краской был забрызган костюм и перекошенное от ужаса лицо. А Максим не чувствовал страха, не думал о том, что будет завтра, не старался сдерживать смех. На другой день трех мальчиков уволили из лаборатории, и Максима в их числе.

Он пытался поступить в какой-либо цех завода, но

его не брали нигде. Он узнал, что его имя попало в черный список.

Максим был уже семнадцатилетним юношей, маленьким, слабым, узкогрудым, над верхней губой пробивался светлый пушок. Максим влюбился в дочь соседа, кладовщика, донского казака по рождению, в здоровую краснощекую хохотушку Маню. Она была гораздо выше Максима и шире в плечах, легко поднимала его сильными руками. Максим любил молчаливо и робко. Маня первая объяснилась в любви и вlepила в губы поцелуй на кладбище в весеннюю ночь. Она хохотала, забавляясь его восторженным и смущенным лепетом.

В эту ночь Максим написал свое первое стихотворение. Он посвятил стихи Мане. Они вышли неожиданно грустными и хорошими. Его потянуло к перу. Каждый вечер он стал сидеть над тетрадкой. На бумагу ложились печальные, трогательные строки. В стихах и маленьких рассказах он рисовал скудное, бедное бытиями, бескрасочное существование людей, среди которых вырос. Сам вкусивший сладость познания, он с особой горечью и возмущением рассказывал о беспросветной жизни шахтеров и заводских рабочих. Воплощая свой идеал, он писал о Фарадее, о Ломоносове, о Сократе. Великого мудреца древности, некрасивого, с бычьими глазами, отвисшим животом, толстой шеей, он сравнивал со статуэтками уродливых сатиров, продававшимися во всех лавках Древней Греции. Максим знал о себе, что некрасив, и когда писал о Сократе, то выражал что-то глубоко личное, живущее в тайниках души.

Несколько лучших стихов Максим послал в редакцию журнала «Русское богатство». Ответ пришел быстро. С дрожью в руках Максим разорвал тяжелый конверт со штампом журнала, откуда выпали его рукописи и письмо. В письме говорилось, что стихи свидетельствуют о таланте, но, чтобы стать писателем, надо много учиться и, если есть хоть малейшая возможность, следует поступить в университет.

Опять университет! Максим вспомнил прощальные слова Робертса. Из Екатеринослава Максим выписал программу гимназии. Боже, как много там предметов! Французский, немецкий, греческий, латынь, география, история, чистописание, рисование, зоология, ботаника, закон божий... Максим свободно читал и говорил по-

английски; знал химию в совершенстве; изучил физику в объеме университетского курса; владел, как профессионал, наукой о производстве черного металла. Все это оказалось ненужным, этого на экзаменах не спросят.

Максим достал учебники гимназии и стал готовиться к экзаменам.

Промышленность России проходила в эти годы полосу затяжного кризиса. На складах Юзовского завода скопились огромные запасы чугуна, болванки и проката — их некуда было отправлять. По улицам бродили безработные, доменные печи шли на тихом ходу, дирекция сократила заработную плату. Власу урезали десять копеек в день. Влас загрустил, мать стала чаще плакать. Максим решил поискать работы на заводах Донецкого бассейна. Он отправился с котомкой за плечами — там лежали учебники и хлеб. Экзема у него не прошла, с груди болезнь перекинулась на плечи и захватила шею.

В вагонах и на станциях он зубрил катехизис, твердил даты рождения и смерти царей, заучивал немецкие и французские глаголы. Больной, обвязанный бинтами, с книгой на коленях, он шевелил губами, не замечая шума. Его принимали за сумасшедшего; он терзался, если бесплодно терял час. Больше месяца Максим ездил и ходил по Донецкому бассейну. Он обращался на металлургические, химические и стекольные заводы, предлагая свои услуги для любой работы, требующей знания химии. Его не брали нигде.

Заводы свертывали производство, выбрасывали людей, чтобы продержаться до лучших времен.

Отчаявшись, Максим вернулся домой. Экзема за время поездки расползлась, вышла на лицо и покрыла руки. Выслушав печальный рассказ сына, Влас сказал: — Ищешь счастья, а счастье легко в руки не дается. Учись дома, Максим. Как-нибудь прокормимся...

Покрытый струпами, забинтованный, Максим готовился к экзаменам как одержимый. Он не расставался с книгой даже за обедом. Его постоянно напряженный усталый мозг был настолько поглощен занятиями, что за обедом, желая попросить хлеба, воды или соли, он не мог сразу вспомнить нужные слова. Он водил над столом пальцем. Мать спрашивала:

— Тебе хлеба, Максим?

Он кивал головой и продолжал читать не отрываясь.

Его мозг, казалось, вытягивал соки из тела. Максим опять перестал расти, похудел еще больше и стал сутулиться. Светло-голубые глаза казались необыкновенно большими на маленьком бледном лице, они лихорадочно блестели.

Иной раз, когда голова, забитая сотнями заученных терминов, формулировок, дат, отказывала и, сопротивляясь насилию, не воспринимала больше ни одной строчки из учебников, Максим разрешал себе отдых. В его комнате стояли банки с реактивами, он принимался за химию. После химических опытов он чувствовал себя освеженным.

Изредка к Луговикам приходила Маня. Максим стеснялся показываться ей в бинтах, она сама вбегала к нему, поднимала на руки и несла в комнату девочек. Максим тихо смеялся, отбивался от Мани и прижимался к ней. Всякий раз после ухода Мани его подмывало написать новые стихи, строфы сами слагались в голове: Максим подавлял и отбрасывал рвущиеся на бумагу слова, он не имел права отвлекаться от учебников. Однако стихи были сильнее его, они внезапно пробивались вновь, и Максим торопливо заносил их в тетрадку.

Чтобы скорее подготовиться к экзаменам, Максим решил сдавать за курс реального училища, а не гимназии. В реальном не проходили древних языков и во всем построении программы был уклон в сторону точных наук — математики, физики и отчасти химии, в которых Максим был наиболее силен. На улицу Максим почти не выходил и скрывался от товарищей. Он говорил, что не хочет, чтобы его видели больным, обвязанным бинтами. Однако не только поэтому он избегал людей. Все его товарищи служили, нашли место в жизни; он знал, что его считали чудаком и неудачником, ему было тягостно с ними встречаться, пока он не добился своего. Он подхлестывал себя, готовый, как Сократ, скорее умереть, чем отступить. Иногда приходили минуты отчаяния. Максим сомневался в себе, затраченные усилия казались бессмысленными и напрасными, он сам переставал понимать, зачем терзает себя, в собственных глазах он становился вырождаком.

За полтора года невероятно напряженной работы Максим усвоил курс реального училища. По вечерам он пробирался к учителю юзовской школы; учитель гонял его по всей программе. Максим знал ее твердо. Обычно он минуту думал перед тем, как ответить, рылся в па-

мяти, находил нужное среди огромного вороха знаний и затем отвечал уверенно и без ошибок...

В эти годы в стране нарастала и зрела революция; за стенами комнаты Максима творились невиданные в старой Юзовке дела; в степи близ завода происходили митинги, молодежь хлынула в подпольные кружки. Все это прошло мимо Максима.

Весной 1905 года наступили последние дни перед отъездом на экзамены. Максим собрал документы, чтобы приложить к прощению, и запросил из канцелярии екатеринославского губернатора свидетельство о политической благонадежности, без которого к экзаменам не допускали.

Ответ из губернаторской канцелярии почему-то держался, и в конце апреля Максим, простившись с отцом, матерью и сестрами, уехал в Екатеринослав на экзамены.

Он приехал туда ночью. Шел дождь. Он лег на бульварную скамейку, положил под голову котомку. Его разбудил городской. Максим рассказал, что приехал держать экзамены, что хочет учиться, хочет стать студентом. Городской молча выслушал и отошел. Максим снова лег под дождь на мокрую скамейку.

Утром Максим пошел в канцелярию губернатора. Чиновник нашел дело, просмотрел и сказал:

— В выдаче свидетельства вам отказано.

— Почему же?

— Губернатору присвоено право отказывать без объяснения причин.

Ошеломленный, подавленный, Максим отправился в реальное училище. Без свидетельства о политической благонадежности прошения там не приняли. Максим вышел из здания училища и остановился среди улицы. Цвела белая акация, запах ударил ему в голову, он покачнулся и почувствовал, что не может стоять. Шатаясь, он добрался до крыльца и сел на ступеньки. Мимо проходили две женщины, одна оглянулась и сказала:

— Смотри, какой молодой, а пьяный.

Через час Максим вернулся в канцелярию губернатора. Отупев от горя, он слонялся там весь день, глядя на чиновников умоляющими глазами.

Старший чиновник вывел Максима в коридор и сказал:

— Уходите от греха, молодой человек... Не дай бог вы и тут устроите бунт.

— Я хочу учиться...— тихо сказал Максим.

— Не надо было бунтовать,— ответил чиновник.

Вечером на следующие сутки Максим брел со станции домой. На голове не было шапки, в темноте белела обвязанная бинтом голова, на плечах не было котомки, то и другое он где-то потерял.

Близ дома он встретился с Маней. Увидев Максима, Маня метнулась, словно желая скрыться, потом решительно подошла и, не опуская глаз, сказала:

— Не сердись на меня, Максим. Я выхожу замуж. Мы с тобой не пара.

— Замуж? — тихо переспросил Максим.

Маня назвала фамилию молодого заводского служащего, товарища Максима по школе. Максим вспомнил, что у жениха Мани всегда блестели сапоги. В ушах прозвучали слова Альберта Юза. Максим посмотрел на свои стоптанные, покрытые грязью ботинки и ничего не сказал.

— Прощай, Максим... Я к вам больше приходить не буду.

Он не заметил, как Маня отошла. Ее высокая, крупная фигура в белой кофточке смутно виднелась вдаль и через несколько секунд исчезла. Максим прислонился к чужому забору и беззвучно заплакал.

Он очнулся около двери дома и не мог припомнить, как сюда попал. Он стоял неподвижно, глядя остановившимися глазами на дверь. Зачем ему возвращаться домой? Что он будет делать дальше, к чему ему жить? Не постучавшись, Максим отошел от двери. Ему хотелось спать, но зарево завода влекло его к себе. Обесиленный, утративший желание бороться, сутулясь и волоча ноги, он медленно шел к доменному цеху. У печей Максим почувствовал облегчение, словно добравшись до цели.

На соседней печи выпускали чугун. В багровом свете Максим увидел отца и спрятался за каупер. Пробравшись к печи, он поднялся по железной лесенке и сел наверху на ступеньку у газовой трубы. Пронеслись теплый ветерок, огни Юзовки мерцали вокруг. Напрягая слабые мускулы, Максим отвинтил задвижку люка и, свернувшись калачиком, положил забинтованную голову на трубу лицом к темному отверстию. Он ощутил горячее дуновение из открытого люка — это выходила окись углерода, смертельный газ без запаха и цвета... Вот у него зашумело в ушах, вот задрожали колени... «Прости

меня, папа»... Отец почему-то похож на Сократа... «Здравствуй, легкая смерть...»

Спас его отец. Власу почудилось, будто он увидел обвязанную бинтами голову сына. Влас знал, что Максим держит экзамены в Екатеринославе, и странное беспокойство охватило его. Он оглядывал цех, ища сам не зная чего. На второй печи наверху у стенки он заметил белое пятно. У Власа заколотилось сердце. Задыхаясь, он вбежал по железной лесенке и млеющими руками схватил податливое, бесчувственное тело сына. Максима откачали внизу. Он стал дышать, но не пришел в себя. Влас на руках принес сына домой.

Несколько месяцев Максим лежал с пораженным сознанием. Он бредил и никого не узнавал. И — странное дело — он много и жадно ел, пополнил и окреп. Организм, освобожденный от тирании мозга, рвался к жизни со слепой силой смятой и потоптанной травы. Экзема, против которой были бессильны лекарства, прошла сама собой. Доктор высказал предположение, что окись углерода убила болезнь.

Месяц проходил за месяцем, сознание возвратилось к Максиму. Он бродил по комнате, поздоровевший, но печальный, не зная, за что взяться.

— Почему у меня ничего не вышло, папа? — с тоской спросил он однажды отца.

— Сова не родит сокола... — тихо ответил Влас.

Как-то вечером к Максиму пришел учитель, который помогал ему готовиться к экзаменам. Неудача Максима была известна в Юзовке. Учитель зашел, чтобы сообщить важную новость: в этом году допускали к экзаменам без свидетельства о политической благонадежности. Наряду с другими свободами и эта была вырвана революцией у правительства.

Максим сначала не поверил. Убедившись, он вспыхнул, в голову бросилась кровь, глаза заблестели.

— Спрашивайте! — попросил он.

Учитель стал задавать вопросы, сначала наводящие и легкие, потом труднее. Закрыв глаза, наморщив с болезненным усилием лоб, Максим медленно отвечал, словно откуда-то с трудом вытаскивал слова. Спрессованные знания лежали в прежнем порядке. Максим извлекал их, проламывая легкую корочку забвения.

В этот вечер он достал из сундука учебники и оставшееся до экзаменов время посвятил повторению пройденного.

Снова, как и в прошлом году, с котомкой за плечами он отправился в Екатеринослав. Его экзаменовали сорок пять дней. Полагалось сдавать за каждый класс в отдельности — от приготовительного до седьмого. Максим сажился за парту рядом с приготовишками и вместе с ними выводил в тетрадке палочки и кружки, сдавая чистописание. Решающим был экзамен за последний, седьмой класс. По физике экзаменовал сам директор, коротенький и толстый, как кубышка; он любил, чтоб ему отвечали так, как он объяснял на уроках. Максим вытащил билет — формулу интерференции света — и написал на доске вывод по университетскому курсу Зелова. Толстяк посмотрел и сказал:

— Не годится.

Максим растерялся, он твердо знал, что написал правильно. Он долго стоял у доски, руки безнадежно повисли, потом стер все написанное и сделал вывод заново по учебнику Краевича для средних учебных заведений. «Теперь правильно», — сказал директор Максиму. По химии достался билет — соли марганца. Максим мелко исписал всю доску, перечислив решительно все соединения марганца.

— Где вы учились химии? — удивленно спросил преподаватель.

— В Юзовке... — ответил Максим.

Двадцать человек держали экзамены вместе с Максимом, выдержал только он один. Получив аттестат, Максим подал прошение в Екатерининский горный институт. Здесь конкурировало свыше двухсот человек, из них были приняты восемнадцать с лучшими отметками, среди них Максим. Наконец-то он стал студентом, первый и единственный из всех окончивших когда-либо юзовскую заводскую школу.

Он стал студентом и не смог учиться. За право учения надо было вносить сорок шесть рублей в год, ему неоткуда было взять эти деньги. Он пытался найти работу в Екатеринославе. Там было два металлургических завода и много других предприятий. Максим обошел все. Обтрепанный и робкий, он тихим голосом расспрашивал о вакансиях. Промышленная депрессия продолжалась, его куда не взяли. Искать уроков он не решился... У него не было школьных навыков, он чувствовал, что провалится на этом поприще.

Он вернулся в Юзовку, надеясь, что там удастся поступить на завод. Его опять куда не приняли —

быть может, его имя все еще не было вычеркнуто из черного списка. Найти работу можно было только в шахте. Максим пошел по окрестным шахтам, его приняли стволowym на центральную, туда, где когда-то работал крестный. Так осуществилась его детская мечта. Ранним утром он в тяжелых сапогах, в брезентовой шляпе шел на шахту, чтобы опускать и поднимать клеть среди льющих со стен потоков воды. Случайно его встретил попечитель юзовской школы, тот самый, который когда-то сказал Власу, что у него одаренный сын. Попечитель ехал в коляске, узнал Максима и, изумленный, остановил лошадей.

— Что с вами? Где вы работаете?

Максим рассказал. Попечитель вынул блокнот, написал записку и сказал:

— Идите в общество потребителей, там нужен конторщик...

В конторе Максим оказался на плохом счету. Он сидел с рассеянным видом; переписывая бумаги, пропускал буквы; в подсчетах случались ошибки. Иногда он задумывался, опустив ручку в чернильницу, и глядел в стену остановившимися глазами. В эти минуты он не сразу отзывался на зов, и нужен был энергичный окрик, чтобы вернуть его к действительности. Он вздрагивал, съеживался и с ненужной суетливостью принимался работать.

По вечерам он дома занимался химией, тратя на это по десяти рублей в месяц.

Так шли годы, впереди не было просвета.

Х

Крицын оглядывает будку. Огромный чертеж вызывает в нем легкую усмешку, он спрашивает:

— Зачем вы возитесь с этим неудачником? Из него ничего не выйдет.

— Да, если он станет директором завода...

— Что? Как вы сказали?

— Я сказал, что из него действительно ничего не выйдет, если он станет директором завода. Присаживайтесь, Адам Александрович.

Крицын садится и смотрит на Курако исподлобья, пожевывая нижней челюстью. Из кармана он вынимает перочинный ножик, открывает лезвие и скребет задумчиво кожу у большого пальца. Эту привычку знают

в Юзовке. Крицын берет за ножик в затруднительных случаях.

— Н-нда, вы оригинал, Михаил Константинович... — произносит он.

Крицыну вспоминается, как прошлой зимой в его кабинет вошел Курако.

Они никогда не встречались, и Крицын с любопытством разглядывал человека в валенках и полушубке, чье легендарное имя затмевало когда-то его собственную славу. Курако искал места.

«Какую работу вы хотели бы иметь?» — «Я доменщик, начальник цеха». — «Инженер?» — спросил Крицын, отлично зная, что Курако не имеет диплома. «Нет». — «Что ж, возьму вас обер-мастером».

Крицын испытывал какое-то жестокое удовлетворение, смакуя унижение бывшего соперника. Он ожидал, что Курако вспыхнет и, оскорбленный, выйдет из кабинета. Курако вспыхнул, промолчал и согласился. Крицын понимает, что сейчас его очередь молчать.

Курако стоит в зеленоватой шляпе, в коричневой куртке и таких же штанах; он прислонился к чертежу и насвистывает веселый мотив. Каждый ожидает, когда заговорит другой.

Играя ножичком, Крицын произносит:

— Я выгнал Дзенжана. Прошу вас принять цех.

Курако продолжает насвистывать. Крицын вопросительно смотрит на него и догадывается, что следует выразиться определеннее.

— Довольно свистеть, Михаил Константинович. Я предлагаю вам место начальника цеха. Согласны?

— При одном условии...

Крицын улыбается, как игрок, понимающий тактику партнера.

— Пожалуйста, поговорим об условиях. Сколько?

— Шесть миллионов!

— Ого!

— Я снесу все шесть печей и построю шесть новых на их месте.

— Оставим поэзию, Михаил Константинович. Ваши условия, серьезно?!

Курако отходит от стены. Вскинув голову, он указывает на чертеж:

— Вот мое условие.

Крицын невольно поворачивает голову по направлению властно протянутой руки. Когда-то он сам, будучи

инженером-доменщиком, проектировал печь своей системы, множество оригинальных мыслей сверкало в его чертежах,— проект так и остался недоработанным, в набросках. Он увлекся потом замечательной идеей прямого восстановления железа из руды при низких температурах, минуя доменный процесс. Эта идея сулила революцию в технике, он поставил несколько остроумных и удачных опытов, где-то в ящике письменного стола лежит неоконченная его статья «Об индийском способе получения железа».

Крицын смотрит на чертеж. Печь системы Курако не нравится ему, он нашел бы другое решение конструкции, более изящное и легкое. Словно забыв о делах, он развивает перед Курако свой проект идеального профиля. Он увлекается, у него блестят глаза. Курако защищает свои конструкции. Крицын перебивает его, не дослушав, и продолжает фантазировать. Курако отвечает. Спор быстро утомляет Крицына, ему становится скучно, глаза потухают, он садится и скребет кожу ножичком.

— Приятно повитать в облаках, Михаил Константинович,— произносит он,— вернемся, однако, на грешную землю.

— Вы слышали мое условие...

В словах Курако звучит фанатическая непреклонность. Крицын качает головой, смутное ощущение зависти к Курако и жалости к себе пробегает в нем. Он директор, его специальность — делать дивиденды, он знает слишком твердо, что рабочие руки в России дешевле механизмов.

— Нет, это сумасшедшая цена.

— В таком случае мне нечего делать в Юзовке. Я ухожу сегодня.

— Как? А третий номер?

Курако молча пожимает плечами.

В это мгновение страшный взрыв потрясает будку. Оконные стекла, выбитые сотрясением воздуха, со звоном разбиваются об пол. Крицын вскакивает, Курако стремглав выбегает из будки. Им обоим знаком этот грохот. Звук взрыва жидкого чугуна несравним со звуком грома или орудийной пальбы. Этот звук никогда не забывается, и его никогда нельзя спутать ни с каким другим. Кажется, будто огромные массы вещества раздираются на мельчайшие составные части, разрываются в космическую пыль. Крицын смотрит в окно. Печи

закрыты, как занавесом, взметнувшейся пеленой песка, снизу освещенной красным. Раздается новый удар. Багровая пелена разрывается крутящимися вихрями, в пролетах виднеется пламя.

Курако бежит к месту взрыва, перескакивает через препятствия. В стенке второго номера ослепительно зияет круглое рваное отверстие диаметром в человеческий рост. Здесь неожиданно вылетела кирпичная кладка, и содержимое печи было выброшено, как из пушки. Лавина прорвавшегося чугуна дважды с грохотом взлетела в воздух.

Охваченный огнем человек, судорожно корчась, перекачивается по песку. Курако кидается к нему, наваливается вплотную и сбивает пламя собственным телом. Одежда обгоревшего продолжает тлеть и вспыхивать. Откуда-то подбегает Максим. Он вскрикивает и в ужасе хватается за голову. Молниеносным движением Курако срыгает и разбрасывает горящие куски материи.

Огромная лужа чугуна, натекшая в выбоину после взрыва, озаряет все вокруг зловещим красным светом. Из пролома пышет жаром, рядом безмолвно темнеет «закозленная» третья домна, остальные четыре гудят непрестанным ровным гулом.

Одежда сорвана, на голой шее спасенного проступают красноватые пятна ожогов, руки до локтей порозовели, здесь кожа сплошь обожжена. Пахнет паленым волосом. Обгоревшего обступают рабочие. Курако и Максим помогают ему сесть; он смотрит на руки, озирается вокруг, медленно поворачивает короткую мускулистую шею и произносит:

— Вот и сбылась пословица: около воды обмочишься, около огня сгоришь. Бог меня наказал, Константиныч...

Это Влас Луговик. Его нельзя узнать, у него опалена борода, сгорели брови и ресницы. Он сейчас не чувствует боли, нестерпимая боль начнется только через полчаса. Влас пытается подняться, Курако говорит:

— Сиди, Влас, сейчас дадут носилки.

— Я дойду, Константиныч... Веди меня, Максим, в больницу.

К печи идет Крицын, легко перепрыгивая через раскиданные взрывом железные плиты, обходя раскаленные лепешки чугуна, разбросанные всюду. Доменщики расходятся, заметив директора. Крицын идет к Власу.

— Как же это ты, дядя Влас?

Влас поднимает глаза без ресниц.

— Моей вины тут нет. Доменная очень старая, вся рассыпается. Очень уж вы скупые, Адам Александрович. Добиваете печку до последнего, вот и приходится гореть.

Крицын разглядывает ожоги и дает Власу несколько медицинских советов.

У развороченной взрывом печи идет работа. Водой из брандспойтов заливают красную лужу и наваленную у пролома кучу пламенеющего кокса. Вокруг становится темнее. Рабочие ломami и лопатами расчищают доступ к месту прорыва. Для юзовских доменщиков это привычное дело. Очистив площадку печи, они будут долго кидать в пролом глину и утрамбовывать ее, отодвигая в глубь печи. Забив наглухо глиной отверстие, они выложат его кирпичом, стянут печь еще одним железным обручем и пустят вновь. Все юзовские печи латаны так десятки раз.

Обращаясь к Курако, Крицын говорит:

— Пожалуй, эту печь я вам отдам на растерзание. Снесите второй номер и воздвигайте здесь свою. Печь за печь — мы будем квиты.

Курако и Максим поднимают Власа. Обожженная кожа на руках потемнела. Курако молчит. Крицын продолжает:

— Если печь будет дешево работать, поговорим о перестройке цеха, завтра подпишем контракт.

— Вот ваша дешевка! — восклицает Курако, указывая на Власа. — Я построю печь, которая не жрет людей.

— Значит, согласны? Отлично.

Крицын вынимает портсигар и предлагает Власу дорогую папиросу. Недвижно висят обожженные темные руки.

— Мне нечем взять, Адам Александрович.

Крицын сует ему несколько папирос в карман обгоревших штанов.

К Власу подбегают с носилками. Он еле слышно стонет: начинает ощущаться боль. Курако и Максим подхватывают его, чтобы уложить. Влас тянется к печи и тихо произносит:

— Посмотреть эту прорву...

Медленно ступая, Влас идет к прорыву, широкому, как ворота. Максим поддерживает отца. Из отверстия струится жгучий жар, внутри печи видны раскален-

ные красные стенки, они гладкие, словно облитые глазурью. Доменщики приостанавливают расчистку и молчаливо смотрят на Власа. Из брандспойта льется струя на потемневшую грудку кокса, поднимается и улетает пар.

Влас тихо стонет. Странно видеть, как спокойно переносит он страдания. Влас — старый доменщик, он видел и испытал много ожогов, он знает: ничто не избавит его от подступающей страшной боли. Глядя перед собой в пролом, не двигаясь, ни к кому не обращаясь, он говорит:

— Я подошел к ней, вижу — шлак подходит к фурмам, я закричал: «Скорей пускайте шлак, а то где-нибудь вырвет». Только так сказал, и вырвало прямо на меня. Будто кто-то по голове меня ударил ломом. Когда опомнился — на мне горит одежда... Вот она, эта прорва!

Доменщики подались к Власу, чтобы не проронить ни слова.

— Не надо, папа, пойдемте, — говорит Максим.

Он увлекает отца к носилкам.

Власа укладывают, он сдерживает стоны. Курако пытается найти слова, чтобы утешить его.

— Прощайся с этой печью, Влас... Я ее сломаю.

И кладет руку на плечо его сына:

— А ты приходи ко мне. Будешь помогать. Да, да, Максим, тебя приглашает начальник доменного цеха... Выстроим такую печь, которая не сожжет ни одного человека.

— Я буду вашим Санчо Пансой, Константиныч, — тихо говорит Максим.

Власа уносят. Максим идет, ссутулясь, за носилками.

Сбив на затылок войлочную шляпу, Курако стоит, расставив ноги, скрестив руки на груди, и смотрит вдаль, сквозь зарево доменных печей.

...Крицын легко взлетает на автомобиле на гору. Его дом сверкает электричеством. Сидя за рулем, он с удовольствием вдыхает несущийся навстречу воздух. Взрыв печи, обожженный Влас — все это забыто, все позади. Крицыну хочется прокатиться четверть часика, он любит быструю езду. Автомобиль отлично слушается руля, рессоры мягко пружинят. Он выезжает на шоссе, ведущее к Макеевке, и прибавляет газ. В ушах поет ветер, в этот час дорога совершенно пустынна. Крицын увеличивает и увеличивает скорость, наслаждаясь ощу-

щением полета в пространство. Какая прекрасная машина! Расстояние от Юзовки до самого крымского имения он покрывает на ней в три с половиной часа. А его моторная лодка, белая, как чайка, с мотором в сто двадцать лошадиных сил, фирмы «Сиам», самая быстроходная на Черном море, изумительное произведение итальянского общества морских автомобилей! Она досталась Крицыну случайно. Ее привезли для одного московского купца. После первой пробы купец сказал: «Продайте ее к чертовой матери, она меня потопит». Крицын купил ее, не торгуясь, за четыре тысячи и в тот же день повел навстречу ветру. Белый рокочущий корпус высоко поднимался над водой, словно стремясь выскочить, и пробивал гребни волн со скоростью сорока километров в час. Два месяца назад Крицын начал переговоры с братьями Райт о приобретении аэроплана. Его влечет этот новый, неизведанный вид спорта, ему хочется летать.

Вдали появилось зарево печей Макеевки, шоссе пошло под гору, Крицын не тормозит и не сбавляет газа. Автомобиль бешено несется, скорость превышает восемьдесят километров в час.

Внезапно из-за поворота возникают огни паровоза. В этом месте шоссе пересекается железнодорожным полотном. Тормозить уже поздно, автомобиль и поезд мчатся наперерез друг другу. Вспоминается прочитанная где-то заметка, что наибольший процент автомобильных катастроф в Америке происходит от столкновения с поездами. Крицын пригнулся к рулю и гонит машину, выжимая все, что она может дать. Автомобиль проскакивает перед паровозом. Крицын успевает взглянуть, в глаза ударяет яркий свет паровозных фонарей. Ослепленный, он нажимает тормоз и вздыхает всей грудью, лоб и спина покрылись потом. Автомобиль медленно катится. Что оставил бы он после себя? Крицын смотрит на зарево Макеевки и впервые, быть может, понимает с ослепительной ясностью, что уже никогда он не напишет свое имя на небе. Библейское сказание об Иакове, продавшем свое первородство за чечевичную похлебку, вспоминается ему.

— Ну и не надо... ну и не надо... — беззвучно шепчет он.

Повернув автомобиль обратно, он вновь развивает скорость. Впереди возникают огни Юзовки. Вот показался его сияющий дом.

Крицын останавливает машину у подъезда, легко взбегаёт по ступенькам, сбрасывает пальто и входит в зал. Под музыку рояля множество пар танцуют вальс. Кто-то бросает в него серпантин, бумажная розовая лента обвивается вокруг его черной тужурки. Из круга танцующих выбегает Елена Евгеньевна.

— Где вы пропадали? — спрашивает она.

— Возился с автомобилем... Кто хочет кататься? — громко восклицает Крицын.

— С вами опасно...

— Э... живем ведь только раз... Едем, Елена Евгеньевна! Кто с нами кататься?

Проводив отца в больницу, Максим Луговик глубокой ночью возвращается домой. Дежурный врач сказал, что Власу придется два месяца ходить перевязанным. В студенческой фуражке и тужурке Максим медленно идет мимо шлакового отвала, разговаривая с собой.

Наверху, на высокой насыпи, останавливается паровоз, втащивший три ковша со шлаком. Через минуту опрокидывают первый ковш, под откос бежит огненная река, вокруг сразу становится светло, как днем.

Курако сказал ему: «Приходи. Будешь помогать». Значит, с завтрашнего дня Максиму снова станет доступна заводская лаборатория. Теперь у него будет все для опытов — муфельная печь, манометры, вакуумный колпак, он теперь быстро восстановит константы треххлористого йода. Какое счастье — стать помощником Курако!

Надо спешить домой, успокоить мать. Отец поправится. Дома теперь все пойдет по-другому. А сколько подарков Максим сделает сестрам! Маме он подарит швейную машину, довольно ей шить на руках.

Из ковша выбивают остатки застывшего шлака; горячая глыба, так называемая шлаковая кадушка, сохранившая яйцеобразную форму ковша, с шумом скатывается вниз. Максим идет вдоль отвала. Внизу валяется много старых шлаковых кадушек. Вылитый шлак постепенно темнеет, в ночном небе вновь возникает красное зарево доменных печей.

Неожиданно у самых ног Максима с треском лопается темная шлаковая кадушка, из нее вылетают огненные брызги. Максим испуганно отскакивает. Он не раз наблюдал это странное явление: шлаковые кадуш-

ки, полежав несколько часов, внезапно самопроизвольно взрываются. Теория металлургии не знает объяснения этому. Максим заглядывает в трещину лопнувшей глыбы: внутри виден неостывший, раскаленный шлак.

Наверху опрокидывается следующий ковш, и снова все освещается вокруг. Догадка внезапно озаряет Максима.

— Вот оно что! — восклицает он.

Ведь со шлаком происходит то же самое, что и с крупинкой треххлористого йода. Аллотропическая модификация, переход остывающих кристаллов из одной системы в другую! Да, да, это совершенно ясно!

Максим уже забыл о доме. Он сидит на корточках у лопнувшей кадушки и тихо смеется. Как это просто! Странно, что об этом никто не подумал раньше. Из жидкого ядра внутри кадушки выкристаллизовываются минералы, при дальнейшем остывании они меняют кристаллическую структуру, и происходит резкое изменение объема, раскрываются обручи на остановленных доменных печах, вот почему печи с коническими горнами иногда вырастают на сто — двести миллиметров. Сколько необъяснимых явлений сразу становятся ясными!

Максим разглядывает округленные очертания кадушки, ему приходит мысль, что перед ним модель земного шара — затвердевшая оболочка и жидкая магма внутри. При остывании магмы — тоже своего рода шлака — несомненно, происходит перекристаллизация и возникает внезапное резкое давление, вызывающее вулканические извержения.

У Максима складывается план экспериментов с расплавленным шлаком, — аппаратура теперь ведь доступна ему. Он смеется. Какое замечательное это будет открытие! Скорее бы наступало завтра!

Наверху опрокидывают третий ковш, и ослепительный поток вновь освещает, словно утренней зарей, одинокую фигуру, которая сейчас вовсе не кажется сутулой.

...Ныне на письменном столе советского ученого, действительного члена Академии наук Максима Власовича Луговика лежит тяжелая чугунная звезда, на которой выгравировано:

«Из первого чугуна магнитогорской домны № 1 — старейшему металлургу, строителю доменных печей, ученику Курако...»



ВЛАС
ЛУГОВИК

*Тетрадь,
найденная в Донбассе*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Сижу вечером с поникшей головой. Сегодня, 11 ноября 1929 года, мне минуло семьдесят два года от роду. Как прожить на свете последние дни?

Здоровье ослабело, ноги стали тяжелы. Ходишь и спотыкаешься подобно старому коню, а сидеть без дела скучно. Целый век работал на заводе ежедень. Там наука одна: знай одно дело — смотри за печью, чтоб работала в порядке, остальное тебе не требуется. Это вся твоя забота и вся наука.

Дома в молодые годы я умел делать всякую работу: сам делал ведра, сам делал соху и повозку — словом, все по хозяйству. В заводе от всего отвыкаешь.

Теперь я остался без дела. Эта жизнь очень скучная, для меня она хуже работы. Одиному кашу кушать — и то скучно.

Я сижу в комнате один. Максима проводили в Америку. Женья учится в Днепропетровске, старуха моя пошла в церковь. Она это выполняет, чересчур уж богомольная. Мне это немного не нравится. Я пробовал отговаривать: «Не ходи, у тебя ноги больные». — «Нет, пойду!» — и только. Летом я занимался в саду, сажил овощи, полон и поливал, этим развлекал свою скуку и сам себя веселил. Теперь настала осень. Все иссохло, пожелтело, сад мой остался пустой. Выйду, похожу — везде пусто и холодно. Здесь, на Украине, ноябрь месяц называют «листопад». Это правильное название. Вся земля засыпана листом. Под ногами сухая листва шуршит, словно ветер дует.

По этой суровой погоде в заводе удобнее работать, чем летом, — не так жарко для труженика-рабочего.

А я скучаю от этой погоды. Болят все кости. Семьдесят лет шутить не хотят — свое берут. Старость подходит незаметно и берет вежливо вас то за руки, то за ноги. Принимай и угощай эту старость. Я ее не просил, но она давно у меня в гостях. Я не рад такому гостю, а он все ближе подступает, все крепче обнимает.

От скуки я решил заняться, написать кое-что о своей родине и некоторые случаи, которые со мной были, так как я рос сиротой, а потом сорок шесть лет работал в заводе имени Сталина, бывшем Юзовском, и много видел всяких происшествий.

Бывали взрывы невероятные, перепугаешься до безумия, сам себя не помнишь. Много раз горела на мне одежда, но всегда удавалось выходить благополучно.

Доменная работа — это самый большой труд, которого нет на других работах, как на вальцовке или в шахте. Все работы имеют праздник, доменная — никогда. Работать надо девяносто четыре часа в неделю.

Доменщик не может построить себе хату, потому что в свободное время ему надо спать. Это наш закон: день работать — ночь спать, ночь работать — день спать. Так и век прошел.

В старину печи были плохие, малого калибра, дутье слабое, как в кузнице. Чугун выходил холодный, вырвет в песке яму и застынет. А кранов не было, стащить нечем, разбивай его молотом на крошки и растаскивай, как знаешь. А время не ждет — давай скорей, доменная работает своим путем. Вот тут и лихо. Повозишься целый день, идешь домой — и ноги не идут. Пришел, сел разуваться, одну ногу разул, а другая так и осталась, и заснул на месте, где сидел. И это часто бывало — в месяц два или три раза.

Спишь до четырех часов. В четыре гудок. Проснулся — давай завтракать; позавтракал — обуваться и — на работу. Так и прошла вся жизнь: день работаешь — ночь спишь, ночь работаешь — день спишь. Это наше занятие, больше мы ничего не знали. В воскресенье ломка смен: одно воскресенье сутки работать, другое — сутки гулять. Так и время шло с неделю на неделю и из года в год.

Работа доменщика тяжелей всего в заводе. Люди это со временем увидели, а раньше доменщикам не везло.

Я читал жития святых. Из других квалификации

выходили святые, даже из плотников или из колесников, а доменщик ни один не стал святым. Всегда он грешник и пьяница.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Встал сегодня в шесть часов. На дворе идет снег. Я ему рад. Походил по саду. В кадке вода замерзла. Все мушки, козявки, букашки похоронились в норы. Снег укроет их и обогреет.

Потом пошел в завод. Я имею постоянный пропуск и часто посещаю завод. Теперь я проживаю не в Юзовке, а в Макеевке. Здесь мой сын Максим Власович служит главным инженером. Сейчас его дома нет — он выбыл за границу по всем державам. Получил от него письмо, что с ним было по дороге, какие были приключения на сухопутье и на море, как ехал пароход по океану и какая была погода, как живут американцы, какой привет был в Америке. Принимали нас с почтением.

На заводе идет новая постройка. Вся Макеевка будет перестроена. Все будет механизировано — все подъемы, вся погрузка и выгрузка. Доменные будут ужасно большие и красивые, на удивление всем.

Вся постройка идет кранами. Я долго глядел, как работает один добрейший кран, наверно, очень сильный. Мне понравилось его устройство.

Роют фундамент под воздушную машину. Это будет гигант-машина. Так требует техника: большая печь, надо и большую машину по ней, чтоб было чем дуть. Это я знаю на практике.

На дворе мороз, а слесаря работают на воле, паяют трубы. Стоит горно, нагревают трубы и паяют. Работают быстро, хорошо смотреть на их работу.

Мне приятно ходить по заводу, век бы в нем жил. Идут земляные работы — народ вынимает землю. Много домов снято. Дело кипит во всю прыть.

С завода я вернулся в хату. Сiju, как козявка, и сам себя развлекаю — то читаю, то пишу. Вот я напишу о работе на доменных в зимнее время.

ЧУГУН ЛЬДА НЕ ЛЮБИТ

Чугун — это вещь щекотливая, он льда не любит; если вскочит на лед, то на нем не лежит — весь летит на воздух. У нас прежде в Юзовском заводе водопро-

вод был плохой, воды было мало, поэтому воду наливали в кадушку, чтобы мочить песок для формовки.

Дело было зимой. Поналивали воды около кадушки, и образовалось много льда. У меня формовщик был неопытный, не заворотил канавки на формовку. Я спросил его:

— Что, канавка заворочена?

Он ответил:

— Да.

Пустили чугун в котел. Налили котел до полна, а в доменной чугуна еще было много — я его пустил на формовку. Чугун пошел быстро и прямо на лед, ударил так сильно, как ни одно орудие не ударит, и взлетел под облака. Я бросился спасать чугун. Это дело было рискованное. Я побежал с лопатой, чтоб заворотить канавку, а в это время чугун воротился сверху и упал прямо на меня. На мне было три рубахи: внизу ситцевая, потом бумазейная и сверху парусовая. Все на мне загорелось. Я был недалеко от воды, бросился в кадушку и этим спас себя. Хорошо, что не растерялся и быстро пошел в воду. А то одна секунда — и была бы смерть. Все рубахи пропали; из-под них я выбрал скрапа около пуда, но тела не пожег, остался невредим и пошел работать дальше.

Конец этому рассказу.

ЕЩЕ ОДИН СЛУЧАЙ

Спустя несколько дней рабочие набросали в шлаковый котел мусора, а в мусоре был лед. Налили полный котел шлаку, он стоит покойно. Повезли на отвал. По дороге электрик сидел на столбе, справлял провода. На этом месте тряхануло котел, и он взорвался. Электрика облило шлаком, он упал со столба и сгорел насмерть, до часовни не донесли — помер. Это было с моим случаем на одной неделе.

Конец этому рассказу.

Какой бы ты ни был строгий, но непременно обожжешься. Я уж какой был ученый по работе и аккуратный и то получил ожоги четыре раза, и очень большие. Никогда не забуду первый ожог груди на втором номере, второй — ожог головы и лица, третий — спины, четвертый — сгорел было совсем: голова и все лицо, нос и рот, руки по локоть, все пожег. И все ожоги дала мне вторая печь; остальные мне благоволили.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сижу у окна. Идет снег, густая метель. Погода плохая, хоть брось. Приходится сидеть в хате — никуда не можно выйти. Сиди да посматривай, что будет дальше — распогодится или нет.

По календарю: история товарища Ворошилова, нашего командующего, его жизнь до революции.

От Максима Власовича нет никакого известия вот уже двенадцать дней. Каждый день приносит газеты, а писем нет. Хоть бы открытку получить, повеселело бы на душе.

Ветер воет, дует с Белоруссии, родины моей. Улетела туда моя думка.

Наше село Кледневич стоит на небольшом пригорке у реки. Кругом был непроходимый лес. В нем грибы, ягоды, орехи. В нем все имеется. Надо лыко — в нем есть сколько угодно, надо оглоблю — в нем есть, что ни спроси — в нем найдешь.

За зиму в этом лесу много снега собирается. Весной он давал массу воды. Бывало, пойдет вода с леса — у нас море образуется. Вся низина залита. Это много помогало жителям — заливные луга. Вода бурлит, лед несет; все, что попадало на ее пути, плетни и изгороди, — все ломает и уносит невесть куда. Но люди не робеют: лесу много, загородим опять, это нам не впервые, мы это уже видели.

На этих заливных лугах растут дорогие травы и цветы — самая ценность для аптеки. Здесь, в Донбассе, мало таких трав, нету заливных лугов.

От этих лугов произошла наша фамилия. Батяка мой Степан Семенович служил когда-то пахальком на барском дворе у помещика графа Паскевича. Что значит пахалеk? «Пахалеk» называется объездной поля, где люди работают. Его обязанность следить за работой в поле.

Вся наша местность когда-то называлась графчиной, а потом барин граф Паскевич в чем-то провинился государю и уехал за границу. Земля была отобрана в казну, и мы стали государственные крестьяне. Степан тогда бросил панский двор и взял надел земли. Он построил дом около самого луга, поэтому фамилия — Луговик.

Моя бабушка много рассказывала мне о крепостной жизни. Она прожила сто двадцать шесть лет и четыре месяца.

Вот ее рассказ.

РАССКАЗ БАБУШКИ

Погонят нас хлеб молотить. Мы молотим и смотрим, чтоб приказчик куда-нибудь отлучился, а лошадь у нас приготовлена. Как только приказчика нет, набираем в фартуки зерна и таскаем на повозку. Пока приказчик придет, мы воз наносим и отправим домой.

Часто попадали под розги. Работали три дня барину и три — себе. Отработал — и прав, не выполнил — ложись под розги. Дадут полсотни, а то и сотню дадут, а мужиков и в солдаты посылали.

Конец бабушкиному рассказу.

Я это слушал со вниманием, при мне этого не было, — уже была воля, но нужда была.

Жили мы совсем дико, пугали сами себя ведьмами и другими анекдотами. В зимнее время деревня — это склад бактерий и заразы. Вся скотина в хате — овцы, и свиньи, и телята, и люди — все в одном помещении. Зима лютая, надо сохранить скотину от мороза.

Одежда наша была совсем простая: белая свитка, белая шапка, белая подпояска, белые лапти и белые опорки — словом, все белое, краски совсем не понимали. Поэтому и название — Белоруссия, что значит — белая Россия.

Для уплаты податей продавали деревянные изделия: ведра, кадушки, колеса, дрова и другие лесные товары. Во дворах не было ни одного гвоздя железного — все деревянное. Замки на дверях — и то деревянные.

Молодежь гуляла с деревянной музыкой — скрипка, бубен и дудка. Гармошку считали позором. Это была постылая музыка.

Ежели какой человек вздумал пойти на заработки в город, на него пальцами указывали: «Смотри — москвич, экий форсун. Не будет с него человека, будет плут, а не хозяин».

Гармонист — это считался москвич, его никто не принимал в компанию. Если вздумает невесту сватать, никто замуж за него не идет.

В те времена люди селились в пустых местах, никем не обитаемых, между лесами. Жили большими семья-

ми — до четырех поколений, сорок-пятьдесят душ вместе. Работали гуртом, слушали одного, подчинялись ему во всем. Послушание — это дорогое дело, со стороны было радостно смотреть.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Наступил новый год — тысяча девятьсот тридцатый.

Погода стоит хорошая — морозная и ясная. Дорога легкая для лошадей. Лошади хорошо потеют в такую погоду, бегут весело, не надо подгонять. Хозяин только радуется, смотря на лошадей. Люди много камня возят на постройку в завод. Дело идет полным ходом.

Холод мешает каменщикам — кладка мерзнет. Трудно им работать по морозу. А выполнять надо, подтягивают их строго.

Вчера были у нас гости, высокие люди, инженеры. Они у Максима Власовича под началом.

Я им прочел Максимовы письма из Америки, как производится работа за границей. Все работают машинами, даже кухарка пол метет машиной. Доменные грузят машиной, и чугун разливают машиной.

Мы пили чай и вели совет о заводской работе, о перестройке, о разных материалах, о руде и шлаке, как с ними обращаться, чтоб сделать из плохого хорошее, — словом, обо всем жизненном. Нам надо много думать, как работать на новых доменных без заграничных специалистов. Для этого и послали Максима в Америку и другие державы, чтоб все тонко усматривал и перенимал заграничную практику.

Утром, после гостей, по нынешней хорошей погоде я съездил в Сталино, в бывшую Юзовку, к своим приятелям. Вид Юзовки такой: в большой яме стоит город, построек не видно, все закрыто, как туманом, копотью и газом. Это можно видеть, когда едешь из Макеевки, — дорога идет по горе, много выше Юзовки. Видишь только яму, полную газа.

Я прошел по всему городу. Ужасно много идет новой постройки, воздвигаются громадные дома и дворцы.

Для меня это удивительно. Я здесь видел пустую степь, совсем порожнее место, никем не занятое, только овцы паслись и ветер гулял по полю.

Я прибыл сюда в 1878 году в ноябре месяце десятого числа. Рабочие ютились в землянках, весьма плохих, в земле выкопанных и покрытых землею.

Когда я прибыл в завод, мне отвели место в землянке на верхних нарах. В потолке дыры, снег дует в щели, постели нету, негде схорониться от мороза. Покрою свиткой ноги — голова в снегу, накрою голову — ноги в снегу. Лежишь и думаешь: хотя плохо, да все лучше домашнего и покойнее. Староста не стучит в окно: «Неси подати, а то арестую!» Здесь его нет, не идет под окна. В заводе кончил работу — и свободен до другой смены, никто к тебе не касается. Знай гудок. Гудок гудит — иди на работу, гудок гудит — иди с работы, на отдых.

Завод раньше был бедный, не давал получки до шести недель, много было бунтов.

Сам Юз долгое время жил в землянке. Когда выстроил себе каменный дом, то сохранял ее на память, не давал ломать. Он любил ее показывать и говорил: «Это моя первая квартира». Она стояла, пока не помер старый Юз: после его смерти поломали.

Я хорошо знал старого Юза и много раз с ним разговаривал.

Меня приняли в завод чернорабочим.

В этот первый день моей работы произошел интересный случай.

Я несу кусок рельсы на плечах, и где я проходил, там по дороге лежал еще маленький кусок рельса. Я его поднял. В это время сам хозяин, старый Юз, увидел это дело, задержал меня и позвал переводчика. Я очень испугался, думал, что сейчас хозяин даст расчет. Куда пойдешь? А он сказал: «Ты хороший рабочий. Всегда делай так».

Я работаю всю жизнь и держался этого правила. Я всегда знал, где что лежит в заводе. Ежели что нужно найти и не найдут, то хозяин говорит: «Спросите Ласа».

Меня Юзы всегда звали Ласом, и теперь, наверно, еще знают в Англии, кто это есть Лас.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Теперь я ворочусь назад, к моей родине.

Случилось у моего батьки Степана Луговика несчастье: умерла жена Елена и оставила двух детей: Пелагею и Гапона. Эта беда была не велика. Сына пришлось отправить в заработки, потом дочку выдали замуж, и сам оженился второй раз, взял девицу Софью, начал

опять жить. Пошли дети. Родился Антип, потом много, и все поумирали, потом родился Влас, то есть я.

Вскорости опять случилось несчастье — умерла у Степана жена Софья. Осталось двое детей: Антип и Влас. Антипу — шестнадцать лет, мне — два года, а в доме нет никакой женщины. Вот когда подошел край!

Самого Степана старость одолела, дети на руках, а хозяйки нет, некому хлеб спечь и борщ сварить, а жить не перестать, надо как-нибудь жить.

Гапон в заработках избаловался, оказался гуляка и картежник, отцу не помогает. Вот тут и залез Степан к заимодавцу в долг. В те времена заимодавец давал денег сколько угодно, только бери. Процент — две копейки за рубль в неделю. Получил деньги, скоро отдать нечем, продержишь год, нарастет столько, сколько занял, — рубль на рубль. Через год приезжает заимодавец:

— Давай, брат, посчитаем.

Начали считать, насчитали на сто рублей.

— Ну, как? Чем будешь отдавать?

— Да у меня нечем...

— Тогда надо вексель написать.

Прошел еще год — вот уже долг двести рублей. Это дело не стоит, а нарастает.

Так и запутался Степан, как голубь в силья.

А заимодавец не дремлет. Пришла осень, приезжает за долгом. Берет пеньку, берет семя конопляное, берет льняное семя, добирается до скота, берет теленка, берет жеребенка. Это все проценты, а долг стоит, не уменьшается. Что делать Степану? Как выйти из этого положения?

Гапон домой не хочет ехать. Потребовал Степан сына через полицию. Поймали Гапона, привели по этапу оборванного, без копейки.

— Здравствуй, сынок! Надо женить тебя. Сам видишь, что тут выходит с нашей жизнью.

Поехали сваты — никто не хочет идти за Гапона. В чужом селе засватали слепую девку.

Оженил Степан сына тоже в долг. Окончили праздник, Степан заболел, полежал немного и помер. Пришел конец Степанову мучению.

Похоронили Степана, стали жить дальше. Гапон остался за хозяина, пожил два месяца, заболел и помер. Невестка наша ушла замуж за другого. Вот это беда!

Остался двор пустой и мы, два хозяина, два малых

брата — Антип и Влас. Остались нам в наследство две кобылы, правда, хорошие, стоимостью шестьдесят рублей, и пятьсот рублей долга кроме волостной недоимки — там еще набралось до двухсот.

Этот долг лежал на нашей шее. Мы с братом уплатили его до единого гроша. Это нам дали наследство наши родители. Хорошо, что рассчитались, — никому не должны, со всеми полный расчет. Теперь я сижу на пенсии, ожидаю, пока смерть придет, а думка улетает к молодым годам, когда весело было жить.

Весело жилось оттого, что руки и ноги были молодые и здоровые. Всякая работа была не страшна: ни кирка, ни лопата, ни тяжелые подъемы. Я шесть лет работал чугушником, то есть рабочим по уборке чугуна. Эта работа подъемная и трудная. Надо убирать чугунные чушки; на один день на одного человека тысячу пудов, часто и больше попадало. Эта работа очень влияет на ноги. Я работал шесть лет, пока ноги не отказались служить, тогда бросил и ушел на формовку. Чугун убирают два напарника. Напарник — это верный друг, все равно как родной брат. Мы учились один около другого. Земляк как сам может работать, так и земляка учит, приучает себе пару. Первым моим напарником был Василий Школьников, здоровый малый, огромного телосложения, настоящий Геркулес. Он сгорел на втором номере. Вторым напарником был Семен Горохов. Вот я напишу его историю.

О МОЕМ НАПАРНИКЕ

Семен Горохов был мой земляк, человек хороший, рябой наружности. Однажды он лег около печи отдохнуть и заснул. Кто-то бросил горячий крючок и попал ему на шею. Ожог не очень большой, но он сам дурно сделал — долго не шел в больницу, пока не распухла шея. Когда пошел в больницу, то в одну ночь помер. Семья у него была в деревне, пришлось мне на свой счет хоронить Семена. Имущества у него не было никакого, только одежда, в чем ходил на работу, — самые обрывки.

Прошел год, получаю повестку из полиции явиться на допрос. Являюсь.

— На что требуете?

— Вы такого-то хоронили?

— Хоронил...

- А где его вещи?
- У него никаких вещей не было.
- Да что, он голый был?
- Были обрывки какие-то.
- Где они? С родины требуют его имущество. Если не найдете, то заплатите, и очень дорого.

Я начал думать, куда я их упрятал. Наконец вспомнил, что забросил на верхние нары. Побежал, начал искать. Нашел все тряпки, связанные в кучу, принес в полицию. Там зашили в парусину, запечатали и отправили семейству.

Так кончилась история моего напарника. Некому и помянуть теперь, и могилка развалилась. Там, в Юзовке, целая армия положена горелых и битых, без времени умерших людей. Многие убиты машинами, многие обрывали желудок от тяжелых подъемов, многие погoreли в огне и побиты в шахтах.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Теперь я ворочусь к моей родине. Остались мы с братом сиротами. Антипу — семнадцать лет, мне — три года. Вот это были хозяева! Антипу жениться нельзя — молод. А на руках Влас, малое дите. А жить не перестать, надо как-нибудь жить.

Антип нанялся караулить общественных лошадей. Ему надо в ночь идти, а меня некому оставить. Он из дому, я — вслед. Тогда как-нибудь обманет, чтоб я заснул, или заведет к соседям. Я заиграюсь, а он тайком уйдет. Тогда я там и засну до завтра. Надоел всем соседям, никто нас в хату не пускает. Так кое-как прожили лето.

Пришла осень, надо хлеб молотить. Мы попросились в чужой овин. Брат возил снопы, а я играл на току с хозяйским мальчиком. Он повалил грабли мне на голову, пробил голову до мозгов. Люди залепили рану хлебом, отнесли домой. Я лежал два месяца без памяти — не знал ни дня, ни ночи. Потом видят, что я не помираю, пришла соседка, посмотрела мою голову. Рана вместе с волосами — все связалось в одну болячку. Потом пришли еще соседки, составили совет, что со мной делать. Решили вымыть голову, остричь волосы и очесать вшей. Затопили печь, нагрели котел воды, принесли овечьи ножницы, спустили мне голову на край постели, вымыли, остригли и вычесали вшей. Мне стало легче.

Потом уговорили одну старуху пойти к нам служить. Старуха стала приглядывать за мной и помыла мне чешую голову. Болячки все слезли вместе с волосами. Я поднялся и стал ходить по хате. Прошло месяца два — волосы не растут на голове. Антип осерчал на старуху и прогнал ее из дому. Остались мы опять одни.

Я был здоров, только волосы на растут, голова голая, как ладонь. Что делать? Надо искать средства. Стали спрашивать у людей. Нам посоветовали брать парное молоко прямо из-под коровы, сбивать масло и мазать голову. Так и сделали. Принесут мне молока, налью в бутылку, я сажу и болтаю, пока сядет; потом промою водой и мажу голову. Этим немного вырастил волосы. Сзади выросли, а спереди я так и остался лысый.

Год прошел. Антипу стало восемнадцать. Можно жениться. Стали сватать. Весь округ околотили — никто не хочет к нам идти на нашу бедность. Воротились наши сваты ни с чем. Что делать? Надо ехать в чужой край. Поехали за пятьдесят верст и засватали литвинку. Ну, слава богу, будет у нас хозяйка! Привезли хозяйку, стало много лучше жить, я стал веселей. Мне уже пошел пятый год, она научила меня прясть, и я сделался пряхой.

Я научился прясть очень хорошо. Сидим мы вместе с хозяйкой, прядем и песню поем:

Зеленая груша всю ночь прошумела,
Шумела и гудела,
А я, молодешенька, всю ночь просидела.
Сидела я, не спала,
Тонкую пряжу прядла.
Пряди, моя пряха, пряди,
Пряди, не ленися,
И пряжа не рвися.

Когда мне минуло шесть лет, обо мне начали подымать вопрос — насчет науки. Решили послать водить слепца.

В нашем селе был слепой старик Иван Хмура. Брат повел меня до этого Хмуры и отдал ему за пятьдесят копеек в год. Я пошел на эту должность. Каких в ней только случаев не было!

Старик часто бил меня костью. Если споткнулся, я уже вперед плачу: знаю — как выйдем из деревни, будет бить. Мы должны были ходить из деревни в деревню и просить милостыню в каждом доме. Мне надо было поддерживать правило — следить, в каком доме

какие двери, высокие или низкие, и я должен был заявлять — «согни голову» или «подыми голову».

Однажды идем дорогой, старик мой споткнулся и начал меня бить костью. В это время по дороге ехало два человека, мне хорошо знакомых. Они меня оборонили, поругали старика, потом отозвали меня в сторону и сказали: «Смотри, мальчик, где порог высокий и дверь низкая, скажи ему — подыми голову, тогда он ударится лицом об стенку, ты его бросай и уходи домой». Я это сделал, как меня научили, сам убежал и залез на печку. Меня нашли, и был разбор этого скандала. Мои знакомые два человека сказали, что видели, как старик бил меня палкой. Тогда старика начали ругать и помирили наш скандал. Опять я стал водить старика, но это недолго — он заболел и помер. Хоронить его было некому. Я сам похоронил Ивана Хмуру, моего первого наставника.

Это было на восьмом году моего возраста. Я уже образовался хорошо и сам пошел по миру.

Иногда я приходил до своего дяди Харитона Семеновича. Там находил приют, иногда на неделю и больше. Харитон Семенович был старый служака, николаевский солдат, он служил двадцать пять лет. Когда он пришел со службы, у него была бумага: «Волосы стричь, бороду брить и по миру не ходить». Поэтому ему в отставке полагалось десять копеек в день кормовых от общества. Для получения денег нужен был приговор от общества в банк. Мужики взволновались и не хотели давать приговор. Тогда дядя принес на сход небольшой ящик. В этом ящике хранилась его солдатская гимнастерка и памятная книжка, в которой были записаны его походы — в каком году он ходил на Кавказ, в Варшаву и в Севастополь. Его спросили:

— На что этот ящик?

— Откройте и посмотрите, тогда узнаете, за что мне десять копеек дают в день.

Открыли ящик и вынули рубаху. Она была вся в дырочках, все равно как сито. Его спросили:

— Кто это ее так исколот?

Он стветил:

— Это воши проели в походах.

Все ужаснулись, не стали больше спорить и дали приговор.

Я у него жил покойно. Он рассказывал мне, как им было трудно воевать.

Однажды я к нему пришел, и он посоветовал идти служить мальчиком к попу. Я согласился. Мне поп предложил службу и спросил: «Сколько тебе дать жалованья?» Я спросил два рубля в год, и он меня нанял. Вот я опишу мою службу.

РАССКАЗ О ДУХОВНИКЕ, У КОТОРОГО Я СЛУЖИЛ

Это был отец Константин Брочкий. Его личность была довольно строгая и страшная — человек огромного роста, грубого телосложения, волосы черные, лицо рябое и брюзглое. С народом он обращался очень грубо — ругался матерщиной, кричал все равно как гудок. Всегда был пьяный, выпивал водки по пяти бутылок в сутки, иногда и больше, но больше семи потреблять не мог. Я не управлялся поставлять ему водку. Мне было доверено брать водку в кабаке; там мне отпускали и без денег, в долг, хоть весь кабак заberi.

Я всегда стоял около печки, как солдат на часах, в ожидании его приказа. Его выпивка проходила втайне от людей. Он перед службой не пил никогда — оберегался, а после службы минуты не мог терпеть — давай скорей, весь трусится. Выпьет бутылку, потом идет обедать — еще бутылку, пойдет на отдых — давай еще бутылку, поспит — еще давай. Иногда и ночью требовал водки.

Много раз я видел, когда ему свободно, он сядет у окна и плачет во всю волю, весь подоконник станет мокрый от его слез. Я не смел его спросить, почему он плачет, неловко было спрашивать, но видно было, что он страдал этой болезнью, крепко был заражен ею, не мог оторваться от нее.

Матушка не давала ему напиваться допьяна и меня гоняла, что я ношу ему водку. Однажды я был послан за водкой, воротился назад, нес две бутылки в руках. Только взошел в калитку — она навстречу. Я рванул, упал и разбил бутылку. После этого случая мы построили у пчельника тайный склад. Мой духовник поставил туда десять бутылок полных, и мне было приказано всегда держать запас — десять бутылок. Как только остается девять бутылок, я бегу в кабак и добавляю в склад. Матушка преследовала меня, но мое дело детское: должен выполнять приказ.

Когда являлись посетители, духовник покрывал их матерщиной и спрашивал:

— Вы чего пришли?

— Да вот надо перевенчать молодых.

— Это можно.

Сваты становятся две бутылки на стол, и я подаю три стакана.

Мой духовник рявкает:

— Чего стоите? Садитесь!

Посадит. Берет стакан.

— Поздравляю вас с молодыми.

Если какой сват плохо пьет, то матерщиной покрывает. Выпьют пару бутылок.

— Ну, батюшка, сколько за венец?

Тот отвечает:

— Пришлите мне завтра жениха. Я научу его богу молиться, он вам и цену скажет.

Утром приходит жених.

— Власка, веди его солому вытрясать.

У нас была травистая солома — надо было очищать ее от травы. Поставлю жениха на работу, он до завтрака работает.

— А ну, Власка, посчитай, сколько кулей сделал! Пошел, посчитал — пятнадцать кулей.

— А ну, позови его ко мне.

Является жених. Духовник дает ему стакан водки.

— Веди его, Власка, на кухню завтракать.

Позавтракал, пошел работать опять. До обеда тридцать кулей вытряс, после обеда — еще двадцать. Посчитали — шестьдесят пять кулей.

Вечером зовет жениха к себе, дает стакан водки и говорит:

— Скажи батьке — три рубля за венец и в воскресенье венчать буду.

На другую неделю являются новые сваты, и повторяется такой же выход. Требуется жениха к себе.

Является большой бугай.

— А ну, Власка, веди солому вытрясать.

Ставлю его работать. До завтрака сделал три куля, до обеда пять и после обеда пять. Так заставил работать три дня, и за три дня этот не сделал столько, сколько тот, первый, за один день.

Тогда духовник его зовет, покрывает матерщиной и кричит:

— Двадцать пять рублей за венец!

Вот каков был поп Константин Брокский.

Его семья состояла из четырех душ: жены, тещи

и двух дочерей — Оли и Тани. Оле было шестнадцать лет, Тане — семнадцать. Летом к нам стал ездить пристав, а барышни хоронились от него в саду. В прежнее время приставы ездили со звонком. Барышни как услышат звонок, так и хоронятся в саду. Пристав приказал мне: «Вы следите и сказывайте, куда они хоронятся». Я стал следить за этим. Мне за это была награда — двадцать копеек каждый раз. Вот въезжает на двор, я его встречаю, дает двадцать копеек и спрашивает, где барышни. Я скажу: «Вон там». Он тогда станет их искать, туда-сюда пойдет, потом на то место. Они закричат, как сороки. Он берет под руки и ведет в комнаты. Кому что, а мне польза.

Часто к попу приезжали гости играть в карты. От них мне тоже попадало приездное и за чистку одежды.

Духовник приказал мне деньги класть на окно. Он их прибирал и записывал в книжку. Я на гостинцы не тратил ни одной копейки, все клал на окно.

Служил я у попа два года, а в это время у моего брата померла жена и остался ребенок полтора года. Брат потребовал меня домой.

Перед расчетом к нам съехались гости — пристав, его преподобье благочинный, два посторонних попа, волостной старшина, писарь и учитель. Это была большая комиссия. Все сидели в гостиной, и мой хозяин представил меня всей этой компании как своего лакейчика и предъявил мой счет. За два года у меня образовался капитал двадцать четыре рубля шестьдесят копеек.

Духовник сказал:

— Вот маленький мальчик имеет такой капитал, он еще мало смыслит, чтоб взять эти деньги.

Они обсудили это дело и сказали:

— Ты теперь малый, пускай этот капитал лежит в волостной кассе, пока тебе будет восемнадцать лет. Потом получишь, и у тебя будут деньги.

Я заплакал и говорю, что мой брат бедный, у него нет денег, отдайте их брату. Они меня много уговаривали, чтоб положить деньги в кассу, но я настоял отдать брату и с этим поехал домой.

Мой духовник недолго пожил после меня. Этот лютый зеленый змей скоро убрал его в могилу. Теперь покоится под своею церковью в селе Городецком. Старик поминают его как хорошего наставника.

Конец этому рассказу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Сижу вечером один. Кругом тишина. Давай что-нибудь напишу, чтоб было веселей сидеть.

Вот напишу песню:

Занует сердце мое, загрустит
По родине своей.
Отцовский дом покинул я,
Травую зарастет,
На кровле филин закричит,
Собачка верная моя
Залает у ворот.
Украшен божий свет...
Моря я вижу,
Вижу небеса,
А родины здесь нет.
Не быть мне в той стране родной,
В которой я рожден.

Это мне часто скучно одинокому, и я себя весело вспоминаю о родине. Сидишь один, думаешь о своей старости, придешь в уныние и придумаешь что-нибудь — сказку или песню. Так я весело свое горе.

На улице мороз. Все птицы сидят в закутках и ничего не поют. Голос притих у всех. Но по ветру видно, что скоро станет тепло. Уже февраль месяц, скоро уже время быть теплу в этой стране, эта страна — юг.

Весна — милое время, дорогое для всех. Оденется лес, запоют птицы — и старик станет молодым. Солнышко хорошо обогреет землю и все деревья; они оживут и начнут пускать сначала маленькие бутончики смолистого состава и полукрасного цвета, впоследствии покажут листок, прелестный и ароматный.

Весной выйдут сезонные рабочие. Это самый Орел, все орловские, мои знакомые, работали со мной.

Меня знает вся Орловская губерния, и Смоленская губерния, и прочие губернии, не говоря о Могилевской, — это земляки, им перерыву не было: один уходит, десять приходят. Много людей я выучил доменному делу, всех наций — татар и русских. И сейчас приезжают и спрашивают:

— Где Влас Степанович?

— Он уже больше работать не может, перешел на инвалидность.

— Ах, жалко! Хороший был человек, добрый доменщик.

Теперь я на пенсии, получаю в страхкассе каждый месяц, четырнадцатого числа каждого месяца. Это для нас, стариков, находка, за это спасибо Советской власти.

Сажу дома и вспоминаю старину.

Нас было два работника — Влас Луговик и Ефим Коломейцев, мой сменщик. Всякая трудная работа — давай, Влас и Ефим, они сделают. «Козел» взорвать — это наше дело: застыла доменная — это Влас и Ефим, они помогут, ремонт за нами; что ни самая погибель — это наша.

Каупера построили — мы первые в России пошли на них работать. Мы с Ефимом — во всей России первые газовщики. Нам было дано английское правило, переведенное на русский язык. Мы его выучили и начали работать с газом.

Газ — это опасное вещество. Он любит, чтоб его воспламенить сразу при выходе, тогда он горит ровно и хорошо греет, как вам угодно, дает большую пользу заводу.

Некоторые рабочие понимают дым и дымный газ, а этот газ светлый, его не видно, — в нем дыму нет. Он скопится в глухих местах, в ямах, куда воздух мало проникает. Он называется «мертвый газ» и может быть всегда в земле или в скрытом месте около доменных печей. Я вот приведу пример. Моя квартира была вблизи завода, и около балагана у нас были погреба. Наши погреба не годились — нельзя было минуты находиться в погребе. Мы уже приладились: сначала сверху начнешь гнать воздух, потом влезешь в погреб, возьмешь, что надо, и скорей вылезай наружу. Одна соседка утром поспешила, влезла и там упала без памяти. Никто не видел, — муж собирался на работу; хватился — ее вытащили мертвую.

Около печей много народу угорало, особенно зимой. Присядет, где потеплей и от ветра закрыто, — и готов: лежит мертвый. Однажды во время завтрака мальчик, который нагревал заклепки, лег отдохнуть около печи на песок в ямку. Песок был теплый. Он хотел погреться. Вскоре схватились — уже мальчик мертвый. И это на воздухе, на ветре было. Наверно, судьба такая была мальчику — помереть на этом месте.

Вот этот газ — его не видать — враз добирается до сердца и кончает жизнь.

Опишу еще один случай.

ХИТРОСТЬ

Однажды вблизи первого номера прорвало газовую трубу. Монтеры кое-как замазали, да и ладно. Газ идет на волю, люди угорают. Как десять минут проработаешь, то и ноги не держат, скорей уходи, давай другого. Много раз заявляли, даже самому Юзу, а внимания не обращают. Что делать? Как выйти из этого положения? Надо приступить к хитрости.

Вот в одно время приходит Юз. Ветер был на песок. Я попросил подручного поставить на песке скамейку около трубы и говорю Юзу:

— Хозяин, я хочу вас о чем-то спросить.

Повел его к скамейке и посадил. Переводчик стал рядом со мной. Я начал с ним разговор об английских мастерах. Почему к нам в Россию едут из Англии самые пастухи, которые не то что доменное дело, но и завода не видали. Ему показываешь, как надо работать, учишь канавку делать и другие работы, а через полгода он над тобой начальником.

Дело было летом. Жарко. Юз шапку снял, а газ крутит вовсю.

Переводчик перевел. Юз рассерчал, воткнул свою палку в песок и закричал:

— Я поставлю эту палку, и ты должен ее слушать!

И на этих словах схватился за голову и упал. Мы его вынесли и откачали. Тогда поверил, что люди угорают, велел трубу заклепать.

Конец этому рассказу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На дворе капель. Ветер гонит облака на юг. Под ногами мокро, глина распустилась: цепляется за ноги, вся хочет взяться за тебя. Но то не страшно — уже апрель месяц, солнце все это поправит, все обсушит. Уже весна, цветочки расцветают, пташки веселятся и поют, много веселее против зимы. Подымается дух у народа и у птицы.

Максим пишет, что выехал из Америки в Европу на пароходе и через месяц будет дома.

Старуха беспокоит меня своими бабьими уборками. Моет полы и окна, белит стены, гоняет меня по всей квартире, нигде нет от нее покоя. Я ей даю уважение, чтоб не было шума и раздора.

Сейчас поехала в Юзовку за мануфактурой. «Поеду!» — и только, зря лошадей гоняет. Мануфактура бабам — лестное дело, они ее любят, оторваться не могут.

А я сижу в хате и читаю книгу гения Ильича, Ленина — Ульянова, о нашем рабочем празднике Первого мая.

Скоро подойдет этот день, все рабочие выйдут на улицу, подымут свое знамя высоко и крикнут в один голос: «Да здравствует свобода бедноты!»

Мы разукрасим дома и квартиры красными знаменами и трауром по нашим погибшим борцам. Вечная память нашим братьям, павшим за свободу! Люди обнажат головы в честь покойных товарищей, крикнут в один голос: «Ура! Ура! Ура!» — и пойдут стройным шагом, грудью вперед. Музыка заиграет похоронный марш, старый большевик скамандует: «В ногу, товарищи! Раз, два, раз, два!» Выйдут на чистую площадь — там приготовлена трибуна, все станут стройно и будут слушать хорошие, многоценные слова. Весь люд убран по-праздничному, красиво смотреть. Это погибель нашему врагу капиталисту. Да здравствует большевистская партия! Вечная память гению Ильичу, Ленину — Ульянову!

Вот я опишу, как проходила революция у нас в Юзовке.

Когда грянула революция, начали останавливать печи одну за другой; пока дошли до последней, и совсем стали. Тут наступило наше бедствие. Базар опустел, хлеба нету, и не за что купить. Давай одежду носить в деревню, менять на хлеб. Начиная с пальто и кончая рубашкой — все отнесли в деревню, сами остались голые.

Потом пришли немцы, привезли свои марки, началась торговля. Потом немцы отступили, явился Деникин и начал вешать рабочих по столбам.

Когда мы видели это зверство, взяло сердце, у каждого руки отпали, вся работа опротивела. Каждый рабочий рад в бой сию минуту, кровь кипит ключом. Молодые все ушли: прощай, жена, пойду на войну защитником родины от буржуев.

Вот стали наши рабочие наступать, мы воспрянули. В Юзовке был ужасный бой. Я как раз был на рудном дворе. Вот снаряд бух около меня в кокс! К счастью, черепки мимо полетели. Надо хорониться. Залез в туннель и сижу, как прус в щели. Посидел немного — ничего не слышать. Вышел. Дай полезу на доменную —

погляжу. Влез на лестницу. Вот около меня пуля в колонну вдарилась и дала рикошет. Я тикать на низ, вышел на песок. Вот теперь снаряд бах в доменную! Я побежал, выбежал на шлак. Бах — снаряд сзади шагов на десять! Бегу дальше, опять впереди два разорвалось. Кое-как прибежал на квартиру. В хате никого нету. Смотрю — старуха в подвале, боится выйти.

Вошли в завод красные, вся гвардия с орудиями и пулеметами. Вот была радость! Слава богу, явились наши рабочие. Вот хорошо, пришли свои люди!

А наше хозяйство все побито и поломано, все рассыпалось и завалилось. В заводе нет ничего: ни зубила, ни молотка — все порастащили, а исправлять надо. Кирпича нету и негде взять, кирпичный завод стоит. Давай собирать кирпич в мусоре; кое-как сложили с крошек и пустили одну печь. А материалу нету, нечем работать, надо грузить — и нечем, руды нету, камня нету, сами голодные. Вот и сиди на бобах!

Потом пришли товарищи с фронта, прибыл хлеб, все повеселели, и дело пошло добрей. Помучились два года, и понемногу вылезли на гору, пустили все шесть печей.

Первый номер стал давать чугуна двадцать три тысячи пудов в сутки. Было весело смотреть на доску — какая выработка! Этого еще не было в Юзовке. Восемнадцать тысяч видели, но не двадцать три.

Я был рад этой власти. При старом режиме я работал исправно и послушно, а при новой власти — еще лучше, помогал ей всеми силами, одного часа не гулял, всегда был в работе; некоторые работы делал из ничего, собирал из кусочков и пускал в ход.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Теперь я опять вернусь к моему сиротству. Брат взял меня от попа, потому что у него померла жена. Дома остался ребенок Степа, полтора года. Никакой женщины в доме нет. Я был за повара и за хлебопека. Ребенок кричит день и ночь, мы около него сидим с Антипом и ничего не поделаем. Вот приняли горя!

Надобно брату жениться второй раз, взял девуцу с грудным дитем. Наш ребенок довольно хилый: как увидит грудь, поднимет крик на всю хату — давай сиську! Это был хаос, а не жизнь. И все это на моей голове. Я был за няньку, и весь ответ лежит на мне.

Сами пойдут на работу, меня оставят дома. Я с ними ничего не поделаю, и режем все трое.

А тут годы неурожайные, хлеба нет.

Прошел слух, что Юз открывает завод и нанимает людей на работу. Брат надумал идти на завод работать. А денег на дорогу нет и негде взять. Обул брат новые лапти, взял липовую палку и поехал на липовой машине за полторы тысячи верст. Шел пешком два месяца, поступил на работу в шахту и месяца через три прислал нам двадцать рублей на хлеб. Мы повеселели.

Я остался хозяином. Мне пятнадцать лет, силы еще мало, сам плохой, и инструмент плохой. Однажды надо было мне сделать борону. Я состав приготавил, все принадлежности разложил, а толку не дам. Пошел соседа просить. Он говорит: «Некогда!» Пришлось самому крутиться, как знаешь. Долго голову ломал и плакал, но все-таки сделал борону. Сохи не умею справить, повозки не умею сделать — словом, полный чурбан. Соседи не хотят показать, всем некогда. Вот тут-то плохо бедному сироте. Так я бился, пока научился сам. Сам делал соху, и повозку, и на нее колеса, сам делал ведра, — словом, все по хозяйству.

Дело пошло порядком, но не совсем. Случилось несчастье. По осени вышла кобыла перед вечером и ушла в поле, никем не виденная. Там напали волки и кобылу съели. Это был большой удар по нашему хозяйству. Много пришлось принять горя при такой бедности. Брат мой Антип избаловался в заводе, денег присылал мало и сам домой не ехал. Хозяйство бросил совсем, оставил на меня. У него дома жена и трое детей: один от первой жены — мальчик Степа. Этого мальчика надо было оборонять от мачехи. Бывало, приеду с поля, Степа стоит и плачет, жалуется: «Мне не давали кушать!» Поэтому подымается ссора и брань, даже и драка.

Антипова жена каждый день меня ругает: «Если б тебя не было, он сам бы дома жил!»

Моя доля дома была плохая, но я не унывал, думал так:

«Вырасту и сам себя поправлю».

Скоро я уехал на Украину. Ехал на год, а остался на всю жизнь. Вся наука по земледелию пропала, пришлось учить заводскую работу.

Но все-таки я жил лучше мужика деревенского. Зарабатывал шестьдесят копеек в день, имел кусок

хлеба, хотя не совсем хороший, но можно обойтись. Я следил за делом строго, добивался высшей работы, чтобы получать больше. Скоро мне посчастливило — попал горновым на доменную печь. Это меня выручило, доменная помогла мне прожить в чужой стороне.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Прилетели с теплой страны птицы: утки, чайки, скворцы и маленькие ласточки. По всему Союзу все радуются красной весне. Скот пошел на выпас, плуги вышли в работу и бороны — в действие.

Я с утра выхожу на солнце и сижу в тихом месте. Солнце для человека — лучшее лекарство. Оно излечивает все недуги, можно вылечить всякую болезнь, какая бы ни была. Надо сидеть до загара, пока не станешь желтый, лишь бы не пожечь себе кожу. Мужик много бы болел, но его спасает солнце. Всегда он работает на солнце и поэтому здоров, редко жужит о больнице.

Потом я занимаюсь своим огородом и садом. Для огорода требуется особо тщательная работа: овощ любит землю мягкую, хорошо очищенную, навозную и сырую. Надо часто поливать водою; криничная вода не годится — очень холодная, надо потеплей.

Все это напоминает мне мою родину. Бывало, откроется весна, начнет раскидаться береза, этот ароматный запах напитает душу. Какое там было место дорогое! Сколько рек с прозрачною водою, сколько цветущих лугов с высоким ароматом, сколько тенистых лесов с деревьями всяких пород! Это чудесная панорама. Кругом болота и всякие дебри, птицы всякого рода: чайка, и бекасы, и витуги, дикие утки, и кулики, и журавли, и драчики, и другие благородные птицы всех сортов. Мило слушать их пение, особенно соловьев. Быть там весною в мае месяце так хорошо, что лучше не надо. Это рай земной, в гору так и подымает. Плохая жизнь — и то была не в тягость.

Я часто вспоминаю эти веселые дни. Они не идут у меня из головы.

Скоро я уехал на Украину. Здесь нет медведей, никогда не увидишь его, а у нас их было много.

Когда в лесу ночуешь, нельзя идти дальше от огня. Медведь любит слушать разговор людей, о чем люди говорят. Много раз приходилось наткаться на него ночью. Пойдешь дрова собирать и наткнешься на него.

Люди разговаривают, а он слушает. Наверное, ему это нравится. Медведи нам мало мешали, они мало škоды делают; пчел беспокоят, овес в поле топчут, а остальное не трогают.

Вот волки — опасные враги. Если осталась скотина в поле ночевать, то не считай своей — съедят непременно. Такая масса была волков — полное поле и леса! Скотину рвали у пастуха из рук. Налетает — и в секунду готова лошадь. Внутренности вон — и делу конец. Хоть кричи, а нет, стреляй — ничего не боится, свое дело делает. Положил и сам уходит — он знает, что его будет. Назавтра в стаде возьмет барана, кидает на спину и уходит в лес к малым волчонятам, живьем приносит. Старых свиней не берет никогда — боится ихней пены: они на него кидаются, и во рту пена, и ржуют. Тогда он утекает.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Теперь я напишу свое отправление на завод.

Когда мне минуло двадцать один год от роду, подошел мой призыв на военную службу. У меня не было ни сапог, ни денег, и некому меня провожать. Спасибо, дали общественных лошадей.

Подводник мой недоволен на мою бедноту. Вижу, что его надо угостить, а у меня ничего нет. Потом я вспомнил, что у меня было сбереженье, состоящее из суммы пятнадцать копеек. Это мое состояние было зашито в свитке на груди. Я распорол свитку, достал деньги и купил водки и рыбы. Хлеба у меня не было, но у подводника был. Мы выпили, закусили, пошли танцевать и песни играть. Назавтра я пошел в присутствие. Разулся, одежду у меня взяли, — я и не заметил, кто взял, — поставили в станок, измерили рост. Вышел четыре вершка пять осьмих с половиной, смерили грудь — годен, иди, тяни жребий. Я вытянул номер двести двадцать второй и сижу без одежды, ожидаю сдачи в солдаты. Но дело было задержано на двести двадцать первом, а все остальные остались свободны. Товарищи вынесли меня из присутствия на руках, и у них была вся моя одежда. На мне присутствие закрылось.

Дали красное свидетельство. Ну, слава богу, теперь поеду на Украину, счастья пошукаю.

С родного села я выехал очень честно, попрощался с людьми вежливо, чтоб мне пожелали всего хорошего,

отдал всем знакомым низкий поклон и всех благодарил за мое воспитание. Меня провожали хорошо, потому что я всегда держал себя смирно, ко всем относился с уважением, каждому отдавал почтение.

Старым людям я поклонился в ноги и просил у них прощения. Мне все прощали, называли меня счастливым и говорили: «Не робей! Со своей покорной головой ты нигде не пропадешь».

Так и сбылось. Бог дал мне здоровье, и всегда я имел кусок хлеба и кой-какую одежду. Я всем доволен, мне и этого хватает.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Первого мая в Макеевке открылся городской сад для отдыха рабочих. Посажено много деревьев разных пород, более кавказских, какие могут расти на этой земле,— тополь, акация, клен. Весь этот молодняк посажен стройными рядами, красиво посмотреть. Имеются парники и оранжерея под ведением садовника. Он украшает клумбы разными рисунками из цветов. В саду имеется столовая, устроена очень прилично, подают молодые барышни, кормят хорошо, всегда бывает много гостей. Выстроен большой театр, постоянно бывает представление — каждый вечер во все дни недели. Внизу прекрасный пруд, много народу катается на лодках, а кто так глазеет. Красиво смотреть на эту панораму.

Барышни гуляют под руку с ребятами, убраны прилично, имеют при себе дорогой радикуль; хотя в нем нет ничего, но его носят для сбережения носового платка. Такая уж форма у них заведена. На ребятах хорошие сапоги, костюмы и дворянское кашне, которого раньше наш брат не видал в глаза.

В саду устроено место для чтения газет и книг, имеется добрейшая библиотека, но в летнее время мало охотников читать, да и барышни не дают, приглашают пройтись: «Идем, Ваня, погуляем по саду, ты уже совсем зачитался». Взял барышню под руку и пошел гулять. Нет, товарищи, так не надо. Следует самому себе установить правило: два часа почитать, потом гулять. Сейчас рабочий день семь часов, отработал — и свободен, можно два часа уделить науке.

В прежнее время мы работали двенадцать часов в смену, наука нам давалась туго.

Я ни одного дня не был в школе. Поэтому прошу,

дорогой читатель, не осудить меня за мои ошибки. Я самоучка царского времени, никем не проверенный, грамматики не учил и прописи мало видел, потому что не имел состояния купить такие пособия.

Хочется писать верно, буквы ставить по правилу, как полагается, чтоб было понятно каждому читателю, кто возьмет в руки. Хочется написать по вкусу людей, чтоб прочитали и похвалили: верно написано, можно читать. Хочется написать хорошо, а руки не служат. Как ни стараюсь, а все плохо выходит — некрасиво и неправильно.

Я ушел с родины двадцати одного года от роду простым, неграмотным серым мужиком. Пришли с товарищем в уездный город — я разинул рот и стою, как осинный болван... Товарищ читает вывески, а я ничего не вижу, слепой и жалкий человек, чурбан серый.

Я шел на Юзовку и думал, что я такой не гожусь никуда, кроме как мусор убирать, и подумал, что мне делать — жить или бросить. Иду по степи, а мысли не выходят из головы, что я — ничтожное существо, статуя, а не человек. Взвесил сам себя: я еще молод, и есть у меня немного настойчивости, не все люди учатся малыми, буду учиться самоучкой. Поставил — или научиться грамоте, или не к чему на свете жить.

Поступил на работу и достал церковнославянский букварь. Этот букварь меня долго мучил, целый год, пока не увидел грамотный человек. Этот добрый человек видел мое старание, взял у меня букварь и бросил в огонь. Этим он мне много помог. Я купил гражданский букварь. Но все-таки это одолел. Тогда давай учить арифметику. Она мне очень трудно поддавалась. Вот я расскажу один случай.

ЗАНЯТИЕ АРИФМЕТИКОЙ

Дело было ночью. Печь работала хорошо. Я все приготовил к выпуску — время свободное. Я взял листик железа и крошку мела, прилег на песок около фонаря и стал делать арифметику. Я взял очень крепко в голову и забыл, что я близко от доменной.

В это время в печи получилась осадка, и сверху выбросило немного горячего кокса. Один кусок попал мне на край рубахи, и рубаха загорелась. Но я не обращаю внимания, делаю свою арифметику. Когда стало горячо, я схватился и вижу, что весь горю. На мне

было три рубахи. Я управился их с себя сбросить и этим спас сам себя, получил только маленький ожог. Конец этому рассказу.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Приехал Максим из-за границы, привез дорогие подарки, воротился благополучно, в здоровом виде. Это меня шибко радует.

Женя тоже прибыл на каникулы из Днепропетровска. Он теперь студент третьего курса Горного института, учится на доменщика. Я произвел ему экзамен. Ничего, кой в чем разбирается, добрый будет техник, только немного задается.

Теперь, слава богу, вся семья в сборе.

Много людей приходят к нам с визитами и разными вопросами, которые Максим Власович разъясняет. Он прошел высокую науку, служит главным инженером, человек тонкого ума, дело ведет очень аккуратно, на славу всему Донбассу. Мы с ним осмотрели всю постройку — все кипит в исправности. Скоро будем пускать первый номер, печь добрейшего калибра, даже завидно смотреть. Все обдуманно очень хорошо, тонко объяснить не умею. Каупера уже готовы, совсем склепаны, выкладываются кирпичом.

Ходили на степь к Ясиноватой. Там в балке много работает народу: строят новый ставок для скопления воды.

Такому большому заводу масса воды требуется. Местность очень живописная — две балки сошлись вместе, крутые берега. Много здесь поместится воды, богатый будет ставок. Недалеко имеется небольшой лес — дуб и прочие деревья. Место, никем не заселенное, чистая степь, вся в цветах. Будет, значит, мед у пчеловодов.

Я описываю это урочище не зря. Я глядел землю — очень хорошая земля для огородов. Местность — годная для постройки квартир, — от завода далеко, газ не дойдет. Провести сюда трамвай, заселить бы это место.

Максим со мной согласен, а раз он говорит — ему можно верить.

В нем видать все-таки мое воспитание. Крепко я его любил, но баловства не допускал. Баловство в малом возрасте доводит до того, что молодой человек стано-

вится никуда не годен. У него появляется какое-то ломание во всяком деле. Примерно так. Подали чай — не так поставили. Подали хлеб — не так положили, да он и невкусный. Отломил кусок, укусил и бросил. Это не нравится, давай другое.

Когда человека сыто воспитывают, с него не бывает толку. Я много видел этой порчи. Дите надо жалеть, чтоб оно не знало, что его жалеют. Показывать в лицо не подобает. Надо помнить, что самое благородное дело — это труд. Человека с малых лет следует приучать к нему. Жалость — это есть тайна родителей.

Отец все-таки меньше забот несет, а мать — это одно в мире существо, которому нет цены.

Тот человек, который растет при матери, всегда обмыт и очесан. Хотя и бедная жизнь, а ему мать все достанет, сама не будет есть, а ему сбережет.

Это я пишу для Максима, чтоб он это помнил, ежели мне раньше старухи помереть придется.

Вспомянем ее труды. Мать носит дите в утробе, переживает болезнь, при рождении принимает великое мучение, но она рада, что родила живого человека, нет конца ее радости, она забывает свою боль от радости. Она кормит дите досыта своей грудью, ночей не спит, успокаивает, всегда трусится, чтоб дите не заболело, не околечилось и не утопло в воде, бережет, как свой глаз.

Это не то, что сиротская жизнь. Сколько приходится сироте принять горя, всякой ругани и неправды! Мне это хорошо известно. Тебя и вором станowią, тебя и баловником станowią, тебя и неслушником станowią — все это ложится на сироту, некому его защитить. При матери это все отпадает. Никто не смеет к тебе прикоснуться и не станет тебя оговаривать.

У матери всегда молитва на устах за счастье своего дитя: какой бы ты ни вырос — для нее все маленький. Где бы ты ни был, — в дороге или на работе, — ее молитвы идут за тобой.

Мать — это драгоценность, которая недопустима никакому порицанию. Нет тяжелей греха, чем мать ввести в слезы. Ее слезы тогда такие горькие, что самый крепкий камень пробивают. За материнские слезы природа не прощает, — они больно ударяют, больней орудийного снаряда. Несчастный тот человек, кто обижает свою мать. Ей и надо всего кусок хлеба и хорошее слово, она и тем останется довольна. Она рада, что видит жизнь своего дитя, что оно живет счастливо.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Четвертого октября в Макеевке был торжественный праздник — пуск новой печи. Это была величайшая церемония, большое собрание народа. Собралась вся Макеевка с красными знаменами, играла духовая музыка, много было украшений и плакатов.

Много понаехало гостей из Москвы, из Харькова и с разных заводов. И точно — есть на что поглядеть! Колоссальная печь, первейшая в России. Все сделано механически, вприточку, на удивление всем. Наверху погрузка идет без людей, самокатом, работать легко. От нового устройства все повеселели, весь народ торжествует.

Печь задули в 12 часов 45 минут дня. Мне было доверено открыть горячее дутье. Это высокая честь. Жалко, Женя не видал, — он уже уехал на учение.

Я ему написал в Днепропетровск письмо о нашем празднике и велел хорошо учиться, чтобы выйти достойным работником многославного Донбасса. Я дал ему наставление на всю жизнь, чтоб работал честно и правильно. «Тогда все узнают, что ты хороший специалист, и дадут дорогую работу. Постепенно дойдешь до хорошего жалованья и получишь высокий сан. Но ежели будешь работать нерадиво, то век будешь болтаться по заводам, нигде места тебе не будет, все станут презирать, что нет от тебя пользы государству».

На празднике говорилось много речей, и меня пригласили выступить, рассказать про старину.

Потом послан был привет Коммунистической партии. Следует воздать ей честь и славу — она нас из грязи тащит на сухое.

Вся Россия обновляется, все идет по-новому на заводах и в деревнях, даже в отдаленных местах и захолустьях.

По всей России будут проведены колхозы и совхозы. Все люди соединятся в артели, будут жить по-братски, будут работать за единой нивой, пахать будут одним трактором, одной бороной скородить, одной молотилкой молотить, одной веялкой веять, в один закром ссыпать.

Старое скоро все позабудется, не поверят, что оно и было... Что было, тому не бывать уже.



СЧАСТЛИВАЯ РУКА

(Рассказ хирурга)

1

Сергей Петрович Федоров дал мне кличку Пистолет. В хорошие минуты, когда он бывал мною доволен, это прозвище видоизменялось. Предлагая чашку кофе с коньяком, он произносил:

— Выкушай, Антонио-Пистолето.

Любитель острого, а подчас и по-народному грубоватого словца, он говаривал так:

— Хирургу необходимы руки, голова и зад.

При этом тонкая улыбка появлялась под его черными с проседью усами, острые концы которых по-вильгельмовски торчали вверх. Сергей Петрович до конца дней холил свои усы, накладывал на ночь специальную повязочку.

— А у тебя, Антонию,— продолжал он,— есть голова и руки, но зада нет.

И, попыхивая сигарой — всюду, где бы Федоров ни появлялся, его сопровождал запах сигары,— Сергей Петрович развивал излюбленную мысль о бесконечной терпеливости, с какой хирург обязан исследовать, изучать человеческое тело, каждое отдельное страдание, каждый отдельный случай, требующий вмешательства вооруженной скальпелем руки.

Всех нас, своих учеников, Федоров называл на «ты». Происхождение этого «ты», думается, таково. Еще в начале века Федоров работал в московской клинике профессора Боброва. Там был введен порядок: никаких разговоров, ни одного лишнего слова во время операции. Раздавались лишь приказания:

— Скальпель!

— Пинцет!

— Ножницы!

— Клемм!

Изгонялись даже лишние слоги. Произносилось не «дайте», «положите», а «дай», «положи».

Этот же строгий дух дисциплинированности, собранности был характерен и для операционной Федорова. Привычное «ты» учителя-хирурга перекочевало из нее и в обыденные отношения.

2

В 1921 году Федоров, бывший лейб-хирург царя, был арестован. Следствие вела Петроградская Чека. Мы, молодые ученики Федорова, работавшие в хирургической клинике Военно-медицинской академии, стороной прослышали, что у Сергея Петровича были найдены письма из-за границы от брата, сановника рухнувшей монархии, деятельного противника Советской власти. Обвинение было серьезным: связь с контрреволюционной эмиграцией, содействие ее козням. Раскрытие какого-то нового большого заговора, в котором среди прочих фигурировала и фамилия Федорова-эмигранта, еще больше отяготило судьбу Сергея Петровича. Письмо-ходатайство Пироговского общества врачей, председателем которого долгие годы был Сергей Петрович, осталось без ответа.

Как раз в это время из нашей клиники выписывался один непримечательный пожилой человек. Кажется, по профессии он был часовщиком. Или, может быть, портным. Мне удалось спасти ему руку, и к тому же правую, пораженную из-за ничтожной царапины страшным заражением — газовой гангреной. На фронте, в годы войны с немцами, газовая гангрена влекла за собой немедленную ампутацию или смерть. Но уже в гражданскую войну в нашем хирургическом автоотряде, действовавшем под Петроградом, мы научились путем своевременных разрезов, открывающих путь воздуху, обыкновеннейшему воздуху, который уничтожает анаэробные бактерии, одолевать гангрену. Прощаясь, мой пациент сказал:

— Доктор, я бедняк, но как бы хотелось вас благодарить. Если бы я мог что-нибудь сделать для вас...

— Бросьте... Давайте-ка вашу руку. Жмите мою.

Крепче! Еще крепче! Боли не чувствуете? Ну вот, это и есть самая лучшая для меня благодарность.

Пожимая мою руку, он радостно смеялся. Я, однако, был невесел. Старик спросил:

— Доктор, скажите, почему все вы в последние дни такие скучные? Неприятности, что ли?

Я ответил:

— Наш учитель в тюрьме.

— За что? Кто он?

— Федоров. Хирург.

— Федоров? Какой же это Федоров? Один Федоров делал операцию моей родственнице.

— Что у нее было.

— Удаляли гнойную почку. Спас от верной смерти. Знаете, в больнице на Лиговке.

— Да, это он.

— Боже, тот самый Федоров? Она прожила еще четырнадцать лет после операции. Вся жизнь его благословляла.

— Теперь ему конец...

— Не может быть! Надо же разъяснить... Знаете, кто вам поможет?

— Ну?

— Дочь этой женщины. Она помнит, как он спас ее мать. Это же первый хирург!

— Дочь? Кто же она?

— Софья. Софья Либкнехт. Неужели вы не знаете, кто такой Карл Либкнехт? Сонечка — его вдова. Она после его гибели живет в Москве. Все вожди знают ее. Она кому хотите позвонит. Слушайте, доктор! Едемте в Москву!

Разумеется, я взволновался. Пошел к товарищам, к начальнику клиники, затем в Пироговское общество. Меня снарядили в Москву. Я выехал туда в хмурый декабрьский денек вместе с моим благодарным пациентом.

3

Софья Либкнехт обитала на Тверской в гостинице «Люкс», которая в те времена служила приютом иностранным коммунистам, общежитием Коминтерна.

Вопреки звонкому названию, гостиница являла со-

бой скромные, лучше сказать заурядные, меблированные комнаты. В ней не было ни строгой, под старину, роскоши «Савоя», ни помпезных просторов «Метрополя». В коридорах не хватало света; стены, как это исстари заведено в недорогих гостиницах, были окрашены в немаркий темный колер.

Вдова Либкнехта, бледноватая черноволосая полная женщина, приветливо встретила меня.

— Садитесь... Я уже все знаю,— сказала она.— Спасибо вам, что спасли руку моего дяди.

— Помилуйте... Это же мой врачебный долг.

Она помолчала.

— Долг — большое слово. Очень большое.

Затем подняла трубку телефона, назвала номер.

...Позволю себе здесь небольшое отступление. Много лет спустя после этой встречи я услышал в театре из уст артиста Яхонтова, выступавшего с композицией «Война», несколько строк из письма Карла Либкнехта. Величественная музыка сопровождала чтение. Либкнехт из каторжной тюрьмы писал другу-жене:

«Я не думаю о том, чтобы изнеживать своих детей. Пусть они с юности получают раны, тогда они своевременно закаляются.

И не очень люби солнце,
И не слишком люби звезды.

Ты порицаешь: я часто повторял одно и то же. Нет, это не старческая слабость. Я готов пожертвовать тысячу собственных жизней для содействия одному тому, что могло бы помочь русской и мировой революции».

Внимая этим прочитанным со сцены словам, предначавшимся лишь для жены, я вспоминал небольшую номер «Люкса», бледную женщину, рожденную в России, когда-то уехавшую получить высшее образование за границу, ставшую там верной до гробовой доски подругой неустрашимого, великого духом революционера, того, о ком написал Ленин: «Либкнехт один. Вся будущность за ним».

Скажу еще вот что. Смерть Либкнехта, убитого выстрелами в затылок офицерским конвоем, до сих пор памятна моему поколению. Я, молодой врач Красной Армии, командир передвигавшегося на машинах «Скорой помощи» хирургического автоотряда, узнав об этой смерти, яснее понял: такова участь побежденной револю-

ции. И еще раз в душе оправдал беспощадность борющейся революционной власти.

Талант Яхонтова, слова, произносимые его богатым интонациями то звучным, то глуховатым голосом, всколыхнули все это во мне...

...Телефонный разговор длился недолго. Я услышал:

— Феликс, здравствуйте... Вчера я вам говорила насчет Федорова. Его ученик сейчас сидит у меня. Хорошо. Я передам.— И, повернувшись ко мне, сказала: — Завтра к девяти утра идите к товарищу Дзержинскому.

4

На следующее утро, еще задолго до девяти, я подошел к зданию ВЧК. Свистел ветер, гнал снежную пыль по засугробленной Лубянской площади.

Мне выписали пропуск, дали провожатого и через какие-то внутренние лестничные переходы, через целую галерею пустых комнат привели в приемную Дзержинского. Там пришлось подождать. Наконец женщина-секретарь пригласила войти.

В остекленном выступе, что зовется фонарем, стояли два кресла. Дзержинский указал мне на одно из них, сам остался на ногах. Разузоренные морозом окна бросали ровный ясный свет на его острое лицо с выступающими из-за худобы скулами. Очень высокий лоб был испещрен ранними морщинами. Мой глаз врача отметил, что кожа на лбу иногда подергивалась, вероятно вследствие огромного переутомления. Изможденную шею облегал ворот суконной военной гимнастерки. Насколько я понимаю, Дзержинский принадлежал к тому же типу революционеров-аскетов, что и тот, кто написал из тюрьмы жене: «И не очень люби солнце, и не слишком люби звезды». Впоследствии я прочел, что однажды в музее живописи Дзержинский сказал товарищу: «Зачем ты меня сюда привел? Не хочу красоты, пока не закончена борьба...» Впрочем, вернемся в кабинет.

Едва я успел рассмотреть Дзержинского, как он, словно подгоняемый нескончаемым нервным напряжением, резко спросил:

— Что скажете, молодой человек?

— Товарищ Дзержинский, я приехал из Петрограда от Пироговского общества... У меня письмо...

— Как вы попали к Софье Либкнехт?

Несколько огорошенный резкостью его вопросов, я начал излагать обстоятельства, приведшие меня в номер гостиницы «Люкс». Дзержинский не дождался, пока я закончу. Видимо, с первых же фраз ситуация стала ему ясной. Он перебил:

— Софья мне говорила о вашем Федорове... Вы приехали его выгораживать?

— Нет, товарищ Дзержинский. Не выгораживать. Мы не вправе утверждать, что за ним нет вины. Но мы, его ученики, можем просить о помиловании. Верните нам Федорова.

Мне показалось, что Дзержинский смягчился. Желтоватые веки опустились, прикрыв сверлящие глаза, взгляд которых трудно было выдержать. Он прошелся по комнате нервным быстрым шагом. Потом опять устремил на меня взор.

— На днях получено письмо о Федорове от германского общества врачей. Это тот самый Федоров?

— Да. Разумеется, тот самый.

— Откуда о нем знают за границей? Он выступал с докладами на международных съездах?

— Не только это, товарищ Дзержинский. Знаменитые иностранные хирурги приезжали к нам для того, чтобы посмотреть операции Федорова.

Торопясь, комкая фразы, опасаясь, что Дзержинский опять вот-вот меня прервет, я рассказал, что Федоров является основоположником, отцом русской хирургической урологии, что он разработал собственную, ранее не известную технику операций на почках, мочеточниках, желчных путях. Ему принадлежит честь создания цистоскопа, ректоскопа, тончайших катетеров, позволяющих исследовать в отдельности правую и левую почки. Мировая хирургия взяла от Федорова эти инструменты. Старик немец Каспер, понаблюдав его операции, заявил: «Я был учителем профессора Федорова, теперь я стал его учеником». Далее я перечислил отзывы Мэйо, Зауэрбуха, других мировых авторитетов. Сказал и о том, что после Октябрьской революции Федоров остался верен врачебному долгу, продолжал оперировать, продолжал учить. Мы, молодые советские хирурги, перенимаем его методику и технику, составляем его школу. Потеря Федорова станет невозместимым ударом для всех нас, для настоящего и будущего русской хирургии.

Дзержинский, не перебивая, ходил по кабинету. Наконец вновь обратился ко мне:

— А к царю ваш Федоров был весьма приближен. До самой минуты отречения. Да и потом продолжал у него бывать.

— Товарищ Дзержинский, дело в том, что наследник — мальчик Алексей — страдал гемофилией. Это ужасное заболевание. Несвертываемость крови. Можно истечь кровью от малейшего пореза. И Федоров как врач...

Далее я стал торопливо пересказывать некогда описанный в газетах разговор царя с лейб-хирургом при подписании отречения от престола. Николай попросил Федорова, не скрывая, ответить: «Сколько еще может прожить Алексей?» В те времена медицине еще не было известно переливание крови. И Федоров сказал: «Он проживет не больше чем до 16—17 лет». Николай подписал отречение и за сына.

Дзержинский опять не дослушал. Все это, видимо, он отлично знал.

— Гм... Друг царя. Его советчик...

— Да, советчик царя,— воскликнул я.— И царь хирургов!

Впервые за все время нашего разговора Дзержинский слегка улыбнулся. Тут мне следовало бы помолчать, но, уже торжествуя победу, я продолжал:

— А главное, товарищ Дзержинский, у него счастливая рука.

— Счастливая рука? Что это за мистика?

Тон Дзержинского стал отчужденным. Наверное, вылетевшая у меня фраза была им воспринята как легкомысленная. Мне вдруг показалось, что для него как бы обесценились, стали менее серьезными все мои доводы, мои горячие слова. Эх, Антонио, Антонио-Пистолето! Какая нелегкая дернула тебя молвить про счастливую руку? Ведь и сам Федоров никогда не употреблял подобных выражений. Наоборот, он не уставал едко высмеивать ходячие словечки: «хирург-прозорливец», «хирург-виртуоз», «хирург-волшебник». Особенно доставалось словцу «хирург-джигит», которое, как уверял Федоров, он однажды где-то вычитал.

Так что же мне делать? Отказаться от вылетевших слов? Или поспорить, объяснить?

В эту минуту дверь кабинета раскрылась.

— Феликс, здорово!

Явственный кавказский акцент своеобразно окрасил это жизнерадостное восклицание. Вошедший был одет в полувоенную куртку-френч; широкий ремень туго стягивал талию, придавая фигуре стройность. К буйной черной шевелюре давненько не прикасался парикмахер. Задорно вились кончики длинных усов. Нависший над усами крупный с горбинкой нос — такой нос зовут орлиным — позволял угадать грузина.

Дзержинский с улыбкой, сразу смягчившей его строгие черты, сказал:

— Ей-ей, тыходишь, — и с тобою входит юг.

Действительно, свежий здоровый загар, золотивший кавказское смуглое лицо, напоминал о южном солнце, казался удивительным в московских снегах, что лежали за окнами, подернутыми инеем.

Из нагрудного кармана, над которым алел маленький эмалевый флажок — значок члена Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, кавказец вынул плоские черные часы, прикрепленные к петельке шнурком, взглянул, покосился на меня.

— Феликс, я не помешал?

— Нисколько. Садись, садись. Еще несколько минут...

Дзержинский подошел ко мне. Вдруг какая-то мысль заставила его вновь обернуться к усевшемуся уроженцу юга.

— Слушай, ты же был фельдшером! Что ты скажешь насчет такой вот чертовщины: счастливая рука?

Грузин неожиданно расхохотался. Глубокая ямочка ясно обозначилась на его подбородке.

— Феликс, притащу тебе когда-нибудь статью Пирогова «О счастье в хирургии». Не читал?

Эх, ведь и мне надо бы сослаться на эту статью! Сразу вспомнилось ее полное название: «Рассуждение о трудностях хирургического распознавания и о счастье в хирургии».

— О чем там говорится? — спросил Дзержинский.

— Как раз об этой чертовщине. О том, что бывают счастливые и несчастливые хирурги. Да только ли хирурги? У меня, если хочешь знать, тоже легкая рука.

Бывший фельдшер живо поднялся. Видимо, он был очень общителен, любил поговорить.

— В семнадцатом году на пароходе,— продолжал он,— когда возвращались из ссылки, позвали раба божьего. Роды, акушерки нет, принимай ребенка. Что же? Принял чудесного мальчишку. Вскинул его вот так...

Грузин со смехом воздел руки — каждый его жест источал энергию,— продемонстрировал, как вознес младенца.

— Вскинул и предложил: «Назовем Владимиром, в честь Ленина». Недавно повстречал мамашу. Мальчишка здоровствует. И зовут его Володькой! А? Счастливая рука!

Дзержинский спросил:

— Ты Федорова знаешь?

— Хирурга Федорова? Кто же его не знает? Еще в фельдшерской школе мы занимались почками по Федорову.

Взглянув на меня, он обо всем догадался.

— А, вот в чем дело... Вмешиваться, Феликс, не могу, но ежели уж ты меня спросил, то присоединяю свой голос старого фельдшера за Федорова.

— Ну, будем надеяться,— произнес Дзержинский,— что когда-нибудь он окажется тебе полезным.

— Благодарю.— Грузин снова рассмеялся.— Лучше пусть он тебе понадобится.

Дзержинский опять посмотрел на меня.

— Вы военный врач?

— Да.

— В гражданской войне участвовали?

— Да. Был начальником фронтового хирургического автоотряда.

— Ну, стало быть, поверим Федорову?

Неожиданно он мне подмигнул. Подмигнул, как своему,— с хитринкой, добродушно. Тотчас он вновь стал серьезен.

— Итак, товарищ военврач, мы Федорова освободим. Но возьмем его из Питера. Пусть поживет в Москве. Мы тут за ним присмотрим... Можете передать это Пироговскому обществу.

Обрадованный, я вышел от Дзержинского и лишь за дверью сообразил, что в волнении не сказал спасибо, даже не откланялся бывшему фельдшеру.

Ровно семь лет спустя, незадолго до наступающего нового, 1929 года, я сидел у Федорова в его домашнем кабинете.

После освобождения из тюрьмы Сергей Петрович провел некоторое время в Москве. Меня, думается не по заслугам, он считал своим спасителем. «Отныне ты будешь,— объявил он,— моим сыном в хирургии». Он взял меня с собой в Москву. Случилось, что там я свалился в сыпняке. Почти месяц Федоров ежедневно приносил мне в палату очень вкусные бульоны и всяческое иное подкрепление. В больнице изумлялись: сам великий Федоров носит ему передачу! Выздоровев, я продолжал работать под началом Федорова, ассистировал ему во всех серьезных случаях.

Прожитые в Москве годы были исключительно плодотворными для Федорова. Там он написал широко известный труд объемом почти в тысячу страниц «Хирургия почек и мочеточников», являющийся и поныне основным пособием не только для хирургов, но и для терапевтов. В Москве же он перевел с немецкого и капитальную работу Вильдбольца, тоже посвященную хирургии почек.

Оставаясь, однако, заядлым петербуржцем, он с тонкой улыбкой, имевшей великое множество оттенков, говаривал о себе: «Сослан в Москву». Наконец Федорову разрешили вернуться в город любимых проспектов, уже ставший тогда Ленинградом. С ним возвратился и я в нашу старую клинику Военно-медицинской академии.

Утро того дня, о котором далее последует рассказ, было для меня не из приятных.

В клинике я показал Федорову одного больного, которому сделал операцию удаления аппендикса, применив новинку, описанную в заграничном журнале. Новинка заключалась в том, что отсечение производилось через очень маленький разрез, сквозь который могли пройти только два пальца, вооруженные инструментом. Отослав больного, Федоров, одетый в белый медицинский халат, без околичностей спросил:

— Какой дурак делал эту операцию?

— Сергей Петрович,— пролепетал я,— так делают немцы.

— Думаешь, у немцев дураков нет?

Мой огорченный вид не вызвал снисхождения.

— Какие у тебя основания ограничиваться таким разрезиком? Ты же не обревизовал полость живота. Мы претендуем на научную хирургию, а ты гонишься за модой.

Федоров презирал моду в медицине, «модник» у него было ругательством. Все же он заключил по-отечески:

— Приходи, Антонио, вечером ко мне. За кофеем (слегка щеголяя некоторыми старинными выражениями, он так и произносил: «кофеем») потолкуем.

7

И вот вечером, в последних числах декабря 1928 года, я сидел у Федорова, к которому частенько захаживал и без приглашения.

В его кабинете выстроились книжные шкафы. На письменном столе виднелись корректурные оттиски журнала «Советская хирургия», одним из ревностных редакторов которого стал Сергей Петрович. Стены были увешаны полотнами известных, частью даже знаменитых русских и западных живописцев. Меж картин уместилось несколько больших фотографий. На одной был запечатлен сам Сергей Петрович в форме свитского генерала с вензелями на погонах. Стрелки холеных усов торчали вверх. Лысина еще увеличивала большой лоб, открывала купол черепа. На снимке виднелась надпись, сделанная рукой Федорова: «Ставка. 1916».

Живой оригинал этого портрета, почти не изменившийся за дюжину лет, одетый уже не в мундир, а в безукоризненно сшитый костюм, сидел, покуривая сигару, на диване и, не стесняясь меня, устроившегося в стороне, неторопливо беседовал с таким же лысым, как и сам он, тоже в пенсне, профессорского вида посетителем. Гость этот некогда был одним из царских поваров. Бывшие кулины царя не забывали Федорова. Любитель изысканной еды, стяжавший даже при дворе славу гурмана, Сергей Петрович множество раз делил трапезу с царем, высказывал тончайшие замечания знатока-лакомки, но никогда не подводил поваров. С ними у него бывали отдельные, так сказать приватные, беседы. Потрясения семнадцатого года раз-

метали царских кухарей в разные стороны. Однако в дни семейных праздников в доме Сергея Петровича кое-кто из них, выказывая уважение и любовь, приходил к нему блеснуть искусством.

Помню, Сергей Петрович, выговаривая по давней привычке несколько в нос, сказал:

— А какое вино пойдет у нас к редиске?

Я не позабыл эту фразу, ибо впервые тогда не без удивления узнал, что редиска требует лишь строго определенных вин. Собеседник Федорова не успел ответить. Раздался необычно громкий, необычно продолжительный звонок телефона.

Оправдывая свое прозвание, к аппарату, разумеется, подскочил Антонио-Пистолето. Телефонистка спросила:

— Квартира профессора Федорова?

— Да.

— Он дома? Попросите его к телефону. Вызывает Москва по правительственному проводу.

8

Прихватив с собой сигару, Сергей Петрович пересел поближе к телефону, взял трубку.

Я смотрел на его руку, которую столько раз видел в прозрачной перчатке хирурга — широкую, волосатую, короткопалую, вовсе, казалось бы, не подходящую к его виду Юпитера, к породистой барственной осанке.

— Федоров у телефона, — со своим французским прононсом сказал он.

Однако тотчас, с первых слов, что донесла мембрана, его серые глаза под стеклышками пенсне, всегда безупречно прозрачными, стали очень серьезными. Я услышал:

— Да, свое заключение подтверждаю... Откладывать нельзя... Согласен, если больной мне доверяет... Где? Когда?.. Хорошо, но ставлю условие: приеду со своими ассистентами. Фамилии? Пожалуйста.

Федоров назвал меня и еще одного своего ученика, которого из-за богатырского роста товарищи именовали Крошкой.

Разговор закончился. Я видел, что Сергей Петрович взволнован:

— Слава богу, решено! Поедем, Антонио, после Нового года в Москву.

— Операция?

— Да. Помнишь, я говорил про наркома? Слава богу! Если бы еще с этим тянуть, дело кончилось бы плохо.

По рассказам Сергея Петровича я уже в общих чертах знал о болезни Серго Орджоникидзе. Его периодически мучили боли в области живота и поясницы, порой повышалась температура, он плохо ел. Анализы тоже вызывали тревогу.

Прошлым летом врачи послали его на отдых в Гагры. Там же обычно проводил лето на собственной даче и Федоров, делая операции в местной клинике. Однажды к нему пришел нарком, попросил медицинского совета. Тщательно занявшись больным, проделав ряд исследований, Федоров, верный правилу быть откровенным с теми, кто нуждался в хирургическом вмешательстве, сказал ему: «Курорт вам не поможет. Не помогут и лекарства, которыми ныне располагает медицина. Нужны, конечно, дальнейшие исследования, но для меня несомненно: у вас туберкулез почки. Необходима операция. Она, как и всякая серьезная операция, сопряжена с риском, но другого исхода я не вижу».

Орджоникидзе уехал. В Москве были проделаны биологические пробы, оказавшиеся противоречивыми. Некоторые были положительными: да, почка выделяет туберкулезные бактерии. Другие получились отрицательными. Федоров настоял, чтобы нарком съездил в Берлин в клинику пунктуальнейшего Брандта или старика Каспера. Проверка в Германии подтвердила: у Орджоникидзе туберкулез левой почки. И все же некоторые солидные медики в Москве рекомендовали осторожность, выжидание.

Федоров не стерпел. Его всегда отличало горячее отношение к больному. Он сам не однажды формулировал главные принципы, устои своей хирургической школы: научный подход к решению всех медицинских вопросов, глубокая самокритика хирурга, открытое сердце, доброта, гуманнейшее отношение к страдальцу человеку. Отбросив формальности, пренебрегая тем, что ответственность за жизнь и здоровье наркома нес не он, хирург-ленинградец, а другие врачи, Федоров написал в Москву, что наркома может спасти

лишь операция, что дальнейшее промедление приведет к роковому исходу.

Звонок из Москвы явился ответом на это письмо.

9

Разволнованный, даже расчувствовавшийся, дважды повторивший «славу богу», Сергей Петрович минуту-другую спустя вновь стал Федоровым Великолепным.

Вернувшись на диван, раскурив сигару, он обратился к своему гостю:

— Так какое же вино пойдет у нас к редиске?

Бывший царский повар не смог, однако, сразу настроиться на прежний лад.

— Сергей Петрович, а какой он из себя?

— Нарком? Как бы это вам изобразить? В Грузии, Евдоким Иванович, бывали?

— Доводилось. Отдыхал.

— У местных жителей бывали?

— Как же... Не без этого.

— Представьте себе такого хозяина... Обаятельного, широкой души. Встречались вам такие? Он вас привечает, угощает, сам выпьет с вами, притащит лучку с грядки, шашлык подаст вот так...

Федоров выпрямился, воздел обе руки, будто держал в каждой по шампуру с дымящимся, сочным шашлыком. Этот жест вдруг что-то мне напомнил. Шевельнулось какое-то неясное воспоминание. А Федоров, вдохновленный присутствием почтенного повара, продолжал еще и еще добавлять подробности к картине, родившейся в его воображении гастронома.

— Он ставит возле вас и имбирь, и красный перчик, и чеснок. Смеется, если вам кушанье понравилось. Наливает стаканчик за стаканчиком на пробу чуть ли не из каждого своего бочонка. Суньтесь-ка к нему с деньгами, обидите навек... Ну, словом, очаровательная личность.

Взглянув на меня и уже явно обращаясь не только к повару, Федоров закончил свой набросок последним широким мазком:

— Душа человек... Жаждет накормить, порадовать, осчастливить целый мир... Таков он, этот нарком-жизнелюб!

Едва Федоров произнес слово «жизнелюб», как смутное воспоминание приобрело отчетливость.

Не он ли, этот горбоносый южанин, заступившийся у Дзержинского за Федорова, не он ли и есть больной нарком, которого Федоров на днях будет оперировать? Я быстро спросил:

— Он бывший фельдшер?

— Не знаю... Не пришлось слышать об этом,— сказал Федоров.

— Носит на груди красный флажок? Значок члена ВЦИК?

— Нет, никаких значков, никаких орденов не носит.

— Такой стройный, худощавый?

— Что ты! Если и был худощавым, то больная почка давно нарушила обмен. Грузноват... Хотя любит ходить.

— Но ямочка-то на подбородке есть?

— Это есть.

Конечно, ямочка была весьма недостаточной приметой, но почему-то во мне крепла уверенность: это он, это тот самый!

Впрочем, к чему строить догадки? Ведь скоро я его увижу.

10

Однако еще до личной встречи мне пришлось, так сказать, заочно столкнуться с наркомом. Он вмешался в некоторые наши врачебные дела. Это произошло так.

В начале января — за несколько дней до той даты, что была намечена для операции,— Крошка и я, два ассистента, выехали в Москву. Федоров пока остался дома.

В Москве в лечебно-санитарном управлении мне сказали, что я назначен ответственным за операцию. Я удивился:

— Что это значит: ответственным за операцию?

— За антисептику... За то, чтобы не было сепсисов и перитонитов. Словом, за все...

— Но у вас есть же глава хирургического отделения. И существует штат.

Ответ был короток:

— Спорить не о чем. Мы имеем указания.

Дисциплина военного врача заставила меня вытянуть руки по швам.

— Слушаюсь.

А сам подумал: неужели начать с недоверия персоналу? С мелочной проверки? Взять под контроль каждого, кто прикосновенен к антисептике?

Несколько раз я захаживал в больницу, осматривал прекрасно оборудованную операционную, знакомился с врачами, с медицинскими сестрами и нянями. И ничего не предпринимал. Внутренний голос предостерегал меня от какого-либо решительного шага. На ум приходила арабская поговорка, которую любил Сергей Петрович: «Если не знаешь, как поступить, не поступишь вовсе».

Я делился сомнениями с Крошкой, но тот лишь разводил своими лапищами.

Миновал день, другой. Вечером, когда я уже собирался лечь, в дверь постучали. После моего «да» вошел крепыш лет сорока с широконосым угловатым лицом. Он оказался начальником секретариата Орджоникидзе. Какая-то хроническая болезнь горла делала его голос сильным. Позже я с ним подружился. (Кстати замечу, что в клинике Военно-медицинской академии мы ему вернули звучный, чистый голос, сняв фиброму с голосовых связок.)

Подружился и узнал его историю. Ткач с московской фабричной окраины, красногвардеец, чекист, он получил задание охранять наркома. Тот присмотрелся к рабочему-чекисту, испытал его во всякого рода деловых поручениях, раз от разу все более серьезных, затем вверил ему свой секретариат.

Отрекомендовавшись, усевшись на предложенный стул, поздний гость сказал:

— Я к вам с просьбой от наркома.

— Пожалуйста.

— Сегодня он встревожился. И, откровенно говоря, даже вспылал, когда узнал, что ради него в больнице будет введен какой-то особенный контроль.

— Да, мне предписано так поступить.

— Доктор, а надо ли это? Не почувствуют ли люди, что им не доверяют?

Я признался, что меня тоже беспокоят подобные мысли.

— Не будет ли, доктор, надежнее вести дело на доверии? Во всяком случае, нарком об этом просит. Даже требует...

Даю слово, я это слушал с удовольствием. На душе становилось легче. И вдруг я услышал:

— В больничных порядках он разбирается до тонкости. Сам был когда-то фельдшером.

— Фельдшером? Так это он?

Наша беседа оживилась. Я предложил разделить со мной скромную вечерю, гость не отказался, за стаканом вина я порассказал о Федорове, о том, как я попал в кабинет Дзержинского, как повстречался с сыном жаркого Кавказа.

Начальник секретариата не остался в долгу, отвечал на мои расспросы. Я узнал некоторые поразительные подробности из жизни Орджоникидзе, узнал, что маленький красный флажок, тот, который я видел на его френче, теперь покоится на груди Ленина, похороненного в Мавзолее.

...В тот вечер, когда сердце Ленина остановилось, к нему, умершему, приехали со съезда Советов самые близкие товарищи. В их числе находился и он — Серго Орджоникидзе, некогда слушатель ленинской партийной школы под Парижем. Боевой орден, алый знак отваги, был возложен на грудь Ленина, собранного в последний путь. Но принадлежащий Ленину маленький красный значок, отметка члена ВЦИК, не отыскался. Бывший слушатель партийной школы снял свой значок и укрепил на темно-зеленой поношенной куртке Ленина. С тех пор Серго другого значка не надевал.

Теперь, в час моих сомнений и раздумий, от него пришло слово: доверие.

Собрав на следующий день персонал хирургического отделения, я сказал:

— Товарищи, вам известно, насколько серьезна предстоящая операция. Ответственность за нее, в частности за антисептику, возложена на меня. Должен сказать, что я всем вам доверяю. Всем и каждому в отдельности. Никаких проверок устраивать я не буду. Как работали, так и работайте. Это, товарищи, мое единственное распоряжение ответственного за операцию.

Я услышал: «Правильно!», увидел улыбки, просветлевшие глаза.

Орджоникидзе поступил в больницу лишь вечером накануне операции.

Он шел коридором в защитного цвета тужурке, в сапогах, осторожно ступая, как бы опасаясь спугнуть больничную тишину. Рука держала разбухший портфель. Больного сопровождал мой давний товарищ, заведующий хирургическим отделением, умница Алеша Очкин.

В первый миг нарком мне показался незнакомым. Внове была желтизна щек, не разрумяненных даже с морозца, и некоторая излишняя полнота. Буйная шевелюра исчезла, была начисто сбрита. (Орджоникидзе, как я позже узнал, расстался с ней перед поездкой в Германию.) Однако нависающий орлиный нос остался прежним. Не изменились и крупные, блестящие, как спелые черные вишни, глаза, вовсе не больные, не усталые.

Ко мне обратился Очкин:

— Вы еще не знакомы с нашим больным?

Я молча поклонился. Нарком остановился.

— А, единомышленник... Добрая примета...

О чем он? Не принял ли меня за кого-либо другого?

— Единомышленник? — переспросил я.

— Ну да... По вопросу, бывает ли счастливая рука. Не позабыли?

Я снова лишь кивнул, удивленный его памятью на лица. Узнал меня через восемь лет, узнал, несмотря на белый халат, белую шапочку! Нарком продолжал:

— Хитра судьба-злодейка.

Я бодро ответил:

— Сергей Петрович Федоров не признает никакой судьбы-злодейки. И нам не позволяет... Пойдемте...

На секунду я запнулся, не зная, какое употребить обращение: то ли «товарищ нарком», то ли по имени-отчеству? Нарком понял мое замешательство.

— Называйте меня попросту: товарищ Серго,— предложил он.

Это не прозвучало фразой. В его манере действительно не было никакой важности, ни одного признака сановности. Я посмотрел на портфель в руке наркома.

— Это, товарищ Серго, придется оставить.

Однако тут больной решил по-своему.

— Не могу, товарищ доктор. Немного должен поработать, закончить...

Через некоторое время он, переодетый в больничное белье, уже лежал в отведенной для него палате.

Меж тем в больницу приехал Федоров. Сверкая лысиной, оставляя за собой запах крепких духов и сигарного дыма, пропитавшего усы, неизменно величавый, он прошагал к Орджоникидзе. Осмотрев больного в последний раз перед операцией (этот осмотр происходил без меня, и я ничего, к сожалению, о нем не смогу рассказать), Сергей Петрович пришел в ассистентскую.

— Не знаю, Антонио, как быть,— произнес он.— Завтра чуть ли не пол-Москвы собирается на операцию.

Я воскликнул:

— Как так? Никого не пускать! Будем, Сергей Петрович, работать без посторонних, как в своей клинике.

— Но как откажешь? Просятся большие лица.

— Не пускать! — повторил я.— Если вам это сделать неудобно, ссылайтесь на меня: есть-де ответственный за операцию. Он не разрешает.

— Гм... Лечащих врачей надо же пустить. Некорректно отказать. Тем более оба написали возражение.

— Против операции?

— Да... Пожалуй, и к делу успели уже подшить.

Федоров сопроводил эти слова тонкой усмешкой. Я не сдержался, чертыхнулся. Черт возьми, не с легким сердцем приступишь к операции, имея за спиной два изложенных в письменной форме возражения.

— Спокойствие, Антонио, спокойствие... Будем держать себя по-рыцарски.

— Хорошо. У них есть право. Пусть присутствуют.

— Однако и рыцарям,— продолжал Федоров,— не обязательно быть дураками. Пригласим и наших приверженцев.

— Кого?

— Ну, Розанова. И еще бога Саваофа.— Федоров снова усмехнулся. Богом Саваофом звался из-за огромной бороды один старый большевик, влиятельный, знающий медик.— Хотя на бога завтра мы, Антонио, надеяться не будем.

Так был решен вопрос о том, кого завтра допустить на операцию.

Вскоре Федоров уехал до утра. Орджоникидзе продолжал мирно пребывать в своей палате.

Впрочем, мирно ли? Протекал час за часом, а он не гасил у себя свет. Наконец, после того как пробило одиннадцать, я к нему наведалься.

Устроившись на кровати полулежа, он, в распахнутой нижней рубаше, читал с карандашом какие-то отстуканные на машинке материалы. На столике находилось несколько книг. Одна или две были раскрыты.

— Товарищ Серго, надобно спать. Так к операции не готовятся.

Ответом послужила улыбка. В ней было и смущение, и извинение перед доктором, и что-то совсем иное, как бы взгляд издали, откуда больничные порядки, возможно, кажутся совсем малозначительными.

— Исправляю стенограмму,— объяснил нарком.

Он перевернул лицевой стороной вверх, показал мне уже отработанные страницы. На первой я увидел карандашный заголовок: «О борьбе с бюрократизмом». На следующей строчке значилось: «Речь на районной партийной конференции». Далее лист был испещрен поправками.

— На сегодня хватит,— продолжал настаивать я.— К утру вы должны выспаться.

— Завтра вы меня зарежете,— как и недавно, нарком говорил шутливо,— а товарищи станут меня ругать: «Выступил на конференции, а выправить стенограмму не потрудился». И будут правы.

Я подхватил шутку:

— Не зарежем. Не разбойники.

Но нарком уже был серьезным. Большие, сейчас утомленные глаза обратились к странице, на которой я его застиг.

— Тыфу, черт... Разве уснешь, когда столько переврано?

Продолжая исправлять стенограмму, он извиняющимся тоном вновь сказал:

— Не могу, доктор, подвести товарищей.

— Товарищ Серго, постарайтесь закончить поскорей.

— Постараюсь, постараюсь...

И все же застекленная фрамуга над дверью палаты еще долго светилась.

Невыспавшийся Орджоникидзе утром выглядел неважно. На операционный стол его взяли очень бледным.

Вы уже знаете, что у Федорова на этом белом поле боя были свои святые правила: никакого перешептывания, ни одного лишнего слова или жеста. Нас, участников операции, было четверо: сам Сергей Петрович, два его ассистента и Очкин, выполняющий обязанности наркотизатора.

Кроме того, несколько поодаль стояли еще четыре врача: известный московский хирург Розанов, два профессора, которые лечили наркома, и бог Саваоф. Разумеется, сейчас огромная борода Саваофа пряталась под марлей. Антисептическими масками были закрыты и все другие лица (в нашем деле это именуется: полная панцирность), виднелись лишь глаза.

Тишина. Больной лежал молча с полуопущенными веками. Движением головы, обращенной к Очкину, Федоров повелел давать наркоз. Операция началась.

Мы обнажили операционное поле. Сильной короткопалой рукой Федоров как бы провел легкую черту, сделал широкий боковой разрез, открывающий доступ к почкам с той стороны, где они не прикрыты брюшиной. В хирургии этот боковой разрез и поныне зовется федоровским. Знаток топографической анатомии, Федоров первый в истории медицины предложил идти именно этим путем к сокровенным, фильтрующим кровь органам. Мы, его ассистенты, быстро накладывали зажимы, осушали рану, помогали оператору.

Уже частью рассечены, частью раздвинуты мышцы. Приоткрылись почка и ведущая к ней мощная, толщиной приблизительно в мизинец, пульсирующая сосудистая ножка. Хирург продолжает свою точную работу. Наконец он осторожно приподнимает почку, извлекает ее на свет, еще живую, не отделенную от тела.

Боже! В руке у Федорова совершенно здоровая почка. На ней нет ни малейшего изъязвления, ни одного гнояного пятнышка, никакого признака туберкулеза.

Тишина не нарушалась. И все же я ощутил, как все, кто присутствовал на операции, словно единым движением подались вперед, впились глазами в то, что находилось в руке Федорова.

Сергей Петрович посмотрел на меня. Мне показалось, что он хочет что-то прочесть в моем взгляде.

Что же он мог прочесть? Только мое смятение.

Множество раз я ассистировал Федорову, множество раз сам делал схожие операции, но дотоле не видел, чтобы больная почка имела такой здоровый вид. Подобные случаи не упоминались и в классическом труде Сергея Петровича.

Стряслась ошибка. Одна из тех, которые знал и Пирогов. Недаром, недаром же он озаглавил свою являющуюся криком сердца статью «Рассуждение о трудностях хирургического распознавания и о счастье в хирургии».

Хирургическое распознавание... Вот сколь оно обманчиво! Прделаны десятки исследований, биологических проб, а почка — мы ее видим воочию, Федоров держит ее в руке, — почка здорова.

А если ошибка заключается в том, что туберкулезом поражена не эта, левая, а другая почка? И мы удалим здоровую и оставим одну больную? Тончайшая методика Федорова, позволяющая изучать состояние каждой почки в отдельности, исключала, казалось бы, такую возможность, но все-таки, но вдруг... Ведь в медицине, в хирургии, еще так много непонятого и неизвестного.

Помню, в ушах зазвучала совсем не подходящая к этой напряженной минуте хоровая песенка, которую я как-то слышал под Воронежем:

Почему? Да потому...
Отчего? Да оттого...

Ошибка, которую мы бессильны объяснить.

Но как же быть? Не доводить, не доводить дело до беды! Приостановить, прекратить операцию! Положить почку на место, зашить рану. Скорее, скорее это сделать!

Думается, именно это выражал, кричал мой взгляд. Федоров продолжал на меня смотреть. Неожиданно его серые глаза под безукоризненно прозрачными стеклами прищурились. Не проскользнула ли в тот миг под белой маской его умная усмешка.

Он скомандовал:

— Клемм!

Эта команда означала: Федоров принял решение продолжать операцию. Его колебания длились лишь несколько мгновений. Удобный мощный клемм системы Федорова сжал сосудистую ножку, пресек ток крови.

Взмах скальпеля... Почка отделена.

Далее предстояло наложение петли из крепкой шелковой нити на отверстые стволы сосудов, перевязка сосудистого пучка. Это ответственный момент операции. Подается команда: «Снять клемм!» — и, как только перерезанный пучок освободится от зажима (именно в этот самый миг!), затягивается петля.

Федоров произнес эту команду. Я раздвинул, потянул на себя клемм. Внезапно рука Федорова дрогнула, он на мгновение опоздал. Взвилась, засвистела тонкая струя крови. Приученные не действовать без приказа, мы, оба ассистента, замерли. В таких случаях, когда из крупной артерии начинает фонтаном бить кровь, большой в две-три минуты может погибнуть на столе.

Федоров не потерял самообладания. Удерживая правой рукой выскальзывающую, подернутую жиром сосудистую ножку, он быстро ввел левую руку глубоко в рану и там втемную сразу нашел и сжал брюшную аорту. Кровотечение тотчас прекратилось.

Это был, как говорят французы, «ку де метр» — удар мастера — мастера топографической анатомии. Вновь прозвучали приказания нашего старого учителя. Пучок был перевязан. Все произошло молниеносно. Лишь красные брызги на белоснежных простынях и халатах да ничтожное пятнышко крови на стеклышке пенсне Сергея Петровича напомнили о грозной минуте.

Пожалуй, только тогда я понял, почему Федоров согласился оперировать лишь со своими ассистентами. Другие, не высколенные им, кинулись бы помогать, могла возникнуть гибельная суета.

Операция шла к концу. Удаленная почка, на которой по-прежнему нельзя было заметить ни единого внешнего свидетельства болезни, уже лежала в тазике. По неписаному закону хирургии никто, кроме оператора, не смел первый к ней притронуться.

Предоставив нам осушать и зашивать рану, Федоров взял почку и пошел к окну. Походка была не совсем твердой, сдернувшая марлевый панцирь рука слегка дрожала.

Скальпелем он рассек почку. И вдруг улыбка — не та, слегка ироничная, тонкая, что нередко возникала

под усами, а совсем иная, проступившая и в крупных губах, и в крыльях породистого носа, и в заблестевших глазах, озарила лицо Федорова.

Протянув руку, он показал рассеченную почку. В разрезе были ясно видны три углубления с изъязвленными краями, три туберкулезные каверны. Обсеменя организм палочками Коха, они создавали страшную опасность.

Такова была эта операция. Старый русский хирург, создатель школы, поверил не внешнему виду, не впечатлению, а исследованию, методу, науке. В ту минуту, когда он колебался, подверглись испытанию все его убеждения врача, преданность той хирургии, что, по его выражению, претендует быть научной.

Отложив почку, сдвинув со лба белую шапочку, сняв прозрачные перчатки, он не спеша протер меченное кровью стеклышко, достал сигару.

14

Осталось досказать немного.

Спустя час к больному вернулось сознание. Мы, оба ассистента, находились в палате. Он застонал. Крошка пытался своими сильными ручищами уложить его повыше, поудобнее. Больной вскрикнул.

— Потерпите. Скоро станет легче,— сказал я.

Возможно, ему, закаленному бойцу революции, полагалось бы и сейчас найти в себе силы для бодрого ответа, для шутки, но он страдал, как самый обыкновенный человек.

— Больно... Больно...— вырвалось у него.

Почти месяц я провел у постели Орджоникидзе. Об этом месяце надо бы особо рассказать. Но теперь я выделю только один случай.

Нарком поправлялся медленно. Его навещали друзья, родные. Несколько раз побывал Киров, наезжавший из Ленинграда. В больнице постоянно дежурила жена наркома, бывшая учительница из сибирского села, крепкая, мужественная, неговорливая. Она не тербила нас расспросами, но всегда была готова чем-либо помочь. Мы ее почти не замечали, но, едва случалась нужда в ее содействии, она, незримая помощница, тотчас появлялась.

Однажды, примерно недели через полторы-две после операции, меня вызвали в проходную, сообщив, что

какой-то старик из Дагестана просит свидания с наркомом. Пришелец оказался почетным стариком (у горцев существует это звание, даруемое одноаульцами). Вид седого сухощавого дагестанца несколько меня смутил. Одет он был красочно, но чрезвычайно бедно. На выцветшей ветхой черкеске, украшенной газырями и красным башлыком, виднелись заплатки. Обувь была и того хуже.

— Нарком вас знает? — спросил я.

— Наш аул известен князю бедных,— с достоинством ответил старик.— Во время войны против господ он нас поднял своим словом. Теперь мы узнали, что он болен, и я к нему приехал со словом от аула. Оно поднимет большого орла.

Я пошел к Орджоникидзе.

— Товарищ Серго, к вам хочет пройти довольно странный старик из Дагестана. Мы затрудняемся: пустить или не пустить?

— Конечно, пустите. А чем же он странный?

— Очень уж плоховато одет. Черкеска чуть не рассыпается.

Неожиданно Орджоникидзе побагровел. Нависающий нос, щеки, раздвоенный подбородок — все налилось кровью. Черные глаза приобрели грозный блеск. Я не раз слышал, что нарком вспыльчив, но впервые видел его в гневе.

— Какого черта! — Он стукнул по больничной тумбочке так, что задребезжали мензурки и стаканы.— В какой стране вы изволите, товарищ, жить?

Я молча выслушал его нагоняй. Вспышка миновала. К смуглому лицу постепенно вернулась послеоперационная бледность.

— Если уж обращать внимание на одежду,— успокоившись, сказал нарком,— то лишь в пользу того, кто не имеет хорошего костюма. А то какого же черта мы называем себя рабоче-крестьянской властью?!

Пропуская старика, не сразу согласившегося закрыть газыри белым халатом, я попросил, чтобы он пробыл у больного не более десяти минут. Но прошло и десять, и двадцать минут, а Серго не отпускал дагестанца. Порой из-за двери доносился хохот; впервые в больнице нарком так от души, так заразительно смеялся. Выждав полчаса, я приоткрыл дверь. Больной или, вернее сказать, выздоравливающий, обряженный в синюю больничную фланель, сидел на постели и, подавшись

грузноватым корпусом к гостю, слушал его оживленную речь. Беседа явно доставляла удовольствие обоим. Заметив меня, Орджоникидзе в ответ на мои знаки отмахнулся.

Без малого час он держал у себя старика. Потом вместе с ним вышел (к тому времени Серго уже мог немного ходить) и, обняв за плечи, что-то с улыбкой на ходу досказывая, проводил к лестнице. Затем постоял у окна, глядя во двор. Вероятно, выходявший из больницы дагестанец обернулся. Энергичным движением Орджоникидзе поднял обе руки, посылая прощальный привет.

Мне вспомнилась минута, когда вот так же, с поднятыми руками, он жизнерадостно воскликнул: «Назовем Владимиром, в честь Ленина!»

По какому-то удивительному совпадению день его встречи с почетным стариком стал переломным в ходе выздоровления. Словно хлебнув неведомого нам лекарства, нарком быстро пошел на поправку. А быть может, и впрямь слово, принесенное с далеких гор, где когда-то во главе с «князем бедных» сражались первые красные отряды, подняло больного орла?

15

Несколько лет спустя в зале Военно-медицинской академии отмечался юбилей Федорова, сорокалетие его научной и педагогической деятельности.

Разумеется, было много приветствий, адресов, телеграмм. Не забыл юбиляра и знакомый нам нарком. Он прислал телеграмму: «Обнимаю, благодарю, жму счастливую руку счастливого советского хирурга».

Сергей Петрович, заметно постаревший, но сохранивший и прежние стрелы усов, и всю осанку Федорова Великолепного, то и дело поправлял пенсне, заодно смахивая с глаз влагу.

Был оглашен и приказ народного комиссара по военным и морским делам. В частности, приказ гласил:

«Несмотря на то что профессор Федоров занимал видное положение в старой России и был с ней связан целым рядом служебных и иных взаимоотношений, он с первых дней Октябрьской революции, как истинный ученый, стал активно работать в стенах Военно-медицинской академии, перешедшей в руки Рабоче-Крестьянской Красной Армии... В ознаменование сорока-

летнего юбилея профессора Федорова Революционный Военный совет СССР постановляет: присвоить его имя 1-й хирургической клинике Военно-медицинской академии».

Приветствия наконец были исчерпаны. Долго не стихали аплодисменты, когда наш учитель поднялся для ответного слова.

Вначале он всех поблагодарил. Его уже старческий голос был более глуховат, чем обычно. Федоров волновался. Припомнив свою давнюю статью «Хирургия на распутье», он сказал, что ныне работает над книгой «Пути советской хирургии». Мы, его ученики, знали об этой готовящейся книге. Отрицатель волшебства и наития в своей благородной профессии, Федоров предвидел будущий подъем и расцвет хирургии, опирающейся на исследовательские институты, экспериментальные научные центры, лаборатории, щедро создаваемые по всей стране.

— В свое время народная власть отнеслась ко мне с доверием,— продолжал он.— С гордостью называя себя советским врачом, я хочу в этот большой для меня день поговорить...

На миг ему изменило дыхание. Мы ждали: о чем же он скажет в такой день?

— Хочу поговорить о счастье в хирургии. Существует мнение, что есть хирурги счастливые и хирурги несчастливые. На основе опыта всей моей жизни я пришел к иному взгляду.

Голос постепенно становился ясным. В свете электричества поблескивала правильно округленная, красивая голова.

— Пришел к иному выводу,— повторил Федоров.— Есть хирурги внимательные, серьезно подготовленные к своему призванию, тщательно исследующие каждое страдание, которое вызывает к их вмешательству, глубоко вдумчивые, всесторонне оценивающие показания к операции. У таких хирургов бывает счастливая рука. А те, кто пренебрегает высокими требованиями научной хирургии, даже не всеми, но хотя бы какими-либо из них, те всегда будут несчастливыми хирургами.

После своего большого дня Федоров прожил недолго. В 1935 году мы похоронили его, хирурга-ученого, познавшего тайну счастливой руки.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ



Р О М А Н

Изучая жизнь Александра Леонтьевича Онисимова, беседуя с людьми, более или менее близко его знавшими, я установил, что первая неясная весть о его смещении пронеслась еще летом 1956 года.

Молва эта поначалу не подтвердилась. Шли дни, сменялись месяцы, Александр Леонтьевич оставался главой Комитета. Однако уже в сентябре секретари и референты Онисимова узнали, что (употребим характерное выражение времени) *решение состоялось*: Александру Леонтьевичу отныне предназначена дипломатическая деятельность, он вскоре уедет в одну из стран Северной Европы. Уже от многих можно было услышать об этом.

От многих. Но не от самого Онисимова. Он по-прежнему ровно в девять утра входил в свой кабинет на втором этаже здания Совета Министров в Охотном ряду. К приходу Александра Леонтьевича на его письменном столе лежали, как обычно, суточные сводки о работе заводов черной и цветной металлургии, о добыче нефти и угля. Опустившись в дубовое кресло с жестковатым, крытым искусственной кожей сиденьем (сотрудникам Онисимова давно известны его вкусы, нелюбовь к дорогой мебели), он надевал очки, — с некоторых пор они уже требовались ему при чтении. Стеклами и массивной оправой скрадывались темные полукружия под глазами — след многолетнего недосыпания. Его будто выточенное лицо, — столь безупречно правильны были все черты, за исключением, пожалуй, лишь верхней губы, несколько впалой, коротковатой, — склонялось над столбцами цифр. Маленькая, белая, чуть с желтизной,

рука, вооруженная карандашом, порой быстро подчеркивала ту или иную цифру. Худощавые пальцы чуть тряслись. Нет, это не была старческая дрожь — Онисимову исполнилось лишь пятьдесят четыре года, отдельные седые ворсинки терялись в его каштановых волосах, разделенных надвое пролежавшим слева, всегда безукоризненно прямым, будто выведенным по линейке, пробором. Неотвязная тряска пальцев преследует Онисимова уже несколько лет. В спокойные часы дрожь почти незаметна, она усиливается, когда Александр Леонтьевич раздражен.

Медицина не сумела излечить эту странную болезнь. Впрочем, Александр Леонтьевич пренебрегал медицинской, предписаниями врачей. Дрожат пальцы — и черт с ними! Не обращать внимания! Тем более что подергивание пальцев ни в малой степени не отразилось на его великолепном каллиграфическом почерке, выработанном еще в отрочестве, когда с пятого класса коммерческого училища он сумел найти грошовый заработок в переписывании бумаг. Вот и сейчас все его пометки совершенно четки, каждая возникающая из-под карандаша черточка тверда. Карандаш Онисимова тоже памятен его подчиненным, неизменно самый жесткий, отточенный, как пика.

Левая рука время от времени тянулась к постоянно лежавшей на столе коробке сигарет «Друг» с оттиснутой на крышке мордой пса. Не отрывая взгляда от машинописных строк, Онисимов чиркал спичку, с привычной жадностью затягивался. Он впервые закурил уже немолодым, в 1938 году, в дни, когда решалась его участь. Закурил — и с тех пор не мог отвыкнуть.

Непогашенный окурок еще дымится в пепельнице, а Онисимов уже зажигает следующую сигарету. Верный своему стилю — стилю управления, что отшлифован десятилетиями, — Александр Леонтьевич отнюдь не ограничивается изучением бумаг. Знакомясь со сводками, он то и дело поворачивается к телефонному столику, звонит по *вертушке*, — этим словечком именуются телефоны особой правительственной сети, — соединяется с министрами, с начальниками главков, требует ответа: почему снизилась выплавка на таком-то заводе, почему не изготовлен в срок заказ номер такой-то, из-за чего продолжается «непопадание в анализ» новой марки стали? Не довольствуясь объяснениями из министерских кабинетов, следуя правилу ничего не брать на веру,

он нетерпеливо нажимает кнопку звонка, приказывает явившемуся мгновенно секретарю связать его, Онисимова, с заводом, вызвать к телефону директора или начальника цеха, а порой даже и мастера. У них, заводских людей, Онисимов перепроверяет услышанные по вертушке объяснения. Знать дело до последней мелочи, знать дело лучше всех, не доверять ни слову, ни бумаге — таков был его девиз. Держать *аппарат* в напряжении — так он сам определял свой метод.

С суточными сводками покончено. Просмотрены и телеграммы. В раскрытом большого формата блокноте с черным грифом на каждом листе: «Председатель Государственного Комитета по делам металлургии и топлива Совета Министров СССР»¹ сделано несколько записей, — этими вопросами Александр Леонтьевич в течение дня еще будет заниматься. Из стола он вынимает папку с материалами о внедрении автоматики в металлургию. Вскоре он погрузится — в который уже раз! — в изучение графиков поставки оборудования, графиков монтажа, пуска, освоения, опять будет звонить, вникать в каждую мелочь, нажимать на Госплан, на машиностроительные министерства, вызывать своих помощников, давать им поручения.

На круглом столе, что стоит у стены рядом с книжным шкафом, заполненным томами Технической энциклопедии, толстыми справочниками по черной и цветной металлургии, минеральному топливу, химии, геологии, аккуратно сложена пачка газет. «Правду» Онисимов внимательно прочитывал дома, — прочитывал, задымив первой сигаретой, — «Известия» и «Комсомолку» просматривал в машине, когда ехал на работу. В служебном кабинете его ждали другие московские газеты. Здесь же на круглом столе высилась пачка ежедневной прессы промышленных районов — газеты Донбасса, Днепропетровщины, Урала, Закавказья, крупнейших индустриальных центров Сибири и Дальнего Востока. Вся эта местная печать уже проработана секретариатом, подготовлена для Онисимова, — цветными карандашами отмечено все, что может его заинтересовать.

¹ Название комитета вымышлено, как и названия некоторых других учреждений. Действующие лица, за исключением тех, которые названы подлинными именами, являются собирательными образами. Кроме того, видоизменены отдельные симптомы заболевания, о котором говорится в романе. — *Примеч. автора.*

Рядом лежат реферативные журналы Академии наук и присланные Институтом информации переводы статей из иностранных технических журналов (Онисимов владеет лишь английским). Сюда же кладутся и новинки «Металлургиздата» и «Углеиздата». Ни одна книга, ни один журнал не убираются с круглого стола, пока это не делает сам Онисимов.

Покинув свое кресло, он по безукоризненно наощенному паркету, не прикрытому ковром, — Онисимов не жалуется на ковры, считая их предметом роскоши, — идет к этому столу. Красивая голова Александра Леонтьевича очень крупна, — крупна даже и при этом немалом, выше среднего роста. Шея, однако, недостаточно длинна. Из-за этого кажется, что он словно бы в вечной опасности вобрал голову в плечи. Порой, когда он сидит, его можно принять за горбуна. Нет, он идет не горбясь. Его шаг энергичен, хотя несколько тяжеловат. Не дойдя, Онисимов вдруг приостанавливается. Поникла большая его голова. Уже раз-другой случалось, что тот или иной секретарь, открыв невзначай дверь, заставлял Александра Леонтьевича в такой позе, — застывшего посреди кабинета, куда-то унесшегося мыслями. По должности Онисимов обязан заниматься и перспективами, завтрашним днем индустрии, но думы тянут в прошлое. Картины прошлого, неведь как пришедшие на память, порой несвязные, все чаще завладевают им.

Так он и стоит, — одетый в неизменно темный, в полоску, костюм, в свежую белую сорочку со всегда твердым накрахмаленным воротничком, с темным скромным галстуком. Однажды сын Андрюша, начитавшись Диккенса, сказал ему: «Папа, ты одет, как английский клерк».

Печальный взгляд зеленоватых глаз устремлен на круглый стол. К чему теперь все это Онисимову? Вот эти книги — «Бурение скважин», «Магнитное обогащение», «Трубосварочные стены»? Или вот этот новый номер «Угля»? Не сегодня, так завтра он распростится с углем и со сталью, оставит этот пост, этот кабинет.

Усилием воли Онисимов стряхивает оцепенение, присаживается, надевает очки, придвигает газеты, включается в работу.

Его сотрудники поражены. Александр Леонтьевич руководит с прежним напором, с прежней остротой. Он проводит, как и раньше, совещания, добирается, докапывается до мельчайших подробностей дела, по-

прежнему требователен, резок, ничуть не утрачивает (прибегнем опять к словарю времени) *оперативности*, знакомится со всей специальной литературой, подготавливает наметки семилетнего плана, досконально проверяя обоснование каждой цифры, словно ему предстоит еще годы возглавлять топливную промышленность и металлургию.

...Мелькали дни, сменялись месяцы, зеленоглазый, всегда свежевыбритый, подтянутый, строгий человек, председатель Комитета продолжал работать, источать волю, энергию, держать аппарат под напряжением.

Лишь поздней осенью, незадолго до тридцать девятой годовщины Октября, Онисимов получил давно ожидаемый пакет. Ножницами вскрыв конверт, он прочел бумагу. Да, как он и предполагал, просьба, с которой он, инженер-прокатчик, обратился в Центральный Комитет,— просьба предоставить любую работу по специальности,— не принята во внимание. С этой минуты он поступил в распоряжение Министерства иностранных дел.

Теперь следовало проверить, все ли будет оставлено в ажуре тут, в этом кабинете, куда он уже не вернется. Выполнить последние служебные обязанности, последний долг. И он еще занимается некоторыми важнейшими делами, опять звонит по вертушке, допытывается, выясняет, подхлестывает, распоряжается.

Потом минуту-другую молча курит. И снова берется за телефонную трубку. Необходимо доложить, так сказать, по инстанции, что он сдает пульт управления.

Онисимов соединяется по вертушке с заместителем Председателя Совета Министров Тевосяном, который наряду с другими своими обязанностями *курует* и несколько государственных комитетов.

— Иван Федорович, решение получил. И подбил итоги. Позволь откозырять.

Давние товарищи, они разговаривали на «ты». Тевосян сказал:

— Добро. Когда думаешь явиться к дипломатическому своему начальству?

— Сегодня же, если не возражаешь.

— Зачем же сегодня? К чему уж так спешить? Но вообще-то правильно делаешь, что не задерживаешься.

В этих спокойно произнесенных словах Онисимов улавливает не только совет дружески расположенного старшего товарища, но и *указание*. Далее Тевосян

касается некоторых деловых тем, выслушивает ответы. И в заключение говорит:

— Наверное, до твоего отъезда повстречаемся. Позванивай, не забывай.

Вот разговор и закончен. Александр Леонтьевич еще раз оглядывает письменный стол, кабинет.

Ну, кажется, хватит: можно ставить точку. Все дела, которые примет на ходу заместитель,— и текущие, и перспективные,— ясны. Есть, правда, еще одно,— отнюдь не самое важное, не принадлежавшее к тем, что записаны в правительственных директивах, но для Онисимова все-таки особенное. Опять без спросу вторгается картинка прошлого. Александру Леонтьевичу видится загорелое горбоносое лицо Петра Головни, или, как его еще зовут, Головни-младшего. Складка губ упряма, под скулой ходит желвак,— таким он, Головня-младший, директор завода имени Курако, выглядел в ту памятную июльскую ночь 1952 года, когда дерзнул на заседании обличать Онисимова. И Онисимов был вынужден... Да, именно вынужден. Впрочем, к чему вспоминать? Не однажды он уже замечал за собой этакое: всплывают — и вовсе некстати — сдвинутые брови, безбоязненный упрямый взгляд, тяжеловатая нижняя челюсть Петра Головни. Что поделаешь, у Александра Леонтьевича есть свои, от всех скрытые обязательства перед этим инженером-доменщиком, директором завода. Так сказать, обязательства совести.

Однако сейчас Онисимов, пожалуй, уже не имеет права использовать свою власть главы Комитета. Несколько мгновений он колеблется. Затем опять снимает трубку, звонит министру тяжелого машиностроения, расспрашивает, как идет изготовление мощной воздуходувки для завода имени Курако. Заказ министру известен. Известен и Головня-младший, запросивший такого рода внесерийную, необычайно могучую и вместе с тем малогабаритную машину, которая встала бы по месту в тесноте старой Кураковки. Председатель Комитета тотчас получает требуемую справку: заказ выполняется по графику, примерно через месяц начнется монтаж, затем испытания.

— Последи, пожалуйста, сам за этим делом,— говорит министру Онисимов.— Вовремя закончи, отгрузи. Пошли лучших монтажников.

— Есть! Записываю. Будьте спокойны, Александр Леонтьевич.

— Не подведи. Для меня это дело чести. Мне, возможно, вскоре придется уехать...

Собеседник принимает эту весть без удивления, ограничивается кратким:

— Угу...

Знает, наверное, о его отъезде в тихую чистенькую страну. Александр Леонтьевич продолжает:

— Постарайся по всем статьям дать попадание в анализ. Качество, сроки и все прочее. Отнесись к этому, как к личной моей просьбе.

— Есть! Ставлю три восклицательных знака, Александр Леонтьевич!

Это был, если не ошибаемся, последний телефонный разговор, который Онисимов вел из своего, верней, уже из бывшего своего кабинета.

Затем он нажал кнопку звонка. На вызов вошел, — как всегда, почти бесшумно, — заведующий секретариатом Серебрянников. Худощавый, низенький, он остановился у стола, чуть склонив наголо бритую, рано полысевшую голову. Его связывал с Онисимовым почти двадцатилетний путь секретаря; вместе с Александром Леонтьевичем он перебрался и сюда, в здание Совета Министров, давно научился схватывать на лету, угадывать, в чем нуждается его начальник, умел незаметно подсказать тот или иной ход, отлично составлял самые важные бумаги, был безукоризненным помощником.

Онисимов встал:

— Разрешите представиться. Советский посол в Тишландии.

Он мог шутить даже в эту минуту, — окрестил Тишландией страну, куда ему надлежало ехать. Тотчас он выговорил и ее точное наименование. Мы, однако, позволим себе воспользоваться его находчивостью, так и закрепим за этим государством условное обозначение Тишландия.

По своей манере Онисимов сразу перешел к делу:

— Садись. Я бы хотел, чтобы на первых порах ты мне помог. Поедешь со мной?

Серебрянников не сел. Его голубые, слегка навывкате глаза были скромно потуплены. Поза оставалась по-прежнему почтительной.

Проницательность не изменила Онисимову. Он все понял мгновенно.

— Предпочитаешь во благовремени расстаться?

— Я думаю, Александр Леонтьевич, что...

— Что будешь мне более полезен, если останешься в Москве?

Да, Серебрянников собирался развить именно такую мысль, подготовил именно этот предлог. Впрочем, предлог ли? Бритоголовый заведующий секретариатом в самом деле полагал, что... ну, как бы сказать? Конечно, пришла пора преобразований. Все понятно. Но кто знает... Обстоятельства еще могут всяко повернуться. И Александр Леонтьевич, смещенный под горячую руку, глядишь, возвратится в тяжелую промышленность. А пока... Пока он, Михаил Борисович Серебрянников, останется здесь как преданный Онисимову человек. При случае будет слать Александру Леонтьевичу письма в эту самую, как тот пошутил, Тишландию. И исполнять здесь поручения, просьбы бывшего главы Комитета. Ну а если дела сложатся иначе, если Онисимову не суждено более работать в индустрии,— что же, Серебрянников будет чист перед совестью, перед людьми и перед вами, Александр Леонтьевич.

Разгадав с полуфразы эту благопристойную непроизнесенную речь, Онисимов сразу отбросил ее. Его бритая верхняя губа приподнялась, обнажив крепкие белые зубы. Подчиненным Онисимова был хорошо известен этот его грозный оскал. В такие минуты Онисимов наотмашь бил беспощадными словами. Рывком взяв сигарету, он зажег спичку. Она плясала в его пальцах. Так и не сумев закурить, он отбросил догоревшую спичку. И сдержал себя.

— Ступай! И пришли мне две общие тетради. Больше ничего мне от тебя не надо.

2

Александр Леонтьевич обедает.

Тускловатый свет московской улицы проникает в широкие окна, окаймленные двойными занавесями,— тяжелыми красноватыми, свисающими вдоль косяков, и белыми шелковыми, что подтянуты к фрамуге. Длинный обеденный стол, вокруг которого разместились двенадцать стульев в полотняных чехлах, покрыт белоснежной скатертью. Лоснится паркет, поблескивает стекло и полировка буфета.

В убранстве столовой не найдешь ни одной индивидуальной особенной приметы. Онисимов равнодушен к

житейским удобствам, к своей многокомнатной квартире. Это безразличие разделяет и его жена Елена Антонова, занимающая немалый пост в Управлении подготовки трудовых резервов СССР.

Хозяева не обставляли квартиру, попросту вместе с этим жильем получили и мебель, размещенную по комнатам чьими-то руками. В гостиную, что находится рядом со столовой, неделями не заходит никто из членов семьи. Там так и высится пианино в полотняном чехле и кресла под такими же чехлами. Красивые цветочные вазы не оживлены цветами, из года в год стоят пустыми. Дети, иногда забегающие к сыну Онисимова Андрюше, не резвятся, притихают в этой квартире. Сюда не приходят гости.

Впрочем, в последние три-четыре года здесь побывали несколько давних товарищей Александра Леонтьевича. Они значились в минувшие времена *репрессированными*, а ныне, после смерти Сталина, — вон на стене висит в золоченой раме его писанный маслом портрет со звездами генералиссимуса на погонах, — покидали лагерь, огражденные колючей проволокой, возвращались из тюрем, из ссылки. Сам Александр Леонтьевич не испил из этой чаши, полоса репрессий, которая вот-вот, казалось, достигнет и его, все же прошла мимо.

Порой тот или иной воскресший товарищ звонил Александру Леонтьевичу. Вымуштрованный секретариат Онисимова строго придерживался правила: если кто-либо, желавший поговорить с Александром Леонтьевичем, скажет о себе «его старый товарищ» или «по личному вопросу», тотчас же докладывать. Однажды Серебрянникову изрядно влетело за то, что в подобном случае он предпочел не отвлекать Онисимова, ведшего совещание в своем кабинете, и лишь позже сообщил о звонке.

Правда, звонки такого рода были редки. Отрываясь от любого дела, Онисимов брал трубку, радушно здоровался, тепло расспрашивал, — самый чуткий, обостренный страданиями, унижениями слух не мог бы уловить в его повадке, в его тоне малейшую нотку сановности, — листая свой календарь, выкраивал вечерок, назначал свидание у себя дома. Он за полночь просиживал с пришедшими, вспоминая то, что довелось вместе пережить, перебирая погибших и живых. И неизменно старался что-то сделать для вернувшегося, помогал уст-

роиться, то есть получить приличное жилье, подходящую работу или пенсию.

Затем опять долгими вечерами и днями большие комнаты этой квартиры пустовали. Дюжина стульев, расставленных вокруг стола, так никогда и не служила веселому шумному сборищу. Даже в день пятидесятилетия Онисимова не был приглашен ни один гость, в квартире не нарушалась тишина. «Холодный дом», — так, опять же по Диккенсу, высказался однажды Андрейка. Отца он про себя именует «великим молчальником». По воскресеньям в столовой за завтраком и обедом сходится семья, но общего разговора не завязывается. Порой отец пошутит. Редко-редко он разоткровенничается, о чем-то расскажет, вспомнит что-то вслух.

Сейчас, как и обычно, Александр Леонтьевич ест в одиночестве. Жена приезжает обедать позднее, он — ровно в половине второго. Прошли времена ночных изнурительных бдений, когда в министерствах и комитетах засиживались до четырех-пяти утра, — так работал томимый бессонницей Сталин, по распоряжку его дня равнялся правительственный аппарат. Онисимов обедал тогда по вечерам, а то (домашние помнят эту его шутку), а то и, подобно королю Фридриху Великому, на другой день. Ныне особым указом, опубликованным во всех газетах, запрещено задерживаться на службе сверх восьмичасового срока. Подчиняясь, как всегда, дисциплине, Онисимов все же последним выходил из Комитета. Досужие вечера были ему невмоготу, он захватывал с работы объемистую папку, набитую бумагами, погружался в нее дома.

Сегодня он не принесет эту папку. Нынче он провел в Комитете свой последний рабочий день, попрощался с сослуживцами. Дела принял заместитель, никто вновь не назначен главой Комитета. Это, пожалуй, еще один признак надвигающейся, судя по всему, перестройки. Ее, эту ожидаемую перестройку управления промышленностью, уже называют «революционной ломкой». Особая комиссия занята разработкой предложений... Онисимов не был введен в эту комиссию. И вот теперь... Теперь его вовсе убрали из промышленности. Почему же? Почему?

Он вспоминает о стынувшей перед ним тарелке супа. В руке, следуя тряске пальцев, пляшет ложка, которую он несет ко рту. Всегда умеренный в еде, лишенный

каких-либо качеств гурмана, Онисимов проглатывает суп, не ощущая вкуса.

В сторонке стоит, поглядывает на хозяина домашняя работница Варя в белом, без пятнышка, фартуке, в белой косынке. Варя привыкла, что в будни Александр Леонтьевич всегда ест наспех. По утрам уже слышится его нетерпеливое: «Скорее, скорее, я опаздываю». После обеда, как правило, он ложится на пятнадцать минут. Варя обязана ровно через четверть часа, минута в минуту, постучать ему в дверь. Вечерами он иногда приезжает лишь переодеться, чтобы укатить на какой-нибудь прием. И опять же спешит. Однако в этой спешке никогда не оставит неприбранным снятый костюм, обязательно сам повесит в шкаф. Варя не назвала бы Онисимова молчалником. Он научил ее готовить кофе, заваривать крепчайший чай. Возвращаясь с работы, обычно скажет ей несколько приветливых слов.

Сегодня он обедает медлительно. Хлебнет несколько ложек и задумается. Варе он уже сказал, что больше не требуется следить по часам за его отдыхом, стучать в дверь кабинета. И пошутил:

— Скоро поеду отдыхать в одно царство-государство.

Да, с нынешнего дня он уже не занимается промышленностью. Он не нужен — не нужен тяжелой индустрии, любимому делу. Завтра с утра он перейдет работать в Министерство иностранных дел, будет готовиться к отъезду, к новой своей миссии. А нынче он свободен, непривычно свободен. Почему же? Как могло это случиться?

Да, он высказал мнение, что необходимо соблюсти осторожность, постепенность в реорганизации управления промышленностью, не прибегать к ломке. Да, он защищал целесообразность существования своего Комитета и подведомственных министерств, привел ряд доводов на заседании комиссии ЦК. Его выступление, в котором по своей манере он ограничился лишь сугубо деловыми соображениями, было встречено молчанием. Но ведь там происходило лишь самое предварительное обсуждение. Любое решение — кто в этом может усомниться? — он принял бы как дисциплинированный, верный член партии. Почему же, почему же его убрали из промышленности?

Варя приносит второе. Она видит: Александр Леонтьевич очень бледен. Румянца он, впрочем, словно

никогда и не знал, не розовел даже на морозе, но сейчас обычная, с легкой примесью живой коричневато-сти, его бледнота сменилась землистым оттенком. Что с ним? Онисимов ощущает неприятную сухость во рту. Красивого разреза, большие, с желтизной в белках, глаза отыскивают графин с водой на буфетной стойке. Замашки барина ненавистны Онисимову. Он никогда дома не скажет «принесите мне», «подайте мне», сам встанет и возьмет. Так встает он и теперь. Делает шаг-другой к буфету.

Перед ним вдруг все темнеет, ему недостает воздуха, рука судорожно тянется к накрахмаленному воротничку, он пытается удержаться на ногах, хватается за стул и, роняя его, тяжело оседает на паркет.

3

Полчаса спустя у Онисимова в его домашнем кабинете уже сидит Антонина Ивановна Хижняк — опытная седоватая громкоголая женщина-врач. Когда-то она носила военную форму, провела годы минувшей войны во фронтовых госпиталях и лишь затем стала работать в лечебнице Совета Министров, именуемой запросто «Кремлевкой».

В течение последних шести или семи лет Антонина Ивановна занимается здоровьем Онисимова. Это трудный пациент. Каждую жалобу из него приходится вытягивать, что называется, клещами. Когда его спрашиваешь: «Что у вас болит?», он с улыбкой отвечает: «Ничего». Вызвать его в поликлинику на профессорский осмотр — предприятие совершенно безнадежное. Антонина Ивановна сама приходила к Онисимову, подстерегала его в обеденный час. Александр Леонтьевич встречал ее как добрую знакомую, держался без малейшей важности, — чего греха таить, в иных квартирах этого огромного жилого здания у Москвы-реки, заселенного по преимуществу высшим служилым составом разных центральных учреждений, ее, старого военного врача, порой коробило обращение свысока, — был живым умным собеседником, вел речь о чем угодно, только не о своих недомоганиях. В кругу металлургов, так или иначе общавшихся с Александром Леонтьевичем, издавна считалось, что у него железный организм. Он и доселе славится физической неутомимостью. Од-

нако Антонина Ивановна знает, что эта его слава далека, очень далека от истины.

Однажды ей все же удалось показать Онисимова известному профессору, создателю и руководителю института терапии Николаю Николаевичу Соловьеву. Общительный, подвижный, в галстук бабочкой, с венчиком седых кудрей вокруг блестящей лысины, похожий скорее на художника или режиссера, чем на медика, он долго выпрашивал, осматривал Александра Леонтьевича. И наконец сказал: «У вас сосуды и сердце семидесятилетнего старика». Настоятельно посоветовав Александру Леонтьевичу изменить режим, он добавил: «А самое главное, избегайте сшибок». — «Каких сшибок?» Профессор объяснил, что термин «сшибка» введен Иваном Павловичем Павловым. Великий русский физиолог, как понял Онисимов, разъяснил явление, которое назвал сшибкой двух противоположных импульсов — приказов, идущих из коры головного мозга. Внутреннее побуждение приказывает вам поступить так, вы, однако, заставляете себя делать нечто противоположное. Это в обыденной жизни случается с каждым, но иногда такое столкновение приобретает необычайную силу. И возникает болезнь. Даже ряд болезней. К слову Николай Николаевич рассказал о некой, специального типа, кибернетической машине. Получая два противоположных приказа, машина заболела: ее сотрясала дрожь. «Возможно, танец ваших пальцев, Александр Леонтьевич, имеет такое же происхождение».

Молча подивившись прозорливости седокурого профессора, Онисимов, однако, с ним не разоткровенничался. Впрочем, откровенных разговоров он, смолodu замкнутый, давно-давно не вел, умел зажать, затаить переживания.

Встреча с профессором ничего не изменила в обиходе, в распорядке жизни Онисимова. Антонина Ивановна много раз настаивала, чтобы он бросил курить. Онисимов отвечал: «Да, да»... А в следующее посещение она опять видела красную коробку сигарет на его столе и окурки в пепельнице. Впрочем, визит Николая Николаевича не прошел совсем без следа: в домашнем кабинете Онисимова на книжной полке появился труд Соловьева «Общая терапия» и толстенный «Терапевтический справочник». Раскрывал ли их когда-нибудь Онисимов, Антонина Ивановна не знала.

Порой она заглядывала в домашнюю аптечку Онисимовых, находила там лекарства, которые давно выписала Александру Леонтьевичу, они покоились нетронутыми. В ответ на укоризненный взгляд Онисимов виновато улыбался,— среди множества выражений, что могли проступить в его улыбке, бывало иногда и этакое: мягкое, обезоруживающее.

Вот и сейчас он сидит перед врачом на диване,— жестком, неудобном, купленном словно для учреждения,— сидит, расстегнув рубаху, оголив белую, подернутую слоем жирка грудь и любезно, спокойно улыбается, будто не он только что свалился в обмороке.

— Ничего страшного, Антонина Ивановна,— произносит он.— Подвернулась нога, оступился, неудачно стукнулся...

В подтверждение он потирает синяк на лбу.

— Нога? — недоверчиво переспрашивает Антонина Ивановна.— Что же, посмотрим ваши ноги.

Онисимов снимает свои безукоризненно начищенные, теплые, на меху, ботинки,— с некоторых пор он плохо переносит холод,— снимает носки, обнажает стопу и голень. Ступни, как и кисти рук, тоже маленькие, почти женские. Уже несколько лет он страдает онемением нижней части ног, в артериях не прощупывается пульс, это заболевание сосудов называется эндартериит. Происхождение эндартериита еще не выяснено медициной, нередко это страдание связано с неумеренным курением. Онисимову трудно ходить,— пошатывает десяток минут и вынужден приостановиться,— трудно подолгу стоять. Антонина Ивановна с неутомимой настойчивостью дважды заставила Онисимова пройти курс лечения. Месяцами изо дня в день по утрам ему накладывали повязки со специальными мазями, он так и уезжал на работу, где, однако, никто не подозревал, что у Александра Леонтьевича забинтованы ноги. Он забросил лечение, откинул бинты, когда обнаружилось, что завод «Электрометалл» не справляется с заданием правительства: выплавить особую жаростойкую сталь для реактивных двигателей. Отложив все другие дела, Онисимов поехал на завод. Там, переминаясь с ноги на ногу, не разрешив себе даже чувствовать боль, он, председатель Комитета, инженер-прокатчик, часами простаивал на рабочей площадке печи, следя с начала до конца за ходом очередной плавки. Каждый вечер он проводил оперативки, учи-

нял перекрестные допросы, докапываясь до сути, до некоего ускользающего икса. И спустя три недели вернулся в Москву с рапортом: исполнена задача, поставленная свыше; получена, льется из печи новая, еще небывалая жароупорная сталь. Но свою фамилию вычеркнул из списка тех, кто был представлен министерством к государственной премии за эту работу. Нетерпимо пресекая попытки подчиненных ему крупных начальствующих лиц, — от министров и до директоров, — как-либо не по праву пристроиться, примазаться (Онисимов в таких случаях не стеснялся в выражениях) к открытиям, изобретениям, усовершенствованиям, которые выдвигались на премию, он не позволил и себе стать лауреатом, хотя по общему признанию этого заслуживал. За ним знавали изречение: «Уж если ты служака, то будь Служакой с большой буквы». И сам он, несомненно, стремился быть таким.

Антонина Ивановна лишь покачала бы головой, если бы кто-нибудь решился предсказать, что ее подопечный без пульса в ногах способен простоять хотя бы полсмены у печи. Она и теперь не понимает, как он мог стоять целыми днями. В стопе по-прежнему не прощупывается пульс. Суставы с трудом гнутся. Она все же их сгибает. Онисимов не покряхтывает, не морщится, будто ему вовсе не больно. Нет, это не железный, совсем не железный организм. Но человек, несомненно, железный.

На большом пальце ноги, — тоже изящном, продолговатом, — когда-то был вырезан кусок ногтя. Антонина Ивановна помнит, как переносил Онисимов эту очень болезненную операцию, — удаление вросшего ногтя. Под ножом он вел себя, как каменный. На ногу была уже наложена повязка, боль усиливалась, ибо анестезирующее средство постепенно переставало оказывать свое действие. Держа руку Александра Леонтьевича, она ощущала его напряжение, пробегающий трепет скрываемой боли. Спросила его: «Ну как?» — «Было больно». — «А сейчас?» — «Ничего...» Из операционной он отправился прямо на работу.

И теперь, конечно, от него не добьешься жалобы. Несколько мужеподобная, обычно шумная, Антонина Ивановна умеет поднять настроение больного. Однако требуется ли это сейчас?

— Вам, Александр Леонтьевич, надо серьезно отдохнуть.

Признаться, она не уверена в своем предложении. Хронический бронхит курильщика, постоянные хрипы, привычный, порою натужный кашель,— все это на отдыхе под солнцем юга, у моря, где Онисимов любил провести отпуск, усугублялось то воспалением легких, то ангиной. Казалось, болезни, которые еще как бы не осмеливались тронуть Онисимова, держались на почтительном расстоянии, когда его дни были отданы работе, вдруг набрасывались, как только он сменял рабочий режим отдыхом.

— Э,— отвечает Онисимов,— отдохну в своей Тишландии.

Впервые у него вырвалось: «в своей». Он тут же прокашливается, чтобы скрыть нотку горечи. Неожиданно кашель становится сильным, мучительным, сухим, сотрясает оголенную грудь. Затем приступ утихает.

— Курение вы обязаны бросить,— говорит Антонина Ивановна. Ее тон категоричен.

Он усмехается:

— Приеду когда-нибудь в Москву и доложу вам: «Вот, дражайшая Антонина Ивановна, я и не курю!»

— Александр Леонтьевич, в таком виде я вас не отпущу. Надо наконец обследоваться.

— Ничего. Поеду.

— Я не могу взять на себя ответственность. Назначим консилиум.

Он отрезает:

— Никаких обследований, никаких консилиумов!

— В таком случае я лично напишу, что по состоянию здоровья вам уезжать нельзя.

— Не смейте! — кричит Онисимов.

За ним водится этот грозный, повелительный крик. Онисимов, как мы упомянули, уже и сам обращался *наверх*, просил дать любую работу по специальности, но получил отказ. Значит, он обязан ехать. Еще никогда — с тех пор как в шестнадцать лет стал членом партии — он не пытался уклониться, ускользнуть от исполнения партийных и государственных решений. Не сделает этого он и теперь.

— Если напишете,— продолжает он,— я вас подведу. Заявлю, что не подтверждаю ваших врачебных заключений. И выкручивайтесь, как знаете. Думаю, лучше, милый доктор, нам не ссориться.

И он снова улыбается — теперь с привычной сар-

кастичностью. Ну что с ним делать? Как поступить врачу?

— Александр Леонтьевич, полежите день-другой. Я вас понаблюдаю.

Онисимов охотно идет на мировую.

— Хорошо. Сегодня полежу.

Антонина Ивановна вновь обретает свою командирскую громогласную повадку.

— Извольте лечь в постель при мне.

— С вашего разрешения я прилягу здесь.

Что же, здесь, возможно, ему будет лучше. Серьезная, грубовато скроенная врачевательница с неудовольствием вспоминает спальню Онисимовых. В середине комнаты расположились две широкие кровати, составленные вместе. По бокам две тумбочки. У стен два платяных шкафа. И все. Будто в гостинице.

Пожалуй, лишь в этом продымленном кабинете можно ощутить некий личный отпечаток. Высятся полки, где выстроились книги по специальности, текущая политическая литература, сочинения Ленина, сочинения Сталина, так и не завершённые изданием, оборванные на тринадцатом томе его смертью. В простенке висит скромно окантованная фотография: Сталин и Серго Орджоникидзе — оба еще молоды, оба в шинелях, оба с черными заостренными усами. Онисимов когда-то сам отдал увеличить этот снимок, сам нашел для него место.

К дивану приставлен круглый столик. На нем рядом с пачкой сигарет и настольной лампой чернеет телефон-вертушка, несколько отличающийся плавными формами от обычных аппаратов. Тут же под рукой лежат и две книги — новинки по истории советской промышленности, — в последнее время Онисимов особенно интересовался этой темой.

Врач соглашается: пусть Онисимов полежит в кабинете.

— Но сначала, Александр Леонтьевич, надо основательно проветрить. Свежего воздуха, пожалуйста, не бойтесь.

Антонина Ивановна встает, чтобы растворить форточку. Нет, он не позволит ей затрудняться этим. Живо поднявшись, Онисимов босиком шагает к форточке. И внезапно бледнеет, тьма застилает зрение, он замирает, тяжело опирается на стол. Несколько мгновений он отсутствует, взгляд мертвенно-недвижен. Затем

усилием воли Онисимов все же возвращается к действительности, погасшие глаза обретают блеск. Врач встревоженно смотрит на него.

— Вы же при мне только что потеряли сознание.

— Что вы? Ничего подобного.

Он опять улыбается насмешливо. И словно говорит: «Ну-ка, что ты со мной сделаешь?» Да ничего сделать нельзя.

Антонина Ивановна наблюдает, как Варя стелет на диване, как Онисимов устраивается на этом неудобном жестком ложе. Вот выписаны и лекарства. С нелегким сердцем, с беспокойной совестью Антонина Ивановна прощается до завтра.

Она медленно идет через гостиную. Окна уже спрятаны под двойными занавесями, в полсвета горит люстра, неярко освещая полотняные чехлы на мебели, фигурные пустые вазы. Обширная комната кажется пыльной, нежилой. Даже будто пахнет затхлостью.

В прихожей врач неожиданно встречает Елену Антоновну. Жена Онисимова только что вошла,— статная, даже, что называется, дородная, седая, в строгом сером пальто, в шапочке серого каракуля. Антонина Ивановна редко с ней общается, не застаёт ее дома, когда посещает Онисимова. Порой женщины разговаривают по телефону. На вопрос о здоровье, самочувствии мужа Елена Антоновна обычно отвечает: «Сейчас пойду узнаю». Станный ответ. Живут под одной крышей, в одной спальне и... «пойду узнаю».

Теперь от волнения и спешки Елена Антоновна чуть запыхалась:

— Антонина Ивановна, что с ним?

Видны ее хорошо сохранившиеся мелкие зубы. Удивительно, что при столь крупном сложении зубы могут быть такими мелкими.

— До крайности истощена нервная система,— отвечает врач.— Это отражается на всем. Сегодня он потерял сознание.

И словно с кем-то споря, словно стремясь кого-то убедить, Антонина Ивановна упрямо добавляет:

— Даже дважды.

Серые глаза жены смотрят встревоженно. Обе ладони стискивают руку врача.

— Неужели... Неужели так серьезно?

— Не знаю. У меня нет ясности. Считаю, что ему надо лечь в больницу для обследования. Он не согла-

сен. Я сказала: «Напишу сама, что он нездоров». А он крикнул: «Не смейте».

— Да, этого нельзя.

Елена Антоновна торопливо снимает пальто, снимает шапочку. На лбу с правого края виднеется большое, с кулачок ребенка, захватившее и часть виска, синевато-розовое родимое пятно. Жена Онисимова могла бы его скрыть ухищрениями прически, но с юности этого не делала. И, как ни поразительно, мета не выглядит уродливой, даже чем-то гармонирует с постоянно серьезным, чуждым малейших черт кокетливости обликом Елены Антоновны.

Она повторяет:

— Нельзя.— Мгновение поколебавшись, понизив голос, объясняет: — Есть особые обстоятельства, Антонина Ивановна. Это могут расценить как нежелание ехать.

Причина сформулирована ясно, откровенно, убедительно. Антонина Ивановна обезоружена. И все же... Все же хотелось бы не таких логичных, более жарких, даже несвязных слов. Впрочем, вправе ли кто-либо требовать этого жара? Ведь у Елены Антоновны есть своя жизнь, своя большая деятельность. И примчалась же она сейчас с работы, вошла торопливо, расспрашивала с волнением, чуть ли не со слезой. Антонина Ивановна не решается ее осудить.

— До свидания. Пусть он полежит. Завтра зайду.

4

Уже на следующий день, не дав себе хотя бы суток передышки, Онисимов включился в новый круг обязанностей, занял небольшой кабинет в Министерстве иностранных дел. С ним туда же перебрался один из его давних помощников, крутолобый вдумчивый Макеев, обожавший Александра Леонтьевича, его острую манеру, пунктуальность, стиль беззаветного, неукоснительного исполнения директив, стиль, что, казалось, был у Онисимова в крови. Отличавшийся некоторой медлительностью — этим, бывало, вызывавший у Александра Леонтьевича вспышки раздраженности, которые участились в последние несколько лет,— Макеев с первых же слов, как только Онисимов предложил ему ехать с ним, присял, согласился.

- Когда же, Александр Леонтьевич, двинемся?
- Будем ждать команды.
- Что же мне пока делать?
- Прежде всего обложись литературой и читай.

Так поступил и сам Онисимов. Вместо папок, заполненных докладными записками, отчетами о добыче нефти и угля, выжиге кокса, применении кислорода и природного газа в металлургических печах, форсированном развитии рудных баз, испытаниях твердого ракетного горючего, теперь на его письменный стол легли затребованные из архива дела по истории дипломатических, экономических, всяких иных связей России со странами Северной Европы. Александр Леонтьевич не удовлетворился материалами нынешнего века, для него были подняты и архивные подшивки прошлого столетия.

Вместо новинок, посвященных тем или иным вопросам развития промышленности, теперь под рукой Онисимова находились книги о стране, где ему предстояло исполнять свою новую миссию. Тысячи, десятки тысяч печатных страниц заполнили его тесноватую служебную комнату — тоже новую! Кроме русской и переведенной на русский язык литературы, он проглатывал и издания на английском языке, — пройдя некогда два года практики на заводах Глазго и Бирмингема, Онисимов свободно читал и говорил по-английски.

Казалось удивительным, почти непостижимым, как человек в столь короткий срок, в три-четыре недели, еще остававшиеся до отъезда, может пропустить через себя, освоить эту бездну материала.

Ничего, он выдюжит. С ним нечто подобное уже бывало. Его когда-то — это случилось вскоре после смерти Серго Орджоникидзе — перебросили в танковую промышленность, поручили возглавлять эту новую для него отрасль, которую следовало расширить, реконструировать, сделать поистине мощной. Он вот так же мобилизовал специальную литературу, погрузился в нее, зарядил свой неутомимый мозг, умевший легко выжать квинтэссенцию и вместе с тем запечатлевавший, словно на волшебной фотопленке, неисчислимое множество подробностей. Уже месяц спустя он разговаривал как специалист со знатоками танкового дела. И отнюдь не стеснялся обнаруживать на людях пробелы в своем багаже, расспрашивал, умел слушать,

продолжал учиться и учиться, руководя танковым Главком.

И когда его вновь вызвали в Кремль,— разве он когда-нибудь забудет этот осенний вечер, этот год, 1938-й, аресты, уже вырвавшие одного за другим почти всех, с кем работал Серго,— когда Онисимова вызвали в Кремль и он, начальник крупнейшего Главка, кандидат в члены ЦК, избранный на Семнадцатом съезде, миновав приемную, в которой, будто поджидая его, стояли и сидели люди в форме, отворил дверь и увидел спину Сталина, прохаживающегося в своих мягких сапогах...

Долой, вон из головы эти воспоминания, эти мысли! Неужели он, Онисимов, не справится с собой? Неужели не заставит свой испытанный, надежный мозг служить безотказно, как и прежде? Неправда! Внутренние тормоза еще отлично действуют. Легкое усилие воли — и устранены всяческие отвлечения. Вновь вниманием Онисимова безраздельно овладевают Тишландия и ее соседи.

Режим его дня не изменился. Пусть никому не взбредет на ум, что сегодняшний Александр Леонтьевич уже не тот, не прежний Онисимов. Как и десять, как и двадцать лет назад, он и ныне работал, словно точнейшая машина. Входил в кабинет ровно в девять утра, неизменно до блеска выбритый, садился в кресло, тоже твердое, как и на предыдущем его поприще, доставал сигареты «Друг», надевал очки и читал, читал.

Для записей-выжимок ему хватило двух общих тетрадей. Мелким каллиграфическим почерком, достойным демонстрирования,— столь ясна, завершена была каждая буквица,— он заносил в одну исторические сведения, справки о политических и общественных группировках в Северной Европе, ее выдающихся деятелях. Другая тетрадь была отдана экономике государств, расположенных в этом углу континента.

Верный правилам, что издавна стали неотъемлемой характерной чертой школы руководителей, к которой он принадлежал, Александр Леонтьевич и здесь не удовлетворился лишь бумагой — документами, книгами, статьями. Он приглашал к себе в свою временную служебную обитель, затерявшуюся в коридорах МИДа, ученых, чьей специальностью являлась страна его будущего аккредитования, а также попросту наблюдатель-

ных, умных людей, недавно побывавших там. Допытывался, входил в разные тонкости, вытягивал, выкачивал знания о земле, куда ему предстояло ступить.

Случались минуты, когда он с тайным удовлетворением отмечал, что память, его необыкновенная память, которая в последние годы стала как будто немного сдавать, опять превосходно ему служит. Да разбуди его ночью, спроси о чистенькой, чинной стране, и мгновенно всплывут сотни имен и названий, точные цифры и даты.

После служебного дня Онисимов забирал книги домой. И снова работал, не позволяя себе предаваться отвлекающим навязчивым мыслям. Ложился он поздно, в четвертом часу утра, уже не пытаясь разделаться с этой застарелой привычкой.

Ложился, но подолгу не засыпал. В темноте выполняли, забирали волю думы, которые днем не удавалось отогнать.

5

Однажды в бессонный предутренний час Александр Леонтьевич испытал ужас.

Было так. Глядя сквозь полуопущенные веки во мглу спальни, Онисимов лежал, томимый неотвязными мыслями о том, как могло случиться, что он вынужден оставить страстно любимое дело. Захотелось опять их отместить. Довольно мучить себя этим. Для таких размышлений у него — он иронически усмехнулся в темноте — у него, наверное, хватит досуга в Тишландии. Он велел себе думать о ней, решил наизусть восстановить строки, которые днем занес в свои тетради. И вдруг память отказала. В уме не возникло, не всплыло ровным счетом ничего. Куда-то канули не только вчерашние или позавчерашние заметки, он забыл, начисто забыл даты, имена, экономические показатели, все, все, что вычитал, узнал об изучаемых им странах.

Страшный провал памяти потряс Александра Леонтьевича. Рукой он провел по вдруг увлажнившимся жестким волосам. Надо успокоиться, уцепиться хоть за что-нибудь, за одну какую-либо ниточку. Удалось воспроизвести самое близкое: цифры выплавки черного металла на заводах Тишландии. Ну, а дальше?

Он ожидал, что все выпавшее возвратится в один миг, как при взблеске молнии. Нет, он лишь медленно, медленно припоминал.

И не выдержал, вскочил. Ровное дыхание жены доносилось с широкой соседней постели. Босой, он неслышно пошел в кабинет, повернул там выключатель, бросился к письменному столу, к своим тетрадям, пляшущими пальцами раскрыл страницу наугад. И только тут страшные минуты кончились. Явилось желанное мгновенное прозрение. Теперь он мог не смотреть в записи, они ему разом предстали, опять будто оттиснутые на чудесной фотопленке. Закурив, он еще листал, листал, проверяя, экзаменуя себя. Потом замер у стола.

Так Онисимов и стоял — босой, в белом ночном одеянии. Незастегнутый ворот рубашки открывал грудь, подернутую чуть приметной нездоровой желтизной. Большая голова была, как всегда, втиснута в плечи.

Что же с ним только что стряслось? Чем объяснить эту внезапную утрату памяти? Неужели ему столь неинтересна его новая работа? Неужели, исполняя долг, он лишь насилует себя? Где же его страсть, всегда отдаваемая делу?

Ведь назначенный когда-то начальником танкового Главка, брошенный в промышленность, ему ранее не знакомую, сумел же он увлечься, отместить угнетение. Нет, не отместил, но одолеть. Оно, конечно, гнездились в душе, изо дня в день возрождалось с каждым новым известием об арестах, о почти еженощных вторжениях в квартиры огромного многокорпусного дома, называемого «Дом правительства», где обитал и он, тоже готовый вот-вот разделить участь товарищей. Но Онисимова не трогали. Все его заместители в Главном управлении проката — управлении, которым он ведал при жизни Серго, — были арестованы, а он по-прежнему свободно ездил на машине по улицам Москвы на службу и домой.

Свободно ли? Элементарная логика требовала умозаключения: если виноваты его ближайшие сотрудники, якобы вредившие, значит, виновен и он.

И Онисимов бросил судьбе вызов. Обратился с письмом к Сталину, написал, что, будучи обязан, как требует партия, знать дело до последних мелочей, он, Онисимов, несет полную ответственность за каж-

дое распоряжение своих подчиненных, ручается головой и партбилетом, что вредительства в Главпрокате не было. И просит дать ему возможность доказать это любому, по усмотрению Сталина, партийному или судебному расследованию.

Письмо попало в руки Сталину — это само по себе было особой, нелегкой задачей. Затем Онисимова вызвали на допросы, на очные ставки. Потянулись ночи и дни ожидания, почти невыносимые. Он в это время стал курить, пристрастился к табаку. И все же даже тогда работал со страстью, с азартом, заглушая угнетение, тоску. А потом...

6

Потом его вызвали в Кремль.

Уже присев, растирая остывшей подошвой дру- гую ногу, вовсе похолодавшую, он вспоминает тот вечер.

...Миновав приемную, в которой, будто поджидая его, стояли и сидели люди в форме, — почему, почему сегодня здесь столь многочисленная охрана? — он вошел в небольшой зал, увидел спину Сталина. Про- хаживаясь, Сталин не обернулся на звук отворенной и вновь прикрытой двери. Он еще сохранил неприят- зательную одежду фронтовика, грубоватого солдата, — его военного покроя брюки, заправленные в сапоги, свисали складками на голенища, — но уже приобрел будто нарочито неторопливую повадку, медлительность шага.

Сталин был в зале не один. Там находился еще человек. Вальяжный, что называется, мужчина, он сиял круглыми, без оправы, стеклами очков, плавной выпуклостью лба, зачесанными на косо пробор, свет- лыми волосами, маскировавшими раннюю, еще неболь- шую лысину. Это был Берия. Стоя у длинного стола, одетый в штатское, он посматривал на Онисимова с улыбкой, затаившейся в уголках рта. Александр Ле- онтьевич похолодел от такой улыбки.

Много лет назад этот человек, тогда скромный слу- жащий в Баку, прошел, как говорилось, проверку у Онисимова, который, еще оставаясь политработником Одиннадцатой армии, был в то же время и председа- телем одной из комиссий, занимавшихся перерегистра-

цией членов партии в Баку. Предваряя вопросы Онисимова, Берия выразил желание перейти на более трудную, более опасную работу — в Особый отдел армии или в Азербайджанскую Чека. Пойманный на одном-другом противоречии, на вранье, он изворачивался, выскальзывал. Товарищ Саша — так в те времена называли Онисимова — пришел к убеждению: «Подозрительный тип. Чувствую, авантюрист». И не выдал ему партбилета. В следующей инстанции тому удалось восстановиться.

И пока что этот блистающий бывший бакинец лишь преуспевал. Встреча со Сталиным в начале тридцатых годов стала решающим рубежом в его фантастической карьере. Сталин, несомненно, был знатоком людей. Вынашивая замыслы, о которых знал только он один, Сталин своим тонким чутьем — слово «проникновенность» тут вряд ли подойдет, — по-видимому, быстро, с первых же встреч, определил: вот человек, который ему нужен.

Теперь грузин-бакинец ведал огромной машиной арестов, допросов, расстрелов, тюрем, лагерей. С улыбкой он острыми зрачками сквозь очки поглядывал на Онисимова.

Что же, все ясно. Будет последний допрос, что учит сам Сталин. И не со своим шофером, не в своем автомобиле он, Онисимов, уедет отсюда. Не зря он, нервно собираясь, проверяя, на месте ли партийный билет, удостоверения, пропуск в Кремль, записная книжка, позвонил жене и, не сомневаясь, что телефон подключен еще в некую тайную сеть, лаконически сказал: «Вызывают. Еду. Будь готова ко всему».

Наконец повернувшись, Сталин все той же неспешной походкой зашагал обратно. Тяжеловатый, несколько исподлобья взгляд смерил Онисимова, прошелся по его безупречно начищенным ботинкам, темному в полосу пиджаку, подкрахмаленному белому воротничку, облегавшему короткую шею, что поддерживала большую голову, уперся в зеленоватые глаза Александра Леонтьевича.

Онисимов не отвел взора. Сталин продолжал медленно идти. Ничто в ту минуту не изменилось в его неподвижном, словно бы сонном лице, известном по множеству полотен и фотографий, на которых, однако, никто не смел передать крупных щербин, заметных на щеках и под слегка обвисшими, будто тяжелыми

исчерна-рыжеватыми усами. Отдельные седые нити в поредевших усах и на голове позволяли видеть, сколь редкостно толстым — в толщину конского — был его волос. Некоторое время молчание не нарушалось.

— Здравствуйте,— негромко молвил Сталин.— Проходите ближе.

Сесть не предложил.

Еще раз прошагав к стене и назад, он остановился перед Александром Леонтьевичем, начал спрашивать. Вопросы относились к состоянию и перспективам танковой промышленности. Теперь лицо Сталина уже не было застывшим. Зрачки, еще минуту назад тусклые, вдруг ожили. Онисимов отвечал. Нервное напряжение сказалось на голосовых связках: он говорил хрипло. Однако эта же взвинченность стала и собранностью, обострила ум. Осипший начальник танкового главка не путался, не запинаясь, давал точные, уверенные объяснения. Ему не понадобилось прибегать к записной книжке, чтобы характеризовать положение на том или ином заводе, даже в цехе, приводить результаты испытаний в лабораториях и на полигонах, называть цифры. Он раскрывал Сталину трудности, докладывал о работе над еще не найденными, не дающимися конструкторам и технологам решениями. А тот еще и еще методично допрашивал, сверлил и сверлил именно эти больные места.

Крепление гусеничного башмака! И проклятые масляные дифференциалы! Как истерзали они Онисимова, как измучились с ними на заводах! Измучились, а искомой эффективности все же не достигли! Сталин вытащил и это... Он забирался в самую тайную тайных производства. Онисимов метко докладывал, не выгораживая себя.

Меж тем из боковой двери появился нарком обороны, здесь какой-то тихий, неприметный, хотя на гимнастерке красовались ордена. Следом вошли и еще члены Политбюро. Некоторые держались свободнее, отодвигали с шумом стулья. Седенький Калинин прислонился к выступу белой кафельной печи, очевидно, теплой, и грелся, сунув за спину ладони. Все молча слушали дознание, что не прекращал Сталин.

Зачем, для чего они сюда собрались? Невольно Онисимов снова подумал об угрожавшей ему участи. Наверное, сначала постановлением Политбюро его

исключают из партии и лишь затем арестуют. Да, вон примостилась у стола стенографистка, достала карандаши, приготовила тетрадь.

А Сталин обнажал, верней, заставлял Онисимова обнажать слабости и недостатки советской танковой промышленности. Прессовое хозяйство. Коробка скоростей. Отжиг серого чугуна. Броня. Способы испытаний. Почему результаты неудовлетворительны? Каковы соответствующие показатели на заводах Германии и Америки?

Несомненно, кто-то основательно информировал Сталина. Кто же? По всей вероятности, один из таинственных отделов ведомства, отданного бывшему бакинцу, которое, будто всеохватывающий глаз, проникало всюду. Что же, Онисимов должен признать: справка была дельной. А Сталин внимательно, очень внимательно ее изучил.

Выспрашивая, Сталин не тронул вопросов, имевших касательство к письму Онисимова, к его прежней работе в Главпрокате. В мыслях Онисимов тревожно искал ответа: почему же? Впрочем, понятно — зачем задевать еще и прошлое? Он же сам развернул здесь такую картину технических изъянов, что этого с лихвой достаточно для обвинения во вредительстве. Или, как тогда говорилось, во вражеской деятельности. О достигнутом, завоеванном Сталин не спрашивал. Трудовые заслуги, производственные успехи танкостроителей — немалые, как мог бы сообщить Онисимов, — остались не упомянуты: дисциплина, ставшая второй натурой Онисимова, повелевала ему отвечать лишь на вопросы.

Из кармана брюк Сталин вынул трубку, подошел к столу, выколотил пепел в мраморную пепельницу — в тишине гулко отдался этот стук, — повозился с табаком. Движения опять были медлительны или, лучше сказать, медлительно властны. Так мог держаться только тот, кто знал, что никто его не поторопит, не перебьет его молчания.

Задыхалась знаменитая сталинская трубка. Тотчас закурили и некоторые из собравшихся. Онисимов, разумеется, и помыслить не смел о папиросе.

Сталин вновь зашагал.

— Вопрос, думается, ясен, — наконец произнес он. — Что же, товарищи, будем решать?

Не ожидая чьей-либо реплики, он продолжал:

— Имеется следующее предложение...

Мышцы грудной клетки Онисимова окаменели, дыхание причиняло боль. Мучительно тянуло бросить взгляд на Берию, но победила выдержка — Онисимов на него не посмотрел, не покосился. А Сталин, помедлив, повторил:

— Имеется следующее предложение. Во-первых, преобразовать Главное управление танковой промышленности в Народный комиссариат танкостроения... Возражений нет?

И опять выдержал паузу.

— Второе... назначить народным комиссаром танкостроения... Товарищи, какие будут кандидатуры? Пожалуй, не ошибемся, если утвердим товарища Онисимова. Другие мнения есть?

И заключил:

— Народным комиссаром танкостроения назначить товарища Онисимова Александра Леонтьевича. Возражений нет?

Онисимов навсегда запомнил этот миг. Самообладание ему не изменило. Лишь щеки похолодели. Наверное, он слегка побледнел.

Только теперь Сталин обратился к нему:

— Что же, товарищ Онисимов, вы стоите? Садитесь. Будем решать дальше.

И опять, не ожидая чьих-либо слов, продолжал:

— Третье... Вменить в обязанность...

Александр Леонтьевич сел, сунул в рот папиросу. Еще не верилось: значит, это уже произошло? Он вошел сюда почти арестантом, а выйдет народным комиссаром? Но ведь... Неужели Сталина не поспешили осведомить? Неужели ему не известно? Придвинув один из лежавших на столе блокнотов, Онисимов разборчиво своим каллиграфическим почерком вывел: «Товарищ Сталин. Мой брат Иван Назаров арестован как...»

На мгновение перо Александра Леонтьевича приостановилось. Не хотелось собственной рукой клеймить Ваню, своего младшего брата от второго замужества матери, брата, которого давным-давно он, юный Саша, увлек за собою, втянул в партию, а ныне, полгода назад, взятого в тюрьму прямо с вокзала, когда Ваня, секретарь обкома, приехал по вызову в Москву.

Но Александр Леонтьевич тут же подавил сомнения. Перо снова заскользило: «...арестован как враг народа. Считаю нужным сообщить об этом Вам».

Подписавшись, аккуратно промокнув непросохшие чернила, он еще минуту выждал.

Сталин продолжал формулировать:

— Четвертое... Предложить товарищу Онисимову в десятидневный срок...

Онисимов встал и передал Сталину бумагу. Тот недовольно покосился, развернул, прочел записку.

7

...Сейчас Онисимов, не одетый, босой, сидит среди ночи на жестком диване. На столе раскрыта тетрадь с записями о Северной Европе. В комнате тепло, не дует от окна, скрытого под складками длинной плотной занавеси. Но желтоватые, словно неживые ступни коченеют, — уже несколько лет он вынужден их кутать. Вот и теперь Александр Леонтьевич тянется за тяжелым ворсистым пледом, свернутым возле диванного валика, и укрывает, обертывает шерстью большие ступни.

В нижнем ящике стола хранится один заветный листок. Онисимов выдвигает этот ящик, достает переплетенную в искусственную кожу папку, быть может, впервые замечает, как потускнели чернила, но все же ясна каждая буква, выписанная тонкими пальцами Александра Леонтьевича. «Товарищ Сталин. Мой брат Иван Назаров...» Наискось листа размашисто брошены несколько строк. Почерк и подпись известны по множеству факсимиле. «Тов. Онисимов. Числил Вас и числю среди своих друзей. Верил Вам и верю. А о Назарове не вспоминайте. Бог с ним. И. Сталин».

Ваня так и погиб в заключении. Зачахла, умерла в лагере и его жена — запальчивая, пленявшая обаянием непосредственности южанка Лиза. Оба реабилитированы посмертно. Где затерялись их могилы, неизвестно и поныне. Темные, будто сочные вишни, Лизины глаза сейчас видятся Онисимову настороженными, внезапно потерявшими блеск, словно в предчувствии неотвратимого близкого несчастья: таким был ее взгляд, когда она и Ваня в конце тридцать седьмого последний раз сидели у него, Онисимова, вот здесь, в этом прокуренном кабинете. Нет, тогда Онисимов еще не курил. Так и придется уехать в чужие края, ничего толком не узнав о брате, не имея даже его фотографии.

Теперь Онисимову жаль, что он уничтожил даже детскую — на той карточке Ване, уставившемуся в объектив, было не более десяти.

...«Верил Вам и верю». Эти слова Сталина были щитом, броней, панацеей Онисимова. Или талисманом, как однажды скорее всерьез, нежели в шутку сказала жена Александра Леонтьевича. Свято хранимый листок, которого коснулось твердое перо Сталина, столь много значил в судьбе Онисимова, что даже Берия, от улыбки которого по-прежнему становилось холодно, уже не был властен над его участью.

Онисимов поднимает голову, смотрит на висящий в простенке большой, скромно окантованный снимок, единственный в его кабинете. Губы под жесткими усами Сталина спокойно сомкнуты, а Серго улыбается, он счастлив, полон жизни, явственно обозначилась ямка на его подбородке, задорно распушились острые усы. Да, были времена, когда, лишь завидя Сталина или хотя бы разговаривая с ним по телефону, Серго светлел лицом, озарялся влюбленной улыбкой. Александр Леонтьевич это мог бы засвидетельствовать. А в конце своей жизни Серго, вдруг словно потерявший неизменную раскрытость души, но и не умевший носить маску, притворяться, уже по-иному — и многие, кто с ним общался, начали это подмечать, — по-иному относился к Сталину, неохотно и невесело ему звонил. Александр Леонтьевич и не подозревал, что Серго пустил себе пулю в сердце. Это была одна из самых тщательно скрываемых тайн, пока на Двадцатом съезде...

Онисимов тогда сидел во втором ряду среди других делегатов съезда — непроницаемый, невозмутимый, каким его привыкли видеть. Необычайная впечатлительность сочеталась в нем с необычайной сокрытостью душевных борений. Однако в ту минуту, когда он услышал, что Серго сам покончил с собой, вдруг будто кто-то защекотал веки Онисимова. Он ощутил: по щекам поползли слезы. Пораженный — ведь ему с детских лет не случалось плакать, — он не сразу вытащил платок, несколько капель скатились со щек. Давний товарищ, сидевший рядом, взглянул на Александра Леонтьевича. Взглянул и едва поверил: железный Онисимов, этот человек-машина, знает слезы.

В одиночестве, в тоске Онисимов со своего жесткого дивана все еще смотрит на потерявший силу талисман.

Лишь за полторы недели до смерти Серго Александр Леонтьевич в последний раз виделся, разговаривал с ним. И тогда же в доме Орджоникидзе он встретился с тем, кто снят возле Серго вот на этой старой фотографии под стеклом, с тем, кто впоследствии написал эти разборчивые строки: «Тов. Онисимов. Верил Вам и верю».

Почему же Сталин выделил Александра Леонтьевича? Оттого ли, что Онисимов не знал колебаний в борьбе со всяческими оппозициями? Или из-за деловых качеств Онисимова, действительно недюжинных?

Нет, на весы легло и еще кое-что. Один миг... Миг, решивший, возможно, участь Онисимова.

Да, это было его последнее свидание с Орджоникидзе. Онисимов в те дни, в феврале тридцать седьмого, только что вернулся из поездки на заводы. По телефону он доложил Серго о возвращении. Серго сказал:

— Приходи ко мне вечером домой. В восемь часов тебе удобно?

Орджоникидзе неизменно проявлял такого рода деликатность в отношениях с подчиненными. Пунктуальный Онисимов прибыл минута в минуту. Серго встретил его в коридоре, крепко пожал пухловатой пятерней небольшую руку Онисимова. И через заставленный книжными шкапами кабинет, пожалуй, несколько нежной,— подарки, которыми дорожил Серго, плашки первого чугуна Магнитки и Кузнецка, первой меди Балхаша, шлифы авиационной и трансформаторной стали, фотоальбомы вновь возведенных заводов заполнили чуть ли не всю площадь обширного, крытого черным лаком стола,— повел Александра Леонтьевича в свой уютный малый кабинетик. Оба сели на диван.

— Ну, товарищ Саша...

Серго почему-то назвал его по имени, точно так же, как звал давным-давно в армии, когда начальник политотдела дивизии Онисимов казался совсем мальчиком, да и Орджоникидзе, член Реввоенсовета Кавказского фронта, не знал еще ни седины, ни грузноватости.

— Ну, товарищ Саша, где побывал?

Онисимов принялся рассказывать. Зинаида Гаври-

ловна, жена Серго, принесла чай и печенье. Она не вмешалась в разговор, лишь поздоровалась с гостем, но Онисимов поймал ее заботливый, чуть обеспокоенный взгляд, брошенный на мужа.

Серго действительно выглядел неважно, был бледноват, под широкими глазами наметились отеки, возможно, после сердечного припадка, случившегося недавно ночью в наркомате — Онисимов об этом уже слышал, — но сами глаза не потеряли блеска, искрились и вниманием к тому, о чем рассказывал Онисимов, и трогаящей ласковостью.

Серго любил порасспросить о людях. Он и тогда — эти последние слова, последние вопросы, что Онисимов слышал от него, память неумолимо восстанавливала, — он и тогда живо спросил об одном инженере, ровеснике и бывшем сокурснике Александра Леонтьевича.

— Пришлось его вздуть, — сказал Онисимов. — За самовольство. Нарушал инструкцию. У немцев за такие дела бьют по карману: плати штраф.

Серго проговорил:

— Ах, ты немец, ты мой немец...

Вдруг он вскинул голову. Из большого кабинета приглушенно донесся голос Зинаиды Гавриловны. Еще чей-то...

Серго быстро поднялся:

— Извини, пожалуйста.

И покинул комнату. Минуту-другую Онисимов просидел один, не прислушиваясь к голосам за дверью. Но вот Серго заговорил громко, возбужденно. Его собеседник отвечал спокойно, даже, пожалуй, с нарочитой медлительностью. Неужели Сталин? Разговор шел на грузинском языке. Онисимов ни слова не знал подслушивающего. Но все же надо было немедленно уйти, разговор за стеной становился как будто все более накаленным. Как уйти? Выход отсюда лишь через большой кабинет. Александр Леонтьевич встал, шагнул через порог.

Серго продолжал горячо говорить, почти кричал. Его бледность сменилась багровым, с нездоровой просинью румянцем. Он потрясал обеими руками, в чем-то убеждая и упрекая Сталина. А тот в неизменном костюме солдата стоял, сложив на животе руки.

Онисимов хотел молча пройти, но Сталин его остановил:

— Здравствуйте, товарищ Онисимов. Вам, кажется, доведось слышать, как мы тут беседуем?

— Простите, я не мог знать...

— Что же, бывает... Но с кем вы все же согласны? С товарищем Серго или со мной?

— Товарищ Сталин, я ни слова не понимаю по-грузински.

Сталин пропустил мимо ушей эту фразу, словно она и не была сказана. Тяжело глядя из-под низкого лба на Онисимова, нисколько не повысив голоса, он еще медленнее повторил:

— Так с кем же вы все-таки согласны? С ним? — Сталин выдержал паузу.— Или со мной?

Наступил миг, тот самый миг, который потом лег на весы. Еще раз взглянуть на Серго Александр Леонтьевич не посмел. Какая-то сила, подобная инстинкту, действовавшая быстрее мысли, принудила его... И он, Онисимов, не колеблясь, сказал: «С вами, Иосиф Виссарионович».

Нет, к чему терзать себя? Зачем эти воспоминания, эти думы? Впереди утро, работа. Онисимов смотрит на две общие тетради. Он заставит себя вложить душу и страсть в это свое новое дело.

9

Проникая по праву писателя во внутренний мир Онисимова, куда Александр Леонтьевич почти никого не допускал, автор, думается, не изменяет исследовательскому строю этой книги. Воображение, догадка опираются и тут на верные источники, порою на документы, что носят название человеческих. О происхождении, характере одного из таких документов, переданных мне, я с разрешения читателя скажу несколько позже: сама повесть подведет нас к этому.

А теперь следует исчерпать тему «предотъездные дни Онисимова». Сообщу известные мне последние подробности, которые сюда относятся.

В рабочее уединение Онисимова, в его временное пристанище на шестом этаже МИДа, нередко врываются телефонные звонки. Звонили давние сподвижники Александра Леонтьевича: и тугодум Шехтель — начальник Управления изобретательства и рационализации, и министр стали, вечно румяный Цихоня, и начальник

Главруды длинный Стремянников, да и многие другие. Сколько раз Онисимову когда-то приходилось говорить им резкости, отчитывать, подхлестывать и наедине и на совещаниях, а они, гляди-ка, не таили обиду, не забыли его, своего ныне отставленного строгого шефа, выказывали ему внимание, подавали о себе весть по телефону.

Готовящийся к отъезду Онисимов живо вступал в эти телефонные беседы. Услышав чей-либо знакомый голос, он снимал очки, садился поудобнее — куда-то отодвигалась, затуманивалась очередная страница все о той же Северной Европе, — легко переключался в свою прежнюю любимую, совершенно особенную сферу штабной работы в индустрии, вновь как бы пребывал в своей стихии. Ему рассказывали о новостях, советовались с ним. Он интересовался тонкостями дела, опять по своему правилу вникал в технологию, в организацию производства, в заводскую практику. Не менее охотно он углублялся, если разговор этак поворачивался, и в вопросы междуведомственных отношений, ронял как бы невзначай словечко о том, какой требуется ход, чтобы скорее получить или, что называется, *пробить* нужное постановление. Тут его советы бывали особо пронизательны, метки.

По тону собеседников, по другим признакам Онисимов с удовольствием угадывал: они его числят в строю, считают, что он еще вернется в индустрию. Он и сам этому верил. Разговоры с товарищами были для него словно живой водой, он возбуждался, неожиданно становился словоохотливым, шутил.

Иногда и он позванивал своим бывшим подчиненным.

— Ну, как вы там живете? Чем заняты? Что сегодня у вас самое трудное? Как с этим справляетесь?

И опять слушал, советовал, опять будто вдыхал воздух индустриальных штабов и сернистый газок металлургических печей.

Как-то он снова соединился по телефону с министром тяжелого машиностроения и, поговорив о том о сем, спросил:

— Как поживают наши три восклицательных знака?

— Вы это о чем? — Видимо, далеко не единственное дело было у министра отмечено восклицательными знаками. Однако он тотчас сообразил: — Воздуходувка для Кураковки? Начали, Александр Леонтьевич, конт-

рольную сборку. Кстати, ваш Петр Головня вытрясает мне душу телеграммами, просит разрешения послать своих людей на сборку, чтобы присматривались и уже осваивали. Не знаю. Наверное, будут пока только мешать.

— Опять двадцать пять.— Онисимов любил эту приговорочку.— Пожалуйста, сделай, как он просит.

— Есть, Александр Леонтьевич. Записываю.

— Обойдешься без восклицательного знака?

— Продиктую сейчас же телеграмму. Вот уже и секретарь ко мне шагает.

— Фу-ты ну-ты, какая оперативность.

— Было у кого учиться, Александр Леонтьевич.

Подобные признания смягчали душевную боль.

Однако чем ближе придвигался день отъезда, тем замкнутей, мрачней становился Онисимов. Иногда он пошучивал, острил, но глаза были невеселы.

Получая впервые заработную плату в МИДе, Онисимов раздражился,— ему была выписана дополнительная сумма за знание иностранного языка. Он издавна, еще будучи начальником главка и затем министром, ненавидел всякие подобные надбавки, не допускал ни для себя, ни для своего аппарата никакого добавочного вознаграждения. Александр Леонтьевич остался себе верен и на новой службе: не принял деньги, которые кассир намеревался ему вручить сверх жалованья. Всякие угрозы желчно отстранил. Английский он знает едва удовлетворительно, даже скорей слабо, и вообще в каких-либо сомнительных надбавках не нуждался, назначенный ему оклад и без того достаточно высок.

Готовый, лишь последует команда, тотчас улететь, он счел необходимым понаведаться к зубному врачу. Крепкие зубы Онисимова некогда миндально-белые, приобретшие из-за многолетнего курения кремовый оттенок, нуждались в двух-трех пломбочках и были приведены в полный порядок.

Однако медицинское обследование он так и не прошел. Рентгеноскопия грудной клетки и желудка, клинический анализ крови, электрокардиограмма — всем этим Онисимов пренебрег. Удивительное дело: любой советский гражданин не мог бы получить заграничный паспорт, не представив справку о здоровье, а у советского посла ее не спрашивали. Назначение состоялось — эта формула заменила всяческие справки.

Отличавшийся неодолимым пристрастием к чистоте, постоянно появлявшийся в свежеблеставшем белом накрахмаленном воротничке, верный таким воротничкам и в командировках среди заводской пыли и окалины, менявший их там по два-три раза на дню, он имел и еще схожую слабость: любил быть безукоризненно подстриженным. Из года в год, с тех пор как он возглавил Комитет металлургии и топлива, Онисимов стригся в парикмахерской, расположенной в здании Совета Министров, пользовался услугами одного степенного пожилого мастера. Следовало и теперь, накануне отъезда, подставить шевелюру ножницам.

Сидя в своем новом кабинете, пробегая очередной труд о Северной Европе, он провел пальцами по слегка заросшему затылку. Конечно, надобно заехать в парикмахерскую. Но не хотелось входить в здание, где располагалась прежняя его резиденция, подниматься по знакомым гранитным ступеням уже не председателем Государственного комитета, а человеком, которому пришлось уйти отсюда, уйти от руководства индустрией. Может быть, постричься в другой парикмахерской? Онисимов с досадой поймал себя на таких колебаниях, на недостойном, как он считал, малодушии.

Девизом его жизни была безупречность. Всегда поступать так, чтобы сам себя не мог бы ни в чем упрекнуть. А уж замечание, высказанное сверху, даже малейшее, мягкое, причиняло ему жестокую боль.

Однажды он докладывал заместителю Председателя Совета Министров СССР Тевосяну об исполнении ряда государственных заданий. Каждый месяц в установленный день и час Александр Леонтьевич входил в кабинет Тевосяна, расположенный в здании Советского правительства в Кремле, здании, над которым постоянно вьется красный флаг. Они, Тевосян и Онисимов, были старыми товарищами, оба получили инженерное образование, стали металлургами — один сталеплавильщиком, другой прокатчиком, когда-то оба принадлежали к близким соратникам Орджоникидзе и, как и Акопов, Лихачев и еще несколько питомцев Серго, остались нетронутыми в лихую годину арестов. Давние товарищеские отношения не означали, однако, что Онисимов мог ждать от Тевосяна какой-либо, хотя бы ничтожной поправки. Малорослый, смуглый, с глянцеви́то побле-

скивающей, черной, как тушь, шевелюрой и такими же угольно-черными, небольшими, характерными для армянина усами, заместитель Председателя Совета Министров был столь же строг с Онисимовым, как и с любым подчиненным. Всю жизнь он звался Иваном Товадросовичем, но Сталин, подписывая указ о награждении Тевосяна званием Героя Социалистического Труда, исправил его отчество на «Федорович», превратив таким образом — уверенный, что и сие ему подвластно, — покойного Товадроса, бакинского ремесленника, в Федора.

Обычно Александр Леонтьевич с честью выдерживал ежемесячную немилосердную проверку Тевосяна, не получал замечаний, оставался, как всегда, безупречным.

Так было и в тот раз. Покончив с деловым разговором, Тевосян откинулся в кресле, дружелюбно улыбнулся и спросил:

- Роман «Далеко от Москвы» читал?
- Нет, Иван Федорович, не пришлось.
- Не пришлось? Напрасно. Хорошая книга.

Онисимов был больно задет таким, казалось бы, совсем незначительным, мимолетным «напрасно», распорядился, вернувшись к себе в Охотный ряд, немедленно достать роман и, выключаясь из оперативной текущей работы, прочитал его в две ночи.

Щепетильно требовательный, Александр Леонтьевич не прощал себе ни одной неточности. Признаться, он и поныне, вспоминая иногда другую, тоже не столь давнюю минуту, мысленно постанывает.

Было так. Как-то ему позвонил Сталин:

— Хочу послушать, товарищ Онисимов, ваши соображения о новой металлургической базе в Восточной Сибири.

— Когда, товарищ Сталин, я обязан доложить?

— Ориентировочный план у вас составлен?

Онисимов предпочел скромно ответить:

— Еще не план. Некоторые наметки.

— Ну, наметки так наметки. Через неделю, скажем, вы будете готовы?

С увлечением, с напором, словно бы утроенным — Александр Леонтьевич неизменно обретал этакое белое каление, когда получал личное задание Сталина, — стянув силы и проектных центров, и науки, и своего аппарата, он, говоря языком министерства и комитетов, *готовил вопрос*. Были подытожены и в ночных бдениях

и в дневные часы различные, порой требовавшие ряда лет расчеты, исследования, проекты. Занося необходимые сведения-выжимки в записную книжку, непрестанно продумывая, с чем он придет к Сталину, строя в уме доклад, Онисимов придал ясность и блеск — свойственный ему особенный блеск деловитости — обоснованиям будущего восточно-сибирской металлургии.

Подошел назначенный Сталиным вечер. Александр Леонтьевич четко и нервно собирался. Он вез с собой некоторые справки и заключения, переписанные на лучшей, отборного сорта бумаге. Ни единой помарки в таких документах, которые шли в Совет Министров и тем более непосредственно Сталину, Александр Леонтьевич не допускал. Малейшая ошибка машинистки, описка, и он нетерпимо возвращал бумагу в машинописное бюро, чтобы ее перестукали заново. Так прошлой ночью он швырнул и сводную смету капиталовложений, в которой три-четыре цифры были исправлены пером начальника финансового отдела. Уже следовало ехать, уже за Александром Леонтьевичем зашел один из его заместителей, будто ничуть не взбудораженный, но все же насупленный старик академик Челышев, тоже вызванный к Сталину, а сводная смета — этот важнейший документ — еще не была принесена. В столь волнующий день нервничали и машинистки, портили опечатками лист за листом. Наконец, со свежими, только что из-под валика страницами примчался запыхавшийся, с красной повлажневшей лысиной начфин.

— Александр Леонтьевич, пожалуйста!

— Вы все проверили? Лично вы сами?

— Каждую цифирку, Александр Леонтьевич.

Онисимов метнул взгляд на стенные часы, времени почти не оставалось, однако он крикнул:

— Дайте счета. Посчитаю.

Присев в своей министерской приемной к столу, поглядывая в смету, он стал пересчитывать. Лишь щелкали, летали с поразительной быстротой костяшки счетов. Затратив на это несколько минут, убедившись, что итог сошелся, он не без удовлетворения произнес:

— Теперь в ажуре.

И скрепил смету инициалами. И бережно присоединил ее к немногим бумагам, которые вез с собой в новехонькой кожаной папке. И уже в машине, держа папку на коленях, еще переживая последние минуты сбо-

ров, заключил, обращаясь к сидевшему рядом Челышеву:

— Знают мое правило: доверился — погиб!

Из-под лохматых бровей Челышев на миг показал маленькие глазки:

— А я вот доверяюсь и, как видите, ни черта не погибаю.

Полчаса спустя Онисимов уже стоял у карты, распластавшейся до потолка, и, порой пользуясь указкой, сжато, точными сухими фразами, приводя наизусть нужные цифры, излагал Сталину план возведения металлургических комбинатов на Восточно-Сибирском плоскогорье.

Сталин сохранил прежнюю привычку — слушал, похаживая. Ему уже исполнилось семьдесят лет. Сидя на завладела толстыми его волосами, не помилованы ни бровей, ни обвисших усов. На кистях сухих рук и рябом лице были заметны пигментные пятна. Однако его облик — Сталин был одет в китель с погонами, в брюки навыпуск с красными лампасами — отнюдь не казался немощным. Величественность вопреки низкому росту, низкому лбу стала его второй натурой. С годами усугубилась свойственная ему с некоторых пор медлительность шага, скупость жеста. Разговаривая, он теперь не поворачивал к собеседнику головы, никого этим не удостаивал. Казалось, за его спиной незримо реяли великие дела эпохи, которую уже именовали не иначе, как сталинской. Он и теперь, под конец жизни, опять выдвигал небывалые задачи, опять форсированным маршем вел страну в новый переход. Дикая тундра и тайга суровой Восточной Сибири, индустриальное преобразование этих огромных, почти не заселенных пространств — туда давно обращалась его мысль. Необычайно мощный комплекс энергетики, химии, лесохимии и металлургии — такой представляла ему пустынная пока Восточная Сибирь. Уже немало лет разрабатывались главные проектные ориентиры. Ныне Сталин требовал отчета, готовил, не оставляя других планов, исподволь зреющих, эту наступательную операцию, сражение на Востоке.

Теперь в отличие от довоенных годов Сталин слушал министров или других понадобившихся ему лиц и диктовал решения не в зале заседаний, где присутствовали члены Политбюро, — он отбросил даже эту формальность. В старости нелюдимый, Сталин впускал к себе,

в свой кабинет, вот как и сейчас, наряду с вызванными для доклада еще лишь двух-трех приближенных.

Сообщение Онисимова слушал вместе со Сталиным и сидевший в кожаном кресле Берия. Погрузневший, несколько обрюзгший, он, хотя уже и обладал маршальским званием, по-прежнему носил штатскую одежду, добротный, сшитый по моде пиджак. Искусный зачес светлых волос прикрывал просвечивающую лысину. Голубые холодные глаза сквозь круглые без оправы стекла взирали на Онисимова.

Ведая, как и раньше, органами внутренних дел — Сталин еще со времен тридцать седьмого года поставил их как особое свое орудие над самыми высшими органами партии и государства, — Берия постепенно стал охватывать и ряд народнохозяйственных задач, год от года более крупных. Ни одно большое строительство уже не обходилось без его участия. Распоряжаясь Главным управлением лагерей, сосредоточивая на ударных стройплощадках неисчислимые колонны заключенных, он командовал возведением новых мощных гидростанций, или, как говорилось тогда, великими стройками коммунизма. В этом — позволим здесь себе строчку авторского отступления, — пожалуй, обнаженно выступал трагический парадокс времени.

Впрочем, Онисимов, тот, каким он был тогда, докладывая Сталину проблему восточно-сибирской металлургии, не знал даже и мыслей о парадоксах, о противоречиях эпохи. От вопросов, которые могли возмутить его, коммуниста, разум и совесть, он уходил, ускользал простейшим способом: не мое дело, меня это не касается, не мне судить. Любимый его брат погиб в тюрьме, в душе он оплакал Ваню, но и тогда остался твердым в своем «Не рассуждать!». Для него не было пустыми словами выражение «солдат партии». Позже, когда вошло в обиход «солдат Сталина», он с гордостью и, несомненно, по праву считал себя таким солдатом. И каждую встречу со Сталиным острее переживал.

Берии он бдительно остерегался. Они, два члена ЦК, разговаривали на «ты», но эпизод тридцатилетней давности — «не могу вам, Берия, доверять!» — не был, конечно, забыт ни тем, ни другим. Онисимов отлично знал, что Берия лишь выжидает случая, чтобы расплатиться, расправиться с ним. Однако для этого требовалось дозволение Сталина, хотя бы молчаливое. Александр Леонтьевич так и жил в атмосфере непре-

станной опасности, привык, что днем и ночью над ним занесена рука. Но Сталин Онисимова не отдавал. Сталинский листок, сохраняемый Онисимовым, продолжал действовать, оберегая его.

Чувствуя полную внутреннюю собранность, Онисимов, подчас прерываемый вопросами прохаживающегося генералиссимуса, четко докладывал главные данные проекта. Вот он указкой очертил недавно открытое в излучине Ангары железорудное месторождение. Называя на память разведанные и предполагаемые запасы тамошних руд, нуждающихся в обогащении, он неожиданно уловил еле заметную усмешку на тонких втянутых губах старика Чельшева. Что такое? Неужели он в чем-то ошибся?

Невольнo Онисимов вновь взглянул на карту. Да, он показал не тот изгиб Ангары. Потрясенный оплошкой, он хотел тут же ее исправить, но Сталин произнес:

— Сколько электроэнергии возьмут ваши обогащательные фабрики?

Онисимов, не затрудняясь, назвал интересующую Сталина величину.

— Эти показатели, товарищ Сталин, выведены на основе опыта наших лучших обогащательных и агломерационных установок.

— На основе опыта...— не то вопросительно, не то недовольно сказал Сталин.— Опять, значит, будете жечь уголь, чтобы выпекать агломерат?

— Однако других способов,— ответил Онисимов,— в распоряжении металлургов пока нет. Товарищ Чельшев, надеюсь, подтвердит.

Чельшев ограничился кивком.

— Таким образом, показатели,— продолжал Онисимов,— принятые нами...

Сталин, однако, не дослушал.

— Что же выходит?— перебил он.— Получим огромные количества энергии от Енисейской гидростанции, от Ангарского каскада. А кто ее будет забирать? Металлургия?

Он говорил, не повышая голоса, но в тоне сквозило раздражение. Упрекнул Онисимова в том, что тот предпочитает тратить дорогой уголь в то время, как следовало бы шире использовать в металлургических процессах электричество. По-прежнему недовольно протянул:

— На основе опыта...

Прошелся, отчеканил:

— Опыт — хорошая штука, но таких условий, которые металлурги получают в Восточной Сибири, такого избытка электричества еще нигде не существовало. А новые условия требуют и новой технологии, нового опыта. Не так ли?

Удовлетворенный своей речью, ее ясностью, логичностью, он последние слова произнес уже без раздражения. Потом подошел к столику, на котором рядом с папкой Онисимова стояла початая бутылка боржоми, налил четверть стакана, отхлебнул.

— Так вот, товарищи,— ваша задача: всюду, где возможно, повышать энергоемкость. Почему бы, например, нагревательные печи и колодцы не перевести на электричество?

Как и в других случаях, он опять выказывал знание деталей производства. Онисимов лишь кратко ответил:

— Есть!

— Надо и в доменном деле искать способы применения электричества. Как ваше мнение, товарищ Челышев, можем ли мы в какой-то мере заменить кокс электричеством?

Челышев сказал:

— У нас, товарищ Сталин, существует поговорка: начальник доменного цеха — это хороший кокс.

— Эту вашу поговорку я слышал уже много лет назад... По-вашему, значит, нельзя использовать для доменной плавки электричество?

— В малых печах возможно.

— А в больших нельзя?

Капризные нотки явно слышались в этом вопросе. Сталин, привыкший, что все и вся склоняется пред ним, сейчас сердился, что технология не хочет ему повиноваться. Челышев, однако, под этой нависшей грозой сохранил спокойствие. И даже ироничность.

— Можно,— сказал он.— Все можно, товарищ Сталин, если прикажут. Но будем сидеть без чугуна.

Берия приподнял белесые брови. Глаза сквозь круглые стекла смерили Челышева, перебежали на Сталина.

Однако гроза не разразилась. Сталин прошелся, опять обратился к Онисимову, велел показать энергетический баланс.

Конечно, поведение Сталина, его вопросы с несомненностью свидетельствовали, что применение электричества в металлургии вскоре станет или, пожалуй, уже стало новым увлечением, новым коньком Хозяина.

Александр Леонтьевич засек это в уме. Однако в те минуты по-прежнему мучился оплошкой, которую совершил, очерчивая изгиб Ангары. И пока шел разговор о проектных основах будущей далекой металлургической базы, он все не выпускал из рук тонкой длинной указки. Но уже было неуместно возвращаться к географической карте.

А после, сидя рядом с Челышевым в машине, вынесшейся из Кремля, он сам себя казнил:

— Ужасная ошибка. Непонятно, как я обмишурился.

— Бросьте. Ерунда.

Да, старик обладал легким характером, промашка Онисимова представлялась ему и впрямь ерундой. Но Александр Леонтьевич не мог себе ее простить, был совсем убит. Как он допустил такую кляксу? Он, не переносящий ни малейшей небрежности ни в чем! И где же, перед кем!

— Бросьте,— с той же добродушной грубоватостью повторил Челышев.— Никто же не знает, что вы ткнули не туда.

— Но знаю я! Этого достаточно.

И еще немало дней терзался, страдал.

Сейчас, рассеянно глядя в окно своего нового, так и не обжитого кабинета на улицы Москвы, уже присыпанные первым ноябрьским снегом, следя за медленным полетом снежинок, Онисимов спрашивает себя: скоро ли, наконец, настанет время, когда его мысли будут сосредоточены только на деле, ему ныне порученном? Он заставляет себя придвинуться к непривычно малому письменному столу, заваленному трудами о некой, ничуть его не влекущей северной стране. Да, надо побороть эту несобранность, ему несвойственную.

В самом деле, намереваешься, например, подстричься, и вдруг на ум приходит фраза, оброненная когда-то Тевосяном, или устремленный на карту Восточной Сибири непроницаемый взгляд Сталина.

Приходится постоянно быть настороже, не давать воли видениям, которые ежеминутно готовы нахлынуть. И заниматься делом! И если уж пора стричься, то с этим больше не тянуть!

Разумеется, Онисимов мог бы позвонить в парикмахерскую Совета Министров и вызвать на дом мастера, уже ему привычного. Так и поступали иные сотоварищи Александра Леонтьевича, принадлежавшие наравне с ним к высшему служилому кругу. Однако Онисимов

никогда к подобным вызовам не прибегал, ему претила эта барственность.

И вообще, почему не пойти в парикмахерскую? Именно в Совет Министров! Именно в ту! Где же, черт возьми, его достоинство ничем не запятнанного члена партии?

Полчаса спустя по вылощенному автомобильной резиной асфальту, на котором не залеживался снежок, — его тотчас убирали, — машина Онисимова подкатила к каменной серой громаде в Охотном ряду. Онисимов в темной мягкой шляпе, в зимнем пальто с неброским, недорогим черным барашковым воротником быстро взшел по знакомым ступеням. Его сухощавое, бледное лицо казалось невозмутимым. Кто-то, спускаясь навстречу, поклонился Александру Леонтьевичу. Тот улыбнулся, приветливо кивнул. Его вид как бы гласил: да, был работником промышленности, отвечал перед партией и правительством за металл, за топливо, а ныне получил новое важнейшее государственное поручение. И точка! И ничего более!

Порою опять отвечая с улыбкой на поклоны, он прошел светлым широким коридором в парикмахерскую. Разделся, сел в кресло к своему мастеру, достал сигарету, чиркнул спичкой, огонек заходил, заплясал в его худощавых пальцах — непросто дался Онисимову этот марш сюда. Неожиданно в памяти возникло: «избегайте сшибок». Э, их разве избежишь?

Степенный мастер, в отличие от многих собратьев по профессии не щедрый на слова, — эту его особенность ценил Александр Леонтьевич, — накинул простыню на плечи Онисимова, тронул рукой его каштановые или, точнее, желудевого, тона волосы, пригляделся, затем ножницами стал подравнивать затылок. В какую-то минуту, когда парикмахер легчайшими касаниями бритвы срезал отдельные волосинки вдоль отчетливой, строго прямой линии пробора на левой стороне головы, Онисимов проговорил:

— Все не седею?

— Да, седина почти вас не берет. Но отлив, Александр Леонтьевич, уже не тот.

— Какой отлив?

— Вы извините, масла уже нет.

— Какого масла?

— Ну, блеск не маслянистый. Сухой. И волос хрупкий, не тот.

Словно проверяя себя, парикмахер вновь тронул пальцами прическу Онисимова, помедлил и спросил: — Вы часом не прихворнули, Александр Леонтьевич?

Впоследствии Онисимову не однажды припоминался этот вопрос.

В середине ноября правительство северной страны прислало наконец официальное согласие принять Онисимова в качестве представителя Советской державы — так называемый агреман.

С этого момента интересующие нас события обрели стремительность. Агреман, насколько автору удалось установить, был получен в пятницу, уже в субботних утренних газетах под рубрикой «Хроника» появилось сообщение о том, что Онисимов назначен послом, в субботу же ему были вручены все документы, вылетать предстояло во вторник рано утром.

Обнаружилось, разумеется, множество мелких забот, которыми еще следовало заняться в оставшиеся до вылета дни. Список недоработок, заключительных дел заполнил несколько страниц, испещренных каллиграфически четким почерком Александра Леонтьевича. Опираясь на свой маленький штат, тоже отправлявшийся вместе с ним в чинное северное государство, Онисимов с неутомимой методичностью приводил дела к совершенной ясности, к ажуре — это бухгалтерское словцо, равно как и металлургическое «попадание в анализ», принадлежало к излюбленным его выражениям, — вымарывал пункт за пунктом.

Конечно, этому легиону мелочей, медленно редевшему, этой последней расчистке было предназначено и воскресенье. Он сам аккуратнейше упакует свои чемоданы, не в его обыкновении сваливать на кого-нибудь такую работу. Однако один час Александра Леонтьевича, воскресный завтрак, по издавна заведенному порядку (разумеется, если Онисимов не находился в отъезде) принадлежал семье. Или, верней, сыну Андрюше. Онисимов включил и это в список дел, его рукой было записано: «Побыть с А.».

Заглянем же к началу этого предотъездного совместного завтрака в обширную столовую Онисимовых.

Сквозь оба больших окна, вдоль которых свисают раздвинутые красноватые плотные занавеси, проникает тускловатый свет предзимнего городского утра. Из двенадцати стульев, обступивших покрытый камчатой скатертью стол, сейчас заняты лишь два. Сдвинут и третий, ожидающийся хозяйки дома.

На своем постоянном месте с краю стола сидит Александр Леонтьевич. Свежевыбриты его неполные, скорей впалые щеки, он бреется сам каждое утро, из этого правила не бывает исключений. Дома все уже привыкло к нездоровой желтизне его лица. Он одет по-деловому в свой обычный служебный костюм. Ортодокс скромности — такое прозвище было дано ему, товарищу Саше, еще в армии, — он годами носит вот эти залоснившиеся сзади до блеска темные в полоску брюки и столь же вытертый пиджак. Зато сорочка свежохоноккая. Войдя первым в столовую, он захватил с собой несколько сегодняшних газет, но теперь отодвинул всю пачку, положил перед собой очки и молча смотрит на сына, который уселся напротив.

Лицом, да и всем складом Андрей не напоминает отца. Слегка вьются светло-русые волосы, тонкая кожа, на которой чуть рдеет румянец, кажется девичьей. В серых глазах то и дело проступает живая игра. Во взгляде Андрея порой можно прочесть и неуверенность или, пожалуй, некое вопросительное выражение. Подбородок его мягко очерчен. И будто для контраста с этими нежными чертами заодно вздернут нос. Конечно, все это вовсе не отцовское. Да и не материнское.

Что же все-таки в нем, этом нешумном мальчике, онисимовского? Он выдался в своего деда Леонтия Онисимова, русского бродячего плотника, искателя не то правды, не то счастья, который бог весть какими судьбами был занесен из вятских лесов в Харьков и там женился по страстной любви на украинке Анне, или Ганусе, как ее называли подруги. Темнобровая Анна, ставшая матерью, стала и коренником семьи, находила заработки и непутевому, непрактичному мужу, и себе, постоянно ходила на поденщину или брала стирку домой, выбивалась из нищеты. Свою устремленность к цели, энергию она вместе с точеным лицом передала Александру. А потом также и Ване. Но вот маленький Андрей игрой наследственности перенял дедовские черты.

В характере Александра Леонтьевича, казалось бы, однолинейном, целиком подчиненном лишь одной страсти — работе, таилось и несколько неожиданное качество: глубокие родственные чувства. Никто не догадывался, как остро он горевал по несчастному, погибшему в заключении брату. Эта душевная ссадина и поныне не зажила. Зная за собой эту привязчивость, Александр Леонтьевич все же не ожидал, что рождение ребенка — столь позднее — вызовет у него сильные переживания. Приезжая со службы обедать, Александр Леонтьевич брал на руки, прижимал к себе теплое маленькое тельце, прикивал к нему губами. А если не заставал малыша дома, шел в его комнату и там, приотворив дверь, подносил к лицу его подушечку, дышал милыми запахами. В дальнейшем, когда в мальчике пробудилось сознание действительности, мысль, отец не проявлял так бурно своих чувств. Постоянная замкнутость взяла свое.

И вот его сын уже старшеклассник. Александр Леонтьевич смотрит на него: скоро и паспорт получать... А беленькая, чуть с румянцем физиономия выражает что-то неопределенное, неоформленное, детское. Не скажешь, куда он устремлен, каким он станет, где проляжет его путь. Чего только в нем не намешано! Иногда увлекается и техникой, как-то стал мастерить какие-то модели и, не доведя до ума, бросил. Любит книги, читает порою запоем, главным образом художественную литературу. Этим тоже он вышел не в отца. Да и не в мать.

Сам-то Александр Леонтьевич уже в тринадцать лет впрягся в лямку заработка, сумел и заканчивать коммерческое училище, и помогать семье. А в шестнадцать уже избрал свою дорогу, стал верным солдатом партии большевиков. Избрал до конца дней.

Андрюша смотрит на задумавшегося отца, но не впряжует, как-то искоса. Машинально водит по скатерти пальцем (такой жест был и у Вани), то поднимает, то опускает глаза. В этом взгляде, как и в чертах лица, тоже сквозит неопределенность, нерешительность, некая противоречивость. Мальчик испытывает к отцу и любовь и жалость, но пора бездумного преклонения миновала.

В ожидании завтрака Александр Леонтьевич поворачивает тарелку, чтобы на нее падал свет, сдувает померещившуюся ему пылинку, тщательно протирает

салфеткой. Когда-то эта свойственная Онисимову брезгливость, его почти маниакальное пристрастие к чистоте восхищали сына. Вечно трудившийся, беззаветно преданный работе, постоянно, днем и ночью, будто трехжильный, занятый на службе, отец раньше был недостижимым примером, непогрешимым авторитетом для Андрюши. Затем обожание надломилось. На смену явилось иное, более сложное или, лучше скажем, не совсем и сейчас еще сложившееся отношение.

Когда же сыновнее обожание пошатнулось? Как это было?

Сидя вот так же за воскресным завтраком тому назад четыре года или, пожалуй, уже почти пять лет, третьеклассник Андрюша, отхлебнув кофе, вдруг звонко сказал:

— Папа, а вчера Головешка наврал про тебя.

— Который? — нервно спросила Елена Антоновна.

С ее легкой, а быть может, тяжелой руки «головешками» звались все члены семьи Головня, даже старший из братьев Алексей Афанасьевич, первый заместитель Онисимова, человек куда более приемлемый, нежели склонный дерзить Петр — директор Кураковки. «Наврал» про Андрюшиного отца «головешка», с которым мальчик водил компанию во дворе, — Ленька Головня, сын Алексея.

— Что же он сказал? — произнес Онисимов, храня спокойствие.

Оказалось, ничего особенного. Просто описал эпизод, действительно недавно приключившийся.

Произошло вот что. На прошедшей неделе Онисимов, министр стального проката и литья, поехал со своим первым заместителем — Головной-старшим — на межведомственное совещание к министру путей сообщения, который, кстати говоря, был одновременно и секретарем Центрального Комитета партии. Снова напомним, что в те годы — годы, когда старел и до рассвета не спал Сталин, — день и ночь для значительного слоя высших служащих ничем не отличались: механизм управления не приостанавливался до утра. Совещания, созываемые в двенадцать, а то и в час

ночи, стали обыденностью. За полночь началось и бедствие у министра путей сообщения. Было широко известно, что он любил поговорить, поэтому заседания у него особенно затягивались. Наперед зная, что отсюда до света не выберешься, Онисимов и Головня, приезжавшие каждый на своей машине, обычно одну из них отправляли восвояси: пусть шофер поспит — с тем чтобы на другой вместе возвратиться по домам, благо и жили они рядом, в разных подъездах многокорпусного здания у Москвы-реки.

Предугадка оправдалась и на этот раз. Говорливый министр лишь в шестом часу утра объявил совещание законченным, потом еще порассказал, не спеша, что-то назидательное из своей практики и, наконец, отпустил приглашенных.

Огромные квадратные часы на башне министерского здания у Красных ворот показывали уже больше шести, когда на улицу гурьбой вышли крупнейшие клиенты железных дорог, высшие командиры хозяйственных штабов. Нежно пригревало поднявшееся уже солнце, московская весна набирала силу, воздух был по-утреннему свеж, из близкого сквера доносился запах вскопанной влажной земли. Утреннее оживление уже охватило город.

Другие участники совещания быстро разъехались, а наши два металлурга, недоуменно поглядывая по сторонам, продолжали стоять на тротуаре. Случилось так, что в это утро они остались без машины. Оба шофера уехали, надеявшись, очевидно, друг на друга. Что делать?

Нескончаемой цепочкой люди шли к полукруглому, словно раковина-эстрада для оркестра, строению на противоположной стороне площади, строению, над которым виднелась большая буква «М». Ба, это же метро! Не долго думая, широконосый, с веселыми, ясными вопреки бессоннице глазами Алексей Афанасьевич предложил:

— Едем на метро. Как раз доберемся к «Библиотеке Ленина». А там мы уже дома.

И министр со своим первым заместителем двинулся в метро.

Знакома ли тебе, читатель, толкучка раннего шестичасового московского метро? В семь утра на многих предприятиях начинается рабочий день, люди торопятся к проходным. Толпа повлекла руководителей министер-

ства, однако, не дойдя до касс, они приостановились. На них зашумели:

— Чего встали на дороге?

Сопровождаемые бесцеремонными толчками, недовольными возгласами, они выбрались в сторону и, не без юмора переглядываясь, занялись поисками денежной наличности. Жизнь обоих складывалась так, что можно было обойтись без карманных денег. Специальный буфет, так и именовавшийся *спецбуфет*, обслуживал без всякой оплаты коллегию министерства, чем, скажем к случаю, Онисимов никогда ни в малой мере не злоупотреблял: попросит принести стакан чаю, крепкого, как деготь, и бутерброд с сыром. Да несколько пачек сигарет. И этим ограничится. И сослуживцы так или иначе следовали его воздержанности.

Первый заместитель обнаружил, наконец, заваляющуюся в кармане трешницу. Встав в очередь, подошли к кассе. Онисимов спросил:

— Скажите, сколько стоит билет до «Библиотеки Ленина»?

Кассирша взглянула на этого прилично одетого пассажира:

— У нас, гражданин, все билеты в одну цену.

А сзади уже нервничали, торопили.

— Сколько же?

Кассирша не поверила, что с ней разговаривают серьезно:

— Вы что, смеетесь? Пятьдесят копеек.

Так вот, с грехом пополам билеты были взяты. Кто-то отдал Онисимову большую забинтованную ногу, когда втискивались в вагон. Он перенес это стойчески. Ему ли, знавшему работу у жарких печей и в разливочной канаве, ему ли морщиться от каких-то минутных, ничтожных неудобств? И, вздернув верхнюю губу, показав крепкие зубы, он улыбнулся отжато-му в угол своему спутнику, который с комическим сокрушением покачивал головой.

На станции «Библиотека Ленина» они покинули метро.

Вон на той стороне Москвы-реки возвышается их мрачноватый, в темной облицовке, без единого украшения, многооконный дом, детище тридцатых годов. Среди прочих пешеходов они идут по тротуару: Онисимов в неизменном темном в полоску пиджаке, в не смявшемся за ночь, будто только что надетом, твердом

белом воротничке, в недорогой кепке — ни дать ни взять пунктуальнейший заводской служащий, отправившийся с утра пораньше на работу — и сутуловатый, наделенный, что называется, медвежьей статью Головна, улыбающийся чему-то, может быть, попросту этому солнечному дню, неожиданному приключению — прогулке, обмундированный в полувоенный, защитного цвета, добротный костюм.

Поглядывая на Кремлевскую стену, на очерченный парапетом, пустынный в этот час проезд в Боровицкие ворота, они, пересекая площадь, зашагали напрямик к Каменному мосту. Но почему вдруг с разных сторон поднялась трель милицейских свистков? И почему к нечаянным путешественникам бегут милиционеры?

— Стой! Куда вас понесло?

Два руководителя министерства оторопело остановились.

— Разве здесь нельзя пройти?

Как и в кассе метро, их неведению не поверили и тут.

Вышколенные московские милиционеры с подозрением оглядывали странных нарушителей. Даже принохивались: не шибает ли спиртным? Нет, ровно бы ни в одном глазу.

— Кто вы такие? Москвичи?

— Да.

— И не знаете, где надо переходить? Первый раз, что ли, вышли на улицу?

Ответом было смущенное молчание.

— Предъявите паспорта.

Паспортов, однако, не оказалось ни у того, ни у другого. Досадуя, но сохраняя всегдашнюю невозмутимость, Александр Леонтьевич протянул свое удостоверение члена правительства. На миг милиционеры склонились над этой раскрытой твердой книжечкой. Затем вытянулись по струнке, взяли под козырек, остановили движение транспорта на площади, почтительно провели к мосту заплутавшую пару.

Эту-то историю Андрейка узнал во дворе от Головни-сына. И за семейным завтраком спросил:

— Папа, ведь это неправда?

Онисимов кратко ответил:

— Этаким казус был.

И «казус» действительно был. Чему удивляться, помня ушедшие времена?

В семье больше об этом не говорили. Однако что-то в облике отца, которому Андрей безгранично поклонялся, вдруг померкло. Мальчик, наверное, и сам не смог бы объяснить, почему именно тогда в его мысли об отце впервые вторглась критическая нотка. Еще неясная, невнятная...

Андрей и теперь уважал, любил отца, но... Но вот и сейчас неприятно, что папа сидит рядом с этим полотном в золоченой раме, полотном, где выписан во весь рост в форме генералиссимуса Сталин, сложивший на животе руки. Андрей следит, как отец вытирает тарелку, снимая какую-то едва видимую, а то и совсем не существующую пылинку. Неприятно... Но кто знает, не стало бы еще неприятнее, если бы отец поспешил убрать этот портрет, как это уже сделали в некоторых квартирах по соседству. Мальчик смутно улавливает душевную драму отца. Жалость к нему, такому осунувшемуся, и словно бы посеревавшему с лица, колет, щемит мальчишечье сердце.

13

Так они и сидят, помалкивая, пока в столовую обычным деловым шагом не входит Елена Антоновна.

Сколь помнит Андрюша, он всегда видел мать по-добранной, подтянутой. Она и сейчас такова: поседевшие волосы гладко причесаны, отвороты светлой блузки выпущены поверх серого жакета. Рослая, постоянно выпрямленная, она и дома нередко носила строгий костюм, не жалуя так называемые домашние платья. Ее суховатому облику противоречили, пожалуй, лишь щеки, несколько обвисшие, — в них было что-то бабье, как бы свидетельствующее, что и ей, опытной деятельнице, не имевшей ни единого взыскания за все тридцать пять лет своего партстажа, ведомы и переживания женщины, тревоги матери.

На нее смотрит и Александр Леонтьевич. Точно такую же прическу, не заслонявшую синевато-розового родимого пятна на краю лба, Елена носила и треть века назад, когда Онисимов впервые увидел ее на каком-то совещании в райкоме, — носила, как бы объяв-

ляя: «Ничего перед партией не таю». Это ему понравилось, что-то в душе отозвалось. Помнится, мысленно он определил: «Твердый товарищ». Общась на партийной работе, сблизившись в жаркой борьбе против оппозиции — сначала троцкистской, потом зиновьевской и, наконец, объединенной, — они в некий день предстали миру мужем и женой. Пожалуй, это был брак не по любви, а, так сказать, по идейному, духовному родству. И Онисимов не обманулся. Теперь, много-много лет спустя, он мог бы убежденно повторить давнее свое определение: «Твердый, надежный товарищ».

Елена Антоновна и в нынешнее утро вопреки немалому числу забот, вызванных приближающимся отъездом мужа, не пренебрегла своей безотменной воскресной материнской обязанностью: побывала в комнате сына, проверила, как он поддерживает порядок у себя в бельевом шкафу, на письменном столе и на книжной полке. Направляясь к Андрюше и мужу, к оставленному для нее месту хозяйки, она держит в руке том Сочинений Ленина в темно-коричневом с золотым тиснением переплете. И усевшись, положив книгу, произносит:

— Очень отратно, Андрей, что ты начал читать Ленина.

Елена Антоновна сказала сыну «отратно», но в ее взгляде, осторожно посланном мужу, можно уловить беспокойство. Онисимов ее понимает без слов. Мало ли теперь молодых фрондеров, распустившихся без твердой руки, предвзято подбирающих выдержки из Ленина. Андрею не сообщается о родительских опасениях. Мать, приподняв со скатерти темно-коричневый том, отчитывает мальчика за другое:

— Хорошо, что ты интересуешься сочинениями Ленина, но нельзя же проявлять неуважение к книге.

— Неуважение? — робко откликается сын.

Появляется Варя в белом переднике, в свежей белой косынке. Ловко разложив по тарелкам сосиски и картофельное пюре, она бесшумно исчезает за дверью. Можно продолжать разговор. Голос Елены Антоновны не по возрасту звонок. Даже теперь, когда ей перевалило за пятьдесят, порой на собраниях она удивляет силой и чистотой голоса. Сейчас в просторной, с высокими потолками столовой каждое слово хозяйки явственно звучит:

— Ты сунул ее в кучу других книг и, как видно, забыл, что она существует.

Андрей, этот увалень, вместо того чтобы аккуратно нарезать сосиску, берет ее в руку и надкусывает. Отец безмолвно его останавливает. Материнская нотация продолжается.

— Если ты взял у папы с полки этот том... Повторяю, мы только рады. Но почитал и изволь сразу же поставить на место. Вдруг взрослым эта книга потребуется. Ты понимаешь?

Мальчик согласно кивает. Мать позволяет себе приступить к завтраку. Однако назидание еще не закончено:

— Кроме того, если желаешь что-нибудь запомнить, заведи тетрадь и делай выписки. Нельзя же портить книгу своими пометками.

— Что за пометки?

Онисимов кладет вилку, подтягивает к себе украшенный золотым тиснением томик. Еще не хватало — сын начал что-то отмечать у Ленина. Однако спокойствие, спокойствие! Последний совместный завтрак не должен обернуться стычкой, жена уж и так переусердствовала. Александр Леонтьевич спокойно спрашивает у сына:

— Не обидишься, если взгляну?

Мальчик вдруг оживляется, в глазах мелькает лукавство:

— Папа, ты уже изъясняешься, как дипломат.

Голова Андрюши по-отцовски чуть склонена набок (вот она — наследственная черточка). Александру Леонтьевичу известно, что за сыном этакое водится: тих, незаметен, послушен и вдруг вымолвит, как выпалит, удивит метким словом. Но и отец умеет найтись сразу.

— Ты первый раз это обнаружил?

— По правде говоря, не первый.

— Ну что ж... Не ты один открыл во мне дипломатические способности.

Сказано это бодро. В доме Онисимовых еще пытаются скрыть от Андрюши, сколь тягостен, горек для отца уход с прежней работы. Только что произнесенная шутивная фраза Александра Леонтьевича тоже служит такого рода маскировке. В подобном тоне вторит жена, ее нажим жирнее:

— И способности и эрудиция! Вот папу и назначили. У него теперь очень важная задача.

Вышколенный Андрюша не возражает, не выказывает сомнения, лишь по привычке отводит серые большие глаза. Александр Леонтьевич поближе придвигает к себе книгу, откидывает темно-коричневую твердую крышку, надевает очки.

В эту минуту доносится приглушенный расстоянием звонок у входной двери. Слышно, как Варя пошла открывать. Кто там? К завтраку никого не ждут. Почту беззвучно опускают в дверную щель. Телеграмма? Лицо Елены Антоновны стало настороженным. Видно, что она до сих пор на что-то надеется, может быть, на какую-то внезапную перемену в судьбе мужа. Появляется Варя:

— К вам, Александр Леонтьевич, портной из министерства. Принес костюм.

— Так пусть оставит.

— Без примерки он не может.

— Ох, опять двадцать пять...

— Я ему сказала подождать.

— Нет, нет, почему он должен ждать? Проведите его, Варя, в кабинет.

Быстро поднявшись, сбросив очки, Онисимов выходит из столовой. Сын успевает крикнуть ему вслед:

— Папа, мы без тебя кофе пить не будем! Мама, да?

— Само собой понятно. Мог бы не кричать.

Мальчик на миг съеживается, но, когда Варя забирает кофейник, чтобы подогреть на плите, он, улыбнувшись каким-то своим мыслям, негромко произносит:

— А Журкевич уже строчил фраки отъезжающим за границу дипломатам...

— Какой Журкевич? Что с тобой?

— Ну, его принимают за академика. Главный портной наркомата иностранных дел. Не помнишь? У Ильфа и Петрова.

Елена Антоновна, откровенно говоря, равнодушна к Ильфу и Петрову. Конечно, известное воспитательное значение этих авторов никто не отрицает. Она и сама когда-то их листала. Но в цитате, приведенной сыном, ей сразу почудилось неуважительное отношение и к наркомату, и к главному портному, да, пожалуй, и к дипломатам. Впрочем, она в этом не уверена. И предпочитает молчать. Или, что называется, воздержаться от высказываний.

Мать и сын молча сидят за столом. Вскоре Александр Леонтьевич возвращается в столовую. На нем форма дипломата, облеченного самым высоким рангом. Мышиного цвета сукно украшено золотым шитьем, прорисованы золотой ниткой и пальмовые ветви на отложном воротнике, и звезды на погончиках. Такие мундиры дипломатов были введены при Сталине, который на склоне лет одевал в форму ведомство за ведомством. Онисимов знал, что ему вряд ли понадобится это разукрашенное одеяние,— советские дипломаты за границей отнюдь не показывались в мундирах, да и внутри страны теперь такого рода парадные костюмы, след минувших времен, надевались все реже. Но не были отменены. Что же, порядок есть порядок: Онисимов во всем покорился портному.

Кстати, мундир вот сразу и пригодился. Пусть взглянет Андрей. При других обстоятельствах Александр Леонтьевич, конечно, не позволил бы себе продемонстрировать дома эту свою парадную, с иголки, одежду, но сейчас им двигала все та же потаенная мысль: не хотелось, очень не хотелось, чтобы сын догадался об ударе, постигшем отца. Ничего не стряслось, никакого удара! Да, да, он просто получил новое ответственное назначение. И даже, изволь видеть, отмечен золотым шитьем.

Мальчик смотрит на отца, опять занявшего свое место возле написанного маслом поседевшего генералиссимуса, и снова ощущает укол жалости: надетый впервые серый мундир резче оттеняет, как похудел, пожелтел отец.

По воскресной традиции Елена Антоновна сама разливает в чашки кофе. Отхлебнув, Александр Леонтьевич вооружается очками, раскрывает том Ленина. Перед текстом — фотография. Владимир Ильич, видимо, слушает кого-то, слегка вытянув шею к собеседнику, прищулив один глаз. Снимок — на редкость удачный, живой. Объектив схватил мгновение, когда у Ленина возникает усмешка. Она уже чуть морщит верхнюю губу. Вот-вот Ленин произнесет свое «гм... гм...».

Минуло почти сорок лет с тех пор, как Онисимов впервые прочел Ленина. Это была потрепанная, без переплета, брошюра «Что делать?». Пожалуй, ни одна книга ни раньше, ни потом не действовала столь сильно

на Онисимова. Ясность мысли Ленина, его убежденность, логика покорили пятнадцатилетнего Сашу. Что делать? Сплотиться в партию, в дисциплинированную монолитную организацию пролетарских революционеров — таков был усвоенный Онисимовым на всю жизнь ответ. Его программой, его верой стали ленинские строки: «Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию!» И что же, Владимир Ильич, разве не перевернули? По-прежнему прищурясь, Ленин смотрит из книги на Онисимова, на возвышающегося над его головой единодержавного генералиссимуса.

Отодвинувшись от стола, чтобы не испачкать мундир, Александр Леонтьевич быстро перекидывает страницы, ища сделанные сыном пометки. А, какие-то строки отчеркнуты карандашом. Глаз уже схватил: «...марксист должен учитывать живую жизнь...» И далее еще одна карандашная черта. Понятно. О различии между марксизмом и анархизмом. И на сердце уже отлегло. Признаться, Александр Леонтьевич опасался, что сын, этот маленький книжник, станет предвзято подбирать выдержки из Ленина, как делают некоторые нынешние, осмелевшие без Сталина молодые фронтеры. Опасался, ибо после Андрея книга была лишь наскоро просмотрена матерью. К тому же Онисимов и дома придерживался своего правила, давно ставшего привычкой: «доверился, погиб!» Сейчас он воочию убеждается в невинности пометок сына. Однако продолжает листать, находит еще черточку. Что же, опять ничего страшного. А дальше и вовсе нет следов карандаша. Это знакомая Андрюшкина манера: почитал, почитал и бросил. Ладно, в данном случае помиримся на этом. Как говорится, могло быть хуже.

Исхудалые пальцы Александра Леонтьевича тянутся к коробке с вытисненной мордой пса, забирают сигарету. Чиркнув спичкой, он закуривает. Дрожь пальцев в эту минуту лишь едва уловима.

Еще раз — теперь уже с легким сердцем — он переворачивает десяток-другой страниц. Том открывается на сложной вчетверо вклейке — факсимиле Ленина. Но что это? Оттуда выглядывает и уголок какого-то другого листка. Нет, не зря Онисимов заслужил у металлургов прозвище следователя! Выразительно взглянув на жену, — «так-то ты смотрела!» — он извлекает бумажку. Фу-ты ну-ты, стихи! Нет ни названия, ни имени автора. Но, несомненно, это рука сына.

Кривульки-буковки выведены совсем еще по-детски. Да, не перенял Андрюша ни отцовского, ни материнского — тоже неизменно отчетливого — почерка.

— Если, Андрюша, это твой секрет,— произносит Александр Леонтьевич,— я читать не буду.

Сыну не в новинку краснеть. Смущенный, он держит ответ:

— Никакого секрета... Просто списал девчачьи стихи.

— Девчачьи? Чьи же?

— Не знаю... Списал тут у одного.

Серые Андрейкины глаза выдерживают испытующий отцовский взгляд. Елена Антоновна возмущена. Что за поветрие: заходили по рукам разные стишки, нигде не напечатанные.

Онисимов говорит:

— Отбросим дипломатию и прочтем.

Он оглашает строки:

Ты обо мне не думай плохо,
Моя жестокая эпоха.
Я от тебя приму твой голод,
Из-за тебя останусь голой...

Елена Антоновна не выдерживает:

— Почему голой? Какой голод? Что за ерунда?

Движением руки Александр Леонтьевич останавливает жену. И продолжает во всеуслышание:

На все иду.
На все согласна.
Я все отмерю полной мерой.
Но только ты верни мне ясность
И трижды отнятую веру.
Я так немного запросила
За жизнь свою —
Лишь откровенность.
А ты молчишь — глаза скосила,
Всевидящая современность.

— Хватит! — прерывает Елена Антоновна и поворачивается к Андрею: — Какая же это у тебя в четырнадцать лет отнятая вера? Может, объяснишь?

Отец говорит:

— Не он же сочинял.

— Пусть не списывает такую глупость!

Водворяется молчание. Александр Леонтьевич безмолвно перечитывает:

За жизнь свою —
Лишь откровенность.

Нет, он не может, не умеет быть откровенным. Разучился этому давным-давно. Возможно, сейчас следовало бы мягко, задушевно сказать сыну: «Твой отец был и остается солдатом своей партии. А солдат думает о бое, а не о всем ходе войны. О войне думают другие...»

Он оставляет невыговоренным такое признание. И, подойдя к сыну, погладив его мягкие русые волосы — эта ласка тоже нелегко дается Александру Леонтьевичу, — говорит иное:

— Не смотри вот так. — Уткнувшись взглядом вниз, отец приставляет с обеих сторон к глазам ладони наподобие щор. — Надо смотреть вот как...

Отцовская большая голова теперь приподнята, руки козырьком приложены ко лбу, зеленоватые глаза будто озирают горизонт. Нередко и на заводах, и в разговорах с цеховыми инженерами, с директорами Онисимов вот так же показывал, каким должен быть взор каждого работника.

Дав мальчику этот завет, Александр Леонтьевич сует в карман вышитого золотом мундира коробку «Друга» и, захватив с собой том Ленина, уходит в кабинет.

В простенке висит скромно окантованный снимок Сталина и Орджоникидзе. Онисимов на минуту останавливается перед этой фотографией.

В уме неожиданно всплывает:

Ты обо мне не думай плохо,
Моя жестокая эпоха.

15

Самолет, на каком Онисимову и сопутствующим ему нескольким сотрудникам предстояло оторваться от московской земли, уходил в шестом часу утра. В эти ноябрьские дни 1956 года в Москве после растаявшего первого снега установилась осенняя мокрядь. По черно блестящему асфальту, пролегшему среди полей, машина Онисимова, рассекая лужицы, шла к аэродрому.

Жена и сын занимали заднее сиденье. Невыспавшийся Андрейка, под утро разбуженный Варей, сейчас, нахохлившись, привалился к мягкой обивке. Елена Антоновна была бодра, как всегда. Ее несколько беспокоила мысль: как-то пройдут проводы? Будет обидно, если приедут лишь немногие. Еще накануне она

предрекла, что Серебрянников поостережется, не появится на аэродроме. Она бы и сейчас высказала несколько предположений, но лучше при шофере помолчать.

Показался ярко освещенный подъезд авиавокзала. Машина подкатила к нему ровно за тридцать минут до отлета. Втроем — впереди Онисимов в темной мягкой шляпе, в осеннем непривычно модном пальто, следом статная, строго одетая, в шапочке серого каракуля Елена Антосовна и бледноватый, щурящийся на свету Андрияша — они зашагали к широченному крыльцу. Тут же, откуда ни возьмись, Онисимова окружили провожающие. В зале поджидали еще несколько его давних сотоварищей, вместе с ним пошли в особую правительственную, или депутатскую, комнату. Как-то вдруг вся она заполнилась. Более полусотни человек съехались в этот неудобный рассветный час проводить Онисимова.

Будто одетые по некоей форме, почти все они носили, как и Онисимов, мягкие темные шляпы. Андрияша, отогнавший наконец сонливость, с интересом озирался. Кое-кого из съехавшихся он знал в лицо, иногда по воскресным дням встречал их в подмосковном поселке, где, как положено, одна дача была предоставлена Онисимову. Вон сосед по участку, седоусый, уже потерявший бывшее здоровье, о чем свидетельствовала иссеченная морщинами кожа, министр моторостроения Семенов, три десятилетия протрубивший в индустрии плечом к плечу с Онисимовым. А там толстогубый, с тяжелым, выбритым до блеска подбородком, богатырь сложением заместитель Онисимова по Комитету, принявший у него дела.

Все здесь как будто разные, и, однако, что-то в них есть схожее. И, разумеется, не только в шляпах. Да, тут сошлись работяги. И в отошедшие годы, и ныне они тянут, вытягивают взваленную на них ношу. С гордостью несут свое звание: кадры хозяйственного руководства. В газетах их называли еще так: бойцы за выполнение директив. Онисимов, впрочем, не пользовался такими красотами стиля, предпочитая, как знает читатель, лаконичное определение: солдат партии. Избегая банальностей, автор все же обязан повторить здесь ходячую истину, что людей такого склада в истории еще не было. Эпоха дала им свой чекан, привила первую доблесть солдата: исполнять! Их девизом, их

«верую» стало правило кадровика-воина: приказ и никаких разговоров!

Толки о близящихся переменах, о пересмотре, ломке прежних принципов строго централизованного управления, о ликвидации министерств, ведающих различными отраслями хозяйства, об инициативе с мест, инициативе снизу ими встречались настороженно. И, пожалуй, недоверчиво. Чем черт не шутит, видывали и не такое, пронесет. Конечно, смещение Онисимова было явным признаком, что надвигается нечто впрямь нешуточное, однако бывалые служаки, его сподвижники, рассудили так: угодил-де Александр Леонтьевич под горячую руку, переждем, все утрясется.

И они пришли проводить Александра Леонтьевича. Что же, разве не был он образцовым, лучшим среди них? Почти все сошедшиеся здесь, в депутатской комнате, так или иначе его выученики. Правда, иные воздержались. Насчет Серебрянникова, например, предположения жены, как видно, оказались верны. Не пожелав следовать за границу с прежним своим шефом, он уже и тут не соизволил появиться.

Вот прибыл позать на прощание длань Онисимова министр стали здоровяк Цихоня. Румянец во всю щеку и выпирающая верхняя губа, належавшая на нижнюю, придавали ему вид простака. Онисимов улыбнулся ему:

— Здравствуй.

— Здравствуйте,— ответил румяный министр.

Они издавна так друг к другу обращались, один на «ты», второй на «вы».

— Буду теперь издалека за тобой следить. И не сомневайся, позвоню, если узнаю, что не выполняешь план.

— Хотелось бы, Александр Леонтьевич, чтобы вы позвонили, когда выполню.

Первый урок, полученный некогда от Александра Леонтьевича, Цихоня, наверное, никогда не позабудет.

Произошло вот что. В 1940 году Онисимов стал народным комиссаром стального проката и литья. Одного за другим он вызывал к себе начальников главных управлений, долгими вечерами и ночами досконально разбирая с ними работу разных отраслей стальной промышленности. Очередь Цихони наступила не скоро. Он в ту пору ведал Главтрубосталью. С виду недалекий, благодушный, наделенный, однако, недю-

жинной энергией, наблюдательностью, памятью, сметкой, он спокойно ожидал вызова к новому наркому. Все заводы Главтрубостали выполняли план. Главк в целом дал за последний квартал сто два процента программы. Когда нарком, уже прослышавший строгим, наконец, пригласил Цихоню, тот уверенно, ничуть не волнуясь, зашагал к нему. Поздоровавшись, следуя короткому «садитесь», Цихоня уселся, безмятежно созерцая красиво прорезанные, будто бесстрастные глаза, классически прямой, с чуть раздвоенным кончиком нос своего нового шефа.

— Приступим,— произнес нарком.

Доклад Цихони был недолог, достижения главка не нуждались в пространных комментариях. Онисимов сказал:

— Что же, пройдемся по заводам.

Цихоня перечислил заводы, назвал цифры, всюду дела были благополучны.

— Так. Теперь по цехам.

Оказалось, что кое-где некоторые цехи отстают.

— Почему? — спросил Онисимов.

Цихоня слегка затруднился. Положение в цехах он представлял себе не вполне отчетливо. Все же в течение полутора-двух часов разговора вопрос о работе цехов был более или менее прояснен. Цихоня полагал, что беседа на этом закончится. Однако Онисимов неумолимо сказал:

— Теперь по печам.

— По печам?

— Да. И затем по станам.

— Но дело в том, что... Я этого не знаю. Этих сведений у меня нет.

— Не знаете? Что же вы тут делаете? Для чего вы тут сидите? За что вам выдают зарплату?

Начальник главка, еще только что довольный собою, был нещадно высечен. Его круглые щеки уже не румянились, а багровели. Онисимов продолжал свой допрос-экзамен.

— Как идет реконструкция Заднепровского трубного завода? Укладываетесь в график?

— Да. Но беспокоюсь, что некоторое оборудование запаздывает.

— Какое?

Цихоня дал обстоятельный, точный ответ.

— Покажите график доставки оборудования.

— Я это, товарищ нарком, знаю на память.

— На память? — протянул Онисимов. — Какой же срок ввода в эксплуатацию вам указан?

— Цихоня без затруднения назвал срок.

— Где это задокументировано?

— В постановлении Совнаркома от двенадцатого мая тысяча девятьсот тридцать восьмого года.

— Неверно.

Цихоню прошиб пот. Как так неверно? Он отлично помнил эту дату.

— Нет, товарищ нарком, я не ошибаюсь: постановление от двенадцатого мая.

— Неверно, — повторил Онисимов.

Его бритая верхняя губа приподнялась. Жесткая улыбка приоткрыла крепкие белые зубы.

— Неверно, — сказал он в третий раз. — Не постановление, а распоряжение. Память-то, как видите, вас подвела.

Не однажды Онисимов еще муштровал, школил начальника Главтрубостали. Великая война наново его, Цихоню, проэкзаменовала, как и всякого иного. Из-под носа у немцев был вывезен уникальный трубный Заднепровский завод. Цихоня оставался там, пока не был погружен последний состав. И лишь с этим составом уехал. Минометные стволы, трубочки самого малого диаметра для авиации — мощные трубопроводы для развертываемых на Востоке предприятий — все это давали и давали заводы Главтрубостали, которым по-прежнему командовал Цихоня. В конце войны вслед за Тевосяном, за Онисимовым и он был награжден звездой Героя. Уйдя в Комитет, Онисимов передал ему свое место министра. Признаться, имелись и не менее достойные кандидатуры, однако Цихоня, сохранивший во всех передрыгах вид простака-увальня, доброго малого, пожалуй, был самым покладистым, оставался послушен во всем главе Комитета. А Онисимов не терпел возражений. Думается, это была его слабость. Впрочем, быть может, тут лишь выразилась черточка времени: он и сам никогда не прекословил тем, кого был обязан слушаться, но зато вспыхивал, обрывал, если какой-либо подчиненный отваживался ему перечить. В молодости — а он уже в тридцать лет стал начальником главка — Онисимов еще умел слушать и принимать возражения, но затем перестал выносить людей, которые с ним не соглашались. «Делай мое плохое, а не

свое хорошее», — нередко повторял Александр Леонтьевич. Единственным, кому позволялось противоречить Онисимову, был в свое время Алексей Головня — первый его заместитель. Однако, перейдя десяток лет назад в свою новую резиденцию — в здание Совета министров, — Онисимов вместо себя на посту министра оставил Цихоню. И по-прежнему вникал в разные мелочи, тонкости безостановочного металлургического производства столь же оперативно, как и раньше, — это было его страстью, — управлял стальной промышленностью.

Еще какие-то мгновения они, Цихоня и Онисимов, посматривают друг на друга, безмолвно вспоминают прошлое. А что же в будущем? Как знать, как знать, может быть, и доведется опять вместе поработать.

16

Андрюша стоит рядом с отцом, неприметно проводит кончиками пальцев по ворсу отцовского пальто. Он, диковатый, думающий мальчик, как бы со стороны наблюдает за этим сборищем министерских высших служащих, за воротилами и тружениками индустриальных штабов, — нет, сам он не сможет стать таким, да и не тянет его к этому, — с сыновней гордостью видит: ими признаны, чтутся заслуги отца.

В поместительную, но ставшую сейчас тесноватой комнату входят еще и еще люди, отмахавшие сюда из Москвы по сорок километров на машинах лишь для того, чтобы обменяться поклоном, рукопожатием с Александром Леонтьевичем, пройти вместе с ним к самотету.

На дородном, порозовевшем лице матери мальчик подмечает удовлетворение. Она вежливо кивает входящим, немало друзей — не друзей, но товарищей мужа, так сказать, однополчан индустрии, явились выказать ему уважение.

Андрей замечает: еще кому-то вежливо кивнула мать. В ту сторону взглянул и Александр Леонтьевич. На его лице ничего не выразилось, хотя он узрел, что провожать прибыл и Серебрянников. Так сказать, со-благоволил. А тот, никого не толкнув, благопристойно пробирается к Онисимову, почтительно глядя голубыми навывкате глазами.

Александр Леонтьевич мгновенно оценивает появление Серебрянникова: не означает ли оно, что незримая стрелка некоего незримого барометра указывает на «переменно»? И сухо здоровается со своим бывшим ближайшим сотрудником. Серебрянников с достоинством отходит, останавливается в нескольких шагах от четы Онисимовых, каждый может видеть, что и он исполняет долг — провожает Александра Леонтьевича.

Онисимов кладет руку на плечо Андрюши. Мальчика волнует эта прощальная скупая ласка. Он на миг прикасается щекой к рукаву отцовского пальто. Конечно, Андрюша и не подозревает, что тринадцать лет назад он, в те дни лишь годовалый, был как бы косвенным участником некоего события, после которого отец возвысил, приблизил Серебрянникова.

Пожалуй, расскажем и эту историйку. Так или иначе, где-то в нашем романе ей надо найти место.

...Итак, 1943 год. На втором этаже наркомата — этаже, не доступном рядовым сотрудникам, — где размещались нарком, его заместители и члены коллегии, был устроен бесплатный ночной буфет. Как известно, продовольствие в это суровое военное время выдавалось в тылу только по карточкам. Однако работники, продолжавшие в наркомате и после полуночи свой трудовой день, могли воспользоваться этим *спецбуфетом*, выпить стакан чая или кофе, съесть один-другой бутерброд. Это дополнительное питание не было нормированным, но Онисимов подавал пример умеренности. Всякий раз, когда в буфет стараниями начхоза, общительного Филипповского, знавшего, как говорится, всю Москву, попадали яблоки, или икра, или копченая красная рыба, Онисимов неумолимо распорядился отослать в детский сад такого рода лакомые редкости. Сам он неизменно ограничивался чаем и одним скромным бутербродом. И лишь сигарет забирал помногу.

Как-то проходя коридором к себе в кабинет в пред-рассветный час, он заприметил молодого референта, чинного Серебрянникова, показавшегося из дверей буфета. Почудилось, будто референт вздрогнул. Вздрогнул и остановился на пороге, уважительно уступая путь наркому. От острого глаза Александра Леонтьевича не укрылось, что при этом он заложил, спрятал руку за спину.

— Покажи. Что ты там держишь?

Серебрянников покорился. В его руке оказался акку-

ратно завернутый в пергаментную бумагу объемистый кубик.

— Что это?

— Сливочное масло.

Уже в те времена Онисимов не сдерживал свою вспыльчивость, вспыхивал, как спичка. Он гневно прокричал.

— Как вы посмели?

Это обращение на «вы» уже заключало приговор. Было известно: Онисимов мог простить какую угодно аварию, но не спускал нечестности, нечистоплотности. Серебрянников, потупившись, молчал.

— Вот на что вы способны!

Мертвая тишина водворилась в буфете. Все, кто находился там, прислушивались. Референт по-прежнему не отвечал.

— Идите за мной,— скомандовал нарком.

И, не оглядываясь, направился быстрым шагом в кабинет. Там у него сидели Алексей Головня и два директора заводов. С виду сохраняя спокойствие, без каких-либо суетливых движений вошел в кабинет со своим злосчастным свертком и лупоглазый референт.

— Положите на стол,— произнес Онисимов.

Серебрянников тотчас исполнил повеление. Нарком закурил. Его била дрожь негодования.

— Использовать свое положение ради этого куска! Как вам не стыдно!

Виноватый молчал. Это упорное молчание лишь еще более раздражало, накаляло Онисимова.

— Что вас толкнуло на эту подлость?

Серебрянников вымолвил:

— Я могу это вам сказать лишь наедине.

— Говорите сейчас! У меня с вами секретов нет!

Серебрянников лишь отрицательно повел лысой головой.

— Вон! — крикнул Онисимов.— Сегодня же вы будете уволены как бесчестный человек.

Не пытаясь ни единым словом защититься, референт под презрительным, безжалостным взглядом наркома покинул кабинет.

Примерно час спустя Онисимов закончил разговор с директорами, отпустил и Головню. И потянулся к трубке внутреннего телефона, чтобы позвать к себе начальника отдела кадров. Следовало сегодня же — Онисимов слов на ветер не бросал — сформулировать

и подписать приказ об изгнании Серебрянникова из наркомата как мелкого гнусного самоснабженца. Однако вспомнилось: «я могу вам сказать лишь наедине». Черт с ним, выслушаю его справедливости ради.

И вот немногословный референт вновь у наркома. Теперь они в кабинете вдвоем. Брусочек в желтоватой пергаментной бумаге, уже чуть подтаявший, по-прежнему возлежит на столе.

— Ну-с, могу вас выслушать. Хотя сомневаюсь, что вы нашли оправдание этой пакости.

Серебрянников негромко проговорил:

— Ваша жена позвонила мне. Просила взять ей это для вашего ребенка.

Наступила очередь помолчать и для Онисимова.

— Ступай,— сказал, наконец, он.— И никогда больше так не делай.

Серебрянников, поклонившись, повернулся, но нарком еще задержал его.

— Возьми это,— Александр Леонтьевич указал на сверток.— Отдай в буфет.

Так поступил Онисимов. Он остро любил своего Андрейку, целовал, приезжая домой, крохотное тельце, прижимал к лицу сыновью подушечку, рубашечку, но не позанимствовал для сына из спецбуфета хотя бы кусок масла.

Месяца через два после этого случая Онисимов назначил лысого референта начальником своего секретариата. Помимо других свойственных ему достоинств, Серебрянников удовлетворял и требованию, которое Александр Леонтьевич не раз строго высказывал: аппарат не должен болтать! В дальнейшем нарком так привык к своему доверенному, что однажды в его присутствии разрешил себе ироническую реплику в адрес — читателю придется простить нам и этот канцеляризм, — в адрес своей Елены Антоновны.

Как-то, еще в те времена, когда рабочий день Онисимова неизменно заканчивался лишь в четыре, в пять часов утра, она позвонила ему в кабинет после полуночи. Ограничившись в последовавшем телефонном разговоре несколькими односложными ответами, он положил трубку, посмотрел на стоявшего с бумагами пристойного Серебрянникова, вымолвил:

— Деловая женщина. Заработалась за полночь.

Так он сыронизировал. Но только единственный раз. Подобных шуток больше никто от него не слышал.

...Вот в депутатской комнате аэровокзала чуть ли не в последнюю минуту появляются быстроглазый, загорелый, чему-то смеющийся Малышев и черноволосый, с белозубой улыбкой Тевосян — два заместителя Председателя Совета Министров СССР. Впрочем, насчет Тевосяна упорно поговаривали, что начавшиеся перемены коснутся и его. Вероятно, и он будет направлен за границу. Уже называли и предназначенную ему миссию: посол в Японии. И все же, хотя его положение и впрямь было непрочным, он приехал проводить давнего товарища, крепко, без слов пожал руку Онисимова.

Предводительствуемые девушкой, одетой в изящную, сшитую по фигуре темно-синюю форму Гражданского Воздушного Флота, все они — Онисимов, маленькая его семья, несколько улетающих с ним работников посольства, гурьба провожающих, — пройдя через особый выход, шагают в рассветной мути по освещенному рефлекторами мокрому летному полю к белеющему невдалеке, опирающемуся на расставленные тонкие ноги, длинному красивому Ту-104.

Путь пересекает, заставляет на минуту остановиться осторожно ползущая автоцистерна. Онисимов оборачивается. Туда же, на вереницу провожающих, поглядывает и Елена Антоновна. Даже не переглянувшись, супруги понимают друг друга. Получилась ведь своего рода небольшая демонстрация. Можно сказать и, наверное, так скажут: демонстрация солидарности. Бойцы за выполнение директив, вышколенные государственные люди решили проводить снятого, смещенного Онисимова, пройти вместе с ним толпой, если не колонной, по аэродромному плацу. Конечно, пределы дозволенного ничуть тут не нарушены. Но все-таки... Все-таки колеблются, колеблются еще весы истории. Быть может, поухает, поурчит гром и угомонится. И Онисимова вновь призовут в индустрию.

Путь освобожден, все двигаются дальше. Вот и трап, ведущий к дверце самолета. Дальше провожающих не пустят. Онисимов обеими руками машет всем, потом обращается к сыну:

— Ну, Андрюша, до свидания.

— Папа, я тебе буду высылать книги. Все интересные новинки.

— Куда мне все? Но некоторые посылай.

— Хочешь, я тебе подберу самые лучшие труды по мировой истории? И ты изучишь там историю.

— Идет. А про новые времена извещай в письмах. Хорошо?

Андрей вдруг привстает на цыпочки, тянется к уху отца, зазорная улыбка морщит губы мальчика. Понизив голос, он говорит:

— У новых времен еще зубки не прорезались.

Александр Леонтьевич опять, не в первый уже раз, с удивлением взирает на худенького сына. Тих, тих, а иногда выложит такое, что хоть разводи руками. Неужели и он, этот беленький мальчик со вздернутым носом, уже все понимает?

Кто-то из аэродромного персонала вежливо просит Онисимова подняться в самолет. Он чмокает в щеку жену, целует сына, вновь машет обеими руками всем, кто ради него сюда приехал, взбирается по трапу и, обернувшись напоследок, скрывается в кабине самолета.

Посадка продолжается еще минуту-другую. Шагают, шагают по ступенькам пассажиры. Но вот отодвинут трап, дверца задраена, Ту-104 тяжело трогается, вырывается на стартовую дорожку. Вскоре летящий огненный хвост возникает в небе: струю раскаленных газов извергают два сопла, изготовленные из особой жароупорной стали, той, ради которой Онисимов, председатель Комитета по делам топлива и металлургии, простаивал некогда целыми днями на рабочей площадке сталеплавильной печи завода «Электрометалл». Вот потускнели, померкли последние огненные росчерки, самолет ушел по своему курсу.

Скажем лишь несколько слов о том, как складывался на новом месте быт и рабочий день Онисимова.

Равнодушный к уюту, он обитал один в пустынной трехкомнатной квартире обставленной отличной новой мебелью. Ни одну вещь он не велел переменить, ни одну не переставил по-своему. Расположенная на втором этаже в здании посольства, эта квартира была соединена дверью с кабинетом, который, таким образом, являлся как бы четвертой личной комнатой посла и вместе с тем уже служебным помещением. Написанный маслом огромный портрет Сталина во весь рост красовался над письменным столом — источали блеск звезды на груди и на погонах, сияли сапоги, а руки,

спокойно сложенные на животе, лишь подчеркивали величие. Уже свыше года истекло со дней двадцатого съезда, где был развенчан скончавшийся, но его бюсты и портреты, обязательные в каждом советском селении, в каждой конторе, пока оставались неприкосновенными. Наверху, как имел основание полагать Онисимов, не чуждый, понятно, партийных и государственных тайн, продолжалась скрытая от непосвященных борьба. И снова, как и при отлете из Москвы, зачастую чудилось, что некие весы истории, поколебавшись, замерли. Замерли, но ненадолго. С такого рода ощущением и жил в те месяцы Онисимов.

Опять ровно в девять, минута в минуту, лишь не по-московскому, а по-здешнему, среднеевропейскому, времени, он появлялся в кабинете. Александр Леонтьевич и здесь носил черный в едва заметную полоску пиджак — правда, новехонький, современного кроя, — белоснежную сорочку, скромный серый галстук. Лишь для приемов, подчиняясь этикету, он надевал сшитый тоже в Москве смокинг. Сохранил привязанность и к привычным сигаретам «Друг». В письмах домой он ничего не просил ему прислать — только сигареты «Друг». Приглушая в себе ноющую нотку — Онисимов не называл ее тоской, — он выкуривал по две, по три пачки в день. Выпадали промежутки, когда запасы московских сигарет исчерпывались. Приходилось курить американские — «Кемел», «Честерфильд». Кашель Онисимова, случалось, усиливался, стал каким-то лающим, натушливым. Он объяснял это сменой табака.

Итак, ровно в девять он появлялся в кабинете, садился в кресло, надевал очки. И колесо рабочего дня сразу же набирало обороты, обретало полный ход. Прежде всего — почта. Затем — пресса. Между сотрудниками — знатоками Северной Европы — были распределены все более или менее значительные выходящие в Тишландии и прилегающих странах газеты. Один за другим молодые помощники излагали Онисимову содержание газетных страниц, реферировали сегодняшнюю прессу. Некоторые важные статьи ему целиком переводили вслух. Как всегда нетерпеливый, он раздраженно морщился, если сотрудник запинался, медлил, искал слов. Пожалуй, раздражительность Александра Леонтьевича здесь даже усилилась: непонятный внутренний зуд — словно бы где-то в сосудах, в крови — не давал покоя, хотелось вспылить, накричать. Ониси-

мов себя сдерживал, лишь заметнее становилась дрожь, как бы беспричинная, его маленькой руки.

Прессе он посвящал два или три часа. Далее занимался подготовкой очередного большого приема. Ни один приглашенный в советский особняк не должен скучать, надо каждого занять, оказать ему внимание, поддержать с ним разговор. Вот этот экономист... Кто прочел его труды? Почему это не сделано? Мы обязаны знать работы, выступления, биографии всех, кто придет в наши залы на прием. Двум своим советникам, приехавшим с ним из Москвы, Макееву и Новикову, инженерам-металлургам, которые свыше десятка лет потрудились в его секретариате, приноровились к напору, к требовательности Александра Леонтьевича, он говорил:

— Прием — это наша работа в цехе.

Однако этой нагрузке, которую он сам создавал себе, в которую с обычной готовностью впрягался, хватало ему лишь до обеда. Что же делать дальше? Чем заполнить день? Он заставлял себя посещать выставки, музеи, осматривать столичные достопримечательности. Но оставался еще вечер. Нередко советского представителя приглашали на приемы. Облечившись в «смокинг», он ехал туда — на свою вечернюю упряжку. И добросовестно ее отбывал: поддерживал или завязывал вновь знакомства, любезно улыбался, открывая красивые кремовые зубы, умел быть приятным, пошутить. Приходилось и выпивать рюмку-другую. Нельзя было отнекиваться, когда возглашался тост за здоровье короля или королевы.

Александр Леонтьевич почти не переносил алкоголя, на утро после банкета он вставал разбитым, чувствовал непривычное для него утомление среди дня.

И все же многие вечера оставались пустыми. В своей необжитой, словно временное гостиничное обиталище, квартире Онисимов отыскивал уже прочитанные московские газеты (они прибывали сюда на третий день), шелестел листами «Правды», еще и еще вчитывался даже в мелкие заметки, чего-то искал меж строк, уносился мыслями в Москву.

Иногда он звонил Макееву:

— Приходи. Сыграем в шахматы.

Еще в мальчишескую пору Онисимов потянулся к шахматам, обнаружил способности и, быть может, одаренность в этих сражениях на шестидесяти четырех клетках. Но и тогда для игры у него почти никогда не

было времени. А далее и подавно. Пожалуй, лишь в вагоне, выезжая с группой помощников на восточные или южные заводы, он мог предаться любимому развлечению и два-три часа, покуривая, проводил за доской. Остро нападал, цепко защищался. Бывал глубоко уязвлен, если доводилось проигрывать. Втайне из-за этого он злился и, хотя старался подавить досаду, становился угрюмым, мог негаданно вспылить. Макеев был его давним партнером.

В чинной просторной гостиной под люстрой, льющей холодный яркий свет, они расставляли на шахматном столике фигуры. Обычно отличающийся быстрой реакцией, отнюдь и в шахматах не тугодум, Онисимов среди партии вдруг задумывался. Макеев незаметно взглядывал на Александра Леонтьевича. Тот размышлял явно не над ходом: куда-то смотрел мимо стола. Потом спохватывался, продолжал игру, но без вкуса, без агрессии, которая и за шахматной доской была свойственна ему. Встревоженный вялостью Александра Леонтьевича, преданный ему советник развивал азартную атаку, угрожал и наконец с облегчением видел, что Онисимов обретает себя, ищет защиту, наносит жестокий ответный удар.

Но снова выпадали минуты, когда Александр Леонтьевич словно бы отсутствовал. В Москве Макеев не видывал Онисимова таким поникшим, погасшим. Не болен ли шеф?

Однако спрашивать об этом не полагалось. Онисимов недовольно отстранял всякие вопросы о самочувствии, о здоровье. Порой за шахматами он заговаривал про московские дела, про Комитет, оживлялся, вспоминал, как дрался с Госпланом за капиталовложения для развертывания рудных баз. Или, будто с кем-то споря, доказывал экономическую целесообразность сооружения металлургического комбината на Шексне. Макееву чудилось, что бывший министр, бывший председатель Комитета здесь, на далекой чужбине, опровергает чьи-то обвинения, стремится оправдать себя хотя бы перед ним, партнером в шахматах, скромным подчиненным. Случалось, Александр Леонтьевич начинал вслух размышлять о готовящейся, еще не совершившейся перестройке управления промышленностью и, будто опять от кого-то защищаясь, отстаивал необходимость осторожности, но быстро осекался, пускал в ход тормоза, оставлял свое мнение при себе.

И снова погаснув, замкнувшись, возвращался к игре, доводил партию до конца. Прежнего удовольствия шахматы ему уже не доставляли. Даже победа — а деликатного Макеева он и теперь частенько побеждал — не радовала его.

— Александр Леонтьевич, час еще не поздний. Сыграем вторую?

— Хватит. Спасибо. Пойду лягу, посплю.

И Онисимов ложился в свою одинокую постель. Ложился необычайно рано, в десять, в одиннадцать часов и, привыкший годами и десятилетиями гасить в Москве огонь под утро, конечно, не мог уснуть. К снотворному не хотелось прибегать. В эти бессонные часы он опять многое перебирал в памяти, думал и думал. Нет, не о Северной Европе.

В июне этого же 1957 года в стране, которую Онисимов окрестил Тишландией, предстояло некое событие: открывалась международная промышленная выставка. В Москве для поездки на выставку была сформирована группа инженеров и ученых. В составе этой своего рода делегации три места из шестнадцати принадлежали металлургам. Среди них находился и академик Василий Данилович Челышев, доменщик по специальности, который мельком уже фигурировал в нашей хронике.

Однако, прежде чем характеризовать далее Челышева, позволю себе небольшое отступление. Мне довелось близко его знать, я пользовался его устными рассказами, советами, когда еще в тридцатых годах писал повесть о дерзновенном Курако, учителе Василия Даниловича. И недавно вновь имел случай убедиться, что сохранил его доверие. Он познакомил меня со своими дневниками, порой на удивление подробными. Они стали, с его разрешения, одним из главных источников или даже истоков этой летописи.

Накануне отъезда на международную выставку Челышев — назовем, кстати, его тогдашнюю должность: директор научно-исследовательского Центра черной металлургии и член президиума Академии наук — понаведалься, как это можно установить по его дневниковой записи, в министерство стали. Среди дел, которые привели его туда, Василий Данилович упоминает лишь

письмо-слезницу инженера Лесных. Несколько лет назад из-за этого Лесных, упрямо отказавшись применять в промышленности, в заводских масштабах, его изобретение, новый способ плавки, Василий Данилович зарабатал подписанный Сталиным выговор и, мало того, по приказу свыше был вытурен, как говаривал сам Челышев, из заместителей министра. А ныне, не угодно ли, тот же Лесных, потерпевший, как и следовало ожидать, страшный конфуз, осмеянный, ославленный, изгнанный с завода, выстроенного, чтобы плавить сталь по его способу, ищет заступничества у того же Челышева, просит взять под крыло науки, спасти хотя бы одну из остановленных, заброшенных его печей. Что же, надобно, ничего не попишешь, вступиться.

Нет сомнения, у Челышева имелись и еще разные дела в министерстве: они неизменно поднакапливались. Кроме того, он не прочь был тут услышать и напутствия в дорогу, пожелания, а заодно и последние новости, слухи,— этого не гнушался чуждый ханжества старик,— слухи, которые жадно ловила служилая Москва, гадающая: грянет или не грянет ликвидация министерства. Василий Данилович знал, что в чужеземной столице его будет расспрашивать Онисимов, хотелось привезти ему самые свежие, горяченькие вести.

Как обычно, машина Челышева подкатила не к главному подъезду, отмеченному золоченой надписью-вывеской под толстым стеклом, а к расположенному в переулке неприметному боковому входу, предназначенному для министра и членов коллегии.

Держа завязанную тесемками голубоватую папку,— с портфелем Челышев хаживать не любил,— он вылезает из машины, длинный, костистый, наживший, однако, небольшое брюшко, которое слегка обозначается под свободного покроя темно-серым пиджаком. Мягкая серая шляпа сдвинута несколько назад, открывая затылок и большое, непородистое, торчащее в сторону ухо. Крутой выгиб крыльев хрящеватого нервного носа, пожалуй, выдает скрытую страстность. Маленькие, глубоко запавшие глаза как бы прикрыты выступами сильно развитых бровных дуг, поросших лохматым сивым волосом. Когда-то Челышев постоянно казался нахмуренным, но уже очень давно (далее мы, возможно, расскажем, как и когда это случилось) словно бы приподнял голову, то и дело выказывая живое посверкивание в тени глазниц.

Он и сейчас поглядывает по сторонам — не покажется ли в переулке кто-либо знакомый? Посмотрел и на соседнее многооконное здание — там, еще при Орджоникидзе, он, заядлый заводской инженер, начал свое новое житье-бытье. Приглашая Чельшева со знаменитого завода «Новоуралсталь» на работу в наркомат, Серго не нашел для него в штатном расписании подходящего звания и тут же учредил для него единственную в своем роде должность: главный доменщик Наркомтяжпрома. Этаким главным доменщиком советской металлургии Чельшев, несмотря на разные превратности судьбы, остался и поныне.

Василий Данилович входит в подъезд. Вахтер в форме, обязанный проверять пропуска, стоит у столика. Рука Чельшева тянется в боковой карман за постоянным пропуском, но страж улыбается:

— Проходите, Василий Данилович. — Молодой чистенький солдат знает Главного доменщика и смотрит с улыбкой, как тот не по возрасту легко берет ступени лестницы, усланной ковровой дорожкой.

У Чельшева еще много сил. Частенько бывая в металлургических районах Востока и Юга, он лазает на колошники, спускается в скиповые ямы, исхаживает многие километры по заводской территории, по цехам, запускает глаз и на задворки.

Василий Данилович шагает по широкому сумрачному коридору на втором этаже министерства. По обеим сторонам виден ряд полированных дверей. Тут служебные обиталища заместителей министра. А дальше, в конце коридора, расположен отсек, где сосредоточены и секретариат, и приемная, и кабинет министра, и примыкающая к этому кабинету комната, так называемая бытовка, где можно прилечь или поесть. Неподалеку размещен и буфет. Сейчас дверь в буфет раскрыта, оттуда доносятся голоса, чей-то басовитый смех.

Раньше, когда министерство возглавлял Онисимов, можно было даже здесь, в коридоре, сразу определить: на месте ли он. Напряженная тишина, изредка быстро, сосредоточенно пройдет какой-либо работник, если кто-нибудь и заговорит, то понизив голос, — значит, Александр Леонтьевич у себя. И все несколько менялось, как только он уезжал: в коридоре прохаживались, гупорили, уже и из буфета долетали какие-то живые звуки. Но все же приглушенные. Даже и отсутствуя, Онисимов в те времена наводил тут строгость.

А теперь из раскрытых дверей буфетного зальца громогласно приветствуют идущего мимо Челышева. И поди-ка угадай — пребывает ли сейчас в своем кабинете нынешний министр, жизнерадостный румяный Цихоня.

Двойная дверь, ведущая из приемной к нему, настежь распахнута, — этим способом по неписаной инструкции принято сообщать, что кабинет пуст. Дежурный секретарь Валерия Михайловна, которую Челышев помнит в министерстве еще с довоенных лет, радостно встречает академика:

— Наконец к нам заглянули! Только что звонил Павел Георгиевич, — (таково имя-отчество министра), — сказал, что скоро будет. Проходите, Василий Данилович, располагайтесь у него.

— Нет. Пока тут поброжу, потолкую с тем, с другим.

— Может быть, кого-нибудь вам пригласить сюда?

— Зачем? Сам отыщу.

И все же он входит в кабинет, шагает по ковру серо-желтых тонов. При Онисимове тут не было ковров, Александр Леонтьевич их относил к предметам роскоши, которые неуклонно изгонял из своего обихода. Но требовал наващивать, натирать светлый паркет до зеркального блеска, до сияния. И этим еще не довольствовался: по его велению паркет ежегодно циклевали. Ни в одном уголке пол тогда не был тускловатым, сверкал столь же безукоризненно, как и весь тот обнаженный паркетный простор. Теперь же появился и ковер, в меру лоснится и паркет, но поражающий строгий блеск уже исчез.

Василий Данилович подходит к столу, приостанавливается. На стене еще висит оставшаяся тут со времен войны географическая карта. Можно различить чуть заметные проколы, — сюда в страшные месяцы 1941 года нарком Онисимов собственной рукой втыкал булавки со значками, отмечая передвижение эшелонов, что эвакуировали, вывозили на Восток южные заводы.

Эта карта, испещренная вереницами флажков, висела здесь и в тот памятный вечер, когда над Москвой впервые появились гитлеровские бомбардировщики. Василий Данилович тоже находился тогда тут, в этом кабинете, приглашенный на совещание к Онисимову. Внезапно завьли сирены воздушной тревоги. Онисимов, как ни в чем не бывало, даже не покосившись в сторону

наглухо зашторенных окон, по-прежнему вел заседание, не прерывал дела. Загремели выстрелы зениток. Донеслись тяжелые взрывы сброшенных авиабомб. От близкого удара содрогнулось здание, задребезжали стекла. Онисимов сказал:

— Потушим-ка свет. Посмотрим, что творится.

Он сам выключил настольную лампу, была быстро погашена и люстра. Тьма завладела кабинетом. Онисимов распахнул окно. Неверные отсветы скользнули по лицам. Прожекторные лучи шарили в небе, разноцветный пунктир трассирующих пуль уходил ввысь, красноватые разрывы возникали в вышине.

Александр Леонтьевич молча стоял у окна, наблюдая. Некоторые подошли к нему, другие держались поодаль. Челышев сказал:

— Вы, Александр Леонтьевич, смельчак. А я, признаюсь, трус. Пойду в убежище.

И зашагал из кабинета. Никто не осмелился за ним последовать.

А впоследствии... Впоследствии случались и еще испытания мужества.

Старик академик садится к столу в одно из удобных кресел, — у Онисимова и кресла, помнится, были пожестче, — раскрывает папку, проглядывает бумаги. На глаза попадают письма этого, черт его дери, Лесных. Вот как пошутила жизнь. Невеселая шутка. Василий Данилович не забыл: в тот далекий час странная дрожь затрясла пальцы Онисимова. Тогда, собственно, и развернулась вся эта невероятная история внезапного повышения, а затем и падения инженера Лесных — одна из драм отошедшего времени, записанная в дневниках Челышева.

Это произошло ровно пять годов назад — летом 1952-го.

Василий Данилович сидел на этом же месте у стола и, так же раскрыв принесенную с собою папку, что-то обсуждал с Онисимовым. И раздался тот памятный звонок по телефону-вертушке. Онисимов спокойно взял трубку и вдруг красные пятна проступили на щеках. Он порывисто встал и далее вел разговор стоя. Василий Данилович знал, что лишь перед единственным челове-

ком Онисимов вот этак вытягивался у телефона. Да Александру Леонтьевичу действительно позвонил Сталин.

Челышев, естественно, слов Сталина не различал, слышал лишь ответы Онисимова.

— Да, слушаю, товарищ Сталин... Способ Лесных? Да, знаю.

Онисимов нервно нажал несколько раз кнопку звонка в секретариат. На эти звонки-вызовы тотчас в кабинет вбежал Серебрянников, несмотря на поспешность, отнюдь не суетящийся, немало не утративший постоянного благообразия. Онисимов четко отвечал:

— Да, товарищ Сталин. Да, лично знакомился.

Прикрыв раструб рукой, он прошипел:

— Сейчас же сюда все, что у вас имеется относительно Лесных.

Не переспрашивая, схватив приказание на лету, Серебрянников с той же целеустремленной быстротой исчез. Онисимов проговорил в трубку:

— Могу сообщить, что года два назад инженер Лесных обращался со своим предложением в министерство. Была произведена...

Сталин, очевидно, его перебил. Онисимов мгновенно замолчал. Он слушал, выпрямившись, как и раньше. Маленькая рука твердо держала телефонную трубку. Волнение по-прежнему пятнами жгло щеки, но небоязливый, сосредоточенный взгляд свидетельствовал о присутствии духа.

— Да, его жалобу я сам разбирал. Была привлечена и авторитетная комиссия. Кроме того, дал заключение и Василий Данилович Челышев.

Только тут Челышев наконец вполне уяснил, о чем и о ком расспрашивал Сталин. Вначале как-то не укладывалось, что речь идет о том самом одутловатом, страдавшем одышкой человеке, который... Ну, Лесных, преподаватель из Сибири. Предложил способ выплавки стали прямо из руды, минуя доменный процесс. Объявил, что кокс более не нужен, что взамен минерального горючего будет служить электроток. С невероятным упорством, с маниакальной убежденностью отстаивал, подвигал свое предложение. Пробился и к Челышеву. Отзыв Василия Даниловича был новым ударом, новым разочарованием для изобретателя. Челышев написал, что способ Лесных технически осуществим, но экономически нецелесообразен, так как чрезвычайно дорог. Это

дело не нынешнего десятилетия. Пусть изобретатель, увлеченный своей выдумкой, возится, экспериментирует, некоторую помощь в разумных пределах ему надо оказать, эта работа, возможно, прояснит некоторые теоретические вопросы металлургии, но не следует — по крайней мере в обозримой перспективе — рассчитывать на какой-либо практический эффект, на практическое применение способа Лесных в промышленности.

Настырный изобретатель не остановился и перед жалобой в Центральный Комитет партии. Оттуда жалобу и все материалы переслали министру Онисимову. Пришлось и тому рассматривать заявку Лесных, его чертежи и вычисления, а также многочисленные отзывы, отклонявшие изобретение. Александр Леонтьевич проделал это со всей свойственной ему тщательностью. С карандашом он высчитал, что химизм процесса по способу Лесных потребует практически недоступных температур. Если же реакция, паче чаяния, все же пойдет, то шлаки приобретут такую едкость, перед которой не устоит никакой огнеупор. Конструкция предложенной печи, как убедился Онисимов, изучив чертежи, тоже была несостоятельной, не устранила, например, слипания руды, нисходящей в ванну. Его выводы были еще более категоричны, чем заключение Чельшева. Как-то в те дни он даже попенял Василию Даниловичу:

— Вы проявили мягкотелость.— Словечко «мягкотелость» было весьма неодобрительным у Александра Леонтьевича.— Лишь по доброте могли вы написать, что способ технически осуществим.

— Почему? Теоретически он мыслим.

— Однако мы же с вами не сомневаемся, что из этой затеи ничего не выйдет. Так и следовало сказать, никого не обнадеживая.

— Да пускай он там копается.

— Не нам это решать. Он работает не в нашей системе, а в Министерстве высшего образования. Не думаю, чтобы оно нуждалось в наших невинных пожеланиях.

И вот два года спустя вдруг Сталин спросил по телефону об инженере Лесных. Как могло это случиться? Каким образом предложение Лесных проникло к Сталину сквозь нескончаемые заграждения? Прислушиваясь к объяснениям Онисимова, Чельшев вспомнил некие смутные толки о том, что ведомство лагерей, подчиненное Берии, занятое проектированием гигантских

гидроэлектростанций в Восточной Сибири, подкинуло-де какие-то средства Лесных на его опыты.

Разговор по телефону продолжался. Безмерное уважение к собеседнику по-прежнему читалось в крайне внимательном лице, в неподвижности выпрямленного корпуса. Стоя как бы по команде «смирно», при этом, однако, не вскинув голову,— она казалась втиснутой в плечи еще глубже, чем обычно,— Онисимов не пытался уклоняться от прямых ответов. Не следует думать, что ему было чуждо умение ускользать. Однако эта способность будто бесследно испарялась, когда к нему обращался Сталин. Сугубая точность, пунктуальность бывала тут не только делом чести, святым долгом, но и щитом, спасением для Онисимова.

— Как инженер не могу поддержать, Иосиф Виссарионович, этот способ.

Опять он осекся, стал слушать. Неожиданно вновь изменился в лице, побледнел.

— Нет, не был информирован. Впервые сейчас об этом слышу.

И тотчас справился со своим смятением, вернул хладнокровие:

— Была проведена солидная экспертиза, Иосиф Виссарионович. Я, разумеется, несу полную ответственность. Кроме того, как я вам уже докладывал, этим занимался и товарищ Чельшев. Он, кстати, сейчас здесь у меня сидит.

Василий Данилович понимал, что Онисимов стремится получить передышку хотя бы на несколько минут, чтобы опаматоваться, оправиться от какой-то страшной неожиданности, затем достойно ее встретить. Этот ход удался. Александр Леонтьевич протянул трубку Чельшеву:

— Иосиф Виссарионович вас просит.

20

Мембрана донесла медлительные интонации Сталина:

— Товарищ Чельшев? Здравствуйте.— Телефон будто усиливал его всегдашний резкий грузинский акцент.— Вам известно предложение инженера Лесных о бездомном получении стали?

— Да.

— Что вы об этом скажете?

— Поскольку я с его замыслом знакомился, могу вас...

— Сами знакомились?

— Да.

— Так. Слушаю.

— На мой взгляд, Иосиф Виссарионович, предложение практической ценности не имеет. В промышленности применить его нельзя.

— То есть дело, не имеющее перспективы? Я правильно вас понял?

Что-то угрожающее чувствовалось в тоне, еще как бы спокойном. Василий Данилович ответил:

— В далекой перспективе мы, может быть, действительно будем выплавлять сталь только электричеством. Пока же...

— И изобретателю, следовательно, не помогли?

Пришлось промолчать. Челышев не хотел заслоняться строчками своего заключения — изобретателю-де надо оказать небольшую разумную помощь, — не хотел подводить этим Онисимова. А ссылка на другое министерство, ведавшее преподавателем Лесных, казалась и вовсе чиновничьей, претила Василию Даниловичу. Сталин, однако, не позволил ему избежать ответа.

— Так что же, не помогли?

Челышев буркнул:

— Не знаю.

— А я знаю. Вы с товарищем Онисимовым не могли. Вместо вас это сделали другие. И хотя вы придерживаетесь взгляда, что изобретение практической ценности не имеет... — Сталин выдержал паузу, словно ожидая от Челышева подтверждения. — Я правильно вас понял?

— Да.

— Тем не менее у меня на столе, товарищ Челышев, — голос Сталина зазвучал жестче, — лежит металл, лежат образцы стали, выплавленные этим способом. Я вам их пришлю. Вам и товарищу Онисимову.

Челышев понял — вот к какому известию относилось восклицание Онисимова: «Впервые сейчас об этом слышу». Василий Данилович тоже лишь теперь услышал эту новость.

— Выплавить-то можно, — сказал он. — Но сколько это стоило?

— Почти ничего не стоило. Плавку провели в

лаборатории Сибирского политехнического института. Помощниками товарища Лесных были несколько студентов.

Опять в кабинет бесшумно вбежал Серебрянников, держа две папки. Онисимов их почти выхватил, стал быстро листать, поглядывая и на Челышева, разгадывая — если не по его взору — маленькие глаза академика совсем скрылись под хмуро нависшими бровями, — то по мимолетным теням на сухощавом лице, о чем говорит Сталин.

Серебрянников встал за спиной Онисимова, слегка к нему склонился и, как и прежде, не утрачивая достоинства, был наготове для дальнейших поручений.

— А посчитать все-таки бы надобно, — сказал Челышев. — К тому же и печь пришла в негодность, кладка сгорела.

— Кто вам сообщил?

Василий Данилович позволил себе усмехнуться.

— Не маленький. Могу сообразить. Но это, Иосиф Виссарионович, было бы не страшно, если бы...

Сталин нетерпеливо перебил:

— Зачем, товарищ Челышев, подменять мелочами главное? Разве что-либо значительное рождается без мук? — Удовлетворенный своей формулой, он помолчал. Затем опять обрел медлительность. — Главное в том, что новым способом выплавлена сталь. А остальное приложится, если мы, товарищ Челышев, будем в этом настойчивы. Не так ли?

Уловив прорвавшиеся в какое-то мгновение раздраженные или, пожалуй, капризные интонации Сталина, Василий Данилович не дерзнул возражать. А возражения просились на язык. «Зачем подменять мелочами главное?» Так-то оно так, но когда-то вы, товарищ Сталин, не чурались мелочей. И допытывались, выспрашивали о всяческих подробностях. А ведь способов прямого получения стали из руды предложено уже немало, и у нас, и в мировой металлургии. И каждый способ — это мелочи, тонкости, подробности. «Будем настойчивы». Нет, не все в технике, в промышленности можно взять только настойчивостью. Сначала надо иметь верное решение.

— Таким образом, вы совершили ошибку, товарищ Челышев. — Сталин помедлил, дав время Челышеву воспринять тяжесть этих слов. — Но поправимую. Давайте будем ее поправлять. Этот металл нам нужен.

Признаться, Челышев заколебался.

Когда-то в декабре 1934-го он, вечно насуспенный главный инженер «Новоуралстали», держал речь в Кремле, приветствовал Сталина. Приветствовал от лица сотоварищей, участников той встречи, да и от всех металлургов, которые впервые в истории России выплавили десять миллионов тонн чугуна в год.

Челышеву за два или три дня сообщили об этом предстоящем ему выступлении. Он лишь буркнул в ответ: — Ладно.

Оратором он был никудышным. В устных преданиях, что еще и ныне заменяют не записанную никем историю отечественной металлургии, отмечено его выступление на митинге новоуральсталецев по случаю пуска первой домны. Каждый оратор, по обычаю тех времен, заключал речь здравицей, выкрикивал, например: «Да здравствует героический рабочий класс!», «Да здравствует великий Сталин!» и тому подобное. Челышев же, огласив, или, верней, пробормотав несколько цифр, характеризующих мощность построенной домны, самой большой в Европе, ее вооруженность механизмами, тоже под конец речи рявкнул: «Да здравствует!» Ему хотелось сказать: «домна номер первый», — она, эта могучая печь, была его любовью, его страстью, воистину делом его жизни, — но, постеснявшись, он так и не закончил своего возгласа. Проорал: «Да здравствует!» и, к этому ничего не добавив, умолк.

Время от времени в центральной печати появлялись его статьи. Каждую из них, собственно говоря, делал, исполняя поручение редакции, тот или иной журналист, разумеется, сперва задав Челышеву ряд вопросов, занеся в блокнот его высказывания. Политическое «верую» Василия Даниловича было лишено какой-либо двусмысленности. Одушевляя свои домны, распознавая, как подчас ему казалось, их язык, понимая их жалобы, желания, ощущая себя как бы их депутатом, представителем, Челышев являлся сторонником Советской власти, сторонником партии, совершавшей небывалую индустриализацию. Единожды решив это для себя, он затем предоставил журналистам уснащать его статьи политическими фразами, нередко размашистыми или пустыми. Изготовленные за него статьи он легко подпи-

сывал, исправляя лишь неточности, относившиеся к технике, к его инженерной специальности.

Вот такому-то оратору и поручили сказать приветственное слово Сталину.

По брусчатке Красной площади Чельшев шагал среди других металлургов к Спасским воротам Кремля.

— Ну как, Василий Данилович, приготовили речь? — спросил кто-то из спутников.

— Какую речь? Я ведь от всех буду выступать. Прочту, что дадите. И все...

Лишь тут для него выяснилось, что никакого общего приветствия не составлено, что ему, уже прожившему полвека инженеру, строителю «Новоуралстали», заслужившему честь говорить от имени со товарищей, предстоит высказать собственными словами свои чувства. Как же это так? Через десять — пятнадцать минут он встанет перед Сталиным, а в мыслях нет никакого плана речи.

Вот Чельшев уже поднимается вместе со всеми по лестницам Кремлевского дворца. Никто не говорит громко; мягкие ковры, разостланные на ступеньках, глушат шум шагов. Смутно ощущая эту особую торжественную тишину, Чельшев сосредоточивался, стремясь усилием мысли выделить самое существенное, самое главное из того, что он пережил и передумал.

В зале он уселся в углу, но его отыскивали, нашли ему стул впереди.

Первые обращенные к Сталину слова он произнес, опустив голову и запинаясь. Однако удивительная искренность делала речь сильной. «Под вашим руководством, товарищ Сталин, создана новая промышленность, вы совершили революцию в технике, о которой мы, старые инженеры, едва могли мечтать не только в целом, но и в частности. История промышленности не знает подобного примера ни в сроках, ни в обстановке, а главное, в методах и приемах. Это революционно с начала до конца». Тогда-то Чельшев и приподнял голову, взглянул прямо в глаза Сталина — неискрстые, лишённые живой игры.

В глубине души Василий Данилович сознавал: нехорошо, недостойно превозносить человека в лицо, но уступил уже общепринятой в те годы манере, стилю времени, уступил, не погрешив против своей инженер-

ной страсти, совести: у него, выстроившего наконец завод по планам и заветам Курако, было немало оснований благодарить Сталина.

Сталин и тогда, после той речи Чельшева, сказал ему в ответ:

— Вы ошибаетесь, товарищ Чельшев.

Прохаживаясь, глядя в затихший зал, Сталин с минуту помолчал. Для Чельшева это была минута мучения. Легко ли услышать от Сталина: «Вы ошибаетесь». А тот длил мучение Василия Даниловича. Затем повторил:

— Вы ошибаетесь. Партия не могла одна провести работу, о которой вы говорили. И тем более неправильно приписывать ее мне, скромному ученику Ленина.

Повернувшись к Чельшеву, он с улыбкой чеканно добавил:

— Вместе с партией в этой работе участвовали и беспартийные специалисты, такие, как вы.

Так Сталин вернул комплимент, что, кстати скажем, делал не часто. Чельшев в тот миг ощутил смутную неловкость. Показалось, что он втянут в какую-то не нужную ему игру. Впрочем, это ощущение быстро развеялось: он же по совести излил свои чувства.

Вот и теперь Сталин сказал: «Вы совершили ошибку». Черт знает, может быть, и впрямь он схватил своим гением, чутьем нечто такое, что не узрел и не понял Чельшев? Схватил и повелел: «Такой металл нам нужен. Такой способ будет жизненным».

Онисимов меж тем распахнул папку чертежей, вынул, развернул лист кальки — общий вид печи Лесных. Оба — и Чельшев, и Онисимов — взглянули на этот чертеж, потом взоры повстречались. На миг в зеленых глазах серьезных глаз Александра Леонтьевича сквозила боль, затем снова выказалась крайняя сосредоточенность, напряжение мысли. Конечно, нележки были ему эти минуты. Сейчас зашаталось его положение, все его будущее. Разумеется, и Василию Даниловичу не поздоровится. Но к черту колебания! Он, академик Чельшев, обязан сказать Сталину: эта печь непригодна для промышленности, для промышленных масштабов. И делайте со мной, товарищ Сталин, что угодно, но

никогда вас я в заблуждение не вводил, скажу и теперь, что думаю. Однако опять заговорил Сталин:

— Поручаю вам, товарищ Челышев, этим заняться. Нужна дальнейшая научная разработка и технологическая доводка металлургического процесса, предложенного товарищем Лесных. Потом займитесь проектом завода для получения стали по его способу.

— Если такие заводы начнем строить, то...

Все же Василий Данилович не закончил фразу, замаялся, ощущая даже и по телефону, как давит воля Сталина.

— Что вы хотели сказать?

— Не возьмусь, Иосиф Виссарионович, за это. Не верю в этот способ.

— Ну, как знаете.

— Не верю и не могу.

— Как знаете,— сухо повторил Сталин.— Дело ваше.— Он еще подождал каких-то слов Челышева. Но не дождался.— Передайте трубку товарищу Онисимову. Сжав маленькой рукой черную пластмассу телефонной трубки, Александр Леонтьевич снова стал навтыжку:

— Слушаю вас, товарищ Сталин.

В этом возобновившемся диалоге между генералиссимусом и министром Челышев опять мог внимать лишь одной стороне.

— Разрешите, товарищ Сталин, доложить. Предложение товарища Лесных рассматривалось трижды. Комиссия под председательством доктора технических наук профессора Богаткина...

Сталин, видимо, оборвал Александра Леонтьевича, срезал его каким-то безапелляционным замечанием. Некоторое время Онисимов сосредоточенно слушал, повторяя:

— Понятно. Понятно.

Затем произнес еще раз.

— Понятно.— И добавил: — Будет исполнено. Да, под мою личную ответственность.

Эти слова были тверды. Глаза Онисимова уже не выдавали мучений. Василий Данилович тотчас понял: Сталин вверил Онисимову судьбу изобретения — того изобретения, которое Онисимовым же было отвергнуто,— поручил лично ему, министру, ведать дальнейшей разработкой способа и постройкой завода с печами Лесных. И Онисимов без запинки ответил: «Будет исполнено!»

Прежние его возражения уже будто и не существовали: повеление Сталина он воспринимал как непререкаемый высший закон.

— Слушаю. Записываю.

Сталин из своего кабинета продиктовал сроки, предоставил восемнадцать месяцев для возведения нового завода в Восточной Сибири, для выдачи первой промышленной плавки по технологии Лесных. Затем, как понял Челышев, вернул Онисимова к списку, которого ранее, несколько минут назад, не захотел слушать.

— Сейчас вам прочитаю.

Мгновенно отыскав в подшивке нужный лист, Онисимов огласил одну за другой фамилии членов комиссии, единодушно утвердивших отрицательное заключение по поводу предложения Лесных.

— Всех снова включить? Слушаюсь. Кого? Записываю. И представителя «Енисейэлектро»? Будет назначен товарищем Берией? Слушаюсь. Понятно.

Так завершился разговор. Зловещее имя Берии вплелось в самую завязь будущего огромного, как командовал Хозяин, предприятия.

Трубка положена. Онисимов опустил в кресло, взглянул на Серебрянникова, все еще стоявшего за его спиной, сказал:

— А ведь и он там сейчас сидел.

Благообразный начальник секретариата на миг прикрыл ресницами в знак понимания выпуклые голубые глаза. Понял и Челышев, кого следовало разуметь под этим «он».

Руководствуясь дневником Василия Даниловича, а также и некоторыми другими материалами, мы можем с достаточной долей достоверности представить, как в данном случае произошло вмешательство Сталина. Да, пластинки металла, выплавленного упорным Лесных в лабораторной печи, принес Сталину Берия. Конечно, Берия ранее и не ведал, что где-то в далекой Сибири работники проектируемой грандиозной гидростанции «Енисейэлектро», которую тоже предстояло воздвигать Управлению лагерей, подбросили некоему фанатичному изобретателю малую толику средств, как говорится, наудачу. Подобные мелкие затраты были вне его, Берии, масштаба. Но об опытной плавке ему доложили. С блестящими тонкими пластинками металла — изобретатель дал ему название первородной стали, — полученного прямо из руды путем электроплавки, особой тех-

нологии, отменившей применение кокса, да и весь доменный процесс, Берия пошел к Сталину. И не только с пластинками, но и с исчерпывающим подбором доказательств, уличающих Онисимова в том, что он душил изобретение. Наконец-то настал час, которого Берия выжидал годами и десятилетиями: Онисимов подставил себя под удар, немилосердный удар Сталина.

Отливающие благородным блеском серебра тонкие стальные полоски легли на письменный стол генерал-иссимуса. Как мы уже говорили, он исподволь обдумал, подготовил еще одно великое дело своей жизни, выносил план индустриального наступления в Восточной Сибири. Новое небывалое строительство, сооружение беспримерных по мощи гидростанций станет точкой приложения бурлящих, бунтующих сил молодежи, подвигом поколения. Вместе с тем неисчислимые трудовые колонны заключенных тоже найдут там применение. Правда, ученых беспокоило, что будущие потоки электроэнергии окажутся в избытке. Где же взять потребителей? Как повысить энергоемкость тяжелой индустрии?

А между тем, оказывается, уже есть электропечь, которая будет выплавлять сталь, не нуждаясь в коксе, уже есть и металл — вот он на столе! — полученный в этой печи. Выслушав Берия, раздраженный Сталин тут же велел соединить его с Онисимовым.

Итог разговора читателю известен. Сталин вопреки чаяниям Берии не расправился с Александром Леонтьевичем, который, отшвырнув свои прежние соображения инженера, занял единственно спасительную для него позицию: «Будет исполнено!» Причем поступил так не из-за того, что утратил мужество, нет, из убеждения всей жизни, повторим это вновь, уже действовавшего автоматически чуть ли не с силой инстинкта: превыше всего дисциплина, верность Сталину, каждому его слову, указанию. Да и Сталин, в свою очередь, не сомневался, что Онисимов — пусть он отрицал изобретение, когда оно шло, напиралось снизу, — теперь лучше, энергичнее кого-либо иного сделает все возможное и сверхвозможное, чтобы внедрить в промышленность способ Лесных. И не тронул, не отбросил прочь Онисимова. К побледневшему лицу Александра Леонтьевича постепенно возвращалась обычная легкая коричневость. Близкая грозная опасность не увлажнила его лоб, даже и легкая

испарина не проступила у корней приглаженных светло-каштановых волос.

Серебрянников скромно удалился, оставив Чельшева и Онисимова наедине. На столе в беспорядке, словно после сражения, покоились две раскрытые папки с бумагами, относившимися к изобретению Лесных, и косо расстеленный, в складках, лист кальки — общий вид печи.

Неодобрительно мотнув головой, Чельшев договорил то, чего не отважился выпалить Сталину.

— Если такие заводы начнем строить, без штанов будем ходить.

Онисимов ничего не ответил. Привычно потянулся к неизменной пачке «Друг», взял в рот сигарету, чиркнул спичкой и... Что такое? Огонек заходил, заплясал в дрожавших его пальцах. Удивленный, он, не прикурив, загасил спичку. Приказал пальцам не дрожать. Но и следующая спичка тоже вибрировала в его руке. Глаза были ясными, небоязливыми, губы твердо сомкнуты, а вот руку била дрожь.

Таким было первое проявление странной болезни Онисимова, этого, словно бы беспричинного, неотвязного сотрясения пальцев, с которым не совладала медицина.

Прошло несколько дней с тех пор, как в министерство позвонил Сталин. И неизбежное свершилось. Онисимов пригласил Василия Даниловича в свой кабинет, протянул постановление Совета Министров СССР, подписанное Сталиным.

Маленькие глаза академика побежали по строчкам. Он сразу узрел свою фамилию... Чельшеву объявить выговор и снять с работы. Что же, этого он и ожидал. Ну, теперь можно прочесть все по порядку... Признать государственно важным изобретение инженера Лесных... Электроплавка, исключая доменный процесс... Министру Онисимову объявить выговор... Чельшеву... Ну, это уже читано. Далее указывались мощности и сроки, уже названные Сталиным: через восемнадцать месяцев пустить завод, рассчитанный на выплавку полумиллиона тонн металла в год... Приступить к выбору площадки в районе будущей Енисейской гидростан-

ции. Одновременно вести технологическую доработку... Ответственность возлагается лично на Онисимова. Особым пунктом изобретение Лесных причислялось к строгой секретности... Принять меры, чтобы сведения о его способе не просочились за рубеж... Совершенно секретным было и само постановление.

Дойдя до подписи, Челышев хмыкнул, отложил бумагу.

— Получил, значит, по шее. В чем могу и расписаться, если это требуется. А затем и прощаемся.

— Прощаться с вами я не собираюсь. Хочу просить вас, Василий Данилович...

Однако мысли Челышева еще притягивало постановление. Не дослушав, он спросил:

— Но вы-то, Александр Леонтьевич, как же? Неужели считаете это возможным?

Неизменно носивший вместе с жестковатым, всегда чистым воротничком некую бронь официальности, служебной строгости, Онисимов и теперь замкнулся:

— Извините, не могу обсуждать этот вопрос.

Но старик гнул свое:

— Один из нас тут легко отделался. И знаете кто? Я. А вам придется солоно.

Александр Леонтьевич не ответил. Челышев взглянул на него пристальней. Онисимов в эту минуту вновь ему показался измученным. Глаза, как всегда, остро блестели, но в белках залегла желтизна. Вновь хмыкнув, Челышев смирился, больше не затрагивал больной темы.

Кстати ворвалась и всякая живая текучка. Глухо протрещал телефон внутренней министерской связи. Оказалось, позвонил Алексей Головня, первый заместитель Онисимова, вот только что — чуть ли не сию минуту — вернувшийся из командировки на Урал. Онисимов позвал его к себе:

— Да, да, Алексей Афанасьевич, сейчас же заходи.

И вновь обратившись к Челышеву, повел речь о научно-исследовательском центре металлургии, сказал, что прочит туда Василия Даниловича, предложил ему взять там начальствование. Академик хмуро слушал.

Вошел, широко шагая, Алексей Афанасьевич, одетый в свой излюбленный полувоенный костюм.

Нет, тягаться в выносливости с Онисимовым он, некогда богатырь, здоровяк, неутомимый инженер-доменщик, все-таки не смог. Он нажил болезнь сердца, мерцательную аритмию. Бывало, сунув в рот таблетку,

прикусив побелевшую крупную нижнюю губу, он справлялся с внезапной резкой болью, но порой повторные приступы все же валили его с ног. Он проводил неделю-другую в больнице, опять поднимался, вновь впрягался в ту же лямку. Как первый заместитель он дублировал всю работу министра — тот мог в любую минуту уехать, Алексей Афанасьевич с ходу перенимал все его дела — и, кроме того, специально ведал заводами Востока.

Немало индустриальных побед — их не обойдет не написанная еще история советской металлургии — было отмечено его близким участием. Случалось, Алексея Афанасьевича, что называется, бросали на прорыв. Он наваливался коренником, упорно, умело тянул и вытягивал. Вытягивал и, казалось бы, гиблые дела.

Возможно, немногие краски, которые затрачены нами на его мимолетный портрет, создали превратное впечатление некоего славного папаши, добряка. Нет, Алексей Головня бывал и непреклонно жестким, не прощающим. Его излюбленное ругательное словечко «барахольщик» обрушивалось словно удар. Он, случалось, и сам предупреждал: «Имейте в виду, у меня тяжелая рука». Жесткость, немилосердность ради дела и вместе с тем природная мягкость, человечность — вот что сочеталось в нем, вызывало к нему не только уважение, но и чувства потеплей. И все же по своим *деловым качествам* он, согласно общему признанию, уступал Онисимову. Правда, инженерская жилка, понимание металлургических процессов, всяких тонкостей заводской практики — это в нем, Алексее Головне, было основательно заложено и развито. Он по праву тут считал себя посильней, чем Онисимов. Алексей Афанасьевич и вырос на заводе, был старшим сыном доменного мастера. Однако в пунктуальности, в страстной привязанности к особому рода министерской работе он не был, конечно, ровнею Онисимову. Перейдя по решению Центрального Комитета или, верней, по велению Сталина, с предприятия в министерство, Головня тосковал по заводскому духу, так и не сумел за много лет разделиться с этой тоской. Он с удовольствием выезжал в командировки, стремился еще и еще задержаться на заводах, терпеливо выносил, хотя и был хорошим семьянином, разлуку с домом. И возвращался, словно бы испив живой воды, — сбросив некую толику лишнего жирка, посвежев.

Он и в ту минуту вошел помолодевший, загорелый —

его большой, что называется, картошкой, нос по-мальчишечьи облупился. Пожалуй, особенно молодила Головню располагающая открытая улыбка, опять к нему вернувшаяся,— министерские будни, болезнь, бывало, надолго стирали ее, делая черты изможденными.

Поздоровавшись, он живо проговорил:

— Заезжал, Василий Данилович, и на «Новоуралсталь», на вторую вашу родину. Там вас так и считают навечно новоуралсталеццем.

Старик ничего не ответил. Онисимов сдержанно сказал:

— Садись, Алексей Афанасьевич. Почитай.

И без каких-либо пояснений подал постановление. Головня опустил в жестковатое кресло, достал очки — они уже стали необходимы и ему,— внимательно, строка за строкой, прочитал подписанную Сталиным бумагу. Провел пятерней по еще выющим, темно-русым прядям. Исчезла его славная улыбка, глаза перестали источать веселый блеск, явственней проступили глубокие складки, пролегшие от увесистого носа к углам рта. Не позволив себе никакого восклицания, он лишь вздохнул. Такова была его не столь давно приобретенная манера, вызванная, вероятно, сердечным недомоганием: работая, он время от времени тяжело вздыхал.

— Что же это за печь? — спросил он.— Как она действует?

Онисимов молча вынул из стола чертеж печи, развернул, придвинул Головне. Тот всмотрелся ясными глазами инженера, еще раз взглянул на Онисимова, на угрюмого Челышева, опять обозрел разрез печи.

— Значит, руда будет сползать по этой плоскости?

Онисимов кратко ответил:

— Чертеж у тебя в руках. Смотри.

Привычным движением он взял сигарету, чиркнул спичкой. Челышев заметил, что огонек теперь не дрожал в пальцах министра, маленькая рука была тверда. Головня опять склонился над листом. Губы сложились так, будто он намеревался свистнуть. Но, разумеется, не свистнул. Положил чертеж и ничего не произнес. Опыт, разум инженера-металлурга не оставляли сомнения, что предложенный новый процесс в лучшем случае потребует еще годов испытаний, терпеливой доводки. В лучшем случае... А возможно, от него придется вовсе отказаться, ибо в опытах выяснится, жизнеспособна ли, годна ли самая основа или суть изобретения. Пере-

нести же одним махом, одним мановением новый процесс в промышленность, в заводской масштаб, пустить через восемнадцать месяцев завод, оборудованный печами Лесных, это... Головня опять вздохнул.

Онисимов не продолжал разговора об изобретении Лесных. Он произнес:

— Ты, кажется, хотел рассказать про «Новоурал-сталь»?

Однако Алексей Афанасьевич не мог сейчас рассказывать. Его огорчила, расстроила обида, нанесенная Челышеву. Еще подростком, впервые проходя практику у домен, Алексей уже знал в лицо всегда насупленного главного инженера Василия Даниловича. И с тех давних пор в его, Головни, жизни, а также и в сердце некое место всегда принадлежало Челышеву, о котором — так гласили заводские предания — Курако, первый на Руси отчаянный доменщик, однажды сказал: настоящий инженер.

Открытая натура, Головня не в силах был сейчас вторить Онисимову, говорить на другие темы.

— Если позволите, об этом после.

— Ладно, успеется... Так вот, предлагаю Василию Даниловичу наш научный центр. Тем более, это его тайная любовь. Как на сей счет думаешь, Алексей Афанасьевич?

— Насколько я знаю, даже и не тайная. Василий Данилович, не откажетесь?

— Я бы пошел... Но опять мне там навяжут это.— Челышев кивком показал на чертеж и постановления, которые белели на обширном, не загроможденном бумагами столе.

— Нет,— сказал Онисимов,— эту часть ваших обязанностей я, с вашего разрешения, возьму на себя.

— Ну, ежели так...

Онисимов довольно воскликнул:

— Отлично! Подвели черту.

В пепельнице еще дымился его непогасший окурочок, а он уже потянулся к следующей сигарете. Опять он зажигает спичку. И — черт побери! — маленькое пламя мелко сотрясается, выдает начавшуюся вновь дрожь руки. Вот этак, исподволь, то как бы исчезая, то опять оживая, к нему подбиралась эта странная болезнь.

Он не понимал ее истока. Но скажем мы. Еще никогда не переживал он такой сильной сшибки — сшибки приказа с внутренним убеждением. Доныне он всегда

разделял мыслью, убеждением то, что исполнял. А теперь, пожалуй, впервые не верил — не верил, но все же приступил к исполнению.

Эпизод, который нам далее предстоит воспроизвести, тоже отмечен сравнительно подробной, занявшей почти три тетрадных страницы записью в дневнике Челышева.

Местом действия был опять вот этот кабинет, где, как всегда в прежние времена, безукоризненно лоснился простор светлого паркета, а затем и пустынный, привыкший к строгой тишине коридор.

Василий Данилович, уже месяца три назад ставший директором научно-исследовательского центра металлургии, приехал в тот стылый ноябрьский денек в министерство, чтобы *согласовать* тут план работ, а заодно вырешить некоторые другие вопросы. Он прошагал прямо в приемную министра, кивнул в ответ на поклон поднявшегося со стула дежурного секретаря, буркнул:

— Можно?

— Конечно. Пожалуйста, Василий Данилович.

Отворив полированную дверь, Челышев увидел, что попал на заседание. В первую минуту он не понял, какой предмет тут обсуждается. И что за публику собрал у себя Онисимов, вежливо улыбнувшийся Челышеву со своего кресла. Приподнявшаяся в улыбке впалая верхняя губа обнажила плотный ряд белых с кремowym отливом зубов. Открылись и выступавшие острые клычки. Этот онисимовский характерный оскал был, как знал Челышев, признаком скрываемого раздражения. Василий Данилович сразу же заметил и чью-то незнакомую, красиво посаженную голову, почему-то притянувшую взгляд. Однако незнакомую ли? Где-то Челышев встречал это, вопреки седине вовсе не старое, красноватое, будто только что с ветра, с мороза, лицо. Слегка прищуренные, в сети морщинок, глаза с интересом вглядывались в главного доменщика Советской страны. Э, так это же писатель! Депутаты Верховного Совета, в состав которого входил и Василий Данилович, называли попросту писателем своего сотоварища депутата Пыжова, автора нескольких снискавших широкое признание и, несомненно, незаурядных романов. Никак не ожидая встретить

писателя, далекого от так называемых производственных тем, на заседании у министра стального проката и литья, Челышев не вдруг его узнал. Что же тут надо писателю? Впрочем, кажется, где-то промелькнула заметка, что писатель, задумав новое произведение, провел несколько недель в семье сталевара на Урале. Да, да, это припомнилось Челышеву.

Кто же здесь еще? Два-три члена коллегии, несколько московских профессоров-металлургов, стенографистка за отдельным столиком и... Кто это, болезненного вида, с отечным, лишенным румянца лицом, грузноватый мужчина, расположившийся в кресле напротив министра? Добротный пиджак вольно расстегнут, толстый зеленоватый свитер облегает туловище. На вошедшего этот человек даже не взглянул. Обращаясь к Онисимову, он недовольно говорит:

— Нет, как хотите, а мне московское представительство необходимо.

Э, сейчас, наверное, министр влепит ему за такой тон. Капризные нотки никому здесь не дозволены. Однако с той же вежливой улыбкой, открывающей клычки, Онисимов терпеливо отвечает:

— Я ваш московский представитель. Вам остается лишь приказывать.

— Но не могу же я гонять вас по всяким пустякам. Меня это стесняет.

— Напрасно. Любое малейшее ваше пожелание передавайте мне. И вы незамедлительно будете удовлетворены. Требуйте хоть личный самолет, вы его получите. А понадобятся, скажем, маленькие гвоздики,— поручайте тоже мне. Я лишь буду рад вам это доставить. Повторяю, я ваш агент снабжения, ваш представитель.

Раздумывая, человек в расстегнутом пиджаке поглядел по сторонам. Глаза были, что называется, горящими. Пожалуй, его самой резкой чертой как раз и являлся такой необыкновенно сверкающий взор.

Конечно же, это Лесных! Да, тот самый Лесных, которому было посвящено подписанное Сталиным секретное постановление. Лишь однажды, несколько лет назад, Василий Данилович видел этого тогда непризнанного, неприкаянного изобретателя — Лесных пришел к академику жаловаться в обтрепанном, заношенном до блеска костюме. И, разумеется, этак вольно в кресле не рассаживался, с этаким властностью не

разговаривал. Но глаза, как и сейчас, маниакально сверкали.

Как ни удивительно, Василий Данилович мог бы многое простить этому, видимо, занесшемуся, заважничавшему инженеру единственно ради того, что тот сохранил такой взгляд.

Было время — маньяком считался и Челышев, неукротимо стремившийся выстроить завещанную Курако, невиданную еще в России, послушную человеку громадину — домну. Много лет утекло с тех пор, Челышеву дано было сполна удовлетворить свою инженерскую страсть, он и сам стал затем иным, но вот этот редкостный блеск глаз, будто устремленных внутрь, в какую-то одну притягательную точку, вот этот блеск и теперь несколько примирял его с Лесных.

Еще секунду-другую старик академик взирает из-под лохматых бровей на инженера, которому грозный министр готов служить в качестве снабженца, доверенного лица для поручений. И еще сильнее насупливается. Под Москвой на опытном заводе научно-исследовательского центра металлургии — этому заводу Челышев уделял немало времени, еженедельно наезжал туда, — была выгорожена площадка для Лесных, для его печи, привезенной на самолете из Новосибирска. Челышев ни разу не заглянул в этот пролет, скрытый за стенкой из листового железа, проходил мимо, не задерживаясь. Зато Онисимов появлялся не однажды на заводе, пропадал по многу часов у печи Лесных, сам, не привлекая Василия Даниловича, отдавал распоряжения директору завода, предоставлял все, что просил изобретатель. Наведывались к Лесных и профессора-металлурги из Москвы. Да вот же они и теперь тут заседают: худощавый, подтянутый Богаткин, непроницаемо посматривающий сквозь очки, и лысый, принадлежащий к племени жизнелюбивых толстяков, тут, впрочем, мрачноватый, Изачик. Они, два выдающихся авторитета в электрометаллургии, некогда были членами комиссии, которая единодушно и категорически отклонила предложение Лесных. Жестоким приказом Сталина они оба назначены теперь содействовать изобретению, дорабатывать технологию, способ, который они отрицали.

Слава богу, он, Челышев, в это не впутался. И ничего не желает знать про это дело. Так и не войдя в кабинет министра, лишь постояв в двери, он круто поворачивается и уходит.

Почти тотчас вновь открывается дверь кабинета, оттуда появляется писатель.

— Василий Данилович! — в коридоре окликает он Чельшева.

Приостановившись, академик оборачивается. Писатель быстро шагает, по-прежнему высоко, красиво неся свою седую голову. Походка пружиниста, по-мужски грациозна. Да и вся его осанка на редкость хороша: стан удивляет прямизной, плечи широко развернуты. Шерстяной, серый в клеточку костюм безупречно сидит, хотя брючные складки и отвороты пиджака, пожалуй, нуждались бы в свежей утюжке. Однако эта некоторая, едва приметная, небрежность в одежде тоже привлекательна. На красном, словно у шкипера в старинных романах, лице — из-за этой красноты некий друг писателя дал ему прозвище «Малиновый кот» — видна смущенная улыбка. Странно, что у столь известного, даже, как говорится, прославленного писателя, к тому же и политического воителя, закаленного в потрясениях эпохи, отмеченного доверием Сталина — доверием и, конечно, подозрительностью, — могла проглянуть эдакая неуверенная, как бы испрашивающая извинения улыбка.

— Василий Данилович, разрешите представиться. Мы с вами, так сказать...

— Ну, да. Я вас, товарищ Пыжов, знаю. И читал. Что же вас привлекло в нашу епархию?

— Решил, Василий Данилович, писать роман о металлургах.

— Как же дошли вы...

— До жизни такой? — подхватывает писатель.

И заразительно хохочет на высоких нотах, чуть ли не повизгивая. В чинной тишине коридора странны, небывалы эти звуки. Отворяется чья-то дверь, кто-то удивленно выглядывает и снова скрывается.

Тем, кто более или менее часто общался с писателем, знаком этот его сохранившийся с юности залихватый смех. Но синие — в прошлом удивительно чистые, яркие, а с годами поблекшие — глаза Пыжова сейчас не смеются. Да, за ним эдакое водится: он хохочет и тогда, когда ему вовсе не весело. Порою таким смехом, что почти неотличим от настоящего, он прикрывает жизнь души, затаенную нескладицу.

Как бы с маху оборвав свой хохот, писатель становится серьезным, объясняет:

— Ведь я молодым человеком учился в институте стали. Имел серьезные намерения, хотел стать инженером. Но ушел со второго курса, выбрал, так сказать,— Пыжов нередко, особенно в минуты даже и легкого смятения, употреблял это «так сказать»,— в спутницы жизни другую профессию. С Онисимовым знаюсь еще с тех пор. Уже и тогда ребята говорили мне: напиши что-нибудь про нас... И вот только теперь потянуло написать и о них, нынешних металлургах. Видите, у меня есть тут какие-то корни. Да и охота испробовать, так сказать, на своем горбу, что это за штука производственный роман.

Пыжов говорит, а синие глаза схватывают облик Чельшева, его втянутый рот, крутой изгиб ноздрей, выпирающие бровные дуги — схватывают взглядом художника, уже решившегося писать это лицо, этот характер.

Несомненно, Пыжов выложил Чельшеву правду о себе. Однако лишь поверхностную. Впрочем, знал ли, уяснил ли сам писатель глубокую правду о себе? Предугадывал ли недалекую уже — рукой подать,— последнюю трагическую страницу своей жизни? Но не будем и тут забегать вперед.

Возможно, в следующей повести, если мне ее доведется написать, мы еще встретимся с Пыжовым, одним из интереснейших людей канувшего времени. Пока же законы композиции, соразмерности главных кусков произведения позволяют уделить ему лишь немного места.

Перед самим собой, да подчас и перед товарищами по профессии, писатель не скрывал: он замыслил новую вещь (уже было известно ее звучащее вызовом заглавие: «Сталелитейное дело»), также и для того, чтобы дать пример и образец всей пишущей братии, проложить новый путь литературе.

И не только литературе. Беспокойное честолюбие Пыжова,— он сам в какие-то минуты прозрения или, быть может, отчаяния проклинал эту свою роковую слабость,— охватывало, употребляя опять терминологию эпохи, весь фронт искусств. Писателю не терпелось первенствовать, вести за собой все художественные таланты Советской страны. Вести за собой... Это для Пыжова означало: с блеском, с воинствующей

убежденностью отстаивать, разъяснять точку зрения партии, или, что считалось этому тождественным, требования, оценки Сталина. Еще в двадцатых годах, во времена страстных партийных дискуссий, однажды и навсегда уверовав в Сталина, а позже затаив и страх, иногда с мучительным стыдом это осознавая, он, коммунист Пыжов, даже запивая, или, как он сам красноречиво говаривал, бражничая,— с ним это случалось все чаще,— бражничая и отводя душу в бесконечно грустных давних народных, а то и блатных песнях, никогда ни в большом, ни в малом Сталину не изменял. Ради этого приходилось порой идти на сделки с совестью, ибо грозный Хозяин не отличался, как известно, тонким художественным вкусом и, признавая порой истинно сильные творения, тем не менее поощрял и мещанскую помпезность, и грубо-льстивую услужливость. А совесть-то у писателя была жива... Думается, мы тут притронулись к его трагедии.

О новом своем замысле Пыжов объявил на большом литературном вечере, устроенном в честь его пятидесятилетия. Медленно проводя обеими руками по красивым седым волосам, как бы их зачесывая,— таков был характерный жест Пыжова-оратора,— сосредоточенно глядя куда-то в пространство, как бы выискивая самые чистые, проникновенные, точные слова, он произнес свою клятву, присягнув на верность Сталину. Его незвонкий в повседневности голос вдруг обрел необычную звучность: «Клянусь, буду до последнего дыхания верен его делу, его знамени, его имени». Чувствовалось, эта клятва — не пустые слова, примелькавшиеся в те времена. Волнение Пыжова, внутренняя дрожь, не оставшаяся скрытой, сообщили им силу. Видевший виды зал притих.

Некоторое время спустя писателя пригласил один из секретарей Центрального Комитета партии. Пыжов нередко навещался в ЦК. Месяца три назад он вот так же был вызван к секретарю. Тогда проектировалось некое объединение или своего рода Федерация мастеров литературы и других искусств. Секретарь, между прочим, спросил: «Не откажешься стать там председателем?» Пыжов согласился без жеманства. И даже с воодушевлением. Собеседник усмехнулся: «Любишь властишку-то?» — «Грешен, батюшка», — ответил Пыжов. И по своей манере захохотал на высоких, до фистулы, нотах. В дальнейшем Федерация литературы и искус-

ства *не состоялась*. Вероятно, Сталин охладел к этой идее.

Теперь секретарь заговорил с Пыжовым про иное:

— Пишешь о металлургии?

— Пока только примериваюсь. Еще весь в поисках.

— А жизнь позаботилась тем временем дать тебе свою подсказку. Вот, Иосиф Виссарионович поручил ознакомить тебя с этим документом.

С таким предисловием — кратким, но в достаточной мере выразительным — писателю было передано подписанное Сталиным решение Совета Министров о новом электрометаллургическом процессе, об изобретении инженера Лесных.

— Обдумай, не спеши, — добавил секретарь. — А потом позвони, дай знать, сгодилось ли тебе это для романа. А то Иосиф Виссарионович вдруг невзначай спросит.

Писатель, по собственному позднему признанию, сразу оценил документ, оказавшийся волею Сталина в его руках, мгновенно зажегся. У него к этому дню уже накопились впечатления нескольких поездок на заводы, образы заводских людей — сталеплавильщиков, наметились некоторые драматические столкновения, но все это еще оставалось зыбким, нестройным, неясным, было как бы лишено некоего главного узла или главной истории, куда стягивались бы все нити романа.

И вот, наконец, он ее заполучил — да еще как и от кого! — эту центральную историю, ему столь необходимую. И он тотчас, — возможно, с быстротой мысли — увидел заново сложившуюся или, как говорится, выстроившуюся вещь, ее драматургию, ее философию. В тот же день он занес в записную книжку: «Ядро романа — переворот в металлургии. Небывалый революционный способ получения стали. Академик Ч., ученик знаменитого Курако, герой первых пятилеток, не понял. Министр О., член ЦК, инженер-металлург, не разобрался, не понял. Дошло до Ст. Он понял. И открыл дорогу этой революции в технике».

Увлечшись подсказанным ему не в счастливый час сюжетом, в самом деле поразительно эффективным, заключавшим редкие возможности обширной художественной панорамы, исполненной страсти, действия, борьбы, писатель уже с заранее вынесенным приговором подошел в министерском коридоре к акаде-

мику. Но совесть-то, как мы сказали, была в Пыжове жива. Наверное, ее голос был невнятен, и все же она выказалась в неловкой, как бы испрашивающей извинения улыбке, вдруг придавшей ему, именитому автору, зрелому деятелю, молодое обаяние.

Некоторые поклонники и, особенно, поклонницы писателя считали, что единственной некрасивой чертой в его наружности были великоватые, оттопыренные, постоянно красные уши. Однако Чельшеву понравились именно они, эти уши лопухом, как бы вбиравшие жизнь, ее шепоты, шумы.

Спрятав глаза под лохматыми бровями, как бы нахохлившись, Чельшев слушал писателя без малейшего предубеждения. Наоборот, ощущал к нему расположение. Но буркнул хмуро:

— Что же вам от меня надо? Ежели вы насчет вот этих дел... — Он взглянул в сторону кабинета, где Онисимов вел заседание.

— Да, да, да, — не скрывая интереса, зачастил писатель. Это пулеметное поощрительное «да-да-да» стало у него с годами машинальным или, лучше сказать, стереотипным.

— С Онисимовым вы об этом говорили? — спросил, в свою очередь, Василий Данилович.

— Еще бы. Конечно.

— Ну, и что же он? Сказал вам свое мнение?

— А у него правило: мое мнение — это моя работа. И, пожалуйста, садись, смотри и суди сам.

Чельшев хмыкнул. Неужели Онисимов даже писателю, товарищу студенческих лет, не дал понять, не намекнул, что вся эта затея — постройка завода с печами Лесных — ни чем иным не кончится, как только провалом? Да, видимо, не высказался, не открылся и перед другом молодости.

— Хм... Если вы надумали писать про это дело...

— Да, да, да.

— То тут я вам не помощник. Считаю эту, — Василий Данилович запнулся, но все же позволил себе выразиться грубовато, — эту заваруху несерьезной. И разговаривать об этом, извините, не буду.

С беспощадностью, свойственной политике, писатель тотчас определил (и позднее внес в записную книжку): Чельшев достиг своего предела, отстал на каком-то перегоне от мчащейся революционной эпохи. Но проговорил писатель так:

— Зачем же об этом? Я хочу порасспросить вас о Курако. И о временах, когда строилась «Новоурал-сталь». И о Серго...

— За этим приходите. Милости прошу. С кем-нибудь из металлургов-старожилов вы уже беседовали?

— Да, повезло. Попал в больницу.— Опять на будто опаленном, обветренном лице проступает неловкая, детски виноватая улыбка: писатель-то ведаёт, из-за чего его, бражника, не знающего края, порой неделями выдерживают в больнице.— Там на мое счастье лежал Алексей Афанасьевич Головня. И каждый день он, так сказать, отбывал упряжку, рассказывал мне историю нашей металлургии в лицах.

Пыжов снова хохочет на весь коридор, а синие — некогда яркие, а теперь как бы с примесью неживой белесоватости — глаза невеселы. Он условливается с академиком о дне и часе будущей встречи. И возвращается на заседание.

Все еще сидя в знакомом кабинете, в просторной комнате, ныне застланной необъятным серо-желтым ковром, Челышев перебирает принесенные с собой бумаги.

Все эти годы он не желал впутываться в дело Лесных. Однако вместе с тем выдвинул перед научно-исследовательским центром задачу искать действительный способ, истинный путь прямого получения стали из руды, то есть путь к бездоменной металлургии. Один из лучших учеников Василия Даниловича решил с его благословения стать бездоменщиком, исподволь сколачивал сильную группу для разработки этой темы.

Все же, конечно, вести о строительстве и затем пуске предприятия «почтовый ящик № 332» (так был зашифрован сооруженный в Восточной Сибири для выплавки стали по способу Лесных мощный завод стоимостью в 150 миллионов рублей) доходили к Василию Даниловичу. Он знал о непрерывных авариях, «закозлениях», прогарах, о всяких переделках, реконструкциях возведенных печей, о бесчисленных командировках в распоряжение Лесных авторитетных производственников и людей науки, в том числе и тех же

злосчастных профессоров Изачика и Богаткина, о поездке на завод Онисимова с бригадой специалистов.

Время от времени мелькали в печати сообщения о том, что писатель трудится над своим новым романом.

Шел 1953 год. В один мартовский день вдруг завершилась некая историческая полоса, забрезжила другая: умер Сталин. Смерть оборвала последний период его власти — период его старчества.

Однажды летом этого же года Челышев был приглашен на заседание Президиума Совета Министров. В повестке дня среди прочих вопросов значился доклад Онисимова: предварительные итоги создания жароупорных сталей для реактивных двигателей. Заседание вел Берия, в чем-то переменявшийся после смерти Хозяина. Пожалуй, он еще располнел, белые руки оставались, как и прежде, холеными, но безукоризненно выбритые, гладкие щеки, ранее обычно лоснившиеся, будто потускнели, подернулись некою тенью озабоченности. Впрочем, держался он уверенно. Поглядывая голубоватыми с поволокой глазами сквозь голые, без оправы, стекляшки, подчас властно прерывал того или иного из выступавших, задавал вопросы или высказывал свои замечания и не ведал, думается, ни сном ни духом, что несколько дней спустя он будет открыто обличен.

Подошла очередь и для сообщения Онисимова. Александр Леонтьевич, как всегда кратко, точно, деловито доложил о ходе опытных плавок, о первых удачах, еще не вполне устойчивых, которые предстояло закрепить. Закрепить и идти дальше к еще более прочным сталям.

Закончив сообщение, он продолжал стоять, ожидая вопросов. Кто-то, занимавший место неподалеку от Берии, поинтересовался, каковы перспективы получения стали по способу инженера Лесных.

Александр Леонтьевич ответил:

— Никаких обязательств насчет этой стали я на себя взять не могу.

Прозвучал тот же голос:

— Не понимаю. Имеется же постановление.

— Постановление выполнено. Завод построен, принят правительственной комиссией, пущен. Акт приемки подписан и изобретателем. Все его претензии,

пожелания удовлетворены. А технологией, согласно постановлению, я там не распоряжаюсь.

Вмешался Берия.

— Поскольку об этом зашла речь,— веско, неторопливо заговорил он,— я обязан сказать, что в данном случае товарищ Онисимов был не на высоте. Сначала он просто отверг предложение Лесных, а затем, когда выяснилась несомненная ценность этого нового способа, не известного мировой технике, занял позицию критически мыслящей личности, думал лишь о том, чтобы доказать, что способ Лесных неосуществим. Такое поведение было не партийным.— Берия, как и прежде, без малейшего смущения поучал партийности.— Не партийным и не государственным. В результате дело приведено на грань провала.

Онисимов, не перебивая, выслушал это назидание. Он издавна умел, если так подсказывало чутье, не вступать в схватку, уклоняться или, говоря точнее, владел искусством ускользания. Но, случалось, бывал и отважен. Сейчас впервые за много-много лет он принял вызов своего недруга.

— Я вам отвечу,— хрипло сказал он.

Бумага, которую Онисимов держал в руке, дрожала. Он, конечно, понимал, сколь силен был еще Берия, опиравшийся на подчиненные ему особые войска, и, казалось бы, еще шагнувший вверх, когда сошел со сцены Сталин. Казалось бы... Однако острый ум, тончайший инстинкт уже подсказали Онисимову, что без Хозяина Берия пошатнулся. Ранее ведь только от Сталина исходила непомерная ужасающая власть этого холеного мужчины, по-прежнему, хотя ему уже перевалило за пятьдесят пять, прикрывающего специально отращенной длинной прядью просвечивающую лысину.

Отдадим же должное Онисимову: еще требовались в тот день мужество, отвага, чтобы в открытую поспорить с Берией. Онисимов на это решился. Его причесанная с неизменной тщательностью голова, всегда словно вдавленная в плечи, теперь казалась вскинутой. Берия простер к нему свою белую руку, как бы указывая: садитесь. И пояснил:

— Вопрос о стали Лесных мы не обсуждаем. А на мои замечания, товарищ Онисимов, можете ответить в заключительном слове.

Но Онисимов твердо произнес:

— Нет, я должен ответить сейчас же. Я не позволю себя оскорблять. Я требую доверия как член ЦК, как член правительства. Да, я утверждал, что идея Лесных в основе порочна и не может получить практического осуществления. Эта моя оценка задокументирована. Но мне было приказано выстроить завод для плавки по способу Лесных. И никогда в позу критически мыслящей личности я не становился. Это клевета. Я создал инженеру Лесных самые благоприятные условия. Максимально благоприятные. Своего истинного отношения я нигде более не высказывал. Я был, оставался и останусь дисциплинированным, государственно мыслящим работником. И я все сделал для Лесных, удовлетворял любое его притязание, хотя и понимал, что дело обречено на неудачу.

Берия со своего председательского места бросил:

— Надо было не только создать ему условия, но и вместе с ним доработать технологию.

— Для доработки были привлечены лучшие научные силы. Но не доработаешь, если технология в основе неверна, теоретически безграмотна.

Раздался еще вопрос:

— Что же, этот Лесных — авантюрист?

— По моему впечатлению, с жилкой авантюриста. Завод для плавки стали по его способу это, несомненно, техническая авантюра.

Сидевший у стены Чельшев проговорил:

— Скорее не авантюрист, а неудачник.

Берия снова напомнил, что сегодня не обсуждается этот вопрос. Однако его уже ослушались.

— Сколько стоит эксперимент?

Онисимов назвал цифру. Назвал с точностью до одной тысячи. Кто-то крикнул. Прозвучал и еще новый голос:

— Пыжов как будто пишет про это?

Пожалуй, лишь высокое партийное и должностное положение Пыжова, уже всенародно объявившего о новом своем замысле, делало допустимым здесь такой вопрос. Онисимов сдержанно ответил:

— Возможно. Полагаю, это к делу не относится.

— Ему-то свое мнение вы сказали?

— Не считал себя вправе. Повторяю: получив приказание, своего истинного отношения не высказывал никому.

На какие-то мгновения водворилось молчание. Че-

лышев вдруг ощутил жалость к Онисимову, сохранявшему под пронизывающими взглядами самообладание, как бы одетому в броню. Старик понимал, как мучался, терзался вынужденным своим двоедушим этот небоязливый, не терявший рассудка, хладнокровия в минуты опасности, преданный делу человек со словно вычеканенным красивым профилем.

Сев, Онисимов машинально вынул из кармана коробку «Друг», повертел, положил перед собой — курить в зале воспрещалось. Челышев, разглядевший из-под бровей клыкастый оскал изображенного на коробке сторожевого пса, посмотрел затем на Александра Леонтьевича. И вдруг усмехнулся. А вечером, заноса в свою тетрадь впечатления дня, уделил две строчки выведенному золотом на красном фоне короткому слову «Друг».

...Истекла еще неделя-другая. В один поистине знаменательный день Берия был низвергнут. Когда-нибудь историки, а возможно, и писатели в подробностях восстановят этот захватывающий эпизод. Мы же будем держаться своей темы. На завод, где главный технолог, он же и главный конструктор Лесных тщетно пытался наладить выплавку в своих печах, отправилась комиссия Министерства стального проката и литья — в ее состав, словно нарочно, опять были введены те же Богаткин и Изачик, уже люто возненавидевшие изобретателя, — затем еще одна, назначенная Советом Министров СССР.

Выводы и той и другой комиссии были, что называется, уничтожающими. Лесных уже именовался не иначе, как лжеизобретателем, чуть ли не мошенником, который ввел в заблуждение, обманул государство. Его способ был объявлен попросту безграмотным, ничего не сулящим и в дальнейшем, кроме новых напрасных затрат. Комиссия Совета Министров выслушивала неоднократно и Онисимова. Глядя опасности в лицо, Александр Леонтьевич сам потребовал расследования и оценки своей роли в этой тяжелой истории. И вышел из нее благополучно.

Совет Министров отменил некогда подписанное Сталиным постановление, предложил министерству прекратить опыты плавки по способу Лесных.

Что же дальше случилось с Лесных? Он, волей Сталина, — правда, еще лишь под грифом «совершенно секретно», — объявленный великим техником, авто-

ром революционного переворота в металлургии, был столь ошеломлен своим падением, что, изгнанный с завода, опозоренный, был вдобавок сражен инфарктом миокарда. Далее последовал вторичный инфаркт. Затем и кровоизлияние в мозг.

И вот только теперь, когда Онисимову пришлось распротиться с индустрией, уехать в Тишландию, несчастный изобретатель, проведенный с некоторыми перерывами без малого два года на больничных койках, обратился с письмом к академику Челышеву, просил сохранить хотя бы одну печь своей конструкции, как-то призреть ее в научно-исследовательском центре металлургии.

С этим-то делом, а также и с другими, не отмеченными, однако, в дневнике Челышева, он и приехал к министру.

27

Так — долго ли, коротко ли — сидел Челышев в пустом министерском кабинете. Возможно, он вовсе и не вспоминал в те минуты про то, о чем мы только что поведали. Просто еще раз проглядывал бумаги в своей папке для предстоящей беседы с министром.

Из приемной, куда дверь рукой секретаря была деликатно оставлена полуоткрытой, но уже не отверстой настежь, — такого рода половинчатость тоже входила в неписанный министерский этикет, служила знаком, что, хотя министр и отсутствует, все же некий уважаемый посетитель пребывает в его кабинете, — из приемной доносится шумок, невнятный разговор.

Не министр ли приехал? Не его ли это раскати-стый басок? Василий Данилович встает, подходит к двери.

Действительно, в приемной стоит крупнотельный румяный Цихоня. Несколько человек ожидают приема. Все тоже стоят, как и министр. Он, еще не замечая академика, с кем-то недовольно разговаривает. А-а, перед ним Головня-младший, директор завода имени Курако, или попросту Кураковки. Министра он слушает с усмешкой, которую не назовешь почтительной. С такой же усмешкой, что может вывести из себя кого угодно, Петр Головня противоречил, случалось,

и Челышеву. Для поездки в Москву Петр — разрешим себе называть его, младшего из братьев, лишь по имени — явно приоделся. Светло-коричневый с красноватой искоркой костюм выглядит чуть ли не щегольским. Но волосы, в которых отливают рыжинка, с утра, разумеется, причесанные, успели слегка растрепаться. С виду Петр словно бы легок, но вместе с тем и тяжеловесен: мощна нижняя челюсть, сильна шея, да и вся стать, особенно сзади, с сутуловатой спины, кажется такой же медвежьей, как у брата.

Цихоня укоряет Петра:

— Что же ты, Петр Афанасьевич, сразу адресуешься в ЦК? Не мог, что ли, прийти ко мне? Или написать нам в министерство?

Упрек звучит беззлобно. Нет и в помине резкости, неуступчивости, остроты — не передал этого Онисимов покладистому своему преемнику. Петр отвечает:

— Как член партии использую свои права. И если считаю, что я прав, буду бороться до победы.

— Господи, мы сами бы тебе все организовали.

— Знаком, товарищ министр, с вашей организацией.

— И, по-твоему, плоха?

Петр не успевает ответить. Кто-то уже зашел в приоткрытой двери Челышева, поклонился ему. Цихоня оборачивается:

— Здравствуйте, Василий Данилович. Извините, задержался. — И вновь обращается к Петру: — Экий ты... Ладно, посиди. Сейчас займусь вот с Василием Даниловичем. Потом с тобой...

В кабинете министр усаживает академика в кресло, устраивается и сам не за столом, а в таком же кресле напротив.

Василий Данилович без дальних слов раскрывает папку, которую привез с собой, говорит министру:

— Получил письмо от этого бедняги... От Лесных.

— А... Где же он обретается?

— Да почти два года скитался по больницам. Теперь немного, кажись, оклемался. Просит, чтобы я забрал к себе хотя бы одну из его печей. Что же, надобно взять.

— Э, вы, сдается, поздновато спохватились. От его печей, сколько я знаю, и духа не осталось.

— Как? Ни одной? Куда же они делись?

— Дорога известна: в лом.

— Хм... А маленькая, экспериментальная, которую

он смастерил в Новосибирске? Он ее тоже с собой взял на завод.

— Сейчас, Василий Данилович, выясним точней.

Подавшись к телефонному столику, Цихоня набирает чей-то номер.

— Иван Александрович? Здорово. Тут у меня вопрос насчет Енисейского завода. Да, да, знаю, что ты там побывал. Осталось там что-нибудь от печей Лесных? Так, так... Даже сам присутствовал? Ну, а маленькая, которую он привез с собой? Тоже? Понятно. Ну, бывай, бывай...

Положив трубку, Цихоня сообщает:

— Разрезали автогеном на куски и на переплавку.

— И маленькую?

— Все подчистую. Иван Александрович сам присутствовал. Да еще Богаткин, Изачик. Уж очень злы были на этого Лесных.

— Черт, азиатчина. Форменная азиатчина. Шархаемся, как...

Не найдя подходящего выражения, Василий Данилович еще раз чертыхается. Цихоня шутит:

— Это теперь вам материал для мемуаров.

— Благодарю покорно.

Ограничившись этакой репликой — что же еще скажешь? — академик переходит к другому вопросу. Некоторое время министр и Чельшев еще занимаются разными делами научно-исследовательского центра. Неслышно открывается дверь, к столу подходит Валерия Михайловна:

— Василий Данилович, вас вызывают по городскому. Будете говорить?

Беспокойно заерзав, Чельшев смотрит на часы. Хм, уже почти половина третьего. У него вырывается:

— Она?

Валерия Михайловна понимает: «она» — это жена Чельшева, Анна Станиславна. Старожилы металлургии знают, что еще во времена Новоуралстроя она в два часа дня неизменно звонила Чельшеву в кабинет или по телефону разыскивала его в цехах, приказывала идти обедать. И главный инженер разводил руками перед участниками разговора, обсуждения, объявлял перерыв, но Анны Станиславны не слушивался. Теряется он и сейчас:

— Скажите ей... Скажите, что уже уехал. Пожалуйста, Валерия Михайловна.

Улыбнувшись, бывшая секретарша уходит. Есть чему улыбнуться. Удивительный этот Челышев. Не боялся аварий, побегов чугуна, взрывов у доменных печей, не испугался рассерженного Сталина, а перед женой трусит.

Василий Данилович наскоро заканчивает свои дела. Прощается. Цихоня провожает почтенного посетителя в приемную. Там снова все встают, едва появляется министр. Этой субординации послушен и директор Кураковки, он тоже поднимается.

Челышев пожимает крупную пятерню Цихони. Да, вот еще что. Надо же узнать, каковы новости насчет ликвидации министерств. И разразится ли она, эта нависшая гроза? Академик без стеснения спрашивает:

— Что же я скажу Александру Леонтьевичу? Уезжаю-то я из министерства, а что застану здесь, когда вернусь?

— Министерство и застанете. Нас это не коснется, — благодушно отвечает Цихоня. И добавляет: — Передайте ему мой сердечный привет.

Все, кто находится в приемной, в один голос присоединяются:

— И от меня ему привет.

— И от меня тоже.

Все? Нет. Петр Головня молчит.

Улыбку и поклон Онисимову шлет и Валерия Михайловна:

— Скажите Александру Леонтьевичу, что мы все ждем его снова в Москву.

— Да, да, — подтверждает Цихоня. — Ждем. И, глядишь, дождемся.

Петр Головня по-прежнему безмолвствует. Рот плотно сомкнут. Серые, цвета стали, глаза непримиримы. Василий Данилович невольно косится на него. Да, этот взял курс и не вихляет. И, видно, ничего не забыл, ничего не простил.

Еще раз кивнув всем, Челышев оставляет кабинет.

В столицу Тишландии шестнадцать советских людей — делегация на международную промышленную выставку — прилетела вечером. Из аэропорта отправились на такси в отель.

Описание северного города с его уютными особняками, внушительными офисами, тянущимися к небу кирками и католическими храмами, описание его вечерних огней, его магазинов и лавчонок, ресторанов и уличных кухонек-закусочных пусть останется за пределами нашего рассказа.

Наутро покатили в советское посольство. В приемной не пришлось ждать ни минуты. Едва туда вошли, дверь кабинета распахнулась, на пороге стоял улыбающийся Онисимов. Заблестевшими глазами он радостно смотрел на земляков, одетых в московские нещегольские пиджаки, в широковатые, незаграничного покроя брюки.

— Прошу, товарищи, ко мне. Прошу.

В кабинете уже находились и несколько сотрудников представительства. Давно они не видели Александра Леонтьевича таким воодушевленным. Даже и впалые щеки, в последнее время еще побледневшие, сейчас приобрели более свежую окраску. Казалось, приезжих встречал прежний, как бы заряженный электричеством, источающий энергию Онисимов.

В обширном кабинете гостям не пришлось тесниться. Один за другим они называли себя, здоровались с Александром Леонтьевичем. Некоторых Онисимов уже знал, общался так или иначе по работе, которая теперь казалась столь далекой, будто принадлежала некоей иной, уже закончившейся жизни Онисимова. Пожимая руки, находя для каждого несколько радушных слов, он все поглядывал на Чельшева, не торопящегося подойти к послу. Длинный, с брюшком, не особенно, впрочем, заметным под легким, светлым, хорошо сшитым пиджаком, нет-нет посверкивающий зрачками-искорками, далеко угнездившимися под сильно выступающими бровными дугами, Чельшев был тут среди всех шестнадцати гостей самым дорогим для Онисимова. Ровно тридцать два года назад, летом 1925-го, молодой Онисимов, студент-практикант впервые увидел сумрачного, необщительного Василия Даниловича, главного инженера на едва теплившемся, разоренном заводе, и с тех пор... Сколько раз с тех пор их сводило вместе дело — металлургия, которой оба они принадлежали.

Наконец и Василий Данилович крепко пожал руку Онисимова.

— Свежие газеты привезли? — спросил Александр Леонтьевич.

Нет, Челышев московских газет не захватил. И никто в группе не догадался сделать этого.

Василию Даниловичу, уже с первого взгляда заметившему, как изменился, исхудал Онисимов, и сейчас подумалось: «Не тот. Раньше всегда у него дело, только дело, а теперь газеты...» Однако тут же мелькнула и иная мысль: «Газеты для него, пожалуй, тоже работа».

И, словно опровергая чьи-либо малейшие сомнения в своей преданности обязанностям службы, Онисимов заговорил о делах, расспросил, как встретили делегацию тишландцы, ладно ли товарищи устроились, указал, куда следует съездить, наметил несколько интересных экскурсий, продиктовал маршруты, дал советы. Просил о нем не забывать, обращаться к нему с любым затруднением, рассказывать о поездках, о всех впечатлениях. Ему явно не хотелось отпускать гостей, которые еще лишь вчера ходили по тротуарам Москвы, но долг требовал иного.

— Вам, товарищи, дорог каждый час. Не имею права вас задерживать.

Провожая гурьбу приезжих до дверей, Онисимов тронул рукав академика:

— Заходите ко мне, Василий Данилович. Почаще заходите.

Челышев увидел просящие глаза, совсем не онисимовские.

— Конечно, Александр Леонтьевич, зайду.

...В день открытия выставки Общество промышленности и торговли устроило прием в честь советской делегации. Одетый в визитку, бледноватый, с четкой полоской пробора на массивной голове, Онисимов прохаживался по залам, которые заполнила толпа приглашенных. К нему подходили представители местной элиты, а также и дипломаты различных государств, он был внимателен, любезен с каждым, приветливая улыбка то и дело открывала его зубы, он, как и обычно, располагал к себе отсутствием какой-либо чопорности, важности, обаянием простоты, которая была и высшей светскостью. В этом блистательном шумливом многолюдии он не мог улучшить минутки, чтобы заняться соотечественниками. Со скрытой тоской изредка посматривал на них. Сейчас он не принадлежал себе, принадлежал своим обязанностям. Эта фраза, возникшая в уме, вдруг кольнула его. Ведь раньше, в пронесшиеся десятилетия, во времена миновавшей своей жизни, он так

бы не подумал, не сказал. Своим обязанностям — значило: себе. Одно от другого было тогда неотделимо.

То останавливаясь, то опять бродя в толпе, отвечая на поклоны, улыбаясь, вступая в мимолетные или более долгие беседы, он все же разыскал Челышева. И опять попросил:

— Заходите же, Василий Данилович.

Вскоре Челышеву удалось высвободить вечерок, чтобы посидеть у Онисимова.

Александр Леонтьевич впервые принимал здесь на дому, то есть в своей пустынной квартире, близко знакомого человека с родины. Из прихожей он повел старика в гостиную. Люстра, искусно выполненная из ничем не украшенной — так требовал новейший конструктивизм — полоски металла, смело изогнутой в виде острого зигзага, освещала низкие, броского контура, кресла и овальный, тоже под стать креслам низковатый, ничем не покрытый полированный стол. Поодаль возле дивана, в очертаниях которого опять же соединялись простота и вычурность, приютился шахматный столик и два обыкновенных стула, несколько здесь странные. Сейчас на этом столике покоился телефонный аппарат. Оклеенные сиреневыми, лишенными рисунка, обоями, стены были голы. Предполагалось, что тот, для которого было отремонтировано, подготовлено это жилище, подберет несколько картин по своему вкусу. Однако, равнодушный и здесь к убранству квартиры, Онисимов так и оставил в неприкосновенности наготу стен этой гостиной.

Челышев кинул вокруг взгляд из-под бровей и со своей грубоватой прямолинейностью сказал:

— Что-то тут у вас, Александр Леонтьевич, не пахнет русским духом. В кабинете, где вы нас приняли в первый день, мне было, с вашего позволения, вольготнее. Там хоть казенщина, да наша.

Онисимов тотчас откликнулся:

— Фу-ты ну-ты, мне тоже тут более всего приятен кабинет. Теперь вы мне дали право туда вас потащить.

Гость подошел к окну, еще не задернутому занавесью. Где-то вдали, резко сменяясь, пробежали нерус-

ские буквы светящейся рекламы, а выше, во мгле неба виднелись неяркие звезды.

— Славно,— буркнул Чельшев.

Онисимов понял: Василий Данилович был бы не прочь выбраться под звезды, посидеть, походить вдвоем в обширном, темнеющем за стеклами парке посольства. Однако Александр Леонтьевич, и прежде-то почти не знававший прогулок, здесь нарочито избегал выходить по вечерам на свежий воздух. Он заметил, что под открытым небом после захода солнца его почему-то пронимает озноб. А затем ночью, в постели, вдруг выступал, случилось, пот, сразу делавший мокрой рубашку. Ничего подобного с ним раньше не бывало. Правда, эта неприятная потливость еще очень редко посещала его и то лишь — так по крайней мере казалось Онисимову,— если он бывал вечером на воздухе. Александр Леонтьевич не придавал значения этим неприятным странностям,— не он один плохо переносил непривычное холодное здешнее лето. И все же предпочитал проводить свободные вечера в четырех стенах. Кстати, под крышей и не очень разыгрывался кашель, на воле же Онисимов обязательно раскашливался.

— Сыровато,— произносит он, глядя в окно.

Таков его ответ на невысказанное предложение Василия Даниловича.

— А не наплевать ли?

Склонив набок большую, словно бы тяжеловатую голову, Онисимов смотрит на красноватое, обветренное лицо Чельшева. Сколько же лет этому трехжильному доменщику-академику? Кажется, семьдесят три. А Онисимову лишь пятьдесят четыре. Подмывает откровенно сказать: «Для меня сыро». Нет, Александр Леонтьевич не разрешает себе жалобной нотки.

— Вы тут у меня на попечении. И извольте меня слушаться.

Он ведет гостя в кабинет. Туда проникает сквозь окно слабое свечение неба. Смутно поблескивает наощенный паркет. Различим запах табачного дымка. Она, эта комната, действительно излюбленная у Онисимова. Он с некоторых пор стал даже стелить себе здесь на ночь и, истребляя сигарету за сигаретой, все же одолевал бессонницу, забывался в недолгом, неглубоком сне.

Маленькая рука Онисимова притрагивается к выключателю. Вспыхнувшее под потолком созвездие лампо-

чек озаряет увесистый, о двух тумбах, не причастный к мебельным модам письменный стол, телефонный круглый столик, громаду несгораемого шкафа, еще один круглый стол, что служит подставкой огромному глобусу, пару кресел, обтянутых исчерна-зеленой искусственной кожей, такой же обивки диван, несколько стульев, книжный шкаф, под стеклами которого видны тисненные золотом корешки томов Большой Советской Энциклопедии и различных справочников. На стене против дивана бликами электричества сияет написанный маслом портрет в золоченой раме. Стоя во весь рост, сложив на животе руки, одетый в форму генералиссимуса Сталин глядит перед собой. Сколько раз в часы бессонницы Онисимов словно встречался с ним глазами. И предавался своим думам, перебирая прожитое.

На письменном столе лежит забытая здесь красная коробка сигарет «Друг».

Чельшев располагается в кресле, удобно вытягивает длинные ноги. Онисимов пристраивается рядом на стуле, подымливает табаком. Сначала они говорят о делах. Корректные тишландцы под разными предложениями не пускают советских инженеров на свои металлургические предприятия, не показывают и судостроение. Онисимов пытался оказать воздействие, но и он натолкнулся на вежливый отказ. Пока что, как видно, не придется осмотреть здешнюю металлургию. Но если наш брат, советский дипломат, здесь бездельничать не будет, то...

— Приезжайте, Василий Данилович, снова через год-другой. Возможно, некоторые двери нам откроются.

Чельшев встает, широким шагом идет к глобусу, медленно вращает большущий, иноземного изготовления шар, по которому растеклась голубизна океанов, разбирает, не прибегая к очкам, нерусские мелкие и мельчайшие надписи. Нет, вряд ли он сюда вторично выберется. Надо и честь знать, другим тоже хочется свет повидать, а он, Чельшев, наездился, пусть посидит дома.

Онисимов слушает с улыбкой. Конечно, наверно именно так и скажут, если Чельшев через год-другой вдруг выскажет желание вновь посетить эту страну. Александру Леонтьевичу приятна откровенность гостя, его лишенный дипломатических околичностей тон. Этак же начистоту Василий Данилович держался с ним и в канувшие времена. Ей-ей, можно подумать, что он, Онисимов, разговаривает с Василием Даниловичем в да-

лекой-далекой Москве в своем кабинете в Охотном ряду. Вот только глобуса у Онисимова там не было. Опять его посасывает знакомая тоска, усилием воли он с ней легко справляется, продолжает слушать.

Челышев говорит о предстоящем всемирном конгрессе металлургов в Люксембурге. Намечена работа шести секций, в программу включены почти двести докладов. Десятка три сообщений готовят и советские металлурги. Он перечисляет важнейшие темы. Организационный Комитет конгресса кое-что в нашей заявке с почтением сократил, лишь доменщиков не обидел. Дело понятное. Всем интересно, как же эти русские на своих домнах обставили американцев. Обзор доменного дела в СССР вынесен на пленарное заседание конгресса. С этим обзором там выступит Головня Петр.

Впервые в этот вечер тут произнесено имя Петра Головни. Уже его назвав, Челышев тотчас вспоминает: Петр Головня плотно сомкнул губы, ничего не произнес, когда министерские работники просили передать приветы Александру Леонтьевичу. Ну, а Онисимов? Нет, он никак не реагирует, даже ничтожная тень не пробегает по лицу, на четкого рисунка губах по-прежнему видна легкая улыбка. Возможно, для него давняя стычка с Петром Головней,— или, пожалуй, лучше сказать, схватка,— уже погребена под пеплом времени, не вызывает волнения. Что же, Челышев не намеревается теперь вновь в это встречать. Опять раздается его стариковски глуховатый голос:

— Меня тоже в обиде не оставили. Буду сопредседателем конгресса. Придется, может быть, сказать несколько любезностей великой герцогине Люксембургской. Боюсь. Вдруг, черт побери, что-нибудь ляпну.

И опять Онисимов дружески смотрит на него, немного склонив голову набок. Академик вертит глобус, отыскивает крохотное государство Люксембург. Есть надежда, что делегаты конгресса поколесят по прилегающим странам. Ну, и он ответит, конечно, душеньку. Можно рассчитывать на поездки в Бельгию, во Францию и к федеральным немцам. Эти господа, хоть и скрепя сердце, все-таки нас пустят на один-другой завод. Ну, а в дальнейшем...

Челышев опять поворачивает глобус. В дальнейшем до чертиков охота поглядеть Латинскую Америку. Прежде всего Кубу, затем Бразилию, Уругвай... Ну, конечно, на очереди снова и Соединенные Штаты,— хоть раз в де-

сыток лет надобно туда наведываться, пошляться там у станов и печей, потолковать с заводской публикой.

И еще поворот глобуса. Сколько поездок предстоит Чельшеву и по своей стране. Осенью он снарядится, наверное, в пески Казахстана, увидит своими глазами, каковы эти новооткрытые месторождения руд редких металлов. А Восточная Сибирь? Край, где расположится наша третья металлургическая база? Там надобно опять покружить всерьез... Да, вот еще кстати о Восточной Сибири. Товарищи Лесных-то доконали... Взащей выгнали с завода. Впрочем, это было, Александр Леонтьевич, кажется, еще при вас. А потом все его печи разрезали автогенном на куски и вывезли на переплавку. Получил от него письмо, хотел помочь, но что можно теперь сделать? Зря оторвали человеку руки-ноги. Одну печку следовало бы ему оставить, пусть бы возился. Кому от этого было бы плохо?

Онисимов невозмутимо слушает, не отвечает. Мальчишеским неожиданным движением Чельшев заставляя глобус пуститься в бег, следит за его вращением. Значит, не ждите, Александр Леонтьевич, сюда вновь вашего покорного слугу. Во всяком случае, в ближайшей семилетке.

— Ну, и молоды же вы! — произносит Александр Леонтьевич.

И опять в этих словах — некий изменившийся, не прежний Онисимов. Раньше он не заводил разговоров о молодости, о здоровье, о старении. А теперь...

Теперь Онисимов не удерживается от вопроса:

— Вам, Василий Данилович, кажется, семьдесят три?

— Э, стукнуло уже семьдесят четыре.

— Удивительное дело. Живой водой, что ли, умывается?

Чельшев со своей жестковатой откровенностью преспокойно отвечает:

— Старался как-никак держаться подальше от мест, где надо быть «чего изволите». Поэтому и от вас, Александр Леонтьевич, сбежал.

Прежде Онисимов, наверное, не спустил бы собеседнику такую реплику. Он умел мгновенно срезать и этого уважаемого доменщика, если тот излишне вольнодумствовал. Но сейчас спорить не тянет.

Онисимов молчит, откашливается. Кашель, однако, затягивается — сухой, лающий, надсадный. Василий

Данилович ощущает жалость, насупливается, чтобы ее скрыть. Не зря ли он что думал, то и выпалил? Впрочем, почему, черт побери, он тут должен выбирать осторожные слова? С больным, что ли, разговаривает?

С больным? Хм... Челышев исподлобья косится на Онисимова, уже справившегося с приступом кашля. Да, нехорош, нехорош вид Александра Леонтьевича. Запястье, выглядывающее из-под накрахмаленного белого манжета, совсем тонкое, худое. А к желтизне лица, тоже исхудалого, словно бы примешан цвет золы. Однако это, быть может, лишь игра освещения? Или вправду какая-то немочь точит, снедает Онисимова?

Василий Данилович меняет тему, передает Онисимову кучу приветов из Москвы, называет одного за другим тех, от кого привез сюда, в Тишландию, добрые пожелания Александру Леонтьевичу. Беседа поворачивает в другое русло. Онисимов интересуется: каковы толки насчет будущей перестройки управления промышленностью? Да и произойдет ли она, эта перестройка? Челышев передает мнение румяного министра: «Нас это не коснется».

Онисимов оживляется. Если о технике, о научных сообщениях на предстоящем Конгрессе он слушал без огонька, то теперь входит во вкус, дотошно расспрашивает. Никуда не спеша, он как бы перебирает людей, которые ему были подначальны, вместе с которыми управлял стальной промышленностью. Министр, заместители, члены коллегии, начальники главков, отделов, директора заводов — его занимает весь этот широкий круг. Ему хочется знать позицию, точку зрения каждого относительно предстоящих реформ. Видно, что страсти, волнения Александра Леонтьевича принадлежат прежней работе, уносят его из чинной тишландской столицы в Москву, в министерство, в Комитет. Челышева же эти организационные проблемы, дела управления индустрией не очень занимают. Он тут не силен, может напутать, в чем без стеснения признается. Да и взгляды на сей счет того, другого, третьего он себе представляет неотчетливо. Однако порассказать, потолковать о них, сподвижниках Онисимова, он, разумеется, не прочь.

Так они и сидят, поглощенные своим разговором, — Онисимов охотно слушает, как судит-рядит старик академик. Немало вечеров они провели когда-то вместе, — то на заседаниях у Онисимова, то разбирая вдвоем

какое-либо проектное задание или проблему технической политики,— но вот так без дела, не под рабочим напряжением, не под током, который ранее постоянно излучал Онисимов, они беседуют впервые. Василий Данилович примечает: бывший председатель Комитета рвется душой к поприщу, которое ему пришлось оставить, но волей-неволей уже интересуется этим как бы со стороны. Да, ничего предпринять, изменить, совершить там Онисимов уже не в силах. А здесь длинными вечерами зачастую он ничем не занят, порой живет будто на покое. И телефон на столе за время их беседы так ни разу и не зазвонил.

Уже за полночь Онисимов провожает гостя на нижний этаж к массивной входной двери. Потом, тяжело переступая, держась за полированные перила, возвращается по лестнице в свой кабинет.

30

Ровно через сутки около часу ночи в номере Чельшева раздался телефонный звонок. Василий Данилович, уже обрядившийся в пижаму, взял трубку:

— Ну-с...

— Не спите?

Академик с удивлением узнал голос Онисимова.

— Нет.

— Извините, сам знаю, что поздно.

Пауза. Чельшев молча ожидает дальнейших слов Александра Леонтьевича:

— Василий Данилович, вы сможете сейчас ко мне приехать?

— Что-нибудь стряслось?

— Да... Факт совершился.

— Хм... Хорошо, выезжаю к вам.

— Посылаю за вами, Василий Данилович, машину. Она будет ждать вас у подъезда.

Быстро одеваясь, Чельшев пытается угадать, что означает это необычайное ночное приглашение, эти слова: «факт совершился». Что же стряслось?

Онисимов встретил старика на широкой слабо освещенной лестнице. Чельшев пытливо взглянул на него. Нет, по внешнему виду ничего не распознаешь. Исхудалую короткую шею облегает, как обычно, безусловно белый, жестковатый воротничок. Темный галстук поя-

зан с неизменной аккуратностью. Точеное лицо, послушное сдерживающим центрам, привыкшее к маске бесстрастия, и сейчас не выдает переживаний. Пожалуй, лишь заученно любезная улыбка, машинально проступившая, неуместная в эту минуту, своеобразно свидетельствует о смятении. Маленькие глазки Чельшева замечают и еще один признак волнения: левой рукой Онисимов сжимает правую, чтобы, как догадывается академик, утихомирить разыгравшуюся дрожь.

Александр Леонтьевич ведет гостя в кабинет. Плотно затворяет дверь. Приглашает сесть. Идет к несгораемому шкафу, отмыкает его двумя поворотами ключа, из темнеющего раскрытого зева достает папку, трясущуюся в его руке. Чельшев ждет. Что же, что же приключилось? Из папки Онисимов достает лист.

— Только что получена шифровка из Москвы. Можете прочесть. Факт совершился. Министерства ликвидированы.

Чельшев берет листок, читает сообщение о ликвидации ряда министерств,— все они перечислены,— ведавших промышленностью. Отныне их заменят организованные на местах Советы Народного Хозяйства. И что с того? Чего тут потрясающего? Он вспоминает, как в 1923 году, получив постановление о консервации завода, где был главным инженером, теплившегося и во времена гражданской войны, разорения, приплелся домой, ударил в неистовстве, в ярости ногой по стулу, прокричал: «Завод закрыт!» Неужели и Онисимов сейчас ощущает такую же боль?

— Ну, ликвидировано,— говорит Чельшев.— Чего же особенного?

— Боюсь, что расшатается технологическая дисциплина. И растеряем кадры.

— Каких-то потерь, наверное, не избежим,— соглашается Чельшев.— На то и встряска.

Он смотрит на сверкающий лаком портрет Сталина, нависший над письменным столом. И продолжает:

— Уходит его эпоха. Мы с вами помним ее зарождение. Сами были не последними ее работниками. Потрудились, себя, кажись, не посрамили. Теперь на смену ей идет другая.

Лохматые сивые брови сейчас не прячут маленьких умных глаз.

Онисимов гасит, давит в пепельнице недокуренную сигарету. И опять тянется к красной коробке. Но, так и

не коснувшись ее, поворачивает голову к портрету. И вдруг будто что-то отверзается в Онисимове:

— Не могу так рассуждать! Для вас он ушедшая эпоха. А для меня... Он меня спас. Буквально спас.

«Хм, спас Сталин, от кого же? — иронически думает Чельшев.— Не от Сталина ли?»

— Э, разве суть в том, что спас? — с неожиданной страстностью продолжает Онисимов.

Нервным, быстрым движением подавшись к распаханному сейфу, он извлекает оттуда еще одну папку, переплетенную в коричневую, потускневшую от времени искусственную кожу. Откидывает верхнюю крышку. На свет появляется страничка блокнота — береженная долгие годы, взятая в чужую страну. Онисимов передает ее вместе с папкой академику. Ясна каждая буква, выписанная каллиграфическим почерком Александра Леонтьевича. Наискось размашисто брошены строки, принадлежащие иной руке. Подпись, словно бы свидетельствующая о прямолинейности, грубоватости солдата, лишена росчерков: «И. Сталин». Чельшев легко разбирает: «Тов. Онисимов. Числил Вас и числю среди своих друзей. Верил Вам и верю...»

— Это мой талисман,— не пытаясь прикрыться шутилой интонацией, выговаривает Александр Леонтьевич.

Гость мысленно дивится. Э, черт побери, как дорожит Онисимов этой бумагой. Не решился с ней расстаться, захватил с собой сюда. Похоже, он и поныне живет прошлым. И быть может, настолько сросся нервами, сосудами, костями с прежним временем, за которым, наверное, так и останется навек название сталинского, что уже не в силах примениться к новому, перенести смену порядков.

Василий Данилович, однако, не задает вопросов,— он, несмотря на давнее и, что ни говори, довольно близкое знакомство с бывшим министром, бывшим главой Комитета, все же испытывает вопреки своему прямому праву некое стеснение беспартийного, которому не положено ведать партийные тайны.

Но Онисимова уже прорвало. Скрытая преграда, многими годами, десятилетиями замыкавшая его внутренний мир, вдруг словно распалась. И хлынула исповедь. Беспартийному Чельшеву он поверяет то, о чем не рассказывал ни одному другу (впрочем, в его жизни давно нет места дружбе), товарищу по партии.

Даже и с женой он оставался скрытным, не умел и ей отворить душу.

А тут скрепы порвались. Берия! Вот чья рука, поросшая рыжеватыми волосками, была всегда, где бы Онисимов ни обретался, занесена над ним. Оба они, Берия и Онисимов, были членами ЦК, разговаривали на «ты», Онисимов, случалось, встречал неясную его улыбку и не сомневался: за нею скрыта ненависть.

Еще и еще хлещут признания. Рвутся слова о непонятных, страшных арестах тридцать седьмого и тридцать восьмого годов. Василий Данилович безмолвствует, уставившись в пол. Непроизвольное пошевеливание крыльев хрящеватого носа свидетельствует, как захвачен, взволнован старик откровенностью Онисимова.

По-прежнему давая себе волю, входя в разные подробности,— Онисимов сам удивлен, что они воскресают в памяти,— он продолжает излияния. Слежка за его машиной. Мучительные думы, ожидание ареста. И решение: написать Сталину. Копию этого письма Онисимов тоже взял с собой, покидая Москву. Из сейфа он достает несколько страниц машинописи:

— Прочтите, Василий Данилович.

Гость углубляется в бумагу. Да, сильно написано. С достоинством. «Беру на себя полную ответственность за всю служебную деятельность моих подчиненных...» «Никакие вредительские акты не имели места в аппарате, которым, выполняя поручения Центрального Комитета партии, я руководил...» И затем просьба о расследовании.

— Даже и теперь я не мог бы,— убежденно говорит Онисимов,— ничего сюда прибавить. Не мог бы изменить ни одного слова.

— Э, теперь-то можно было бы вклеить покрепче.

Онисимов не отзывается на эту реплику, он видит сейчас прошлое.

...Письмо передано в руки Хозяину. Это сделал Уфимцев, известный старый большевик, беспощадный ко всем, кто хоть раз шатнулся, мало-мальски усомнился в Сталине. Он знал Онисимова по армии и по Москве. Не только знал,— они давно уже породнились. Жене Онисимова, Елене Антоновне, Уфимцев приходился дядей. Он, конечно, мог бы резко отместить эти родственные отношения. Не вступился же он за арестованного своего воспитанника, прежде любимого, который в двадцатые годы, студентом, голосовал за

оппозицию. Но Онисимову верил, был убежден в его готовности всегда, в любых условиях, исполнять волю Центрального Комитета партии, волю Сталина и, рискуя вызвать недовольство, раздражение Иосифа Виссарионовича, подвергая и себя грозной опасности, положил перед ним письмо Онисимова. Сталин начертил резолюцию: «Создать комиссию».

Жадно закуривая, втягивая табачный дым, порой нутужно, долго кашляя, Онисимов ведет дальше свой рассказ. Допросы, вызов в Кремль. Мерно прохаживающийся Сталин. Улыбка Берии, не сулящая добра. Александр Леонтьевич в подробностях воспроизводит этот грозный, исполненный почти нечеловеческого напряжения час. И вот он, уцелевший питомец Серго, вышел от Сталина, облеченный доверием и новым званием: народный комиссар танкостроения. Тогда он переступил некий порог, шагнул в переменявшиеся времена.

Взбаламученные мысли несут Онисимова к воспоминаниям об Орджоникидзе. И опять он исповедуется.

За окном уже утро. Ясно светлеет полоска между неплотно задернутыми занавесями. Поглощенный своей исповедью, Онисимов их не раздвигает. Он так и продолжает говорить, не впуская утреннего света, словно пребывая еще во вчерашнем дне. Болезненно бледное лицо к утру вовсе посерело. И дыхание словно бы без причины участилось, стало слышимым.

— Бросьте себя мучить, — бурчит академик. — Вылезайте душой из тех времен. Чего к вам они цепляются? Перед вами еще будущее.

Мысли Онисимова, однако, по-прежнему обращены в прошлое.

И он говорит, говорит, облегчая душу. Да, с честью поработали. Помните Василий Данилович, магнитогорскую ниточку жизни? Впрочем, к чему спрашивать? Разве этакое позабудешь!

...Сорок первый. Зима подмосковного сражения. Онисимов в ушанке, в полушубке, в темных бурках стоит среди курящейся бураном степи, отмахав на машине-вездеходе добрую сотню километров из Магнитки. Мимо по косячкам снега, заметающим дорогу, проламы-

ваются сквозь пургу грузовики, везущие в Магнитку островерхие кучки тяжелого исчерна-фиолетового камня. Это марганцовая руда — необходимая добавка, или, по словцу плавильщиков, присадка, без которой, как гласила технологическая грамота, не выдашь черного металла, что идет на снарядную заготовку, на танковую броневую плиту.

А марганцовой руды недостает. Давно освоенный богатейший Никопольский бассейн на Украине потерян в начале войны. Остались чиатурские рудники в Грузии. Подвоз оттуда слаб, выходные пути с Кавказа достает, бомбит авиация врага, отсекая бакинскую нефть и заодно обостряя, делая невыносимее безмарганцовое удышье наших могучих заводов Востока.

Геологическая разведка Магнитки еще летом нашу пала в пустынной округе несколько скудных марганцовистых гнезд. Туда были быстро переброшены отряды горняков Магнитогорска, сборные, некрашеного теса, домики, брезентовые, со слюдяными окошками палатки. И к печам горстками потек-поехал добытый здесь же, в Приуралье, черно-сизый камешек. Но ранняя в тот год зима, сразу же ударившая и немилосердной стужей и буранами, засугробила, перемела протянувшуюся по низинам и взгорьям дорогу.

Онисимову тяжело далась минута, когда он, находясь в Свердловске, где был развернут эвакуированный штаб стальной промышленности, решил обратиться к Государственному комитету обороны. Держа трубку телефона, вслушиваясь в невнятные посвисты, шумы, будто и провода доносили завывания вьюги, он на ногах ждал соединения, присесть было невмочь. Доложил мужественно: не справляемся, свои возможности исчерпаны, дорога-ниточка от марганцовистых гнезд занесена, непроходима.

Два автобатальона, подготовленные к отправке на подмосковный фронт, были переданы наркомату стали. И пробились к отрезанным снегами горнякам, повезли новые пригоршни черноватой сыпи в бункера многотрубного богатыря-завода, днем и ночью расстилающего по ветру и рыжие, и с прозеленью, и кипенно-белые, и густо-сажистые пологи.

Онисимов съездил на ниточку жизни, побывал на островках марганцовой руды, сумел еще форсировать выборку. И вернулся к себе в Свердловск. Зашел в кабинет Челышева. Маленькие глаза академика прятались

под нависшими сивыми бровями, в уголках тонкого рта появлялась и упархивала и опять возникала непонятная улыбка, не то сконфуженная, не то черт его дери какая. Онисимов спросил напрямик:

— Чему посмеиваетесь, Василий Данилович?

— Да вот немного трушу. Взял на свой ответ...

— Ну, ну...

— Марганцовую-то руду добрые молодцы из шихты выбросили. Перетасовали весь процесс.

Привычное гневное «кто разрешил?», которого явно ожидал академик, не вырвалось из уст Онисимова. Он бросил:

— Кто? Где? Когда?

— Это, Александр Леонтьевич, приключилось на двух заводах сразу.

Челышев выложил подробности. Шихтованные без присадки марганца плавки дали некоторый сортамент сталей, которые выдержали испытание, строго соответствовали государственным стандартам. Сдерживая чувства, Онисимов внимательно, придирчиво просмотрел документацию, проверил с карандашиком формулы шихты. И все-таки у него вылетело:

— Почему же не просили разрешения?

Челышев почесал за большим непородистым ухом.

— Загиб! — весело объявил он. — Такое загнуть могут, что... где уж нам, грешным...

...Да, Василий Данилович, хороши мы или плохи были, но оказались не последними. Из коробки на своем чинном посольском столе Онисимов забирает еще сигарету, снова дымит. И неожиданно называет имя человека, про которого, как доселе казалось Челышеву, не хотел говорить:

— Наверное, Петр Головня презирает меня...

Бывший председатель комитета продолжает взволнованный рассказ, торопится поведать еще многое. Порой он говорит скомканно, сбивается и, конечно, не живописует. Однако в уме, во взбудораженных мыслях, ярко проносятся картины за картиной. Передадим своему одну из них.

...Знойный июльский день 1952 года.

Не прошло и недели с того часа, как Онисимов

наедине с собой в своем пустынном служебном кабинете читал и перечитывал только что полученное им постановление Совета Министров СССР об изобретении Лесных. В первых же абзацах этой, подписанной Сталиным бумаги Онисимову объявлялся выговор. Формулировка была резкой: «Зажим ценнейшего новаторского предложения». И все-таки Онисимов, как он ни был уязвлен, как ни страдало самолюбие, мог с облегчением вздохнуть. Совсем близко, словно обдав дуновением лицо, пронеслась, просвистела гибель. Александр Леонтьевич тут вряд ли впадал в преувеличение. Если бы раздраженный Хозяин устранил Онисимова, Берия, конечно, нашел бы способ доконать недруга. Александр Леонтьевич отделался лишь этими двумя строками выговора, да еще заданием: выстроить, пустить мощный завод с печами системы Лесных.

Изнуренный нервным напряжением тех дней, даже для него, закаленного во многих передрягах, непомерным, с удивлением наблюдая, как, будто ни с того ни с сего, вдруг сотрясаются, мелко дрожат пальцы, он в конце недели позволил себе отдохнуть, решил провести субботний вечер и воскресенье на даче.

Дача, которая, так сказать, по должности, была предоставлена ему, располагалась в сосновом бору близ Москвы-реки. Онисимов редко наезжал в этот загородный домик, его и по воскресеньям притягивала служба, кабинет. Переночевав в тот раз на даче, — ее тоже, как и квартиру в Москве, чьи-то чужие руки обставили погостиничному, — он в воскресный жаркий полдень вышел в одиночестве со своего участка, медлительно зашагал к реке.

Твердый белый воротничок был оставлен в спальне, подкрахмаленную сорочку заменила легкая голубая рубашка, верхние пуговицы Онисимов не застегнул, открыв ветерку коротковатую шею. Разделенная пробором прическа, неизменно аккуратная, пряталась под белой с широкими полями шляпой: в таком виде Александр Леонтьевич хаживал и на юге в отпуске.

Некоторое время он брел то полянами, то в напитанной испарениями смолы духоте бора.

В какую-то минуту с пригорка, круто сбегавшего к береговому песку, открылась блестящая гладь реки и луговой простор на низком другом берегу. По едва заметной тесемке шоссе, просекавшей зеленый, уже чуть желтеющий покров, катились вспыхивающие солнечны-

ми бликами маленькие издали машины. Катились, пропадали из глаз, взамен возникали следующие.

А тут на холме, который тоже принадлежал к территории поселка, раскинутого в стороне от шоссе магистралей, было даже и в это душное воскресенье тихо, малоллюдно. Лишь несколько купальщиков виднелись на воде и на пляже.

Шагая по некошеной, уже перестоявшейся, жестковатой, пружинящей под ногой траве, Онисимов неожиданно услышал:

— Александр Леонтьевич, ты?

Он повернулся на оклик.

Подставив солнцу черную до глянца шевелюру, хотя поблизости бросала тень разлапистая одиночная сосна, Тевосян, с детства привыкший к жаре Закавказья, полулежа расположился на траве и с мягкой улыбкой смотрел на Онисимова. Рядом покоились его снятый пиджак и серая фетровая шляпа. Заместитель Председателя Совета Министров СССР расстался тут, как и Онисимов, с воротничком: в распах светлой сорочки чернели выходящие волосы.

— Присаживайся,— дружески сказал Тевосян.

— Э, я тут зажарюсь,— пошутил Александр Леонтьевич.

— Что же, учтем твоё пожелание.

Тевосян легко вскочил, чтобы перейти в тень. Его карие, почти черные глаза кого-то отыскивали на реке.

— Погляди,— сказал он.— Дочка. Вон Красная шапочка.

И подняв над головой смуглую руку, помахал.

Тотчас подплывавшая к берегу Красная шапочка — дочь Тевосяна — вскинула руку, ответно замахала.

— Где-то тут и мой Володька,— продолжал Тевосян.— Сейчас его мобилизуем. В шахматы, Александр Леонтьевич, сразиться не откажешься? Отправим Володю за доской. Ага, он... Кажется, и меня уже узрел.

Жестом он поманил сына, которого Онисимов, признаваясь, еще не различил. Юноша в трусах, загорелый до шоколадного тона, поднялся с песка, побежал на немой призыв.

Минуту спустя Тевосян-сын, перенявший с удивительной точностью, вплоть до явно обозначившихся усиков, наружность отца, отвесил вежливый поклон Онисимову и воскликнул:

— Папа, я нужен?

— Не в службу, а в дружбу... Тебя не затруднит слетать за шахматами?

— Конечно. О чем говорить?

Онисимов перехватил обращенный на отца сыновний взгляд — в нем читалось обожание. Чуть защемило сердце. Белобрысый Андрейка, поздний плод брачного союза, единственное дитя четы Онисимовых, этак на него, Александра Леонтьевича, уже не поглядывал. Вот и в нынешнее воскресенье, в редкий приезд отца, Андрейка куда-то унесся.

В ожидании шахматной доски давние товарищи сели под сосной. Закурили. Онисимов дымил сигаретой, Тевосян неторопливо затягивался папиросой своей излюбленной марки «Дюшес».

— Знаешь, — произнес Александр Леонтьевич, — как-то мне наше медицинское светило профессор Соловьев дал такой совет: если вы уж курите, то получайте удовольствие. Расположитесь поудобней, работа две минуты подождет, и покуривайте со вкусом.

Оба усмехнулись. Как выкроишь такого рода минуты в стремительном беге рабочих ночей и дней?

Встретившись здесь, в дачном приволье, они о делах не говорили. Это было неписанным правилом — не касаться на отдыхе того, что охватывалось понятием «работа». Заместитель Председателя Совета Министров, разумеется, знал, что несколько дней назад Сталин объявил Онисимову выговор. Знал все постановление относительно способа Лесных. Однако и намеком не тронул этой темы.

Перебрасывались фразами о том о сем, порой молчали. Тевосян лег навзничь, заложив за голову руки. И вдруг среди незначущей беседы он, будто ненароком, произнес:

— Кажется, позавчера тебе переслали заявление Петра Головни. Получил?

— Получил.

Да, Онисимов уже ознакомился с письмом директора Кураковки, адресованным в ЦК партии и в Совет Министров. Письмо было неприятным. Головня-младший обвинял Онисимова в том, что тот на протяжении ряда лет не давал хода его изобретению, ныне все же признанному. И далее требовал... Ну, Онисимову не хотелось сейчас об этом думать. К чему же, однако, Иван Федорович спросил про Головню?

По-прежнему лежа, не поворачивая головы, Тевосян добавил:

— Мне вчера насчет этого звонили от Лаврентия Павловича.

Онисимов ничего не ответил, но, несмотря на зной, ощутил ползущий по спине холодок. От Лаврентия Павловича! То есть Берия уже проведаль. И если удалось устоять в деле Лесных, то... Онисимов опять взялся за коробку сигарет. Пальцы мелко сотрясались. Усилием воли он хотел унять эту противную дрожь. И не унял. Сунул коробку в карман, не закурил.

А Тевосян уже заговорил об ином — о своем Володе, об институте, куда метит попасть сын.

Потом появились и шахматы. Смятение мешало Онисимову сосредоточиться. В первой партии он был начисто разгромлен. Но пустив в ход тормоза, он опять стал, как всегда, собранным. Покуривая — кстати, и дрожь пальцев улеглась, — внешне невозмутимый, Онисимов все-таки потеснил партнера, тоже, как и он сам, неплохого шахматиста, вырвал победу во второй партии.

33

...Хлещет и хлещет его исповедь.

В ту свою ночь откровенности, изливаясь старику академику, Александр Леонтьевич лишь изредка присаживался, нервная взвинченность, волнение подымали его на ноги. Он и теперь вышагивает, подходит к глобусу, смотрит на залитый подтеками голубизны болышущий шар:

— Ни один человек на белом свете не презирает меня так, как Петр Головня. И все же... Все же он глядит вот этак...

Поднеся с обеих сторон к глазам распрямленные ладони, — они служат словно шорами, — Онисимов ограничивает обзор.

— Пусть поглядит вот так. — Откинув руки, Александр Леонтьевич озирает потолок и пол, обегает взглядом комнату. — Пусть увидит все.

— А вы сами-то как смотрите? Не хотите видеть будущего.

Онисимов еще остается откровенным:

— Не знаю. Оно, наверное, не для меня. До нынешнего дня мне еще верилось, что вернусь в промышленность. А теперь... Пожалуй, там я теперь не нужен.

Академик встает. Впереди рабочий день, следует прикорнуть и самому, дать отдых и Онисимову, выговорившемуся нынче так, как ему еще, наверное, не случалось, утомленному, если не больному. Да, надобно сказать что-то утешительное:

— Ничего, немного потерпите. Глядишь, и организуется некий Центросовнархоз или Главиндустрия. У нас любят, чтобы под рукой был человек, с которого за все можно спросить. А то и спустить с него три шкуры. Вот тогда и скажут: «Подать сюда товарища Онисимова, как раз место для него». Я вам, Александр Леонтьевич, это предрекаю.

Онисимов опять провожает гостя вниз до входной двери.

Переживая минувшую необычайную ночь, Чельшев по рассветной прохладе добрался к отелю пешком. И вопреки прежнему здравому намерению не лег соснуть. Присел к столу, раскрыл толстую тетрадь, сопровождавшую его и в Тишландию, стал на свежую память заносить в дневник историю Онисимова. И хотя в этот день предстояли интересные экскурсии, Чельшев на телефонные звонки отвечал, что неважно себя чувствует и нынче полегит. Он строчил почти до вечера, исполняя, как он сам считал, свою обязанность перед потомством. Уже почти три десятилетия он, доменщик-ученый, ведет такие записи, им движет немеркнущее убеждение: довелось жить в великое время.

Пользуясь (но, думается, не злоупотребляя) своей авторской властью, скажу еще раз: этот мой роман-отчет вряд ли был бы задуман, — уже не говорю: написан, — если бы я не располагал таким человеческим документом, как дневник академика Чельшева.

...Накануне вылета возвращавшейся на родину группы Онисимов вечером собрал у себя отъезжавших. Скромнейший трезвенник, изгонявший спиртное, всю жизнь остававшийся таким, Александр Леонтьевич и здесь себе не изменил — ужин был подан без водки, без вина, даже без пива.

После ужина слушали патефонные пластинки. Одна за другой звучали в превосходном исполнении известные русские песни — «Стенька Разин», «Есть на Волге утес», «Дуб и рябина», «Подмосковные вечера». Среди гостей, как почти во всякой русской компании, нашелся голосистый искусник-запевала, молодой инженер-судостроитель. Постепенно выветрилось, исчезло стеснение.

Онисимов в черном вечернем костюме присел на ступеньку небольшого возвышения, служившего здесь своего рода эстрадой, безмолвно слушал, смотрел на земляков. Рослый, носатый, светловолосый запевала сбросил пиджак, остался в кремовой сорочке и, выразительно дирижуя обеими руками, выводил исполненную грусти колыбельную:

Когда станешь большая,
Отдадут тебя замуж
Да в деревню большую
Да в деревню чужую.

Двигались простертые руки дирижера, возникал многоголосый припев:

В понедельник там
Дождь, дождь...
А-а-а-а-а...
Бай, бай...
Дождь, дождь...

Некогда в подворье святого Пантелеймона,— так по старинке именовался отобранный у монахов дом, ставший студенческим общежитием института стали — этак же, протянув обе руки, вел песню, дирижировал и тонкий, синеглазый Володя Пыжов, по прозвищу Пыжик. Теперь его нет уже в живых, но Онисимову не хочется думать об этом. Студент Пыжик мог петь вечер напролет. И тоже снимал пиджак, высился в светлой, — нет, не сорочке, — в сатиновой косоворотке, которую носил навыпуск, подпоясывая тонким ремешком. Пыжик, случалось, затягивал эту же тоскливую колыбельную, что привез с собой из родной Сибири:

Мужики там дерутся.
Топорами сякутся.
И в среду там
Дождь, дождь...

Словно нарочно, дождь и теперь монотонно стучит в окна посольства.

Бай, бай,
Дождь, дождь...

Разошедшийся белобрысый инженер заводит уже другую песню.

Живет моя отрада
В высоком терему...

Пыжов и эту певал в студенческие дни. Обычно он не позволял Онисимову подтягивать — тот был почти лишен музыкального слуха, — но, начиная «Живет моя отрада», не забывал всякий раз сказать: «Саша, можешь участвовать». Александр Леонтьевич и теперь решается присоединить свой голос к другим. Прочь, прочь неотвязные мысли!

Лишь далеко за полночь гости распростились с послом. Онисимов крепко пожал каждому руку. Челышеву сказал:

— Передайте привет всем.

Помедлил и повторил:

— Всем.

Челышев метнул на Александра Леонтьевича взгляд из-под бровей, понял, что тот разумеет и Головню-младшего. Ответил:

— Передам.

34

В нашей повести уже фигурировал имевший мировое имя, овеянный доброй молвой московский врач, автор книги «Общая терапия», профессор Николай Николаевич Соловьев, который некогда осматривал Онисимова и дал совет: «Избегайте сшибок».

В августе 1957 года Соловьеву позвонили из Министерства иностранных дел:

— Николай Николаевич, не согласитесь ли полететь в Тишландию? Наш посол товарищ Онисимов болен.

— Что с ним?

— Лежал с воспалением легких. Теперь острый период миновал, но все же выздоровление не наступило. Мы вас просим, Николай Николаевич, дать свое заключение.

Моложавый, в венчике седых кудрей вокруг блестящей розовой лысины, похожий, как мы уже в своем месте говорили, скорее на художника или режиссера, нежели на медика, побывавший во многих странах, но еще не повидавший европейские северные государства, Соловьев охотно принял предложение.

В рассветный час ясного сентябрьского дня Николай Николаевич вылетел с аэродрома Внуково. Вместе с ним отправилась к мужу встревоженная, но сохранявшая обычную сдержанность, присутствие духа, строго одетая, строго причесанная жена Онисимова.

В пути, коротая пересадку в просторном, сооруженном словно бы лишь из стекла транзитном зале аэропорта, Николай Николаевич спросил Елену Антоновну:

— Муж что-нибудь писал вам о своей болезни?

— Почти ничего. Он вообще писать не любит. Разве лишь деловые бумаги. Иногда мы разговариваем по телефону. Я знаю, что он никак не приспособится к климату, почему-то без конца простужается. Но в письмах ни на что не жаловался.

— Как у него тонус, настроение?

Елена Антоновна ответила кратко:

— У него были неприятности. Некоторое время он и на новой работе, пожалуй, испытывал угнетение. Потом, как мне казалось, увлекся новыми обязанностями.

Свежий, розоватый, будто ему нынче не пришлось подняться в три часа утра, Соловьев с интересом слушал. Ни лысина, ни седина не угасили молодого интереса, с каким он относился к каждому больному, к каждой индивидуальности, встречавшейся на его пути врача. Возможно, именно такая черточка, родственная, думается, и профессии писателя, определила врачебный профиль Соловьева: общая терапия.

— Извините не деликатность,— продолжал он.— Вы никак не могли с ним поехать?

Жена Онисимова ничем не показала, что эти слова ее задели. Речь оставалась по-прежнему мерной:

— Я ведь тоже работаю. Да и сына надо воспитывать, переходный возраст, вы знаете...

Николай Николаевич в знак удовлетворения, понимание склонил голову. Этот беглый разговор, да и несколько часов, уже проведенных совместно в самолете, оставили у него ощущение, что ему сопутствует хорошо собой владеющая, рассудительная женщина-администратор. Ну, что ж, в трудную минуту она зато не надевает глупостей, не теряет себя, не зарыдает, будет советчиком, дельным помощником.

В столицу Тишландии самолет прибыл к вечеру. С аэровокзала автомобиль повез Соловьева и Елену Антоновну в посольство.

В первую же минуту посол произвел впечатление тяжелобольного. Очень исхудавший, он вышел к приехавшим в халате. Движения были вялыми, глаза не заблестели, когда он увидел жену. Слабо ее поцело-

вал, верней, лишь притронулся к ее щеке почти бескровными губами. На изжелта-бледном лице лежал сероватый налет. Калось, к желтизне примешан пепел. Уже один этот специфический, пепельный оттенок как бы объявлял о болезни, называл ее по имени.

Впервые за много-много лет Онисимов не следовал привычке бриться каждый день. Щетинка проступила на подбородке, поползла вверх по скулам, явственно обозначившимся из-за худобы. Истонченный нос казался укрупнившимся, слишком большим.

Предоставив супругам без помехи поговорить, Николай Николаевич некоторое время спустя наведлся к больному. Александр Леонтьевич принял профессора в спальне. Комната была тщательно убрана, возможно, уже руками Елены Антоновны. Свои места занимали, точно в Москве, две широкие кровати — одна без складочки застеленная, другая, тоже прибранная, но со слегка откинутым у изголовья одеялом, как бы ждущая больного, — зеркальный платяной шкаф, тумбочки, столик с графином воды и пустующей вазой для цветов. Вооружившись очками в темной массивной оправе, — осунувшееся лицо теперь в очках казалось еще меньшим, — Онисимов просматривал привезенные женой московские газеты.

Елена Антоновна оставила, в свою очередь, наедине врача и больного. Сняв очки, Александр Леонтьевич заговорил первый. Он не жаловался на самочувствие, даже был склонен, как показалось профессору, преуменьшать недомогание:

— Могу работать, хочу работать. Помогите, Николай Николаевич, разрешить все сомнения.

— Какие же сомнения?

Александр Леонтьевич стал рассказывать. По-видимому, он простудился. Это случилось около месяца назад. Температура сразу подскочила почти до сорока градусов. К нему вызвали врача, который оказался русским по происхождению, американцем по гражданству, тишландцем по месту оседлости.

— Гражданин мира. Интересная фигура. Имеет тут собственную поликлинику. И обслуживает почти все посольства. О нас, знаете, как он сказал? Ваши люди — закрытые люди. Не глуп. И дело свое, кажется, понимает.

Онисимов вел речь неторопливо. Николаю Николае-

вичу нравилась его манера — никакой важности или ломания, никаких манер сановника, рассказ мужественный, прямой. Александр Леонтьевич сообщил, что русско-американец нашел у него воспаление легких, применил антибиотики и сбил температуру. Затем повез посла в свою поликлинику, просветил легкие, сделал рентгеновские снимки. Счел необходимой консультацию профессоров. И вскоре приехал к Онисимову с двумя местными профессорами. Они сказали в лоб: «Есть основания подозревать рак легкого».

В дальнейшем автор, распутывая все узелки истории жизни и истории болезни Онисимова, выяснил, что Александр Леонтьевич не вполне точно изложил Соловьеву свой разговор с медиками-тишландцами. Позже мне довелось обоих встретить в Москве в дни международного противоракового конгресса. Оба они — пожилой крепыш и другой, помоложе, большеглазый — не забыли советского посла. С их слов дело обстояло несколько иначе. Они отнюдь не предполагали выкладывать Онисимову диагноз напрямик. Однако, назвав ему свои фамилии, они тем самым уже раскрыли тайну. Воспользовавшись минутой, когда врачи ушли совещаться в соседнюю комнату, он полистал справочник, содержащий имена всех более или менее известных тишландцев, и тотчас установил, что к нему пришли специалисты по раку, один из которых является даже директором Центрального онкологического института. Вернувшись профессором он, что называется, припер к стенке. Почему к нему приехали именно они, специалисты-онкологи? Значит, для этого есть основания? Острые вопросы Онисимова, — с такой остротой он, бывало, вскрывал истину, будучи начальником главка, министром, председателем комитета, — заставили большеглазого признаться: да, есть основания подозревать рак легкого.

Возможно, что и у Соловьева Александр Леонтьевич намеревался вырвать истину. Так или иначе он сказал:

— Здешние врачи находят рак.

Так и выговорил: «рак», не прибегнул к смягчающему, неопределенному «опухоль». Казалось, железный Онисимов сохранял спокойствие. На столике неподалеку от посла покоилась коробка сигарет «Друг». Онисимов к ней потянулся, повертел в исхудалых, трясущихся пальцах. Дрожь эта поведала, как напряжены

его нервы. Поймав взгляд Соловьева, он отодвинул коробку.

— Пустая... С курением я покончил.

И, сложив руки, замолчал.

— Здешние врачи? — протянул Соловьев. — Какие же у них основания?

Взор Онисимова стал, как и в былые времена, пронзительным, острым. Речь вдруг обрела энергию:

— Не одобряете их прямоту? Но ведь есть больные и больные. У иных нельзя и не надо отнимать иллюзию. А другим следует говорить правду. В частности мне. Если у меня рак, — он опять без запинки произнес это слово, — скажите мне об этом прямо. И я буду действовать соответственно этому диагнозу. У меня есть дела, которые, возможно, уже надо закруглять. Дела серьезные. Поэтому я прошу ясности.

Николай Николаевич взял рентгеновские снимки. Легкие были затемнены. Тень не являлась характерной для воспаления, заставляла предположить наличие опухоли. Попросив Александра Леонтьевича раздеться, Соловьев его прослушал. Сзади на короткой шее Онисимова у самого края его жестких волос слегка возвышалась папиллома — шишечка, сходная с родинкой. Сравнительно большая, — с ноготь большого пальца.

— Что это у вас?

— Сам недавно заметил.

Соловьев еще раз посмотрел на папиллomu. В своем курсе общей терапии он указывал, что появление папиллом нередко является предвестником, а то и спутником раковой опухоли. Однако верным симптомом это нельзя было назвать. Не найдутся ли на коже иного рода образования? Прославленный диагност тщательно осмотрел все тело больного, нащупал под мышкой опухшую уплотнившуюся лимфатическую железу, что являлось тоже дурным знаком, взглянул и на подколенные ямки, — нет, кожа там была чиста.

Напоследок розоватые тонкие пальцы терапевта погрузились в онисимовскую шевелюру, прощупывая кожу и здесь. Правда, при раке легкого кожа головы, как и лица, почти никогда не бывает затронута, но Соловьев еще и еще прошелся восприимчивыми подушечками пальцев в зарослях каштановых волос. И что это? Едва ощутимый, величиной с просыное зернышко, плотный узелок. А вот второй... Э, а тут возвышеньице побольше — с чечевицу. Предварительно можно,

пожалуй, определить, что дело запущенное, безнадежное.

— А эти вздутия на голове? Давно они у вас?

— Где? — Онисимов нащупал скрытые волосами узелки.— Про них я и не знал. Сейчас только заметил.

— Одевайтесь, пожалуйста.

Натягивая сорочку на бледное похudevшее тело, Онисимов вновь попросил:

— Жду от вас только прямоты. Она мне необходима. Буду знать, как поступить.

Сказал это с такой убежденностью, с таким напором, что опытнейший московский врач поколебался. Может быть, открыть Александру Леонтьевичу правду? Возможно, Онисимов действительно принадлежит к людям, на которых нельзя распространять общие мерки. Сумел же он поставить вопрос честно, здраво, остро. Однако традиционная врачебная осторожность взяла верх.

— Я нахожу воспалительный процесс в легких,— заявил Соловьев.

И далее произнес нечто неправдоподобное:

— В легких, несомненно, есть очаги воспаления. Возможно, это продолжающаяся пневмония. Антибиотики притушили ее, но она гнездится, живет и вызывает все эти явления.

По привычке он интересно и живо рисовал некую мнимую картину. И заключил так:

— В общем, необходимо исследование в Кремлевской больнице. Лишь это, Александр Леонтьевич, внесет нужную ясность.

35

После осмотра Николай Николаевич поговорил с Еленой Антоновной, сказал, что подозрения тишландских врачей кажутся ему основательными.

Они сидели на скамье в саду посольства. Садящееся солнце мягко пригревало. Жена Онисимова встретила тяжелый диагноз без растерянности, без суеты. Стала расспрашивать:

— Почему вы так считаете? Какие признаки?

Он перечислил симптомы, которые в совокупности являлись вполне определенными.

— Что же можно сделать? Есть ли какие-нибудь средства?

— Не могу вас, Елена Антоновна, обнадежить. Оперировать, по-видимому, невозможно. А другие средства... Ни одного более или менее верного мы пока не имеем.

Елена Антоновна отвернулась. Соловьеву был виден край ее лба и висок, меченные родимым пятном. Утолщенная, словно бы рубчатая, красноватая, чуть с синевой кожа слегка темнела и под волосами, тут несколько изреженными. На языке медиков, в котором, скажем это от себя, порой употребляются завидно точные эпитеты, такое пятно зовется винным. Соловьев в уме определил: конечно, была бы возможна пластическая операция... Впрочем, в данном случае след на лбу оставило не темно-красное, а скорее розовое вино. Облик этой женщины, пожалуй, не испорчен. И, может быть, даже идет ее характеру.

Вот она отвернулась, однако плакать себе не решила. Лишь раз-другой поднесла платок к глазам. Потом опять обратила взор к врачу. Голос по-прежнему слушался ее, но веки и нос покраснели. Николай Николаевич передал свой разговор с Онисимовым, его просьбу сказать прямо: верны ли подозрения здешних профессоров.

— Ваш муж настаивает. Говорит, что у него есть незаконченные важные дела. И он будет поступать соответственно диагнозу.

Немного подумав, седоватая, строго одетая, сумевшая быть выдержанной и в такой час женщина ответила:

— Нет, этого не надо. Он отважный человек, готов смотреть опасности в глаза, но... Наша обязанность, если уже не будет надежды,— она опять вытерла слезу,— облегчить ему оставшиеся дни.

Соловьев и тут наклонил в знак согласия свою лысую, в нимбе белых кудрей голову: формулировка была правильна, разумна.

— Не надо,— повторила Елена Антоновна.— А то он будет переживать. Никому не скажет, а сам будет мучиться. Это для него самое мучительное — переживать молча, не делясь ни с кем.

Она, жена-деятель, видимо, глубоко знала, понимала мужа. Снова подумав, Елена Антоновна спросила:

— Не это ли его свойство вызвало...— Она недоговорила.

Московский терапевт еще раз мысленно отдал должное уму жены Онисимова. Он объяснил, что в медицине узаконен афоризм: «Рак готовит себе постель». Происхождение этой болезни науке доселе неизвестно — с этим связана и их, терапевтов, беспомощность в лечении рака, — однако все же можно с достаточной долей достоверности предположить, что в организме существуют защитные силы, противоборствующие, противостоящие заболеванию. И если они расшатаны, подорваны различными нервными потрясениями, расстройствами, сшибками, постоянным угнетением, то болезнь врывается сквозь ослабленную защиту.

— Мы, Елена Антоновна, понимаем эту взаимосвязь так: угнетение не вызывает злокачественной опухоли, но благоприятствует ее развитию. Она могла зародиться у него уже сравнительно давно. Кстати, ему перед отъездом сюда в Москве легкие просвечивали?

— Нет, он не обследовался.

— Вот как? Почему же?

— Понимаете ли, все это было не просто. Его освободили... Вы, если не ошибаюсь, беспартийный?

— Да.

Елена Антоновна помолчала, сморкнулась и, видимо, поколебавшись, принудила себя к откровенности с врачом:

— Конечно, он совершил ошибку, неправильно высказался. Только, пожалуйста, Николай Николаевич, это между нами. Но и наказание было очень строгим. Его совсем устранили из промышленности. Назначили сюда. А он всегда был образцом дисциплины. И если бы он пошел обследоваться, если бы врачи запретили ехать, то... Вы понимаете, это могло быть совсем превратно истолковано. А у меня не было и мысли о такой страшной болезни.

Наконец-то эта женщина, имя которой иной раз поминалось в газетных отчетах, не совладала с собой, уткнулась в рукав темно-синего жакета, расплакалась, виня себя. Однако лишь на минуту-другую она дала волю этой женской слабости. Глаза были опять вытерты. Елена Антоновна вновь обрела прямизну стана, ясный разум, готовность быть к услугам, исполнять долг. Теперь были явственно заметны ее по-бабьи обвисшие щеки, на которые тоже легла краснота, — да, она, партийка с двадцатого года, пронесшая без

пятнышка, без единого порицания или выговора свое звание члена партии, государственной и общественной деятельницы, оставалась тем не менее женщиной, женой. И ради мужа сумела сейчас мобилизовать выдержку, сидела собранная, как на работе. Впервые при Николае Николаевиче, не постеснявшись его, она вынула из большого коричневого не то портфеля, не то сумки металлическую без украшений пудреницу, посмотрелась в зеркальце, запудрила щеки и нос.

Глядя на нее, Соловьев вспомнил где-то слышанную, понравившуюся ему поговорку: «Смерть и жена богом суждена». Человек, ради которого он сюда доставлен, прошагал свою жизненную тропу рядом с этой женщиной, тоже отформованной одинаковым прессом. А если бы его женой была другая? Праздный вопрос... Он некогда выбрал ее, этот выбор тоже часть его личности. Наверное, Онисимов не был бы самим собой, если бы женился на другой. Впрочем, случаются же роковые мгновения, развилки на пути. Возможно, некогда он тянулся и к иной, видел в мыслях другую спутницей жизни. Проницательный медик отмечает эти досужие мысли. Сказано же: «богом суждена».

Московский профессор и Елена Антоновна принимают решение: сегодня же Николай Николаевич даст телеграмму в Москву. Он набрасывает в блокноте текст для шифровальщика: «Необходимо увезти Онисимова. Подозрение на рак легких. Соловьев».

— Теперь я ему, — произносит Соловьев, — собственно говоря, больше не нужен.

— Нет, заходите к нему, осматривайте. Или хотя бы делайте вид, что осматриваете. И что-нибудь прописывайте.

Николай Николаевич дважды в день приходил к Онисимову, старательно выслушивал, выстукивал его, прописывал какие-то общеукрепляющие средства, бромистые препараты. И не удивился, что больной стал заметно лучше себя чувствовать. Такого рода стадия как бы улучшения нередко случается в развитии ракового процесса под воздействием разных факторов, разумеется, и психологических. Субфебрильная температура продолжала держаться. Остались и быстрая утомляемость, слабость. Однако в какие-то часы, особенно по утрам, Онисимов не был уже вялым, заменил на полдня халат домашним пиджачным костюмом, стал опять бриться ежеутренне. Соловьеву, который

с интересом знакомился со столицей Тишландии, а заодно и жене, нередко присутствовавшей во время посещений врача, Александр Леонтьевич охотно рассказывал об этой стране. Пожалуй, деятельность дипломата уже его впрямь несколько забрала.

— Тут сложнейший переплет,— говорил он.— Дух здешнего национализма препятствует экспансии американцев. Вы понимаете? Значительные слои интеллигенции, даже буржуазной, против Америки. И хотя с колебаниями, хотя и выделявая разные там фиглимгли, тянутся к нам. Мы — сила. Здесь, далеко от нашей земли, особенно ярко это чувствуешь.

Онисимов с достоинством, с удовлетворением произнес это заработанное, завоеванное, гордое: «Мы — сила». Елена Антоновна внимательно слушала, не вмешивалась, подчас утвердительно кивала. Онисимов охотно посвящал врача в проблемы экономики. Тишландия быстро индустриализируется. В военном отношении она выглядит слабой, но ее скрытый потенциал — серьезная величина.

— Как металлургу,— добавил он с усмешкой,— мне это особенно ясно.

И жадно расспрашивал о Москве. Оживился, заулыбался, узнав, что решением Совета Министров здание, где когда-то располагался Главпрокат, передано институту, который возглавляет Соловьев.

— Я строил эти хоромы еще при Серго. Помните его?

Нет, Соловьев не встречался с Серго.

— Жаль, жаль... Пожалуй, те годы, когда я работал под руководством Серго, были в моей жизни самыми лучшими.

Елена Антоновна легким кивком опять как бы скрепляет слова мужа. Ей-то известно, как после гибели Серго навис над житем-бытьем Онисимовых Берия, выжидавший случая посчитаться. Нет, ни о Берии, ни тем более о Хозяине — вон видна небольшая его фотография, единственное украшение голых стен спальни — Онисимов не станет судачить с этим приятным и, кажется, умницей москвичом-доктором.

— Значит, как раз вы и займете мой кабинет,— продолжал Онисимов.

И счел это хорошим предзнаменованием. Он, ранее не бравший ничего на веру, изобретательно, остро изобличавший малейший обман, теперь склонен был

верить, что у него действительно какая-то форма ползучего воспаления легких, поверил в выздоровление. Сколько раз Соловьеву доводилось наблюдать этот спутник рака, указанный и в его книге, так называемую эйфорию — своеобразное опьянение, возбужденное состояние, к которому присоединялась легкая доверчивость к обману, легкая внушаемость.

Вскоре из Москвы пришла телеграмма о необходимости выезда Онисимова для лечения. В обычный час к Онисимову заглянул Соловьев, неизменно элегантный, в галстук бабочкой, подвижный, восторженно воспринимавший свою встречу с удивительной столицей северной страны. Ознакомившись с телеграммой, без раздумий воскликнул:

— Хотелось бы еще тут поклоняться. Но долг службы призывает. Что же, Александр Леонтьевич, будем собираться.

Елена Антоновна, опять находившаяся тут же, спросила:

— Николай Николаевич, как вы считаете, совсем собираться?

Он с ясными глазами ответил:

— Зачем? Александр Леонтьевич скоро вернется.

Чинная московская партийка и всемирно известный русский терапевт, разрешивший себе обрести на чужбине легкомысленный вид, уже превосходно сыгрались, находчиво, тонко исполняли свои роли.

На аэродроме Александра Леонтьевича провожали не только советские люди, но и высокопоставленные чиновники Тишландии и главы посольств, аккредитованные при королевском правительстве. Каждый пожал на прощание руку этому нисколько не чопорному, умному, сумевшему заслужить общее расположение представителю великой и все еще несколько загадочной, раскинувшейся и в Европе, и в Азии социалистической державы. И свои, и иностранцы желали ему скорейшего выздоровления, возвращения сюда к своим обязанностям. Посланник Канады пригласил его вместе поохотиться на рождественские праздники. Сборы, близившийся отлет, внимание, оказанное ему дипломатическим корпусом, что в какой-то степени, конечно, относилось и лично к нему, являлись каким-то плодом его здешней работы,— все это взбудоражило, взбодрило Онисимова. Он давно не чувствовал такого подъема, такого вкуса к жизни. Только что начался

сентябрь — в том году неожиданно солнечный, теплый в Тишландии. Онисимов, в мягкой темной шляпе, в осеннем расстегнутом пальто, окруженный провожающими, стоял, улыбаясь, под нежно голубеющим небом у самолета, готового в путь. Улучив минуту, советник посольства, он же и секретарь тамошней парторганизации лобастый Михеев, постоянный партнер Онисимова в шахматах, спросил его:

— Александр Леонтьевич, кому поручить доклад к сороковой годовщине?

— Фу-ты ну-ты, до годовщины же еще больше месяца. Никому не поручай. Успею вернуться. И сам сделаю.

Державшийся вблизи больного Соловьев легко подтвердил:

— Конечно, никому не поручайте.

Но он-то знал: никогда больше Онисимов сюда не возвратится.

В Копенгагене предстояла пересадка на советский самолет. Оставив Онисимова в покойном кресле, у стеклянной стены огромного помещения для транзитных пассажиров, врач и Елена Антоновна прохаживались по дорожкам аэродрома. Она спросила:

— Если все подтвердится, сколько он еще проживет?

— Кто знает, Елена Антоновна, неизвестно, как будет бороться организм. Несколько месяцев. Полгода.

В Москве на аэродроме Внуково приземлились вечером. Восемь месяцев назад Онисимова отсюда провожали сотоварищи, шли будто колонной по забетонированному полю. Теперь же никто из них, его бывших сподвижников, сотрудников, не приехал его встретить.

К трапу, по ступенькам которого не спеша сходил Онисимов, подкатила санитарная машина. Появились носилки. Об этом позаботилось лечебное управление Совета Министров, — там, очевидно, предполагали, что Онисимов сам уже не передвигается. Он с усмешкой отстранил санитаров, но предвестие, несомненно, было плохим. Тоскливое знакомое предчувствие опять засосало Онисимова. К нему подбежал сын, на миг приостановился, пытливо заглянул в глаза отцу, в его изжелта-бледное, с сероватым оттенком лицо. Андрюша поразился, каким маленьким, словно бы усохшим,

стало оно, это родное лицо. А нос совсем костлявый, восковой... Более не разглядывая, мальчик прильнул к груди отца. Взволнованный Онисимов провел рукой по лбу, по мягким волосам Андрейки, приник к ним губами.

Снова выпрямившись, Александр Леонтьевич увидел рослую, мужеподобную Антонину Ивановну, своего давнего лечащего врача. Она его встретила по обязанностям службы. Онисимов пожал ей руку, хотел пошутить насчет санитарной машины и носилок, но шутка не подвертывалась, и он, усмехнувшись, сказал: — Вот, Антонина Ивановна, я и не курю...

36

На другой же день после приезда Онисимов лег в больницу, к которой давно, еще в качестве министра, был *прикреплен*.

Ему предоставили палату, носившую несколько странное название — полулюкс. Такого рода полулюкс вмещал кабинет и спальню, балкон, ванную комнату, прихожую с выходом прямо на лестницу, устланную ковровой дорожкой. В этом светлом, просторном обиталище многое пришлось Александру Леонтьевичу не по нраву — мягкие кресла, ковры, дорогие статуэтки, тяжелые позолоченные рамы развешанных по стенам картин. Какому-то умнику вздумалось поставить здесь и зеркальный шкаф. Только этого больным еще и не хватало — любоваться собой в зеркале.

Впрочем, пока что тут зеркало не было ненужным: Онисимов мог в этой отражающей поверхности видеть, как он со дня на день поправляется. Это как будто подтверждало тот же успокоительный диагноз, объявленный Онисимову и в больнице; вяло протекающее, длительное воспаление легких, или, выражаясь языком медицины, затянувшаяся пневмония.

Так или иначе в этой излишне обширной, излишне роскошной, на его взгляд, больничной палате он ошутимо пополнил, чему, думается, способствовал и отказ от курения. Впалость щек перестала быть пугающей. По утрам он нередко чувствовал себя бодрым. Боли в позвоночнике, которые и раньше еще не были мучительными, теперь и вовсе редко давали себя знать, пошли на убыль.

Сын наташил ему книг; затем Онисимов с разрешения врача затребовал из МИДа всяческие дела, которые имели отношение к его дипломатической службе; позавтракав, он надевал пиджачную пару, вешал больничное облачение в шкаф, усаживался за письменный стол, очищенный, разумеется, от статуэток и прочих дорогих украшений, вооружался очками, излюбленным жестким, остро очиненным карандашом и, испытывая удовлетворение, удовольствие, несколько часов кряду проводил над присланными ему папками.

И все укреплялся в мысли: пожалуй, у него и правду вовсе не рак, а действительно какая-то форма пневмонии — хронический, ползучий, требующий систематического, долгого лечения воспалительный процесс. Однако трезвый внутренний голос, хотя и подточенный заболеванием, но далеко не заглохший, тот, что всегда повелевал Онисимову «не доверяйся», и ныне предостерегал от легковерия.

Как-то вечером к Онисимову пришел Андрияша, — ему разрешалось навещать отца два раза в неделю, такое расписание установила мать. Мальчику, разумеется, не говорили, чем болен отец, но по различным признакам, даже по такому, например, что однажды в коридоре больницы Елена Антоновна прервала беседу с врачом, завидев идущего к ней сына, и строго отослала его, велел подождать на диване, даже и само это скрытие тайны отцовского заболевания приводило негромкоголосого тоненького мальчика к верным догадкам. Давненько уже не стремящийся к славе первого ученика, легко удовлетворявшийся четверками, а порой и тройками, Андрияша теперь ради больного отца, равнодушного к его школьным отметкам, старательно учился, приносил по воскресеньям папе на подпись свой школьный дневник. Белокурый подросток, по-прежнему отличавшийся вопрошающим взглядом, и сдержанный его родитель, не терявший контроля над собой, в эти дни несколько сблизились. Такому сближению способствовал и еженедельно посылаемый Онисимову каталог книжных новинок. Сын и отец вместе в больничной палате отбирали названия для покупки. Александр Леонтьевич, как и раньше, не прочь был пренебречь беллетристикой, но, уступая вкусам Андрияши, соглашался приобрести, перелистать ту или иную книгу художественной прозы и даже стихов. Этим большей частью и исчерпывалось общение

приученного дома к замкнутости мальчика и, как некогда Андриюша в уме определил, великого молчальника — отца.

Случалось, текли, текли минуты, когда сын и отец ни словечком не прерывали молчания. Александр Леонтьевич тянулся к газетам или папкам, Андрей подолгу глядел в окно. И однажды некая подсказка сердца осенила мальчика. Он стал приходить в отцовскую палату с томом Ленина, с тетрадкой. Усаживался за круглый столик, раскрывал страницы «Что делать?» — одну из главных работ Ленина, которую решил одолеть: ведь когда-то и отец прочел ее тоже пятнадцатилетним.

Трудновато разбираться в прочитанном, но хочется доказать отцу и себе, что теперешние пятнадцатилетние тоже чего-то стоят.

И вот, облаченный по больничным правилам в белый халат, мальчик сидит у настольной, под зеленым абажуром, лампы: тонкая, почти девичья шея, остроносенький профиль склонены к книге. Андрей придвигает тетрадь, что-то выписывает.

Александр Леонтьевич, устроившийся на диване со свежей «Вечеркой», ему только что поданной, встает, отложив газету. Пройдясь, смотрит в тетрадь сына. Тот, не поднимая глаз, продолжает свое дело, заносит выдержку из Ленина: «...если бы эти авторы способны были продумать то, что они говорят, до конца бесстрашно и последовательно, как должен продумывать свои мысли всякий, кто вступает на арену литературной и общественной деятельности:» Да, сын уже пишет не кривульками, почерк стал потверже. Хочется тронуть его белобрысую голову, ощутить пальцами мягкие волосы. Однако Александр Леонтьевич отучился от ласки, уже к ней не способен.

И оба молчат. Зрачки Александра Леонтьевича вновь устремляются на строчки, сейчас выведенные рукой сына: «Бесстрашно и последовательно...»

Всегда ли он, отец, именно так продумывал свои мысли?

Сын пишет дальше. Отца потянуло прилечь на диван. Немного спустя он негромко спрашивает:

— Андрейка, ты секреты хранить можешь?

Мальчик встрепенулся. Кажется, настала минута, когда он по-настоящему нужен отцу.

— Могу.

— Тогда вот что. Принеси мне терапевтический справочник. Знаешь, у меня в кабинете.

— Знаю, конечно.

— Сделай это незаметно. И никому не говори. Никому. Понимаешь?

Андрей ничего не вымолвил, только закивал. Опять, как уже не один раз, сердце защемила жалость, заставившая не смотреть в это желтоватое лицо, жалость и любовь к заболевшему, надломленному, может быть непоправимо, отцу. Давно уже Андрюша — об этом на предыдущих страницах нам случалось говорить — перестал видеть в отце свой идеал, однако вместе с тем неизменно жалел его. Сейчас мальчик удерживает себя, чтобы ни взглядом, ни слезой не выдать пронизывающего сострадания. Не только принести отцу по секрету книгу, но и исполнить любую его просьбу, сделать что-нибудь большое для него — этого жаждет Андрюша.

Придя в неурочный день, он неприметно среди прочих книг притащил толстенный терапевтический справочник. А заодно, уже по собственной инициативе, захватил и стоявшую рядом на полке «Общую терапию» Соловьева. Эту книгу Александр Леонтьевич открыто положил на стол, а справочник припрятал, запер в ящик. И в одиночестве вчитывался, сопоставлял.

Очаговая пневмония... Симптомы более или менее соответствовали его состоянию: температура, кашель, одышка. У пожилых людей, гласила справка, болезнь нередко протекает вяло. При замедленном вялом течении пневмонии применяются средства, вызывающие общую перестройку организма: в частности внутривенные вливания глюкозы с аскорбиновой кислотой. Такого лечения он не получает. Видимо, не та, не та у него болезнь.

Снова и снова он обращается к справке о другом заболевании, опять взвешивал, слыхал... Длительно сохраняется удовлетворительное самочувствие. Распознаванию помогает наличие увеличенных лимфатических узлов, иногда грибковидные кожные разрастания. Характерны загрудинные тупые боли. Всякие тепловые процедуры (грелки и т. д.) должны быть категорически исключены. Рентгенотерапия массивными дозами. Однако такого рода лечение (методом Диллона) с применением больших доз рентгеновских лучей

до настоящего времени остается малоэффективным. Да, ему не применяют и рентгенотерапию. Возможно, у него все-таки не эта болезнь. Лечение в незапущенных случаях оперативное. Прогноз при запущенной опухоли безнадежный.

Да, много, много сходных симптомов. Лечение, правда, не совпадает. Пичкают лишь пенициллином и какими-то пилюлями. Но надо, надо быть готовым к худшему. То есть к близкому концу. И достойно его встретить. Привести в ажур все свои дела. Уйти безупречным. Завершить жизнь так, как этого требует честь верного сына своего государства, своей партии. Времени для этого ему отпущено, может быть, уже в обрез.

Однако не зря ли он себя приготавливает? Не исключено, что у него впрямь лишь пневмония. Сказано же в справочнике, что она, эта болезнь, знает немало разновидностей. Александр Леонтьевич вновь раскрывал толстенную книгу, листал, вчитывался, соображал. Но неясность оставалась: чем же, чем же все-таки он болен? И не пытаются ли его обморочить?

И если это так — неужели вранье он не раскусит?

Неужели не хватит ума, чтобы, как он некогда в министерстве, в Комитете говаривал, *размотать это дело?*

я
Качества следователя, который умеет застичь враг-сплох, поймать подозреваемого, — а на подозрении у Онисимова, «не привирает ли», был чуть ли не каждый, — еще изошрились в нем с годами.

И разве в угольной и стальной епархии, ему ранее подведомственной, кто-нибудь сумел бы его обдурить? Он тончайшим, что называется верхним, чутьем распознавал, разнохивал всякую попытку втереть ему очки, приукрасить положение. К нему приросла поговорка, по-заводски грубоватая: «Этот до исподнего дойдет». Такая молва была ему известна, он ею гордился.

Нередко к его приезду на тот или иной завод цехи были свежeweыбелены мелом, дорожки меж цехами подметены, посыпаны песком. Онисимов, однако, как

в свое время и Серго, оставшийся во многом образцом для него, шел на задворки, забирался в литейные канавы, пролезал под рабочие площадки, обнаруживал там грязь, захламленность, беспорядок. И, приоткрыв белый оскал,— тут уж действуй по-своему: у Серго, подвластного порой неукротимой вспыльчивости, не было и в помине такого жестокого оскала,— чуть ли не тыкал носом цеховое и заводское начальство в этот хаос, в эту грязь.

Безжалостно хлестал Онисимов и тех, кто нетвердо, неточно знал свою специальность, свое дело. И умел таких ловить.

Вот он приходит в мартеновский или доменный цех, садится к столу, где лежат журналы плавок, изучает, перелистывает и, словно протыкая какую-либо цифру своим остро очиненным, наивысшей жесткости карандашом, требует у начальника цеха объяснений: почему тогда-то был превышен расход марганца, или нарушен температурный режим, или сорван график? Его в равной мере настораживала и скрытая неуверенность и, наоборот, бойкость ответов. Впрочем, и некая золотая середина — сдержанно-спокойная манера — не утешала онисимовской недоверчивости. В какую-то минуту он, глядя в журнал, спрашивал обычным строгим тоном:

— Почему вчера вторая печь полчаса шла тихим ходом?

Следовал какой-либо правдоподобный ответ. Например:

— Запоздали ковши. И вот пришлось...

— Ковши? Из-за чего? Вы это выяснили?

— Подъездной путь не принимал. Тут, Александр Леонтьевич, у нас...

Не дослушав, Онисимов словно огревал кнутом:

— Врете! Дела не знаете! Вчера ни одну печь на тихий ход не переводили.

Таким приемом сбив, что называется с катушек, подчиненного, вступившего было на стезю вранья. Онисимов затем уже легко вытягивал из него правду, заставлял выкладывать, открывать истинные грехи производства.

Подобного рода западня, однако, не всегда срабатывала. Как-то Головня-младший, стоя перед Онисимовым в пирометрической будке доменного цеха Кураковки... Пожалуй, это была первая их встреча. Нет,

Онисимов с ним познакомился раньше, еще не будучи наркомом стального проката и литья, кажется, в тридцать девятом году. Да, да, в тридцать девятом. Головня Петр ему сразу не понравился, показался зазнайкой, фанфароном, выскочкой.

В памяти без какой-либо логической последовательности живо возник тот давний час. Августовская теплая ночь. Москва утихла. Ушли в парки на ночевку последние трамваи и автобусы. На перекрестках погасли, отдыхают светофоры. Спят москвичи. Однако светятся кремлевские окна, — машина Онисимова тогда как раз проезжала мимо. И продолжается рабочий день или, если угодно, рабочая ночь наркомов, замов, начальников отделов и главков, помощников, секретарей.

Онисимов, в ту пору нарком танкостроения, едет на площадь Ногина к наркому металла, чтобы предъявить серьезнейшие свои претензии относительно качества стали, поставляемой танковой промышленности. Правда, нарком металла в отъезде, а на *хозяйстве* остался — таково привычное, вошедшее в обиход служилого круга выражение — его первый заместитель Алексей Головня, сильный работник, знающий дело металлург, не склонный, как известно Онисимову, бросать слова на ветер.

Уже несколько погрузневший — давало себя знать сидячее житье-бытье — Алексей Головня в зеленоватой коверкотовой куртке прохаживался по кабинету и сразу же, едва Онисимов растворил дверь, пошел к нему. Когда-то в институте они были однокурсниками, но дружеское «ты» меж ними затем не удержалось. Быть может, переходу на «вы» способствовал свойственный Онисимову отпечаток или налет официальности, как бы отстраняющий любые, не относящиеся к делу разговоры, налет, столь же для Онисимова характерный, как и его белый накрахмаленный воротничок.

Ступив в кабинет, Онисимов увидел, что в сторонке на диване сидит кто-то — загорелый, худощавый, молодой, не посчитавший нужным встать, когда вошел нарком танкостроения. Основательно пожав маленькую, почти женскую руку Онисимова, Алексей Афанасьевич кивком указал на сидевшего:

— Это мой брат Петро. Директор Кураковки.

Тот наконец-то соизволил встать. Стоял и посматри-

вал с улыбкой на аккуратнейше причесанного, со втиснутой в плечи головой, зеленоглазого наркома. Эта улыбка, неведомо что означавшая, показалась Онисимову неуместной. Щенок! Что он испытывал в минувших страшных тридцать седьмом, тридцать восьмом? Как раз в эти времена в газетах писали о старике доменщике Головне, а кстати, и о его сыновьях — инженерах, тоже избравших доменную специальность. И вот... Конечно, старый рыжий Головня и старший его сын заработали известность. А младший, еще ничем себя не показавший, тоже, не угодно ли, принадлежит к династии. И, пожалуйста, уже директор!

Острыми зрачками Онисимов еще на миг взгляделся в Головню-младшего. На загорелом лбу белеет шрамик — наверное, метка драчуна. В отличие от брата нос не круглый, не картошкой, а тонкий, с горбинкой, как у отца. Однако глаза у братьев схожи — того цвета, который нередко зовется голубым, не лазоревые, ярко-небесного оттенка, а скорей пепельные, синевато-серые. Ворот легкой светлой рубашки младшего распахнут, цвет лица и шеи искрасна-коричневый — это не только печать южного знойного солнца, но и въевшаяся в кожу, ничем не отмываемая, мельчайшая рудная пыль, что выносятся из старых, доживающих век домен. Да, возможно, труженик. Но слишком вольно держится. Небрежно встрепаны русые с рыжинкой волосы. Мог бы хоть привести волосы в порядок. И застегнуть сорочку. И этак самоуверенно не улыбаться.

Отвернувшись, Онисимов зашагал к столу. Алексей Афанасьевич с вопросительной интонацией произнес:

— Брат пока, пожалуй, прогуляется.

— Зачем? Мне он не мешает. Какие-либо особые секреты я обсуждать не собираюсь.

Сев, раскрыв портфель, Онисимов без околичностей перешел к делу. Как всегда пунктуальный, он выложил, предъявил Алексею Афанасьевичу тщательно подобранную документацию: лабораторные анализы, результаты испытаний, фотоснимки шлифов забракованной стали. И акты, акты, свидетельствующие, что целые партии листа или осевой заготовки или металла других профилей не пригодны, не отвечают кондициям, высоким требованиям танковой промышленности.

Алексей Афанасьевич, тяжело вздыхая, прочитывал бумагу за бумагой. И не пытался что-либо оспаривать. Ему-то было известно, сколь расстроена работа метал-

лургии после того, как почти все директора, да и многие ближайшие их соработники безвестно сгнули, скошенные арестами. Предстояли огромные усилия, чтобы внести четкость и ритм в производство, поднять и наладить выпуск годного металла.

Продолжая разговор, Онисимов стал язвительно высмеивать скоростные плавки у так называемых сталеваров-рекордистов.

— Эти ваши знаменитости выдают не сталь, а какую-то кашу. Какой-то суррогат. Перегружают ванну. И заменяют отсебятиной технологическую дисциплину. Конечно, вчерашние ура-рыцари, неучи в технике, могли допускать сие, но мы-то, слава богу, технической грамоте обучены.

«Вчерашние ура-рыцари». Онисимов так назвал блестящее созвездие директоров, выдвинувшихся в начале тридцатых годов и затем, совсем недавно, со сталинской безжалостностью почти сплошь истребленных, созвездие, участь которого он и сам едва не разделил.

Однако не разделил же! В своих тогдашних раздумьях о совершившемся Онисимов склонялся к мысли, что уцелел закономерно. В чем же, как он полагал, эта закономерность? Конечно, сыграла некоторую роль его вкоренившаяся, ставшая второй натурой преданность Хозяину, нерассуждающая готовность исполнять любое слово Сталина,— в такого рода исполнительности Онисимов находил высокое удовлетворение, наслаждение, но все же одно это, вероятно, его бы не спасло. Не однажды ему думалось, что, к своему счастью, он вовремя успел получить техническое образование, стать прокатчиком-специалистом. А топор репрессий снес, свалил хозяйственников, ни черта, собственно — так с присущей ему категоричностью мысленно он формулировал,— в технике не смысливших, никакой специальностью, кроме политики, не обладавших. Организаторы производства, они, как не раз убеждался Онисимов, лишь весьма неконкретно, смутно знали заводское дело, производство, которым руководили. Бег времени сделал их ненужными. И, наверное, опасными. История слишком хорошо их обучила тонкостям политической игры. Им на смену пришли люди совсем другого профиля, в большинстве молодые техники, вместе с которыми шагнул через порог лихолетья и он, инженер Онисимов. Правда, в такую схему многие факты не укладывались.

Онисимов все же ею в ту пору удовлетворился. Никому не высказал эту самобытную свою теоричку, он затем вообще перестал думать на такие темы. К философствованию он не приспособлен. Его дело — работать, точно, безупречно исполнять веления партии, поручения Сталина, вооружать страну мощными танками, сотнями и сотнями танков, которые бронезащитой и маневренностью превзойдут немецкие, лучшие в Европе, не подведут в надвигающейся и, видимо, неотвратимой войне. И он резко предъявлял свои требования наркомату металла.

— У вас есть же, Алексей Афанасьевич, надежная, отработанная технология выплавки. И следовало бы строжайше запретить любые ее нарушения. Особенно этим вашим скоростникам. И неукоснительно их контролировать.

Неожиданно прозвучал голос с дивана:

— Смутная логика!

С усмешкой бросив эту реплику, Головня-младший пересел на край дивана, готовый ринуться в спор.

— Вы, товарищ Онисимов,— продолжал он,— как видно, весьма смутно представляете себе скоростные плавки.

Онисимов посмотрел на него через плечо. И, не удостоив возражением, отвернулся. Наглец! Ему, Онисимову, отлично защитившему диплом инженера-металлурга, два года затем проведенному рядовым вальцовщиком на заводах Англии, этот усмехающийся выскочка осмелился бросить именно то самое слово — «весьма смутно»,— какое Онисимов в мыслях адресовал порубленным прежним работникам промышленности. Верный себе, он тотчас срезал Головню-младшего.

— Имеете случай убедиться,— едко проговорил он, обращаясь к старшему брату,— что у вас вольничают не только на заводах. Даже и здесь, у вас в кабинете, молодой, но отнюдь не скромный товарищ позволяет себе без разрешения влезть в наш разговор.

Больше никакого внимания он этому младшему отпрыску знатной семьи не уделил. И проучив — об Онисимове так и говорили: «Не учит, а проучивает», это ему было известно,— едва кивнул Петру, уходя из кабинета.

Затем, несколько месяцев спустя, Онисимов был назначен наркомом стального проката и литья, или, как говорилось, наркомом стали.

В те времена управление промышленностью разукрупнялось: получили самостоятельное бытие наркомат черной металлургии, ведавший и всем огромным хозяйством железорудных бассейнов, добычей флюсов, выжигом кокса, и несколько меньший по масштабу со своими специальными задачами наркомат, вверенный Онисимову.

Осенью 1940-го Онисимов уже в новом своем качестве выбрался в долгую поездку по заводам.

Ровно год назад в Европе, совсем под боком у Советского Союза, запылала вторая мировая война. Дивизии Гитлера чуть ли не одним рывком сломили Польшу. А через некоторое время танковыми колоннами ворвались во Францию, заставили ее капитулировать. И снова война на некий срок как бы затаилась. Надолго ли? Не пробьет ли вскоре и наш час?

В маршрут поездки наркома была включена и Кураковка. Онисимов там вновь повстречался с Головной-младшим.

Выдался теплый денек бабьего лета. Вдвоем они шли по тесному двору старой Кураковки, столь непохожему на просторные, с разветвленными автомобильными дорогами заводские территории вновь сооруженных комбинатов металлургии, — рослый, хотя и со втиснутой в плечи головой, не расстававшийся с темной мягкой шляпой, темной поношенной пиджачной парой, неизменной одеждой диккенсовского скромнейшего клерка, Онисимов и шагавший с ним в ногу в легкой выцветшей синей спецовке, в кепке, порыжевшей от красноватой рудной пыли, окрасившей здесь ржавым оттенком землю и железо крыш, тонкий в кости, но с тяжелой нижней челюстью тридцатилетний директор.

Асфальтовая неширокая дорожка — по ней они шагали — вела к доменному цеху. Несколько в стороне виднелось зажатое между рельсовых путей кирпичное приземистое здание. Над ним чернели, уходя ввысь, две железные трубы.

— Здесь у тебя что?

— Это, товарищ нарком, тут самая древняя постройка. Две маленькие мартеновские печи.

- Какую сталь там сейчас делаешь?
- Легированную. Для подводных лодок.
- Номер заказа?

Головня затруднился:

- Не помню, товарищ нарком.
- Посмотри в записной книжке.
- У меня это не записано. Если разрешите, сейчас позвоню, справлюсь в плановом отделе.

— Я сам могу тебе дать справку,— жестко сказал Онисимов.

И на память назвал номер заказа. Он, конечно, не добавил, что лишь вчера, готовясь к обходу цехов, проштудировал номенклатуру заказов, порученных Кураковке. Впрочем, все показатели такого задания, как сталь для подводных лодок, выполняемого по особому правительственному предписанию, или, точнее, распоряжению, он мог бы, пожалуй, и не нуждаясь в шпаргалке, привести наизусть в любой день и час.

Далее Онисимов продолжал свой немилосердный экзамен:

- Задание в тоннах? Срок отгрузки?

На эти вопросы молодой директор, усмехнувшись, без запинки ответил. Усмешка казалась самоуверенной, дерзкой. Онисимов подавил раздражение. Этому баловню, принадлежащему к именитой семье, или, как с некоторого времени стали выражаться, династии доменщиков, он сегодня еще выплет. Истинная выволочка предстоит Головне в доменном цехе. А пока...

- Зайдем,— коротко бросил нарком.

Рельсовый путь, куда они ступили, привел сквозь распахнутые настежь железные ворота на рабочую площадку двух сталеплавильных печей-маломеров.

Шла разливка стали. Пахло газом, стоял дымный туманец, было душно. Бегущий из ковша жидкий металл бросал багряные отсветы на черные, поросшие копотью балки и стропила низкой кровли, на такую же прокопченную кирпичную кладку стен. Пожилой мастер в нахлобученной кепке, в брезентовой почерневшей спецовке, заслонив рукой лицо, смотрел, как лилась в изложницу жаркая струя. Онисимов шагнул к нему:

- Как ты глядишь?

- А что? Обыкновенно.

— Обыкновенно,— едко повторил за мастером нарком.— Почему так далеко стоишь? Где твое синее стекло? Почему не следишь за корочкой?

— Слежу.

— Что ты можешь увидеть без синего стекла? Где у тебя оно?

Мастер вынул из кармана синее стекло в самодельной деревянной рамке. По стеклу змеилась трещина.

— В каком состоянии ты держишь свой инструмент?

Онисимов выхватил у мастера стекло, рывком швырнул. Затем достал свое, окольцованное алюминием, протянул мастеру. Тот поднес к глазам стекло наркома, стал смотреть.

— Не так!

Взявшись за брезентовый ворот, нарком подтащил мастера вплотную к пышущей жаром изложнице. И сам в шляпе, в подкрахмаленном воротничке встал рядом. Слегка скручивались в излучениях металла ворсинки на его пиджаке.

— Дайте стекло! — велел он Головне.

И не отступая хотя бы на полшага, озаренный едва переносимым близким розовым отблеском, всматривался сквозь синюю пелену, препятствующую ослеплению, как сталь наполняет изложницу. Прокатчик, он досконально знал и разливку, последнюю операцию сталеплавильных цехов. Наводя порядок, технологическую дисциплину, неуклонно требовал: наблюдать при разливке за состоянием корочки. Следить, чтобы корочка все время играла на расстоянии в один-два сантиметра от стенки. Если прилипает, ускорять струю. Иначе прилипание корочки отзовется вторым сортом или браком при прокате. Он даже издал среди других технологических инструкций и специальный приказ, дотошно перечисляющий правила разливки. А тут, на Кураковке, пожалуйста, дело идет так, словно и не было приказа.

Оставив мастера около изложницы, кинув уничтожающий взгляд на Головню, Онисимов подошел к окну опорожненной, источающей розоватый свет печи, намереваясь посмотреть подину. Путь к окну преграждала груда сброшенного раскаленного доломита, уже померкшего, подернутого пеплом. Онисимов шагнул на эту груду.

— Что вы? Сгорите! — прокричал Головня.

— Не красная девица, — желчно ответил нарком. Однако жгучий жар уже пробрался сквозь подметки.

Онисимов быстро отпрыгнул. И покосился на директора: не усмехнулся ли тот?

Несколько минут спустя они вышли через те же ворота. Наркома нагнал инженер — начальник смены.

— Товарищ нарком, возьмите свое стекло.

— Отдайте мастеру на память. Да и другим пусть оно напоминает, что надо знать инструкции. Знать и соблюдать.

...По асфальтовой дорожке Онисимов и Головня опять шагали к домам. Самонадеянный директор был уже слёгка проучен. Догадывался ли он, какую головнойкой еще учинит ему нарком в доменном цехе? Почти две недели на заводе пребывала специальная бригада наркомата, которую Онисимов по своему давнему правилу послал впереди себя. Ему сразу же, лишь он сюда приехал, доложили, что Головня-младший затеял какие-то сомнительные опыты в доменном цехе. Затеял, не осведомив об этом наркомат, не испросив разрешения. Такие нравы были еще живучи в металлургии. «У каждого барона своя фантазия» — этой поговоркой вновь назначенный строгий нарком уже не раз характеризовал порядки на заводах. Он, прошедший выучку у родоначальников стальной промышленности, англичан, побывавший затем в Германии, воспринявший немецкую точность, пунктуальность, не допустит, чтобы на заводах каждый мудрил по-своему. Никаких нарушений выверенной, надежной технологии не потерпит, введет дисциплину. И Головня ты или не Головня, именит или не именит, а за самоуправство спустит с тебя шкуру, как и со всякого иного.

Возле дорожки расположилось еще одно низенькое небольшое здание.

— Что здесь?

— Столовая доменного цеха.

— Ну-ка, заглянем. Где тут черный ход?

Так Онисимов поступал всюду: казовой стороне не доверял, появлялся негаданно, с черного хода, с задворок, застигал невзначай.

Спустившись по истоптанным каменным ступеням в полуподвал, они вошли в темноватое, примыкавшее к кухне помещение. Несколько женщин чистили картошку. Все приостановили работу, поглядывая то на горбоносого молодого директора, то на бледного, в шляпе, никому тут не известного начальника. Онисимов всмотрелся, произнес:

— Почему так толсто срезаете?

Ответила одна из женщин:

— Гнилая же.

Онисимов подошел ближе, наклонился, взял с пола картофелину. Потом другую.

— Нет, не гнилая.

Нарком кинул картофелины, еще постоял, повернулся и вышел. На воле достал платок, вытер испачканные пальцы. Головне едко сказал:

— Толстоваты очистки. Ташут домой. Поросят держат.

И ничего более не прибавив,— делай, мол, выводы сам,— зашагал к высившейся невдалеке доменной печи номер один. Петр по-прежнему шел рядом.

По железной лесенке, тоже красноватой от налета рудной пыли, они поднялись к печи, издававшей низкий ровный гуд. Пройдя в пирометрическую будку,— там то и дело на панели вспыхивали и потухали разноцветные глазки,— Онисимов сел, придвинул к себе, развернул журнал плавок. На вопросы наркома отвечал начальник цеха, такой же молодой, как и директор, одетый в такую же блекло-синюю куртку. Порою волнение принуждало его запинаться, он пятнами краснел. Онисимов еще ни словом не обмолвился о самоуправных выдумках, введенных в цехе. Верный себе, он хотел сначала уличить собеседника в незнании дела, сбить, высечь его. И, не поднимая от журнала глаз, спросил:

— Почему вчера на второй печи дали пять холостых калаш?

Начальник цеха затруднился.

— Э... Э... Вчера.

— Да, да, вчера.

Стоявший здесь же директор вдруг вмешался:

— На втором номере вчера не было холостых калаш. Вы ошиблись, товарищ нарком.

Петр Головня говорил твердо, но тоже волновался,— усмешка пропала, под кожей обозначились, заходили желваки. У Онисимова, фигурально выражаясь, зачесались руки, чтобы тут же приструнить Петра: «Ты, как видно, не заводом занимаешься, а одним только доменным цехом. И к тому же выделяешься здесь всякие фортели». Онисимов, однако, сдержался. Всею свое время. Сюда, в будку, вызваны и вскоре явятся участники наркоматской бригады, в том числе глава доменной группы инженер Земцов. Пусть он

сначала в присутствии виновного доложит о технологических вольностях в Кураковке, об отсебятинах директора. А насчет дальнейшего позаботится нарком. Свое Петр получит.

И получил...

Это произошло там же — в пирометрической будке домны № 1. Туда в назначенный час явились те, кого нарком загодя командировал в Кураковку, — начальник Главюга, узколицый, костлявый Миних, главный бухгалтер наркомата Шibaев и глава доменной группы Земцов, наделенный крупной статью, что называется, солидный, с прической ежиком, накопивший немалый опыт заводского инженера и вместе с тем заработавший профессорское звание. Кстати отметим, что Земцов приобрел некоторое имя и как автор шахматных этюдов и задач. В поездки он непременно захватывал с собой шахматную литературу, подолгу колдовал в одиночку над доской. Онисимов любил сразиться с ним в вагоне. Как ни удивительно, в таких сражениях нарком большей частью одолевал этого квалифицированного игрока. Свои поражения Земцов объяснял тем, что-де сила в практической игре далеко не равнозначна способностям составителя задач. Втайне Онисимов его подозревал: не ловчит ли? Но партии выигрывал с удовольствием. И не скрывал перед собой эту свою слабость, прощал ее себе.

Вокруг поцарапанного, много послужившего стола, со следами когда-то пролитых фиолетовых чернил, разместились и Онисимов, и приехавший с ним референт-секретарь, и Петр Головня, и начальник цеха. На подносе выстроились принесенные из цехового буфета стаканы чая и дешевая, зеленоватого стекла вазочка с печеньем. Никто, однако, к угощению не притронулся. Онисимов ввел в наркомате железное правило: никогда и ничем на заводах не пользоваться — не только, скажем, ужином или обедом у директора, но и хотя бы даровым стаканом чая. Нарушителей такого правила он вытаскивал на обозрение на заседаниях коллегии, хлестал кнутиком нещадных слов. И сам подавал в командировках пример педантической воздержанности.

Время от времени дверь будки отворялась, врывается на секунду свист и гуд, входил чернобровый, чисто выбритый мастер и исполнял свою работу: поглядывал на световые сигналы, на исчерканную черными линиями самопишущих приборов бумагу-миллиметровку. Потом уходил. Эти вторжения не прерывали заседания.

Закурив, Онисимов обратился к Земцову:

— Послушаем, Николай Федотович, тебя. Как тут, на доменном фронте, обстоят дела?

Шахматист-доменщик поднялся. Баском, не торопясь, выдерживая паузы и порой двумя пальцами оттягивая выпяченную нижнюю губу,— ему был свойствен такой жест,— Земцов обстоятельно, в динамике разобрал работу здешнего доменного цеха. Сам отвел необоснованные возможные нападки. Тем, кто тут присутствовал, было ведомо: в промышленности и на транспорте еще длилась полоса тяжелого разлада, расстройства, вызванного арестами миновавших недавно годов. Об этом, впрочем, говорить не полагалось. Итоги выплавки металла в 1939-м были печальны. И лишь к середине 1940-го — того, о котором сейчас на этих страницах идет речь,— сталелитейная промышленность, как и другие отрасли хозяйства, начала понемногу выправляться. Но еще неуверенно, с перебоями, с откатами.

С той же улыбкой, то покровительственной, то иронической, Земцов описал нигде еще не виданный способ форсировки хода домны и достойные удивления конструкторские новшества, введенные на одной из печей директором Кураковки.

— Результаты, конечно, оказались плачевными,— сообщил Земцов.— Да и могло ли быть иначе, если тут нарушена азбука доменного дела? Она требует дать полную волю восходящему потоку газа, а наш неуемный экспериментатор, увлеченный собственными теоретическими домыслами, о которых, к сожалению, еще помалкивает мировая техническая литература, взял да и стиснул горло доменной печи. И, разумеется, лишь хлебнул горя.

Конечно, и Кураковка страдала в те времена из-за того, что подача электроэнергии сократилась, нередко вдруг и вовсе прерывалась, качество поступавших на завод плавильных материалов резко ухудшилось, да и тех постоянно не хватало, рудный двор оставался без руды, завалка домен шла с колес. Онисимов, назна-

ченный в такую пору наркомом стали, днями и ночами, бывало, следил из Москвы за продвижением к заводам чуть ли не каждого состава с рудой или известняком. Хроническая нехватка рабочих, текучесть, особенно там, где еще применялся отживший тяжелый ручной труд, тоже мучила Кураковку.

Земцов не затушевывал этих трудностей. В таких условиях доменный цех, справедливость требует это отметить,— здоровяк инженер опять приостановился, потянул двумя пальцами нижнюю губу,— доменный цех все же добился некоторых успехов. Кривая выплавки постепенно идет вверх. Можно ли, однако, этим удовлетвориться? Нет, плановое задание ни на одной печи еще не выполняется. Имеют место серьезнейшие промахи, а то и — извините прямо, Петр Афанасьевич,— пороки заводского руководства.

— Изучив дело на месте,— продолжал Земцов,— мы выяснили следующее: тяжелое положение, в котором по сей день находится доменный цех, вызвано не только объективными причинами, но также и тем, что Петр Афанасьевич по молодости,— с улыбкой в которой читалось снисхождение, Земцов приглаживал пухлой рукой тронутый проседью ежик, тотчас вновь торчмя встававший,— по молодости, по горячности, мне особенно понятной, и меня когда-то числили в изобретателях, увлекся беспочвенным, необоснованным или, позволю себе на правах старшего товарища такое выражение, дурным экспериментированием.

Петр молча слушал, казался спокойным. Только мгновениями поигрывали желваки. Да на загорелом с белым косым шрамом лбу обозначалась вертикальная, устремленная к переносью черточка.

Онисимов резко спросил:

— Кто тебе разрешил эти затеи?

— Я говорил начальнику главка о своей конструкции. Он не возражал против того, чтобы это опробовать, изучить.

Онисимов задал вопрос Миниху:

— Ты подтверждаешь?

— Такого разговора, Александр Леонтьевич, я не помню.

— Так кто же разрешил? — повторил Онисимов.— И где это задокументировано?

Петр не ответил.

— Кем же ты тут себя воображаешь? Удельным

князьком, что ли? Доверили тебе завод, а ты, не угодно ли, воспользовался: дай-ка займусь за государственный счет своими выдумками. Завод для тебя собственная вотчина? Так тебя прикажешь понимать?

— Я убежден,— произнес Петр,— что рано или поздно мой способ восторжествует во всей металлургии. И принесет...

— Я... Я...— оборвал Онисимов.— Поменьше якай! Странно, каким образом ты, выросший в рабочей семье, набрался такого анархического индивидуализма. Футы ну-ты, подумаешь, исключительная личность! Считаешь, что советские законы не для тебя писаны?

— Этого я не считаю.

— Почему же самовольничаешь?

— Но мой способ вызван самой жизнью. Именно наша советская металлургия...

— Наша металлургия нуждается прежде всего в строгом порядке. А ты его первый нарушаешь! Немудрено, что и в цехах у тебя разболтана технологическая дисциплина. Нам нужны не чудеса, которые ты сулишь, а будничная неустанная работа по наведению порядка. За такие номера, которые ты тут выкидываешь, тебя для примера иным прочим следовало бы снять, но пока ограничиваюсь предупреждением. И всю эту музыку, твою отсебятину, потрудись прекратить. Немедленно прекратить!

Покончив на этом с конструкторскими вольностями Петра Головни, нарком объявил двухчасовой перерыв и вышел из цеха.

Лишь поздней ночью завершился разбор нужд и недочетов доменного цеха. Были записаны конкретные указания, решения, которым затем предстояло войти особым разделом в приказ, что оставит здесь нарком.

В два или в три часа ночи Онисимов отпустил заседавших. Такой режим он неизменно выдерживал, посещая заводы. Работники наркомата, которые ему сопутствовали в поездках, звавшие себя с горьковатым юмором его лошадками, возвращались на ночлег всегда измочаленными, наголодавшимися, загнанными. А сам он, будто отлитый из сверхпрочной стали, оставался свежим, сохранял остроту языка, остроту взгляда.

Покинув цех, нарком, сопровождаемый директором, пересек теснину рельсовых путей, — наложенные колесами стальные полосы мутно поблескивали под заводским слегка багровеющим небом, — выбрался на асфальтовую дорожку, где уже дежурила, ждала машина. Другая, предназначенная для его спутников, умчалась минуту назад, невдалеке еще виднелась удаляющаяся красная точка заднего фонарика. Вот и она скрылась. Шумы ночного завода казались приглушенными. Лишь иногда врывался лязг или свистящий резкий звук.

— Прошу вас, — проговорил Петр, — разрешите мне на одной печи изучать мой способ.

— Опять двадцать пять, — сказал Онисимов. — Пройдемся, проводи меня немного.

Они зашагали по краю дорожки. Следом, не обгоняя наркома, поползла машина. Онисимов недовольно оглянулся. Он и в Москве не допускал, чтобы автомобиль когда-либо следовал за ним, приноровляясь к его шагу, считал барственной такую манеру. Подойдя к водителю, распорядился:

— Поезжай к главным воротам. Подожди меня там. И вернись к Петру.

Некоторое время они шли молча.

— Подумалось сейчас о флокенах, — произнес Онисимов.

Интонация была мягкой, доверительной. Он словно отбросил свою всегдашнюю броню официальности.

— О флокенах?

Обоим был отлично известен этот специальный металлургический термин, обозначающий не распознаваемый в те времена никакими приборами порок стального слитка. Наука выяснила лишь, что флокен вызывается мельчайшим, почти микроскопическим, застрявшим в теле слитка пузырьком водорода. В прокатке под валками стана такой пузырек вытягивается, становится тонкой, как волосок, трещинкой, своего рода червячком, ничем по-прежнему не дающим о себе знать. Зараженная флокенами сталь получает клеймо «годная». И только много времени спустя она, казалось бы, надежная, пущенная в дело, ломалась, рвалась. Бывали крушения поездов из-за внезапного разрушения рельса, по всем признакам безукоризненного. Случалось, мгновенно трескался гребной винт корабля. Иногда вдруг рушились и прочнейшие, казалось бы, фермы, и шестерни, и оси. И лишь в изломе обнаруживались губитель-

ные, уже разросшиеся флокены — серебристо-белые хлопья, окруженные темными пятнами усталости.

С давних пор флокены были излюбленной темой Онисимова. Тут, пожалуй, уместно упомянуть, что еще в молодости он, безупречный студент, парторг института, был прозван товарищами: «человек без флокенов». И гордился таким прозвищем.

Ныне подначальные Онисимову металлурги знали, что грозного наркома можно, по грубоватому словцу, *купить*, если перевести разговор на флокены. Александр Леонтьевич в таких случаях воодушевлялся, входя в разнообразные тонкости этой темной проблемы, приводил поразительные факты. И, как замечали, добрел, разговорясь. Впрочем, выражение «добрел» с ним как-то не вязалось. Попросту на время можно было не опасаться его желчности, вспыльчивости.

Он и теперь, идя рядом с Петром, меряя шагами пустынную по-ночному дорожку, охотно рассуждал о флокенах. Казалось, несколько приподнялась всаженная в плечи крупная его голова, покрытая фетровой шляпой. Онисимов отдыхал в эти минуты, вскочив на своего конька.

Петр, как знает читатель, не был наделен тактичностью. Он слушал, слушал, да и принялся за свое:

— Не вижу, товарищ нарком, какой-либо связи между моим способом и флокенами.

— А я вижу.

— В чем же она?

Усмехаясь, — ох, уж эти его усмешки! — Петр в нескольких ясных фразах показал, что его способ, с какой стороны ни подойди, качеству металла отнюдь не угрожает. Да и вообще уже открыты новые пути радикального очищения стали от всяческих газовых включений. Давно уже предложена разливка в вакууме. Надо и это испытывать, изучать практически. Онисимов тут не вступил в спор, лишь обронил:

— Нет, с флокенами лучше не мудрить. — Теперь его тон был, как обычно, жестковат. — Кроме того, ты не учел, что о флокенах можно говорить и в индустрии. Твои изобретательские чудачества — это твой личный флокен. Лучше избавляйся от него заблаговременно.

— А я стараюсь понять вас, — негромко сказал Петр.

— Да, это уж придется тебе сделать.

— Конечно, насчет моего способа я, видимо, ничего доказать вам не смогу. Оставим пока это под вопросом: удачен он или непригоден. Но если бы сверху вам сказали: окажи содействие.

— Ну...

— Или даже попросту кивнули, то я получил бы от вас все, что надобно для моего изобретения, хорошее оно или плохое.

— И что из того следует?

Реплика прозвучала угрожающе. Петр ответил без запальчивости:

— Промышленность, Александр Леонтьевич, так жить не может. Думаю, что и вообще так жить нельзя.

Ну, Онисимов тут ему *врезал*...

...Впрочем, зачем он сейчас об этом вспоминает? Ведь думалось о чем-то совсем другом.

Но снова врывается, течет в уме тот же поток.

...Пожалуй, именно та ночная прогулка от доменных печей к главным воротам, поначалу мирная, открывшая вольные мысли Головни, заставила Онисимова твердо решить: с таким не поладишь, такого надо снять.

Еще два или три дня Онисимов провел на заводе, по-прежнему удивляя всех следовательской хваткой, пунктуальностью, неутомимостью, — чистых шестнадцать часов в сутки он и тут отдавал делу.

Накануне отъезда он выступил на собрании производственно-технического заводского актива. Начальники цехов и отделов, некоторые другие выделившиеся инженеры, лучшие мастера, передовики рабочие, руководители партийных и профсоюзных организаций, а также и весь *аппарат*, сопутствовавший наркому, насчитывавший до тридцати различного рода специалистов, тесно заполнили ряды скамеек в сравнительно просторном, на четыре сотни мест, красном уголке листопроката.

Ограничившись лишь крайне сжатым политического характера вступлением, Онисимов деловито, конкретно анализировал работу завода. Смягчающие фразы, полутона или так называемое поддрессоривание в его речи отсутствовали. Он указывал изъяны руководства, школил, стегал тех, кто был повинен в безалаберности, в пренебрежении к технологической и элементарной трудовой дисциплине, ставил доступные ясные задачи. Не помиловал и директора.

— К сожалению, товарищ Головня вместо того

чтобы заниматься делом, организацией производства, увлекся собственными изобретениями. Он, видимо, думает, что завод дан ему на откуп: что хочу, то и творю. Он, однако, заблуждается. Директор, как и любой из нас, лишь исполняет службу, служит государству. И использовать служебное положение для всяких своих фантазий, фиглей-миглей никому в Советской стране не дозволено. Общий порядок обязателен и для директора: обратись куда следует со своей задумкой. И ожидай разрешения!

Сидевший на помосте за столом президиума горбоносый, с рыжинкой в завитых природой волосах, молодой директор хмуро вставил:

— В котором вы уже мне отказали.

— К вашему сведению, товарищ Головня, я не самодур-купчина, который по собственной прихоти может отказывать или не отказывать. Устройство, которое вы здесь самочинно завели, было основательно изучено специалистами. Они дали оценку: дурная отсбятина. Это рассматривал и я. Пришлось скомандовать: прекратите, товарищ Головня, свои художества.

Петр еще раз бросил с места:

— Когда-нибудь всем будет известно, что вы это запретили!

Онисимов резко обернулся. Вот как! Этот выскочка-упрямец и тут, перед четырьмястами металлургами, отваживается вякать, перечить наркомку. Ну, я ему вякну!

— Да, запретил! И пришлю сюда своих контролеров, чтобы проверить, как вы исполнили приказ. И если свое партизанство не оставите, такой бенефис вам закачу, что не обрадуетесь. Завод вам не поместье, и вы на нем не барин! Не стройте из себя сиятельную особу, привилегированную личность. У нас нет привилегированных! И я не посмотрю, что вы принадлежите к прославленной семье. Скидки на это вам не будет!

— А ее мне и не надо.

— Извольте со мной не пререкаться. Какой пример ты подаешь?

Переведя дыхание, Онисимов вернул себе невозмутимость. Его массивная голова на миг склонилась над бумагами. Вот зеленоватые острые глаза опять обратились к залу. Нарком счел нужным сказать еще несколько слов о директоре:

— Сегодняшнее поведение товарища Головни вновь

убеждает меня в том, что заводом руководить он не может и его следует снять.

Слова были спокойны, весомы.

С таким решением — снять дерзкого директора — Онисимов на следующий день уехал из Кураковки.

41

Однако смещение директора на большом заводе не могло быть произведено лишь его, Онисимова, властью. Руководители крупнейших предприятий и строек утверждались Центральным Комитетом партии, входили, говоря опять языком времени, в некую особую *номенклатуру*. Без санкции Центрального Комитета нельзя было отставить, сменить и Головню-младшего.

Онисимов исподволь обдумывал аргументацию, которую выдвинет в разговоре наверху. В мыслях готовил записку на сей счет. Такого рода бумаги, адресованные в Центральный Комитет, он всегда составлял сам. Но за эту все не принимался. Возникший в уме текст пока его не удовлетворял. Все же набросал черновик, показавшийся более или менее подходящим. Однако лишь более или менее... Безотчетное, словно бы инстинктивное сомнение оставалось. Этому своему невнятному чутью он верил. Что же, успеется, повременю.

Кстати, приближались праздничные дни — годовщина Октября. Все равно вопрос придется ставить только после праздников.

Вечером шестого ноября Онисимов, покинул в этот непривычно ранний для него час свой служебный кабинет, заехал домой переодеться и покатил с женой в Большой театр на традиционное торжественное заседание в честь дня рождения Советской власти.

Пройдя через предназначенный для членов правительства расположенный в сторонке вход, Александр Леонтьевич в черной новехонькой пиджачной паре, в безукоризненно блестящих ботинках и Елена Антоновна в сером, строгого покроя костюме, как бы подчеркивающим ее статность, прямизну, ничем не украшенном, если не считать воротничка шелковой кремовой блузки, что был выпущен поверх жакета, поднялись в боковую, примыкающую к сцене ложу. В своего рода передней комнатке — на театральном диалекте она

зовется аванложей,— отделенной от стульев тяжелой темно-зеленой занавесью, стояли Иван Тевадросович Тевосян и его жена Ольга Александровна, очевидно, тоже только что приехавшие.

Смуглый, низкорослый, с черной до глянца шевелюрой нарком металлургической промышленности радушно приветствовал вошедших. Черные, словно нанесенные тушью небольшие усы делали по контрасту особенно выразительной его белозубую улыбку.

Ольга Александровна тоже улыбалась. Легкий розовый шарф обвивал в меру полную шею. Русые волосы не были аскетически гладко зачесаны, но и не взбиты. Она поправила их перед висевшим тут же зеркалом, не сочла этого для себя зазорным.

Невольно Онисимов сравнил Ольгу Александровну, тоже избравшую смолоду профессию партийного работника, со своей женой. Обе были деятельницами, но сухость, свойственная Елене Антоновне, не наложила своего отпечатка даже и в черточках внешности на спутницу жизни Тевосяна. Глядя на нее, уже мать двоих детей, Онисимов в который уже раз втайне пожалел, что у него нет своего ребенка (в ту пору Андрейки еще не было в помине, лишь два года спустя, в дни войны ему суждено было родиться).

Минуту-другую спустя женщины ушли за ниспадающую складками ткань на свои места. Гул многоярусного огромного зрительного зала глуховато доносился в аванложу. Два наркома присели на диван. Здесь разрешалось курить, о чем свидетельствовала пепельница на низком столике и почти незаметная, вмонтированная в стенку решеточка вентиляционной тяги. Заядлые курильщики, оба не пренебрегали возможностью сделать на скорую руку несколько затяжек.

Онисимов поздравил Ивана Тевадросовича. Впервые за много-много месяцев наркомат Тевосяна выполнил наконец в истекшем октябре план по чугуну. А еще год назад работа заводов была столь разлажена, что металлургия не давала и восьмидесяти процентов программы. Соответственно упали и заработки, металлурги приуныли, у многих опустились руки, положение казалось беспросветным. Не кто иной, как Тевосян, отважился тогда на смелый, небывалый в истории советской промышленности шаг: объявил, что премии отныне будут выплачиваться даже и за восемьдесят процентов плановой выплавки. И каждый последующий

процент повлечет прогрессирующее увеличение премий. Эта мера, утвержденная Советом Народных Комиссаров, была распространена и на предприятия, подведомственные наркомату стального проката и литья. Именно такое решение — тут Александр Леонтьевич без малейшей зависти, до этого он не позволил бы себе унизиться, склонялся перед организаторскими способностями Тевосяна,— именно такое решение, затронувшее всю армию металлургов, покончило с настроениями безразличия, безотрадности, подействовало магически.

— Раненько поздравляешь,— сказал Тевосян.— Выложу план по всему циклу, тогда дело другое. По-видимому, мы с тобой голова в голову к этому придем. Глядишь, ты еще вырвешься на ноздрю вперед.

Онисимов не стал оспаривать такое предсказание. Действительно, подчиненные ему предприятия, в том числе и старая Кураковка, уверенно набирали темпы, совсем близко подошли к стопроцентному выполнению программы и *по валу и по ассортименту*. Уже нельзя было сомневаться, что в грядущий сорок первый — знал ли кто, каким грозным станет этот год?! — промышленность, выпускающая сталь, войдет окрепшей.

— В общем,— продолжал Тевосян,— если, по нынешнему обыкновению, потревожить Маяковского, сочтемся славой. И на поздравлениях давай поставим точку. Лучше скажи, какие у тебя впечатления от поездки.

Александр Леонтьевич охотно стал рассказывать. Верный себе, школе работяг, которым история дала миссию приструнивать и подхлестывать, скупых на похвалы, питающих отвращение и к самовосхвалению,— таков же, заметим, был и Тевосян,— Александр Леонтьевич заговорил о том, что возмущался в дни поездки. Нарушения режима, технологическая распушенность. Надобно еще и еще подтягивать гайки. Какой-то вопрос Тевосяна или, возможно, просто поворот фразы привел Онисимова к флокенам. Отдаленные последствия технологической неряшливости или самовольства когда-нибудь еще скажутся. И вряд ли избежим малоприятного занятия: расследовать катастрофы. Тут Александру Леонтьевичу припомнился Головня-младший.

— Не люблю менять директоров,— произнес он,— но решил от Петра Головни избавиться.

Он кратко сообщил собеседнику о прегрешениях

директора Кураковки: самоуверен, подвержен изобретательскому зуду, непослушен, публично дерзит.

Темно-карие, почти черные глаза Тевосяна не выразили одобрения.

— Знаешь, тебе могут сказать: ты предлагаешь странное. Молодой директор. Тянет неплохо. Ему надо помогать. Не спешишь ли?

Невнятные сомнения, которые беспокоили Онисимова, мигом приобрели ясность, как бы кристаллизовались. Да, по всей вероятности, ему скажут что-либо подобное. Он, однако, не сдался:

— Спешить, конечно, ни к чему. Но, с другой стороны, если убежден, зачем тянуть?

— Но убежден ли?

В эту минуту откинулась темно-зеленая портьера. Выглянула жена Тевосяна. Она уже сняла свой розовый шарф.

— Что же вы? — В спокойном звучном голосе слышался легкий упрек. — Думаете, вас будут ждать?

Сквозь приоткрытую драпировку дошла настороженная тишина, уже водворившаяся в зале. Оба наркома заторопились в ложу.

Установленный на сцене длинный, застланный малиновым бархатом стол еще пустовал. Вглубь уходили никем пока не занятые ряды стульев. Театральными прожекторами был ярко высвечен на заднике своего рода огромный медальон: лицо нарисованного в профиль Сталина и как бы служивший ему фоном профиль Ленина. Лишь изощренный взгляд мог бы отметить, как из года в год, в таком двойном портрете Ленин становится чуть поменьше, а облик Сталина крупней.

Юпитеры, доставленные кинохроникой, уже источали пучки слепящего голубоватого света, пока направленного в зал. Впрочем, один или два, еще не вспыхнувшие, были нацелены в глубину кулисы, скрытой от партера и ярусов, но ясно просматриваемой из крайней ложи, куда ступили, не садясь, Тевосян и Онисимов. В кулису уже вышли те, кто был приглашен занять места на сцене, тесно выстроились, оставив открытыми ведущий к столу проход. Почти все они были широко известны. Вон несколько полярных летчиков, рядом широченный лысоватый конструктор авиационных моторов, далее столь же прославленный чернородый академик. Различима красиво вскинутая

голова Пыжова. Виден и седой гладкий зачес старой большевички, немилость миновала ее.

Не отрывая взора от кулисы, Тевосян легонько толкнул локтем Онисимова:

— Э, и старика Головню, гляди-ка, туда вытащили.

Онисимов невозмутимо откликнулся:

— Что же, значит, опять металлургам честь и место.

Рыжеусый мастер-доменщик выглядывал из-за спин тех, кто стоял впереди. Видимо, он то и дело приподнимался на цыпочки, высовывая подальше горбатый большой нос. Довольный, раскрасневшийся, Головня-отец все поглядывал в ту сторону, откуда вел проход.

Еще минута — и как-то вдруг, хотя именно это ожидалось, в проходе показался Сталин. Он шел не быстрым, но и не медлительным, словно бы деловым шагом. Его военного кроя одежда, пожалуй, так с былых лет и не переменялась: вправленные в сапоги, слегка свисающие на голенища брюки защитного цвета, такая же куртка без каких-либо знаков. Впрочем, нет, это была уже не куртка, а отлично сшитый китель, свободно облегающий небольшое туловище. Даже и такие, не сразу уловимые, изменения костюма свидетельствовали: отброшен вид солдата, проступило некое иное обличье.

Хозяин шел вдоль рукоплескавшей шеренги, не поглядывая по сторонам, будто никого не видя. Неподвижность головы была величественной. Маленький его рост не замечался. За Сталиным, блюдя дистанцию, следовала вереница его ближайших сподвижников. От зала он был еще заслонен кулисой, однако возникшие на сцене аплодисменты сразу перекинулись туда.

Внезапно Сталин приостановился. Живым движением — да, да, когда-то, еще на памяти Онисимова, он этак по-молодому оборачивался, — живым движением протянул руку кому-то из сгрудившихся в проходе. Кому же? Рыжему доменному мастеру. Мгновенно перед Головной расступились. Покраснела уже не только физиономия, но и изрытая морщинами шея. Нарядный галстук съехал набок, старый доменщик этого не замечал. Он обеими руками затряс кисть Сталина. Тот что-то проговорил, шевельнулись черные, еще казавшиеся густыми усы.

Вспыхнули наведенные юпитеры. Но кинокамера не успела запечатлеть на пленку этот миг. Вновь обретя монументальность, опять недвижно неся голову, Сталин

уже шел дальше. Рукой он как бы отмахнулся от льющегося на него света. Послушные этому безмолвному велению, пучки лучей тотчас несколько переменили направление.

Вслед Сталину, держа под мышкой папку, шагал Молотов. Он тоже остановился возле Головниотца для рукопожатия. И далее каждый в веренице, что двигалась за Сталиным, тоже задерживался близ рыжего мастера, пожимал ему руку. Казалось, все они без рассуждений единообразно исполняли команду. Мастер сперва все улыбался, потом на его красном лице, которое с удивительной непосредственностью передавало внутреннюю жизнь, выразилось удивление, а напоследок, когда с ним за руку здоровались совсем ему неведомые люди, он выглядел вовсе ошарашенным.

А Хозяин уже стоял за столом и, не спеша, аплодировал, как бы отвечая на гремящие раскаты овации.

Изливая свои чувства, преданность Сталину, веру в его гений, жарко хлопал в ладоши и Онисимов. В какую-то минуту его потянуло шепнуть Тевосяну: «Н-да... Непопадание в анализ».

Однако сработали действовавшие безотказно тормоза. Эту шутку он оставил при себе. Даже не произнес: «Н-да».

...Конечно, он отложил намерение сместить Головню-младшего. Но, разумеется, сохранил лицо. Онисимову в этом помог один номер «Правды», что вышел вскоре после миновавшей годовщины Октября.

Положив перед собой газету, он позвонил из своего кабинета директору Кураковки и, порасспросив о делах, сказал:

— Прочитай внимательно сегодняшнюю «Правду».

— Я ее всегда внимательно читаю. А что сегодня там?

— Сам поймешь, когда согласишься. Но, если пожелаешь, могу и сейчас удовлетворить твое любопытство. Напечатано постановление Совнаркома о самовольных нарушениях технологического режима в машиностроительной промышленности.

— В машиностроительной?

— Не беспокойся. Мы тоже тут никуда не денемся. Так процитировать?

— Пожалуйста. Послушаю.

— Послушай. «Внесение изменений в технологи-

ческий процесс... допускается... только с разрешения народного комиссара». Уяснил?

— Это для меня не ново.

— Но есть кое-что и новое. Послушай-ка еще: «Невыполнение настоящего постановления рассматривается как уголовное преступление, а директоров, главных инженеров и главных технологов заводов, допустивших эти нарушения, предать суду». Тебе понятно? Думаю, сможешь догадаться, кем это подписано.

— Что же, почитаю еще сам.

— Не только почитай, но и положи под стекло на стол, чтобы время от времени возобновлять в памяти. И продолжай работать. Но свои ереси забудь.

...К чему, однако, внутреннему взору Онисимова, привалившегося к подушкам больничной кровати, все предстает Петр Головня? Зачем опять и опять вспоминается Сталин?

На уме было ведь иное: как, каким способом узнать истину своей болезни?

И вместе с тем не зря, не зря мысль возвращается к дерзкому директору. Если Онисимову впрямь отпущено совсем немного времени, то... То среди прочих дел, которые честь верного слуги государства и партии велит ему закончить, он обязан на что-то решиться и в отношении Петра Головни. Так или иначе и эту страницу он должен оставить в ажуре.

Так чем же, чем же все-таки он болен?!

Палата Онисимова принадлежала терапевтическому отделению, которым ведал профессор Владимир Петрович Фоменко.

Грузный, с большим животом, совсем не похожий на элегантного, стройного Соловьева, к тому же еще и бородатый, Владимир Петрович умел соединить твердость, определенность решений с успокоительным ласковым мурлыканьем и обычно снискивал доверие, располагал к себе больного.

Прослужив в этой больнице уже почти два десятка лет, Владимир Петрович был в равной степени знаток и своей специальности врача-терапевта и особенного медицинского делопроизводства, составившего целые

тома, всегда готовые для предъявления любой проверке или следствию. Неписанный закон: «Если человек умрет, то пусть умрет по правилам», — был вполне усвоен Владимиром Петровичем. Грозы, разражавшиеся в ушедшие времена над врачами, обходили его. Он знал, что коллеги дали ему прозвание «колобок». Что же, он не прочь этак именоваться. Не прочь и повторить порой в уме лихое присловье колобка: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от волка ушел и от тебя, косой, уйду».

И вот в какой-то серенький октябрьский денек бородатый профессор в халате, обрисовывающем богатые плечи и громадный живот, наведаясь к Александру Леонтьевичу. Тот, одетый, как на службе, — в пиджаке, в свежей белейшей сорочке с накрахмаленным воротничком, — сидел за письменным столом над присланными ему газетами Тишландии: он уже мог, пробыв там полгода, со словарем разбирать текст.

— Приятно, Александр Леонтьевич, вас видеть за работой, — заговорил, замурлыкал профессор. — Ежели тянет к работе, дело идет, стало быть, к лучшему. Это, по наблюдениям нашего брата, лекаря-практика, самый добрый признак. Ну-ка, погляжу на вас с окна.

Падающий от окна свет отнюдь не развеивал землистую тень на лбу, на скулах, на чисто выбритых щеках Онисимова. Казалось, больной вот только что лежал, уткнувшись лицом в сухую землю, оставившую свой серый пыльный след.

Профессор, однако, изобразил удовлетворение.

— Да, видик стал покраще. И щеки, кажись, округлились. В весе, если не ошибаюсь, прибавляете?

Хитрецу профессору было отлично известно, как менялся в больнице вес Онисимова, но Владимир Петрович хотел якобы непроизвольно сделать на этом ударение.

— Прибавляю, — ответил Онисимов.

— Вот и хорошо. Как спите?

— Тут сплю неплохо. Правда, с помощью этого вашего снотворного. За сие, Владимир Петрович, вам спасибо.

Онисимов с полнейшей невозмутимостью высказал пока благодарность, хотя никаких снотворных он в больнице пока не просил и не получал. «Колобок» не выдал ничем недоумения, лишь маленькие глазки на миг воззрились в потолок.

— Ага, ага,— подтвердил он.— Значит, так и будем продолжать. Теперь скажите, как боли? Не поменьшали?

— Приступы, пожалуй, стали реже. И боль быстро успокаивается, когда применяю то, что вы мне прописали.

Толстяк врач метнул в больного быстрый настороженный взгляд. Заточенный в палате дипломат как бы в знак признательности улыбнулся. Красные крупные губы, живые блестящие глазки бородача, заведующего отделением, изобразили в ответ добродушную улыбку. Однако под ней пряталось замешательство. «Вы мне прописали». Но что, собственно, он прописал? Обезболивающие средства Онисимову пока не давали, их очередь не наступила. Что же в таком разе? Неужели запомнил, черт побери? Он вновь прибегнул к междоуметиям:

— Ага, ага...

И продолжал:

— А сейчас, дорогой, оголяйтесь-ка до пояса. Послушаем ваши легкие, ваше сердечко.

Александр Леонтьевич обнажил впалую грудь. Хотя в последние дни он и набрал немного веса, однако слой жирка, ранее приметный, был уже слизан болезнью. Вдоль узкой исхудалой спины прорисовался позвоночник. Плечи тоже заострились. Профессор основательно, неторопливо выслушал с разных сторон грудную клетку больного.

— Да, хрипки есть, никуда не денешься. Они от вас еще долго не отважатся. Это упорнейшая штука, очаговая пневмония. Одевайтесь, Александр Леонтьевич. Исследований достаточно, картина нам ясна. В больнице, дорогой, вас уже незачем держать.

Онисимов вмиг понял, что означало это «незачем». Но никак себя не выдал. Не переспросил. Не насторожил бородача. Тот продолжал:

— Вскоре, если на то будет ваша воля, переведем вас в санаторий. Это нам и консилиум порекомендовал. Теперь все уже сделает время. А мы, навязчивые врачеватели, уже, собственно, вам и не нужны.

Воркующий грузный профессор, наверное, и не осознавал, сколь зловеще двусмысленны были эти его фразы.

— Поместим вас, Александр Леонтьевич, в «Щеглы». Бывали там? Расчудесное местечко. Сама природа там над вами поработает. Родные будут вас постоянно

навещать: тут на «Зимчике», — склонный к уменьшительным, ласкательным оборотам речи, врач даже и автомобиль марки «ЗИМ» называл «Зимчиком», — двадцать минут ходу. Подержим вас там месячишка два. А то и три. Будете и в «Щеглах» под нашим верховным попечением. Свежий воздух, покой — это главное ваше лекарство. А мы лишь поможем работе природы. Назначу вам, дорогой, рентгенотерапию.

Послушное сдерживающим центрам изжелта-сероватое лицо Онисимова ничего не выражало. Он будто доверчиво внимал говорливому врачу. И лишь на миг слегка опустил веки, чтобы и в глазах не проблеснула боль понимания. Рентгенотерапия. Этим словом в лоб, как и в Тишландии, была названа его болезнь. Застегивая твердый воротничок своей сорочки, Александр Леонтьевич произнес:

— А это мне еще в моей Тишландии посоветовали... Массивными дозами, да?

Голос и дыхание ему не изменили, оставались ровными. Профессор предпочел уйти от прямого ответа:

— Вы уж вторгаетесь, Александр Леонтьевич, в нашу лекарскую кухню, где...

Больной не дослушал:

— По методу, помнится, Диллона?

Бородач опять насторожился, оглянул Онисимова. Тот стоял к нему вполоборота и, поглядывая в окно на подернутое наволочью осеннее московское небо, аккуратно завязывал темный галстук. Привычная дрожь сотрясала пальцы, ткань трепетала, но легла безупречным узлом.

— Завиднейшая у вас память, Александр Леонтьевич.

— Спасибо. Да, кажется, еще гожусь.

Уже одетый, как на службе, в темный в полоску пиджак, Онисимов присел к письменному столу, машинально придвинул свой острый жесткий карандаш. В свое время он такого рода колким острием метил любую несообразность, неточность, сомнительную цифру в отчетах и сводках, как бы пронзал всякую фальшь.

Сейчас он, уперев пальцы в край стола, чтобы не дрожали, вновь улыбнулся:

— Мне, Владимир Петрович, хорошо помогают грелки. Снимают боль. По-видимому, вы удачно их назначили.

— Грелки? Я назначил?

— Чему вы удивляетесь? Здесь, наверное, где-то лежит на сей предмет ваша бумага.

Онисимов еще находил силы выражаться в своей иронической манере. Профессор опять воззрился в потолок. Неужели он допустил эту оплошку, что-то перепутал, подмахнул противопоказанное назначение? Правда, дело идет всего только о грелках, но все же скандал. Подсудное дело. И, главное, существует документ. Владимир Петрович отер пухлой рукой лоб, где проступила легкая испарина.

— Вспоминаю, вспоминаю... Но в нашем распоряжении, дорогой, имеются средства более эффективные. Кстати, дайте-ка взгляну на эту мою бумаженцию.

— Вряд ли найду. Наверное, жена забрала домой. Она все это хранит.

Онисимов уже не угасал сухого блеска своих зеленых пронизательных глаз, в упор устремленных на профессора. Ни единого грубого или язвительного слова больной не произнес, но врач внутренне корчился, словно истязуемый. Щеки, к которым подступала бо-рода, побагровели.

— Нельзя так, Александр Леонтьевич. Нельзя выносить отсюда наши медицинские бумаги. Вот мне она понадобилась, а...

— Что вы волнуетесь? Такую же запись, сколько мне известны ваши правила, вы найдете и в истории болезни. Придете к себе, прочтете. Не так ли?

Каждой своей репликой Онисимов длил экзекуцию. Его собеседник, считавшийся доньше образцовым врачом и администратором, в смятении смотрел на опять приоткрывшийся в улыбке оскал, на нестираемые тени обреченности, притемнившие лицо и руки этого человека, подхлестывающего еще год назад министров. «Все знает. Все наши порядки». Тянуло как-либо приличней закруглиться и уйти.

— Ага, ага... Теперь будем воздействовать более эффективно. И более тонко. Вы понимаете?

Конечно, Онисимов мог бы еще незримым кнутиком стегнуть взволнованного толстяка, но вдруг будто угас. И лишь промолвил:

— Понимаю.

Вспотевший, вымотанный этой беседой, профессор наконец распрощался, покинул палату-полулюкс. И шумно отдуваясь, опустил по лестнице в свой кабинет. Запер дверь на ключ. Вынул из шкафа папку,

в которой хранилась вся документация о больном Онисимове... Перелистал. Снова вернулся к первой странице. Еще раз все прошел. Что за черт — тут ни о каких грелках ни словечка! Значит, Онисимов попросту, что называется, взял его на пушку?! Ну, извините, дорогой, к вам я больше не ходок.

...А Онисимов лежал, не раздевшись, не сняв галстука, презрев этим неизменную свою аккуратность, на широкой, как бы вовсе не больничной, красного дерева кровати. И глядел в стену.

Принесли обед. Больной покорно встал, вяло поел. Потом все-таки переоделся, повесил костюм в шкаф, прилег на постель в пижаме. И снова уставился в стену.

В послеобеденный час к нему наведальась жена. Белый, застегнутый спереди халат строгими прямыми линиями подчеркивал прямизну ее стана, ее шеи, твердо державшей седеющую, гладко причесанную голову. Александр Леонтьевич поднялся и, стараясь не утратить самообладания, сказал:

— Есть новости. Меня переводят в санаторий. И назначена рентгенотерапия.

Вдруг он ощутил странную теплоту в уголках глаз. Провел рукой. Слезы вопреки воле катились по серым щекам.

Примерно час спустя Елена Антоновна дозвонилась Соловьеву в его кабинет главы института терапии.

— Николай Николаевич, говорит Онисимова. Извините, что я...

Ее звучный грудной голос был сейчас неузнаваемо высоким, в мембране слышалось учащенное дыхание. Явно взволнованная, Елена Антоновна все же блюла этикет вежливости.

— ...что я вас беспокою. Очень прошу приехать к Александру Леонтьевичу.

Не стесненный ничьим взглядом, именитый врач поморщился. Все ясно, помочь нельзя, к чему приезжать? И произнес:

— А что случилось?

— Сегодня он заплакал. Я первый раз в жизни увидела его слезы.

— Да, представляю. Тяжело.

— Дело в том, что профессор Фоменко назначил ему рентгенотерапию. А Александр Леонтьевич вопросами заставил его... В общем, все уяснил. И когда я пришла, стал мне рассказывать, и потекли слезы. Я прошу вас, приезжайте и что-нибудь ему скажите. Он вас охотно повидает. Никого другого сейчас видеть не хочет.

— Не знаю. Тут есть одна неловкость. Собственно говоря, я для этой больницы посторонний.

Несмотря на взволнованность, Елена Антоновна уже предусмотрела такое сомнение.

— Профессор Фоменко тоже просит вас. Я и звоню из его кабинета.

— Хорошо, немного подождите. Приеду.

Кончив разговор, Николай Николаевич вздохнул. Придется сегодняшние планы изменить. Что же, надо попытаться успокоить Онисимова, как-то ослабить психическую травму. Быстро отдав несколько распоряжений, наведя порядок на письменном столе, Соловьев вызвал машину и, легкий, стройный, элегантный, прикрыв шляпой седой венчик, поехал в больницу, где лежал Онисимов. Признаться, снискавший широкое признание терапевт недолюбливал это выделенное среди иных лечебное заведение: еще в сталинское время он разрешил себе сказать, что там рентгеном просвечивают не столько больных, сколько врачей. И в стране и во всем мире многое с тех пор переменилось, но медицинские порядки, как однажды, имея в виду все ту же больницу, пошутил Соловьев, выстояли.

В проходной для Соловьева был уже заготовлен пропуск. Приехавшего врача-ученого встретил в коридоре второго этажа бородатый заведующий отделением, уже избавившийся от ложных тревог, опять обретший располагающее благодушие. Он потащил к себе в кабинет своего изящного собрата.

— Уф, я с ним, Николай Николаевич, натерпелся. Он все понимает. Вся игру нашу разгадывает. И больше я к нему не пойду. Да и вам бы не советовал.

— Все же надо заглянуть. Хоть из уважения.

— Ну, вольному воля. Милости просим.

Фоменко пододвинул гостю лежавшую на столе папку. На обложке значилось: «История болезни № 2277 А. Л. Онисимов». В папке покоилось уже несколько десятков исписанных страниц. Соловьев их полистал. Они содержали не только историю данного

заболевания (анамнез морби, как говорят медики) но и своего рода историю жизни (анамнез витэ). Сведения, занесенные сюда, уже не были новы для Соловьева, но сейчас предстали будто выстроенными в некий ряд.

До 1937-го здоровье было крепким. В 1937-м — острый гастрит. В 1938-м начал курить. Умнице врачу комментариев тут не потребовалось: невероятным нервным напряжением, страшными сшибками отмечены эти два года в онисимовской анамнез витэ. Недешево, видимо, он уплатил за то, что Сталин не тронул его, не лишил доверия. И пошли болезни. Атеросклероз... Гипертония... Эндартериит... Лечился на ходу.

И еще одна дата: 1952-й. Дрожание рук с этого года. Тоже памятное время.

Бог миловал, Соловьева никогда не звали врачевать Сталина. Да и вообще судьба избавила от личного знакомства с Иосифом Виссарионовичем. Онисимову же, конечно, довелось ближе узнать, каким стал Хозяин в старости. И несомненно, испытать новые разрушительные сшибки, потрясения.

Дальше опять даты. Начало настоящего заболевания большой относится к 1957 году. В предыдущие годы не обследовался. Скрытая стадия продолжительно уже протекала и в 1956-м. Пятьдесят шестой. Знаменательная полоса. Но тут, видимо, совпадение лишь случайное. И хватит социологизировать. Надобно пробежать и анамнез морби.

...Неопределенные тупые боли в грудной клетке. Тяжесть за грудиной с ощущением недостатка воздуха. Небольшой кашель, иногда усиливающийся. В волосяной части головы и под мышкой узлы размером до горошины. Биопсия узла: наличие раковых клеток. Исследование мокроты: отдельные клетки раковой ткани. Рентген: в обоих легких уплотнение.

А вот среди ежедневных записей заключение консилиума, подписанное и Соловьевым: «Двусторонний опухолевый процесс в легких с множественными метастазами. Операция не показана».

Далее опять записи изо дня в день. Затем разгонистым почерком, уже как бы без заботы об экономии места вписаны заключительные строки: целесообразен перевод больного в санаторий, применить там рентгенотерапию. Указаны и дозы облучения. Столь же разгониста и подпись: Фоменко. Ясное дело: рентген

назначен для очистки совести. А что, впрочем, применять иное?

Проглядев папку, Николай Николаевич еще некоторое время беседует с заведующим отделением. Тот, поступаясь самолюбием, повествует, как Онисимов его нынче одурачил.

— Он и вас, дражайший, помяните мое слово, вгонит в пот.

— Как знать... Быть может, и не вгонит.

Затем они условливаются о дальнейшей тактике в отношении прозорливого больного.

В коридоре Николай Николаевич, уже натянувший белую шапочку и белый халат,— незастегнутая верхняя пуговица оставляет приоткрытым черный галстук бабочкой,— встречает Елену Антоновну. Красные пятна проступают сквозь пудру на обвисших ее щеках. Зачес седоватых волос не столь гладко, как обычно, выбилась одна-другая прядь. Автор «Общей терапии» выслушивает точный, несмотря на взбудораженность, рассказ жены Онисимова.

— Попытаюсь, Елена Антоновна, пролить немного бальзама в его душу. Попытаюсь, а там будет видно.

Поднявшись по ступеням лестницы, устанным дорожкой, Николай Николаевич стучит в дверь палаты-полулюкса. Стук остается без ответа. Соловьев решительно входит.

Первая комната, что являлась кабинетом и гостиной, пуста. За окном уже смеркалось, шторы задернуты, на письменном столе горит прикрытая зеленым абажуром лампа. В кругу света на брусничного отлива сукне, обтягивающем стол, виднеется раскрытая книга.

Николай Николаевич осматривается. Он не прочь сунуть и в книгу свой длинный, породистый нос. Э, так это же его собственное сочинение «Общая терапия». Открытая глава о злокачественных опухолях. И как раз та страница, где написано об эйфории, о том, что раковым больным свойственна повышенная внушаемость, готовность верить благоприятным истолкованиям, даже явному или лишь чуть замаскированному вранью.

По-видимому, Онисимов только что еще раз прочи-

тал эту страницу, ему уже, несомненно, знакомую. Прочитал и ушел, не закрыв, не убрав книгу. Это совсем, совсем не похоже на него.

Глаза терапевта машинально пробегают по строкам. Хм, значит, тайна эйфории ведома Онисимову. Конечно, это затруднит миссию Соловьева. А то, быть может, сделает ее и вовсе не исполнимой. Но все равно, надобно вступить в игру.

Он вскидывает голову, слегка взбивает обеими руками седой венчик вокруг лысины и восклицает:

— Александр Леонтьевич, ау!

Из спальни появляется Онисимов. На нем полосатая пижама, слишком ему широкая в плечах. Лампа бросает зеленоватый ответ на его словно запыленное лицо. Мрачны запавшие глаза.

— Здравствуйте, Николай Николаевич. Рад, что заглянули. Садитесь.

— К чему у вас такая темь? Поневоле тут впадешь в мировую скорбь.

Изящный посетитель, врач шагает к выключателю. Щелк — комнату заливают сильный, но не резкий верхний свет.

Наметанным глазом Соловьев в тот же миг видит на лице Онисимова у левого уголка рта вновь проступивший узелок, — маленький, величиной со спичечную головку, очень темный, почти черный. Эта ничтожная шишечка, еще не отмеченная в истории болезни, как бы возвещала, что вопреки кажущемуся улучшению, прибавке веса, болезнь неумолимо развивается.

Онисимов подходит к столу, бросает взгляд на раскрытую книгу, отодвигает ее. Оба садятся на диван.

— Позвольте, Александр Леонтьевич, разговаривать с вами прямо.

— Пора бы... Давно об этом вас прошу.

— Так вот. Не буду скрывать: опять призван к вам как врач.

Онисимов слушает вяло, никак не реагирует. Соловьев, однако, не обескуражен, точно рассчитана его следующая фраза:

— Для этого есть свои основания.

Неожиданно чуть сконфуженная улыбка появляется на его тонком артистическом лице:

— Не сочтите, Александр Леонтьевич, что я высоко о себе мню...

На это высказывание больной опять не отвечает. Но все-таки выговаривает:

— Какие же?

— Какие основания? Дело в том, что на консилиуме мы разошлись во мнениях. Я, собственно, оказался в единственном числе. А новые, более скрупулезные анализы подтвердили мою правоту.

Автор «Общей терапии» вдохновенно сочиняет или, попросту говоря, врет. Но уже чего-то он добился, пробудил у Онисимова интерес.

— В чем же заключались разногласия?

— С вашего позволения, опять буду говорить прямо. На консилиуме я высказал мысль, что у вас не пневмония.

— Это-то я знаю.

— Не пневмония, а очень редкое и тяжелое заболевание, актиномикоз.

— Как?

— Актиномикоз. Редчайшая болезнь. Вызывается микроскопическим грибком. Лечить очень трудно. Упорнейшая штука. Иногда и несколько лет держится.

Откинув край своего белого халата, Соловьев достает блокнот и дорогую новейшего образца заграничную автоматическую ручку. Разборчиво пишет: «Актиномикоз», вырывает листок, легко поднимается, кладет на стол. И объясняет Онисимову, какова эта болезнь,— ее происхождение, симптомы, течение. В какую-то минуту, оборвав себя на полуслове, спрашивает:

— Кстати, нет ли у вас тут с собой терапевтического справочника? Там отлично все это изложено.

Удивленный догадливостью медика, Онисимов не отвечает. Тянет сказать: «нет!», однако этому мешает доверие, которое вновь ему уже внушает Соловьев. Не хочется и выговорить: «да» — ростки доверия еще слабые для этого.

— И в моей книжке,— продолжает Соловьев,— найдете несколько слов об этой болезни.

Сейчас он был бы не прочь взять в руки свою книгу, раскрытую там, где идет речь об эйфории, перевернуть эту страницу, полистать, но чутье предостерегает: не возбудит подозрительность Онисимова. И Соловьев не притрагивается к книге.

— Мы это лечим рентгенотерапией,— сообщает он.— Массивными дозами. И надо быть готовым к длительной, возможно, даже очень длительной борьбе.

— Почему же Фоменко мне этого не сказал?

— Тут, Александр Леонтьевич, свои нравы. Заботятся прежде всего о том, чтобы не беспокоить больного. Не доставлять больному неприятных переживаний. Конечно, в известных пределах тут есть свой резон. Я имею в виду случаи, когда медицина складывает оружие. Но мы же вступаем в войну против вашего недуга. В войну, повторяю, долгую, трудную, где наши успехи будут, вероятно, чередоваться с новыми вспышками болезни. Вы мужественный человек. Истина, как я убежден, вооружит вас для борьбы.

Александр Леонтьевич внимательно слушает. И сам не замечает, как мало-помалу притупляется в эти минуты его следовательская настороженность. Он уже не ловит собеседника, не припирает его к стенке, поддается обману. Конечно, сейчас это не тот, не тот Онисимов, каким его знавали десятилетиями.

Он трогает крохотное черноватое вздутие в левом углу рта:

— А отчего у меня вот эти пупырышки?

— Это воспаление сальных желез кожи. Самостоятельное заболевание. Таким образом, мы наблюдаем у вас две разные болезни. Хотя, возможно, и взаимосвязанные.

В общем, как впоследствии выразился Соловьев, рассказывая автору о своих встречах с Онисимовым, он, ученый-медик, городил наукообразную чушь. А Александр Леонтьевич, трогая рукой проступившие наружу узелки, находил убедительными фантазии Соловьева.

— Но для чего же меня осматривал хирург? Разве не исключена операция?

— Да, актиномикоз тоже иногда оперируют. Но пока для этого нет оснований. А, кроме того, эти сальные железы, мы, может быть, тоже будем удалять. Впрочем посмотрим. Торопиться некуда.

— Вы ко мне будете наезжать в санаторий?

— Конечно. Теперь вас не оставлю.

Александр Леонтьевич вдруг оживляется, пересаживается к столу, показывает присланные ему из МИДа папки с обзорами газет и журналов Тишландии, передает несколько курьезов-новостей из тишландской хроники. Он опять чувствует себя советским дипломатом в Тишландии, лишь на время по болезни выбывшим. Терапевт внимает с интересом, улыбается. Миловидные ямочки обозначаются на его розовых щеках. Он, конеч-

но, сегодня выиграл эту партию. Но отлично знает: бодрость, опьянение еще не раз у Онисимова сменяются трезвым пониманием неизбежного близкого исхода. Однако опять и опять окажет себя и эйфория.

Соловьев наконец прощается. Больной провожает профессора до двери.

Вернувшись в одиночестве к столу, Онисимов достает припрятанный терапевтический справочник, находит в указателе названную Соловьевым болезнь, проглатывает текст, затем перечитывает медленней. Да, все соответствует. Да, почти совпадает.

45

Дату следующего действия нашей хроники мы сможем точно обозначить. Ориентиром тут является всесоюзное совещание доменщиков в Андриановке, одном из металлургических центров Донбасса. День открытия был указан в пригласительных билетах: 28 октября 1957 года.

Накануне в предобеденный час со скорого поезда, идущего в Минеральные Воды, а пока что просекавшего Донбасс, на маленькой, почти неизвестной станции Греки, где расписание предусматривало остановку лишь на одну минуту, сошел человек, видимо, решивший поохотиться. Высокие, обтягивавшие ноги и поверх колен болотные сапоги, потертая, даже побелевшая, некогда коричневая кожанка, истрепанная темная кепка, сетка для добычи, пояс-патронташ, двустволка в чехле за плечом — таким было хорошо пригнанное, явно не впервой надетое снаряжение покинувшего вагон пассажира. Он легко соскочил, легкой поступью пошел, но вместе с тем казался и тяжеловесом, особенно сзади, с сутуловатой широкой спины. Вот он обернулся, нашел кого-то взглядом за окном вагона, помахал рукой. Его ясные серые глаза, ставшие сейчас почти васильковыми, свидетельствуют о прекрасном настроении. Прирожденная, чуть озорная улыбка красит загорелое с грубоватой нижней челюстью лицо.

Надеемся, читатель узнал Головню-младшего. Это его родные места. Он родился, вырос в Андриановке, поступил здесь в четырнадцать лет учеником-газовщиком в доменный цех. Страстный охотник, он еще подростком, затем юношей исходил тут поля, балки,

перелески на тридцать — сорок километров во все стороны от Андриановки. И, конечно, знает еще издавна, что отсюда, из Греков, можно выйти напрямую к заводскому ставку, а там и к Нижней Колонии — поселку, наименованному так еще в те времена, когда Андриановский завод принадлежал французскому Генеральному обществу.

Придется пошагать несколько часов, ну, ему только этого и надо. Завтра, как предупреждено в повестке дня, он выступит с сообщением, а сейчас — вон из головы доменные печи! Кстати, в вагоне только о них и разговаривали. Еще бы, ехали доменщики соседних двух заводов, да и ученая братия с кафедры чугуна Днепровского металлургического института. И, разумеется, он, директор Кураковки, был главным спорщиком. А сейчас вышел из вагона даже без записной книжки, с которой обычно не расставался. Нарочно ее не захватил. В ней мысли о заводе. Задания самому себе. Кое-какие еще надобно вынашивать. К другим уже приложить руки. Но сегодня из этого он выключится. Пусть голову провет, прочистит ветерок, тем более нынче он, кажется, крепко задувает.

Над станцией разносится протяжный гудок отправления. Петр все еще посматривает на вагон, в котором ехал. Сквозь оконные стекла кураковцы, — из них лишь двое в летах, остальных иначе не назовешь, как молодыми, — кивают директору-охотнику, оставившему на их попечение свои вещи. Состав трогается, набирает ход. Еще минута-другая, — и поезд уже неприметен, видны лишь далекие космы паровозного дыма.

Выбираясь из пристанционного поселка, Петр с двустолвкой за плечом шагает по обочине вдоль полосы асфальта, устремившейся к скрытой за горизонтом Андриановке. Туда и оттуда с шумом проносятся грузовики, порой прошелестит и легковушка. День выдался солнечный, но неожиданно морозный для такой поры. Да еще и с ветром. В тени, пожалуй, три-четыре градуса ниже нуля. Трава на теневом склоне кювета закуржавела.

Петр идет ходко. Вон за тем мостом он свернет в степь, направится к темнеющему невдалеке облетевшему кустарнику. Но что это? Обогнавшая Петра черная, играющая солнечными бликами «Волга» вдруг резко стопорит, потом задним ходом катится к нему. И снова останавливается. Из раскрывшейся дверцы вы-

совывается академик Челышев. Под воротом серого осеннего пальто виден такого же колера шерстяной шарф. Подобрана в тон и пушистая красивая кепка. Приветливы взирающие на Петра маленькие глазки. Петр с уважением кланяется.

— Еду и гляжу,— говорит Челышев.— И себе не верю. Неужели Головня? Ан и впрямь он! Но как сие надо понимать?

Головня улыбается:

— Я тоже, Василий Данилович, затрудняюсь: как мне эту встречу с вами трактовать?

— У меня-то дело ясное. Прибыл самолетом. Теперь везут полным ходом в Андриановку.

— Я не о том. Хорошая встреча — хорошая примета для охотника.

— Да как же вы тут заделались охотником?

— Сошел с поезда и вот...

— И пехтурой до Андриановки?

— Пройдусь. Может быть, и дичина какая-нибудь подвернется.

— Бросьте. Какая тут теперь дичина? Местные силы, наверное, еще летом все повыбили. Лучше садитесь-ка ко мне.

— Спасибо, Василий Данилович. Но мы, охотники, народ особенный. Не уговорите.

— Придете же ни с чем.

— Еще, пожалуйста, пожелайте неудачи. Превосходная примета.

— Ну вас... Все равно зря. Говорю по-дружески.

— По-дружески? — В уголках некрупных губ Петра возникает тонкая усмешка.— И чистосердечно?

Неожиданно Василию Даниловичу понадобилось прокашляться. Маленькие глаза скрылись под косматыми бровями. Это, однако, не останавливает Головню:

— Разрешите, Василий Данилович, я так и запишу.— Все с той же проступающей усмешкой Петр делает вид, будто достает записную книжку. И незримым карандашом как бы строчит, произнося вслух: — «Скажу по-дружески и чистосердечно: придете же ни с чем». Теперь поставим нынешнее число.

Затем Петр прячет свою воображаемую книжку. Челышев наконец откашлялся.

— Стало быть, со мной не едете? Ну, до свидания.

Дверца захлопнулась. Фыркнув, машина уходит в Андриановку!

Еще никогда Головня-младший не позволял себе напоминать Василию Даниловичу о том, как в первую зиму войны в коридоре наркомата, эвакуированного на Урал, достал записную книжку, застрочил. Сегодня впервые намеком коснулся того давнего случая.

Сколько же с тех пор протекло лет? Почти семнадцать.

Да, они повстречались вечером седьмого ноября 1941 года — в праздничный день еще одной годовщины Советского государства. Впрочем, было не до праздников. Наркомат работал и седьмого ноября. Лишь поутру в честь годовщины в просторный, хотя и заставленный письменными столами холл гостиницы, что стала служебным пристанищем подчиненных Онисимову управлений и отделов, сгрудились все сотрудники и молча внимали так называемой радиотарелке, которая транслировала парад войск на Красной площади в Москве. Затем богатый оттенками дикторский голос, доносивший самым своим звучанием серьезность, торжественность исторических минут, прочитал вчерашнюю речь Сталина.

С третьего этажа в холл спустился и Онисимов. Прослушал передачу, стоя рядом с подчиненными, хотя мог бы воспользоваться отличным радиоприемником, находившимся в его кабинете. Причесанный с обычной тщательностью — волосок к волоску, как всегда, замкнутый, державший всякого на расстоянии некоторой своей официальностью, Александр Леонтьевич почти не изменился в пору войны. Только слегка потемнело правильное, античного рисунка лицо или, точнее, усилился коричневый его тон. Угрюмая тень стала особенно заметной с того дня, когда Онисимов, все еще не покидавший своего командного отсека в Москве, введший там для немногочисленного аппарата, оставшегося с ним, *казарменное положение*, в чем первый же служил для всех примером, вдруг получил распоряжение немедленно покинуть столицу. И в переполненном дачном вагоне уехал на Восток. Здесь, на Урале, постоянно с ним общаясь, Чельшев еще не видывал его улыбающимся.

По окончании передачи Онисимов коротко сказал:

— Товарищи, теперь за работу. По местам!

Пожалуй, в тот день Онисимов еще повысил напряжение трудовых военных будней. Даже с Челышевым, в чем-то промешкавшим, говорил колко.

Вечером Василий Данилович в маленьком своем кабинете, ранее являвшемся гостиничной келейкой, занимался кропотливым делом — планами размещения эвакуированных цехов, *привязывания* к заводам Востока. Хорошо, что еще в тридцатых, когда строилась Новоуралсталь, он тут изъездил, исходил и Магнитку, и Нижне-Тагильский комбинат, и многие старые, тогда тоже вовсю обновлявшиеся заводы и заводики.

Помнится, в тот вечер седьмого ноября он все перебирал, перекладывал листы синек — на каждой белыми и цветными линиями была нанесена планировка того или иного восточного завода, — листы, уже испещренные его пометками.

Ранние уральские морозы разузорили, подернули наледью окно. Слышалось, как посвистывает, завывает поземка.

В какую-то минуту затрещал телефон. Звонил Онисимов:

— Василий Данилович, зайдите ко мне.

Ступив в кабинет наркома, Челышев не без удивления узрел повеселевшего Онисимова. Налет пасмурности был словно смыт. Казалось, коричневый отлив стал посветлей, живая краска, что-то вроде румянца, просквозила на щеках. Неожиданная открытая улыбка тоже его красила.

— Садитесь, — предложил он Челышеву, но сам остался на ногах.

Чувствовалось, его бьет озноб возбуждения. Что же с ним? Что произошло? Заинтересованно ожидая дальнейшего, Василий Данилович уселся. Не подвергая испытанию терпение академика, Онисимов без предисловий сообщил:

— Только что со мной говорил Хозяин. — Откуда ни возьмись, высокие ноты, молодая до странности звонкость изменили на миг голос Александра Леонтьевича. — Нам поставлена задача: строить новые заводы. И с таким расчетом, чтобы быстрее взять отдачу. Надо разработать план и доложить наши предложения.

Александр Леонтьевич уже обрел деловой тон. Однако с не свойственной ему словоохотливостью и опять улыбаясь, продолжал:

— А? Что скажете, Василий Данилович? Немцы под Москвой, а Хозяин из Москвы дает команду: стройте новые заводы!

Василий Данилович помолчал. Ему требовалось некоторое время, чтобы подумать, пережить услышанное. Но, помнится, на душе полегчало.

Не раз в те смутные горькие недели на ум приходило: выстоим ли? Выдюжим ли эту войну, самую страшную, самую грозную из всех, какие знавала Россия? Такие вопросы томили академика, жили в нем подспудно, чем бы он ни был загружен. Даже во сне маяли.

Перед войной Челышеву была доступна иностранная печать, предупреждавшая, что гитлеровские армии уже сосредоточены у советских границ, что вот-вот произойдет нападение. Потом, когда предостережения оправдались, он неуверенно, туманно прозрел, что в военных неудачах, несчастьях повинен чем-то Сталин. Но как же это так: готовил страну к войне, а грянул час, сам же оказался не готовым к ней?

Не в силах разъяснить подобные разительные противоречия, найти к ним ключ, отнюдь не помышляя о формуле, лишь много лет спустя примененной к Сталину: *пороки личности*, он не задерживался на этих бесплодных, как ему казалось, думках.

Но неужто теперь самое худое позади? Утренняя передача из Москвы вселяла веру. А этот звонок Сталина Онисимову уже и вовсе добрый знак. И все же истосковавшийся по желанным вестям Василий Данилович еще не решался, не смог вздохнуть полной грудью.

— Ежели такое поднимать,— проговорил он,— где же по нынешним временам достанем механизмы? И строителей?

— Это предусмотрено. Лаврентию Павловичу поручено сформировать для нас стройорганизации. Народу в его системе хватит. Да и всего прочего. Зарекомендовали они себя неплохо. Работать будут. Не было бы за нами остановки. Надо составить точные заявки. И готовить рабочие чертежи.

По-прежнему весело, воодушевленно Онисимов излагал задачу. Теперь и лагеря, где не столь давно сгинул его брат, сосредоточившие за колючей проволокой, будто на некоем ином свете, массы заключенных, представляли ему как трудовые соединения, высо-

кодисциплинированные, легко поддающиеся переброскам, необходимые в условиях войны.

Александр Леонтьевич сел за стол, придвинул большой блокнот и, советуясь с Василием Даниловичем, стал тут же набрасывать план сооружения новых сталелитейных заводов. Своим твердым карандашом каллиграфическим почерком он записывал пункт за пунктом. Прежде всего форсированно завершить, ввести в строй первую очередь Южно-Уральского трубного. Вместе с тем выстроить Челябинский — площадка выбрана, готовый проект уже имеется. А также Бакальский — проект тоже подготовлен. Челышев предложил перекинуть на Бакальскую площадку недостроенный Курский завод, где перед войной уже начался монтаж первых печей, но оказавшийся вблизи линии фронта, вследствие чего работы остановились. Онисимов сказал:

— Да, выроем там все из-под земли. Все вывезем до грамма.

Тут в кабинет почти неслышно ступил начальник секретариата лысый Серебрянников. Как бы неторопливой и все-таки быстрой походкой он прошагал к наркому:

— Александр Леонтьевич, приехал Головня-младший. Ждет в приемной.

— Пожалуй, это кстати. Давай его сюда.

47

Вошедший Головня еще не отогрелся с мороза. Малиновым огнем горело иссеченное вьюгой горбоносое, ясноглазое, с массивной нижней челюстью лицо. Красными были и руки, которые, видимо, так и остались голыми на стуже. Коричневую кожанку (не она ли в будущем обратилась в охотничью спецовку Петра?) он стянул в талии ремешком, чтобы не поддувало снизу. И забыл, входя к наркому, снять эту пригодившуюся на ветру опояску.

— Здравствуй,— произнес Онисимов.— В такой одежке ты и щеголяешь?

— Вчера выехал из Орска. Там тепло. А у вас тут, ух,— Головня крикнул,— морозище.

— Садись. Отчет об эвакуации завода привез?

— С этим и прибыл. Только позавчера закончили.

— Все оборудование на месте? Ничего не растерял?

— Потерянное мы, Александр Леонтьевич, разыскали. Отчет подписали и ваши контролеры. Документация в портфель не влезла, пришлось укладывать в чемоданчик. Принести?

— Успеется.

Онисимов задал еще несколько вопросов о том, как размещены рабочие, как обеспечено складирование и сохранность демонтированных, вывезенных из Приднепровья агрегатов, какие из них уже собраны или пошли в сборку на новых площадях. Собственно, он и без того был досконально *информирован*, отлично знал, что снарядный цех Кураковки уже развернут в Златоусте, уже прокатывает, штампует сталь, хотя над станом еще не выведена кровля. Однако, следуя твердому правилу, он и сейчас перепроверял имевшиеся у него сведения.

Челышев помнил, как еще в Москве в лихорадочные ночи и дни, когда эвакуировались южные заводы, Онисимов словно усугубил свою педантичность, пунктуальность. Не раз Челышеву доводилось наблюдать, как Онисимов по телефону требовал от того же Головни-младшего, отправлявшего под раскатки оружейной палубы состав за составом из Кураковки, маркировать каждый большой и малый ящик, оформлять вместе с железнодорожниками акты, квитанции, накладные, не выпускать ни одного вагона без сопровождающих. Туда, в самое пекло, Онисимов на попутных военных самолетах посылал работников своего аппарата контролировать ход эвакуации. И закатил однажды взбучку вот этому молодому Головне, когда кто-то из посланных сообщил, что горловина бункера и какие-то части грейферного крана были в спешке, в горячке вывезены незамаркированными. Установленный Онисимовым порядок маркировки был таков: каждая деталь того или иного демонтированного агрегата метилась одинаковой буквой, затем следовала цифра. Головню же постиг и другой немилосердный нагоняй из-за того, что экскаватор, у которого порвалась гусеница, остался непогруженным. Наконец из Кураковки ушел последний поезд. Связь еще действовала, Петр доложил, что отправляет и грузовики с группой подрывников, выполнивших свою миссию, и просил разрешения покинуть завод с ними. Онисимов ответил: «Нет. Вот чем еще займись: собирай, выстраивай рабочих, которые еще

не эвакуировались. Уходи с ними. Веди в Донбасс пешей колонной».

Бывало, прислушиваясь к таким командам наркома, Челышев из-под нависших бровей невольно любовался им, уверялся: «Победим».

Головня-младший так и ушел из Кураковки пешком. И не в одиночку.

А потом, уже на Урале, потребовалось согласно непреложному приказу наркома не только комплектно собрать все, что было вывезено, но и представить подробнейший, оснащенный документами отчет об эвакуации — отчитываться в каждом израсходованном государственном рубле, в каждом механизме, каждом мотке кабеля, числившемся на балансе завода.

Пропавшие, отцепленные в пути вагоны были разысканы в станционных тупиках. Пришлось распутывать маркировку, просматривать в натуре каждую мету, сличать с документацией. Специальная комиссия с участием ревизоров наркомата подписывала всякие акты, инвентарные реестры, дефектные ведомости и так далее. После кропотливейшей работы Головня смог наконец явиться с отчетом к Онисимову.

Порасспросив, Александр Леонтьевич встал из-за стола. Прошелся, достал из кармана голубоватую картонку папирос «Беломор» (война прервала выпуск любимых его сигарет) и неожиданно протянул Головне:

— Тащи! В передрягах и ты, наверное, стал курящим?

Безмолвно взиравший Василий Данилович опять ощутил, что Онисимов необыкновенно возбужден. Не в правилах строгого наркома было угощать папиросой подчиненного.

— Не угадали, Александр Леонтьевич. Не курю. Спасибо.

Чиркнув спичкой, Онисимов глубоко вобрал и выпустил дымок. Челышев во второй раз услышал:

— Только что со мной говорил Хозяин.

Теперь эти слова были обращены к Головне-младшему. Не пряча счастливой взбудораженности — лишь слегка приторможенная, она пробивалась сквозь его всегдашний панцирь, — Онисимов опять пересказал: решено строить новые заводы, строить быстро, чтобы поскорее взять отдачу. Он, видимо, в точности повторял выражения Сталина. Большая, на коротковатой шее, голова повернулась к неизбежному портрету на стене:

— Понимаешь, какую он видит перспективу!

Нарком присел, но тотчас поднялся, заходил.

— Ну, как же быть с тобой? Дело тебе найдется. Кстати, ты и приехал без портфеля.

Он засмеялся своей шутке. Или, говоря точнее, будто вытолкнул из горла несколько отрывистых, глухо бухающих звуков. Смех не был ему свойствен. Во всяком случае, Челышев отметил тогда в своей тетради, что Александр Леонтьевич доселе еще никогда при нем не хохотал.

— Итак, товарищ экс-директор, или директор без портфеля, куда тебя назначить? Что ты хотел бы сам?

— Готов взять любую работу, где буду нужен.

— А если пошлю не директором завода?

— Что же, готов. Я бы не прочь пойти к большим печам, скажем, на Новоуралсталь.

— Нет, там полно. На Бакальский завод пойдешь?

— Какой?

— Бакальский. Там, собственно, еще ничего нет. Пока только площадка, нетронутый березнячок. Но проект имеется. Имеются и директор, и главный инженер.— Онисимов назвал фамилии.— Геодезисты, сколь знаю, кое-где вбили колышки, нанесли главные оси. Теперь развернем, погоним стройку. Дело интересное. Согласен идти туда начальником доменного цеха?

— Пойду.

— В таком разе приступай. Езжай сначала на площадку, потом в Челябинский филиал Гипромеза. Основательно изучи проект.

Продолжая пункт за пунктом конкретизировать задачи, что предстояли Головне-младшему, Онисимов нажал кнопку звонка. *Незамедлительно* вошел Серебрянников.

— Слушай, кажется, у нас на складе есть какое-то зимнее обмундирование.— Александр Леонтьевич вымолвил, «кажется», «какое-то», хотя превосходно знал, сколько полушубков, сколько валенок имелось в кладовой наркомата.— Сумеет одеть, обувь начальника доменного цеха,— движением головы он указал на Головню,— Бакальского завода?

Благообразное лицо секретарских дел мастера не выразило ничего, кроме внимания:

— Сумеет, Александр Леонтьевич.

— Так озаботься!

Серебрянников улетучился. Онисимов сказал Головне:

— Иди, обмундировывайся. Съездишь на Бакальскую площадку и в Челябинск, потом опять ко мне приедешь. Отчет оставь, сдай по команде. Рассмотрят без тебя.

Новоявленный начальник доменного цеха не поспешил, однако, выйти. Лицо еще горело, но уже не малиновым тоном. Краснота смягчилась и на пальцах, длинных и вместе с тем с широкими подушечками, как бы слегка расплюснутыми, над которыми живым блеском отсвечивали коротко стриженные, крепкие ногти.

— Александр Леонтьевич, у меня к вам просьба.

— Выкладывай.

— Разрешите мне на одной печи ввести в проект мое устройство.

— Опять ты за свое... Не намеревался я в такой день ссориться с тобой, но куда денешься? Читал твою статью в «Сталеплавильщике». И вlepил выговор редактору. Зачем помещать эту,— Онисимов, видимо, поискал мягкое словцо, но привычная резкость, острота взяла свое,— эту твою блажь?!

Головня все же попытался убедить наркома, сказал, что затраты будут совсем невелики, почти незаметны в масштабе крупного строительства.

— Не надо! — отрезал Онисимов.— Не забивай голову ни себе, ни мне этими затеями. Никаких отклонений от чертежей Гипромеза не позволю. Это лучшие американские стандарты. Они отобраны не с кондачка. Василий Данилович тут спуска не давал.

Чельшев буркнул:

— Ежели распустить публику, косточек не соберем.

— Ну, подвели черту,— заключил Онисимов. Отбросив раздражение, он снова привлекательно, открыто улыбнулся.— Обмундировывайся и выезжай! Приказ о назначении пошлем тебе вдогонку.

...Примерно через час, идя коридором от Онисимова, Чельшев опять увидел Головню-младшего. Тот был уже обряжен в новехонький, еще словно в белой пылице, нагольный полушубок до колен, в необмявшиеся серые валенки. меховую ушанку, тоже ему выданную, он держал в руке, на которую уже натянул тол-

стю шерстяную рукавичку. Шагая навстречу академику, Головня, в отца сутуловатый, неожиданно развернул плечи и, как бы отдавая честь, поднес свободную руку к рыжеватому зачесу.

Оба остановились. Маленькие глазки Василия Даниловича приветливо оглядели Головню.

— Не хотелось,— проговорил Челышев,— высказываться при Онисимове о вашей статье. Я с ней познакомился.

Челышев разумел все ту же публикацию Петра в научном журнале «Сталеплавильщик», где автор обстоятельно, с чертежами и расчетами, описал свой способ форсировки хода доменных печей.

— Познакомились и...?

— Скажу дружески и чистосердечно: ничего у вас, молодой человек, не выйдет.

К удивлению, Головня словно ничуть не огорчился. Сдернув варежки, сунув их под мышки, он быстро добыл из-под полушубка записную книжку, карандаш и с усмешкой, над которой был, видимо, не волен, объявил:

— Василий Данилович, с вашего разрешения зафиксирую: «Дружески и чистосердечно: ничего у вас, молодой человек, не выйдет». Так? Не возражаете?

— Хм... Пожалуйста.

— Теперь обозначу дату: седьмое ноября 1941 года. Когда-нибудь, Василий Данилович, напомню вам об этом.

Головня поднял голову от записной книжки. Челышеву снова предстали васильковые, нимало не подернутые утомлением глаза, дерзновенная усмешечка, косо пролеглий на лбу шрам.

Именно в этот миг Василий Данилович вдруг совсем распростился с душевным смятением, так долго его мучившим, бесповоротно поверил: победим! Такова была она, некая последняя капля, которой он жаждал. Ею еще не стал телефонный звонок из Москвы, пересказанный неузнаваемым в тот вечер Онисимовым.

А тут въяве, воочию... Пожалуй, лишь в следующую минуту ощущение претворилось в отчетливую мысль. Да, если этот молодой Головня, чего только не навивавшийся, ведший эвакуацию под огнем, пешком выбравшийся из опустелой Кураковки, проехавший в теплушке через пол-России, если уж он преспокойно говорит: «Когда-нибудь, Василий Данилович, напомню

вам», значит... Значит, различает впереди неоглядное время, ему принадлежащее. Ему и нам!

Волнение, подъем были такими, что даже грудную клетку заломило. Переведя дух — вот он, наконец, глубокий полный вздох, — Василий Данилович ничего не сказал, пошел к себе.

...Потом случилось вот что.

В 1945 году, уже после того, как была отпразднована Великая Победа, Челышев во главе группы металлургов съездил или, верней, слетал за океан.

И среди прочих новостей привез такую: на нескольких доменных печах Америки применен способ, а также и конструкторские решения, впервые введенные в Кураковке Головной-младшим. Производительность печей действительно повысилась. По-видимому, вся доменная Америка постепенно усвоит этот способ.

— Я тут промазал, — откровенно признавался Василий Данилович.

Онисимов невозмутимо отнесся к этой новости, обошелся без покаянных восклицаний. Однако к Петру Головне, который опять директорствовал на старом месте, в возрожденной Кураковке, стал относиться лучше. И дал команду опробовать на двух-трех заводах его устройство.

Но Петр не унимался. Пользуясь всяким случаем, заявлял, что способ почти не используется, внедрение идет крайне медленно.

И, наконец, в 1952 году — как раз по случайному совпадению в те дни, когда из-за печи Лесных Онисимову пришлось испытать на себе холодное негодование Сталина, — Головня-младший обратился с письмом-жалобой в Центральный Комитет. Историю ошибки — употребим здесь это слово в прямом его значении, — схватки директора завода и председателя Государственного Комитета нам в этой книге не рассказать: конструкция не выдержит такой нагрузки. Перипетии столкновения, иногда поразительные, постараюсь изложить в одном из следующих томов задуманной автором серии — изложить, не комкая, в сплетении с большими вопросами времени, сохраняя верность, насколько это мне дано, исследовательскому духу, объективному взгляду. Там опять автору поможет дневник Челышева.

Сейчас машина несет Василия Даниловича, слегка

подремливающего, в Андриановку. Черт побери, Петр все-таки его подшпилил. А раньше никогда того казуса не задевал. Дяденька с характерцем! Но что он тут ухлопает? А вдруг? Чем черт не шутит?

Вечером Василий Данилович Челышев сидит в тихой, хорошо протопленной комнате дома приезжих.

Когда-то, будучи здесь, в Андриановке, главным инженером завода, он жил некоторое время как раз в этом одноэтажном старом доме, сложенном из плитняка. Да и потом, наезжая в Донбасс, колеся по заводам, тут не однажды обитал.

Прикатив сегодня в Андриановку, Василий Данилович весь день провел на людях, провернул два летучих заседания, разговаривал со всеми старыми знакомыми, наскоро прошелся по заводу, обедал у директора, и, наконец, был отпущен на покой в эту теплую славную комнату. Сменил здесь костюм на вольную пижаму, прилег, но не долго повалялся.

Завтра в городском театре ему предстоит открывать совещание доменщиков. Произнести вступительную речь. Что же он скажет?

Вспомнилось недавнее собрание, на котором он, юбиляр, отвечал на приветствия. Как ни суди, дата изрядная — семьдесят пять. По сему поводу Василия Даниловича наградили орденом Ленина, уже не первым. В газетах напечатали портрет. Устроили и торжественное заседание в его честь. Пришлось, ничего не попишешь, и ему выйти на трибуну в набитом зале под ослеплявшими киноюпитерами. Не разделавшийся и в старости с застенчивостью, от которой в свое время, юношей, дико помучился, Василий Данилович, ей-ей предпочел бы в юбилейный день находиться где-нибудь подальше от Москвы. И пускай бы его дата отшумела без него. Однако, признаться, не только застенчивость вызывала этакое намерение ускользнуть. Василий Данилович, кроме того, втайне попросту боялся: вдруг молодежь будет блистать отсутствием на юбилейном заседании. И он к своему сраму обнаружит, что уже не интересен, не нужен молодому металлургическому племени. Ей-ей, лучше бы уехать. Но не получилось, не позволили.

И вышло в конце концов очень хорошо. Новое поколение заполнило и верхний ярус, и задние ряды внизу, даже у стен теснились молодые люди. Тронутый этим, Василий Данилович разговорился, разошелся в своей речи. Допустил, наверное, и стариковские нравоучения, и длинноты, подчас, что называется, жевал мочалу,— кому же не известно, что Челышев в ораторы негоден?— и все-таки его слушали не кашляя. Тот вечер ему будто вновь даровал его давнее, не внесенное ни в какие штатные списки звание главного доменщика советской страны. Ему хотелось, глядя в стихший зал, ни единым словом не сфальшивить, высказать без высокопарности что-то самое главное, чего в обыденности не говоришь.

— Я благодарен,— не очень складно, не бойко произносил он,— что пришлось участвовать в походе старой России в новую Россию. Считаю это самым большим счастьем своей жизни.

Дальше он говорил о чудесах, случившихся на его веку металлурга. Пора первых пятилеток. В разоренной, отсталой стране вырастают могучие заводы, о каких когда-то толковал Курако в «доменной академии» у ветхих печей Юзовки. Нет, о таком размахе, пожалуй, и он не фантазировал. Этого не назовешь иначе как чудом.

Поразительным было и второе чудо, вторая неожиданность. Челышев рассказал собравшимся, как в 1943 году видел в Донбассе, в Приднепровье разрушенные отступившей гитлеровской армией заводы. Все было будто растоптано, превращено в бесформенные груды кирпича и скрученного взрывами железа. Думалось, этого уже не восстановить. Но потребовалось лишь несколько лет, чтобы сметенные, казалось бы, с лица земли заводы встали из праха — встали еще более могучими, более прекрасными, чем прежде.

Его речь на юбилее была помещена в виде статьи в газете. Редакция несколько удивила юбиляра, поставив заголовок «Третья неожиданность». Да еще и добавила несколько словечек неумеренного — совсем не в стиле Челышева — восхваления разных нынешних реорганизаций. Правда, старик понимал, что сам дал некоторый повод для этого, сказав на вечерё о неожиданно хлынувших новинках производства, которыми и он, директор научно-исследовательского центра металлургии, подчас пренебрегал, — новинках, освобож-

денных от препон, от ставшего привычным «запрещается».

Прочитывая гранки, присланные ему на подпись, Челышев порой внутренне морщился, но все же, по обыкновению, не вступил в спор, подмахнул статью.

Вчера он увидел этот номер газеты на диване у Онисимова, навестив его в больнице. Неловко получилось... Помнится, Онисимов поймал взгляд Челышева, покосившегося на газету. Поймал и отвернулся. Сделал вид, что не заметил.

Черт побери, вчера в суете Челышев так и не сумел взяться за дневник, не записал, как свиделся с Онисимовым. Долг велит теперь это проделать. Надо также занести на бумагу и свои сегодняшние впечатления.

Крякнув, Василий Данилович достает тетрадь, ему всюду сопутствующую, садится к столу, берется за ручку-самописку.

50

Воспользуемся же опять записями Челышева, не ленившегося исправлять службу, которую сам себе назначил: вверять дневнику свои свидетельства о веке, о новой земле, какой он принадлежал.

Поднявшись в знакомую нам палату-полулюкс, Челышев застал Александра Леонтьевича в гостинио-кабинете. Порядок в комнате, всегда свойственный Онисимову, был нарушен словно бы сборами в дорогу. На стуле и на круглом столе расположились два чемодана с откинутыми крышками, уже частью заполненные папками, книгами, одеждой.

— Как видите, укладываюсь,— бодро объяснил Онисимов.— Переправляюсь в «Щеглы».

Он встретил гостеприимной улыбкой надевшего, как требовали правила, белый халат, верзилу-академика. Челышеву меж тем показалось, что больной на какое-то мгновение пристально в него взгляделся, словно стремясь что-то прочесть, разгадать в его чертах. Может быть, тайну своей болезни. Но тотчас зеленоватые глаза утратили эту тревожную пытливость. Онисимов опять улыбался. Да и выглядел вовсе не плохо. Во всяком случае, не так худо, как Челышев приготовился узреть. Примесь золы в желтоватом лице не была

пугающей. Однако над левым углом рта вспухла темная горошина. Медицинская сестра, провожавшая Василия Даниловича в палату, предупредила: не покажите удивления, когда увидите на лице шишечки. Вон еще одна на лбу у самой границы так и не тронутых седой волос.

В ту же первую минуту встречи академик приметил: больной Онисимов вовсе не опустил. Щеки, лишь слегка ввалившиеся, были свежесбриты. Одет, словно на службе, в хорошо отглаженную пиджачную пару; не изменил и темно-серому аккуратному завязанному галстуку.

— Пожалуйте, — продолжал Онисимов. — Могу теперь не только по телеграфу вас поздравить.

Челышев, разумеется, помнил: на юбилейном заседании была оглашена и теплая телеграмма Онисимова.

— Благодарю, благодарю... Дело уже, слава богу, прошлое.

Следуя пригласительному жесту Александра Леонтьевича, Челышев уселся на диван. Притулившаяся здесь же диванная подушка была скрыта под горкой газет. Вот тогда-то Василий Данилович невзначай увидел, что сверху лежит тот самый номер «Известий», где была напечатана его статья. Испытывая неловкость, он отвел глаза, насупился. И вдруг снова встретился со взглядом Онисимова. Тот невозмутимо посмотрел в сторону, будто ничего не заметил. Для Челышева это стало знаком, что Онисимов сейчас не хочет затрагивать некоторых тем, отворачивается от каких-то истин, как бы оберегая себя. Что же, и Василий Данилович постарается ничем не задеть больного.

— Мне, Александр Леонтьевич, тут уже сообщили насчет вашего переселения. Дело хорошее.

Онисимов почти небрежно спросил:

— Вы беседовали с врачом?

— Да, справился про вас. — Челышев действительно, перед тем как войти к Онисимову, отыскал бородатого заведующего отделением; тот сокрушенно почмокал «неоперабелен». — Справился и теперь не беспокоюсь. Ваше дело на мази. Отличное у вас будет лекарство — свежий воздух. И начнете поправляться полным ходом.

— Вряд ли. Болезнь затяжная.

— Ничего. Уж если бы врачи за вас тревожились, то, будьте уверены, не рискнули бы послать вас в санаторий. Эта публика рискованно поступать не любит.

Устроившись поудобнее на диване, Челышев вытянул длинные ноги. Пожалуй, эта непринужденная поза подействует на Онисимова верней, чем успокоительные речи. Тот и впрямь снова улыбнулся — радушно, привлекательно. И все же горошинка над левым уголком рта чуть скривила эту улыбку.

Черт побери, теперь Челышеву придется тронуть еще одну тему, о которой... О которой нельзя же совсем промолчать.

— Я тоже, Александр Леонтьевич, собираюсь в путь. Лечу завтра в Андриановку на совещание доменщиков.

— А-а... Вернетесь, тогда подробно мне расскажете. Идет? Над чем, Василий Данилович, сами-то работаете?

Втайне гость изумлен выдержкой Онисимова. Так болен и так собой владеет. Избавил и Челышева и себя от трудного разговора насчет третьей неожиданности.

— Э, что моя работа? Заседаю. По два, а то и по три раза на день. Хотя чего бога гневить? Не все же попусту просиживаем штаны. Случается, толкуем и о стоящих вещах. Да вот только сегодня...

Чувствую, что освобождается от томительной неловкости — неудобные темы, кажись, позади, — Василий Данилович сообщает: нынче слушали агломератчиков. Они теперь ходят в именинниках: отработали, отладили выпуск офлюсованного агломерата. Об этом авторская группа и докладывала сегодня. Он пускается в подробности и вдруг видит сероватые маленькие руки сидящего рядом Онисимова. Одна кисть сжимает другую. Челышеву памятно — Онисимов так делал и раньше, когда хотел скрыть непроизвольную дрожь пальцев. Василий Данилович спохватывается. Вот угораздило! Как мог он позабыть, сколь тяжело эта новинка продиралась еще при Онисимове.

Ба, вот ведь о чем можно поговорить: металлургический комбинат на Шексне. Это, конечно, Онисимову будет интересно. Бросив агломератчиков, Василий Данилович рассказывает, что комиссия, назначенная Советом Министров, отвергла наконец всякие сомнения насчет этого комбината. Больной оживляется, даже лицо словно свежеет. Уже примерно полгода назад появилась статья, утверждавшая, что завод на Шексне, расположенный далеко от угля и от руды, всегда будет нерентабельным, и его сооружение явилось, таким

образом, ошибкой. Это обвинение тяготело над Онисимовым. Некогда он по заданию свыше *готовил вопрос* о развитии металлургии на ближнем Севере, провел десятки совещаний, придирчиво выверял каждую цифирку, не раз вынимал из стола счеты, щелкал костяшками, изучая сметы, балансы, калькуляции. И пришел к убеждению: строить экономически целесообразно. И получил сверху «добро».

Сейчас он с интересом выспрашивает о перипетиях заседания комиссии, о формулировках решения. Василий Данилович поясняет: спор, собственно, был решен самими металлургами Шексны. Они доказали делом, что могут работать безубыточно. Добились лучшего за всю историю советской металлургии коэффициента использования полезного объема. К этому привела высокая культура работы — не одно какое-либо средство, а весь комплекс передовой технологии.

Онисимову приятно это слушать. Культура работы. Технологическая грамотность, четкость в каждой мелочи. Именно так он, близко знавший иностранные заводы, «немец», как в шутку окрестил его Серго, именно так Онисимов годами неуклонно школил, воспитывал металлургов.

Василий Данилович, однако, снова осекается. Разговор опять слишком близко подошел к опасной зоне. Не рассказывать же Онисимову, что металлурги северного комбината включили немало нового в свой комплекс передовой техники, смелее других применили способ, за который настойчиво ратует Головня-младший.

Неожиданно Онисимов сам произнес это имя:

— Вот еще что... В Андриановке вы, конечно, встретите и Петра Головню. Заглянул бы ко мне, когда будет в Москве.

Его тон опять небрежен. Так, вскользь брошенное приглашение. Но руки по-прежнему сцеплены.

— Передам, Александр Леонтьевич.

Онисимов бодро встает.

— Сидите, сидите, Василий Данилович. А я, с вашего разрешения, буду укладываться.

Чельшев тоже поднимается. Газета с его «Третьей неожиданностью» так и покоится, не затронутая, на диванной подушке.

— Да и меня еще ожидают сборы. Пойду. А вы, Александр Леонтьевич, поправляйтесь.

— Постараюсь. Не забывайте меня. Жду вас в «Щеглы».

Пожав костистой пятерней маленькую руку больного, ощутив ее дрожь, академик с облегчением покидает палату-полулукс.

Одетый в темно-синюю пижаму, Василий Данилович сосредоточенно пишет за столом в доме приезжих. Верхний свет погашен, настольная лампа освещает тетрадку, которую строка за строкой он быстро заполняет не совсем разборчивым, стариковским, без нажима, почерком.

Стук в дверь отвлекает Чельшева.

— Да, да.

Он дописывает фразу, поднимает голову, видит Головню-младшего.

Петр уже успел умыться, переодеться, пообедать. На нем сейчас тот же щеголеватый, с багряной искоркой костюм, в каком Василий Данилович видел его в министерстве. Свежая голубая рубашка, празднично сияют ботинки — во всем угадывается заботливая рука жены. В нещедром отсвете настольной лампы волосы после душа выглядят темными, рыжеватый оттенок почти незаметен. Одну руку Петр прячет за спину. И не сдерживает улыбку:

— Разрешите, Василий Данилович, поздравить вас с юбилеем.

— Ох, сегодня уж меня напоздравляли. Пора бы с этим кончить.

— У меня особенное поздравление. Не с пустыми руками к вам пришел.— Из-за спины Петр выпрастывает тяжелого, поблескивающего разноцветным оперением селезня.— Примите, Василий Данилович.

— Что вы? Куда мне? Значит, все-таки добыли? Не ожидал. Никак не ожидал.

— Вот как раз кстати и придется. Еще один пример к вашей «Третьей неожиданности».

— Э, это уж четвертая.

— А что? Еще вас, Василий Данилович, удивим. И, наверное, не разок.

— Чем же? Выкладываете, выкладываете, ежели уж начали. Что еще придумали?

— Да многое замыслено. Но надобно испробовать. Для таких проб мы на Кураковке решили заменить выгранки малыми домнами.

Держа по-прежнему увесистого селезня в руке, Петр увлеченно излагал свою мысль. Вагранка — устаревшая вещь. Приходится расплавлять чугуны, опять пускать в дело кокс, снова избавляться от серы, получать шлаки. Не лучше ли малые домны? Будем выплавлять чугуны для литейного цеха, и одновременно эти малые домны послужат базой для всяческих опытов. Пробовать, пробовать — вот чего жаждут изобретатели. Право на опыт, на опробывание — мы это должны провозгласить. И, как требует марксизм, подкрепить это право материально. Таков смысл малых домн. Уже и средства, Василий Данилович, мы на это выкроили.

«Настоящий инженер», — вдруг думается Чельшеву. И лишь в следующий миг на ум приходит: именно этэк когда-то и его, молодого Чельшева, окрестил Курако. Что же, пожалуй, уже не очень страшно сойти, как говорится, с круга: есть наследники. А впрочем, почему же еще и не пожить? Старик произносит:

— Ей-ей, кажется, и впрямь доживу до четвертой неожиданности.

— Безусловно!

Этот свой пылкий возглас Петр еще подтверждает взмахом руки. И вдруг улыбается, глядя на охотничью свою добычу.

— Разрешите, Василий Данилович, я этого незапланированного селезня тут где-нибудь устрою.

— Не надо. К чему мне?

— Да везите хоть в Москву. Или здесь нам, кураковцам, закажите ужин.

Петр озирается, видит брошенную на диван газету, укладывает на нее селезня.

Чельшеву невольно вспоминается диван, горка газет в больничной обители Онисимова. Без всякой связи с предыдущим он сокрушенно произносит:

— Онисимов-то... Слышали? Безнадежен. Погибает. Вчера был у него.

Петр молча воспринимает эту весть. Василий Данилович продолжает:

— Просил вам передать, чтобы вы заглянули к нему, когда будете в Москве.

Петр по-прежнему безмолвствует. Губы сжаты.

Нервно заиграли, заходили желваки. Тяжелые складки словно бы еще потяжелели.

— Надо бы, Петр Афанасьевич, к нему пойти.

Директор Кураковки опять не отзывается.

— Так не буду вам мешать,— наконец сумрачно говорит он.

Сутулый, широко раздавшийся в лопатках, он оставляет комнату.

— Орешек,— бормочет Челышев.

И немного погодя снова берется за перо.

Час спустя Василий Данилович в шляпе, в пальто шагает по каменным приступкам дома приезжих под ночное небо Андриановки, чуть окрашенное мерцающим багровым отливом. Доменщика-академика влечет завод.

1960—1964

ПРИМЕЧАНИЯ



Первое — неполное — собрание сочинений Александра Бека в четырех томах вышло вскоре после его смерти: М., «Художественная литература», 1974—1976 (в дальнейшем ссылки на это издание даются в сокращении: Собр. соч.— I — с указанием тома и страницы).

Настоящее собрание сочинений писателя, тоже неполное, шире представляет прежде малоизвестные вехи его творческого пути. В него вошли первостепенные произведения драматической судьбы, которые не смогли увидеть свет на родине художника при его жизни: романы «Новое назначение» и «На другой день», а также значительные фрагменты из литературно-дневникового повествования «Роман о романе».

Тексты печатаются по последнему прижизненному изданию либо по канонизированной автором рукописи — часть архива Бека находится в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ), а часть — в домашнем собрании (Архив Т. А. Бек).

Основные — помимо отдельных изданий — сборники: «Жизнь Власа Лесовика» (М., 1939), «Доменщики» (М., 1946), «Зерно стали» (М., 1950), «Тимофей — Открытое сердце» (М., 1955), «Счастливая рука» (М., 1962), «На фронте и в тылу» (М., 1965), «Мои герои» (М., 1967), «Почтовая проза» (М., 1968), «В последний час» (М., 1972), «Такова должность» (М., 1973), «На другой день» (М., 1990).

Первый том открывается автобиографическим очерком «Страницы жизни». Затем следуют произведения, так или иначе связанные с темой отечественной металлургии: Бек,

составляя прижизненные сборники, всегда придерживался тематического принципа. Внутри томов принят хронологический порядок.

Герои этих произведений — замечает писатель в статье «Книги жизни» — «это круг металлургов или, еще суживая, доменщиков», открывшийся ему в начале тридцатых годов, когда он работал по заданию горьковской редакции «История заводов и фабрик», а позднее — «Кабинета мемуаров», готовившего серию сборников «Люди двух пятилеток».

«О Курако я написал свою первую повесть. Потом еще и еще трудился над образами металлургов, врубался в этот пласт, приносил читателю отколотые и как-то мною выделенные небольшие куски» (Собр. соч.— I, т. 4, с. 582).

Эта метафора точно передает особенность книг Бека о металлургах. Все они, за редким исключением, отошли, «откололись» от нескольких более объемных замыслов (подробнее о трансформации замыслов см. в примеч. к самим произведениям) и составляют своеобразную цепочку, скрепленную центральными героями и единством места действия.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

Впервые — «Вопросы литературы», 1960, № 3, под заглавием «Жизнь подсказывает».

Сохранилась машинопись автобиографии с точной датировкой: 16 ноября 1959 года.

Каждый раз, готовя автобиографический очерк к переизданию, Бек пополнял заключительную часть новыми сведениями о событиях своей литературной жизни.

В последней авторской редакции (1969) «Страницы жизни» напечатаны в сб.: Советские писатели. Автобиографии, т. IV. М., Художественная литература, 1972.

Стр. 30. *...моя первая профессия: труженик газеты.* — О работе юноши Бека в газете «Красное Черноморье», органа политотдела 22-й дивизии, см. в очерке В. Курбацкого «Редактор в семнадцать лет» (Литературная Россия, 1987, № 49, 4 декабря, стр. 24).

...поработал два года на одном из заводов Москвы. — В 1922—1924 годах Бек работал кожевником на заводе им. Землячки.

Стр. 31. *Бардин И. П.* (1883—1960) — выдающийся русский инженер, академик, послуживший Беку прототипом к образу Макарычева в довоенных произведениях о доменщиках и к образу Чельшева в «Новом назначении».

Стр. 33. ...в «Кабинете мемуаров»... — О своем отношении к этому горьковскому начинанию Бек рассказал в очерках «Ваш корреспондент потерпел неудачу» и «Люди великого пятидесятилетия» (Собр. соч.— I, т. 1).

...мы именовались «беседчиками»... — В мемуарах одного из участников бригады говорится: «Было изобретено слово «беседчик», означавшее не репортера, не интервьюера, а именно «беседчика», то есть берущего не интервью, а свободный непринужденный рассказ, не предназначенный для печати. Искусство «беседчика» заключалось в том, чтобы направить его течение, вот этим мнимо неприметным, полувопросительным «да» обозначить фарватер, не дать мысли растечься по древу» (Рахтанов И. Рассказы по памяти. М., 1969, с. 89).

Стр. 35. ...группы добровольцев-писателей... — О ней рассказывает Борис Рунин в мемуарном очерке «Писательская рота», замечая: «...Александр Бек взял на себя роль нашего ротного Швейка. Человек недюжинного ума и редкостной житейской проницательности... это был один из самых сложных и самых занятых характеров среди нас» (Новый мир, 1985, № 3, с. 100).

...грядущего собственный корреспондент... — По-видимому, вольная собирательная реминисценция, связанная со стихотворениями Е. Долматовского «Наш собственный корреспондент» и «Пионерский воскресник» («...грядущего вестник»).

Стр. 37. *Лойко Н. В.* (1908—1987) — жена Бека, детская писательница. В ответе на журнальную анкету в 1961 году Бек писал: «Молодым помогаю лишь от случая к случаю... Ради точности (и, однако, с некоторой неловкостью) обзан добавить, что одного писателя я все же воспитал. Это Наталия Лойко — автор книг «Ася находит семью», «Женька — наоборот» и мой соавтор по роману «Молодые люди». Поясню фразу о неловкости: речь идет о моей жене» (Собр. соч.— I, т. 4, с. 567).

...большой роман о металлургах.— Имеется в виду «Новое назначение».

Стр. 38. *Исподволь пишу большую вещь...*— См. примеч. к роману «На другой день» (т. 4 наст. изд.).

Впервые под этим названием — «Знамя», 1934, № 5.

Повесть написана в результате поездки А. Бека в 1932—1933 годах в Сибирь с бригадой литераторов, взявшей по заданию редакции «Истории заводов», руководимой А. М. Горьким, создать «Историю Кузнецкстроя» (общий замысел реализован не был).

При распределении материала между членами бригады Беку досталась никем доселе не изученная история жизни крупнейшего русского доменщика Михаила Константиновича Курако (1872—1920). Работа над образом Курако положила основу документально-художественному методу Бека, которому он оставался верен на протяжении всей своей творческой деятельности. «Я уже чувствую, что в отличие от моего прежнего писательства обладаю некоей школой, неким методом. Это сделала для меня «История Кузнецкстроя» — замечает он в письме от 24 июля 1933 года (Бек А. Почтовая проза.— Собр. соч.— I, т. 4, стр. 68). Все письма, вошедшие в «Почтовую прозу», адресованы первой жене Бека, критику и переводчице Л. П. Тоом (1890—1976).

Первоначально в 1933 году намечалось к опубликованию «Главы истории Кузнецкстроя» в альманахе «Год XVII», но А. М. Горький, редактор альманаха, прочитав их в верстке, отклонил. «Горький посоветовал переработать, развить вещь» (там же, с. 71).

В том же году «Главы» были изданы на правах рукописи, для обсуждения, тиражом 1000 экземпляров.

Дорабатывая главы по совету Горького, Бек думает назвать повесть «Копикуз». В письме от 2 марта 1934 года он сообщает: «Предполагаю напечатать «Копикуз» (то есть главы в виде повести под таким заглавием и без всякой ссылки на «Историю Кузнецкстроя»)» (там же, с. 85). Но уже 17 марта 1934 года эта повесть была принята в журнале «Знамя» под названием «Курако». Бек как бы подчеркивает, что повесть является законченным портретом знаменитого доменщика и не зависима от «Истории Кузнецкстроя».

Для журнальной публикации автор расширил рассказ о детстве Курако, описание офицерского бала и сцену восстания; обогатил новыми деталями образы Лутугина, Грум-Гржимайло и — в особенности — Федоровича (в последующих изданиях Кратова).

Публикация в «Знамени» сопровождалась подстрочным авторским примечанием, которое в дальнейшем не перепечатывалось: «Повесть не вполне подходящее название для

этого произведения. В нем нет вымышленных имен. Действующие лица фигурируют под собственными именами: события, имеющие историческое значение, соответствуют действительности.

В повести речь идет об угле и металле. Действие разворачивается в годы империалистической и гражданской войн в Кузбассе — ныне важнейшей индустриальной крепости советского Востока.

Повесть «Курако» — плод работы автора в писательском коллективе, прошедшем около года на площадке Кузнецкстроя. Состав коллектива — З. Крянникова, И. Рахтанов, Н. Смирнов, Л. Тоом и автор.

В июне 1933 года мы потеряли Н. Г. Смирнова, лучшего и опытного писателя в коллективе. Каждый из нас обязан Смирнову многим. Отличный мастер и знаток сюжетной прозы, он строго судил наши рукописи и раскрывал нам тайны мастерства. Его памяти посвящаются лучшие страницы повести.

Повесть не могла быть написана без внимательной и чуткой помощи общественности Кузнецкстроя. Ей выражает горячую благодарность автор».

Повесть была встречена литературной общественностью и критикой с интересом.

При подготовке к печати сб. «Доменщики» Бек вновь отредактировал повесть. Некоторым реальным персонажам дал вымышленные имена (Федорович переименован в Кратова, Гудков — в Гладкова, Бардин — в Макарычева, Свердлов — в Милютин); глава «Тревожные дни» получает название «Восстание», пересматривается принцип ее внутреннего членения: эпизод прихода Дитмана к Курако расширен и выделен в самостоятельную подглавку.

Подробнее о творческой истории «Курако» см. «Почтовую прозу» (т. 4 наст. изд.).

В 1939 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла биография Курако, написанная А. Бекон (под псевдонимом И. Александров) и Г. Григорьевым. В дальнейшем она выдержала ряд переизданий.

Стр. 51. *...столыпинские галстуки...*— Так называли веревки для повешения по имени П. А. Столыпина.

Стр. 52. *...знаменитого Дмитрия Трепова — «патронов не жалеть»...*— Д. Ф. Трепов — государственный деятель царской России. В дни октябрьской политической стачки 1905 года он приказал войскам и полиции: «Холостых залпов не давать и патронов не жалеть».

Стр. 72. ... в сражении на Марне...— Крупнейшая битва первой мировой войны на реке Марне в 1914 году между главными французскими и германскими силами, закончившаяся поражением немецких войск.

Стр. 86. В 1918 году Ленин особенно много думал о востоке... Он писал...— Далее идет изложение ленинской статьи «Очередные задачи Советской власти».

Стр. 102. Студентом он прочел у Добролюбова...— Вольный пересказ статьи «Что такое обломовщина»: «...Штольцев, людей с цельным, деятельным характером, при которых всякая мысль тотчас же является стремлением и переходит в дело, еще нет в жизни нашего общества...»

СОБЫТИЯ ОДНОЙ НОЧИ

Впервые — «Знамя», 1936, № 4, с авторским примечанием, которое в дальнейшие переиздания не входило: «В повести рассказан эпизод из истории Сталинского (бывшего Юзовского) металлургического завода. Некоторые из центральных действующих лиц живы, они фигурируют под измененными фамилиями».

История создания повести «События одной ночи», подробно прокомментированная Бекон в «Почтовой прозе», непосредственно связана с неосуществленным замыслом романа «Доменщики», в котором писатель предполагал на фоне до- и послереволюционной металлургии скрестить различные сюжеты. «Хочется дать пересечение нескольких линий,— писал он в июне 1934 года,— столкнуть капитализм и социализм. Смогу ли дать в романе «Доменщики» остроту такого столкновения?» (Собр. соч.— I, т. 4, с. 101.)

Но, собирая материал для романа «Доменщики», писатель встречается с рядом новых характеров, увлекающих его и трансформирующих первоначальный план. И впоследствии Бек принимает решение «...писать не огромный романище в 50—60 листов, а 6—7 сравнительно коротких вещей (там же, с. 162).

«Вчера начал беседы с Луговцовым (прототип Максима Луговика.— Т. Б.),— пишет Бек из Харькова 26 ноября 1934 года.—...Вот здесь я напал на золотую жилу — дед горновой, отец горновой, а самому ему, юноше, Курако помогать инженером» (там же, с. 112—113).

В письме от 28 ноября 1934 года Бек сообщает: «Луговцов дал материал, который позволяет выделить из большого замысла отдельную первую повесть» (там же, с. 113).

В марте 1936 года первая повесть задуманного цикла, «События одной ночи», была завершена. Редактируя ее для публикации в «Знамени», Бек развил линию Максима Луговика. «Теперь она (повесть.— Т. Б.) зиждется на противопоставлении Свицына (прототипа Крицына.— Т. Б.) и Максима, чего раньше не было» (там же, с. 164). Авторская трактовка образа Крицына запечатлена в наброске главы о праздничном ужине: «Задача — показать Свицына во всем его блеске и намекнуть, что за этим блеском что-то гнилое» (ЦГАЛИ); и в дневнике 1936 года: «...человек (Свицын.— Т. Б.), продавший свое первородство за чечевичную похлебку? Это, пожалуй, тема» (Собр. соч.— I, т. 4, с. 155).

В критических откликах на «События одной ночи» отмечались излишняя эстетизация быта инженерной среды и показ Курако преимущественно в узкопрофессиональной сфере, но в целом повесть была признана безусловной удачей писателя. «Вот я перевалил за вторую повесть,— читаем в дневнике Бека.— Теперь я действительно заработал репутацию настоящего писателя — надежного, основательного, не однодневку...» (там же, с. 166).

Включая повесть в сб. «Жизнь Власа Лесовика», Бек изменил фамилии некоторых ее героев, но затем вновь вернулся к журнальной редакции.

Стр. 168. ...в русской истории Кальмиус известен под именем Калки...— Калка, сражение на которой произошло в 1223 году, является притоком Кальмиуса.

ВЛАС ЛУГОВИК

Впервые — под заглавием «Жизнь Власа Лесовика» в одноименном сборнике с примечанием: «Это повествование составлено из воспоминаний рабочего-доменщика Власа Степановича Луговцова (ныне покойного), пополненных рассказами его родных, земляков и старых рабочих Сталинского (бывш. Юзовского) завода».

Основой для создания повести послужили двадцать тетрадей с записями Власа Луговцова — прототипа Власа Луговика, фигурирующего в повестях «Курако» и «События одной ночи».

Впервые об этих тетрадях Бек упоминает в письме от 13 декабря 1934 года из Сталино, где он проводил беседы, собирая материал для романа «Доменщики» (см. примеч. к

повести «События одной ночи»): «...Есть ценнейшая находка. Оказывается, отец Луговцова, старик горновой (он умер в прошлом году), в последние годы жизни писал свои воспоминания — исписал несколько тетрадок. Теперь эти тетрадки у меня в чемодане. Ура! Ура! Ура!» (Собр. соч.— I, т. 4, с. 118).

«...Читаю записи старика Власа Луговцова...— пишет Бек спустя несколько дней.— Он будет прекрасным типом в «Доменщиках». Вечный труженик. Смирение и труд — его философия... Прекрасный, колоритный тип. Находка» (там же, с. 119).

Историей жизни Власа Бек предполагал открыть роман «Доменщики» («...Хорошо ли, что я начинаю биографиями, — в первой главе биография Власа и Максима, во второй — биография Гульги?») (там же, с. 150). Но позже приходит к замыслу сделать ее самостоятельной повестью одновременно с общим решением разбить роман на ряд «коротких вещей».

Тетради Луговцова, хранящиеся в ЦГАЛИ, позволяют восстановить предварительный этап работы Бека над повестью: в него вошли нумерование, расшифровка и конспектирование записей, почерк и орфография которых делают их труднодоступными для чтения. По каждой из тетрадей Бек составил краткий путеводитель: «начало работы Власа — 3, детство — 4, поп Константин — 7, старался угореть — 8, песня пряхи — 9, поводырь слепца — 17» и т. д.

Сопоставление записей Луговцова с текстом повести дает представление о сложном пути превращения документального материала в художественную прозу. Сохранив, но и «сгустив» стиль воспоминаний Луговцова, Бек провел строгий и целенаправленный отбор фактов и творчески компоновал их, смещая акценты и хронологию, чтобы выдвинуть на первый план наиболее характерное.

В сборнике «Жизнь Власа Лесовика», куда, кроме комментируемой повести, вошла также повесть «События одной ночи», изменены фамилии ряда героев обоих произведений. Но в сборник «Доменщики» повесть, отредактированная автором, вошла под названием «Про старое и новое», и герой выступает как Луговик. Готовя повесть для сб. «Мои герои», писатель дает ей название «Влас Луговик» и вносит стилистические поправки.

Стр. 236. *Скрап* — металлические отходы, обесчки, мелочь.

СЧАСТЛИВАЯ РУКА

Впервые — «Знамя», 1959, № 12.

Материал для рассказа собран летом 1959 года в Ленинграде, где Бек провел несколько бесед с А. Максимовичем, прототипом рассказчика («Антонио»). (Записи хранятся в ЦГАЛИ.)

Образ Серго Орджоникидзе привлекал внимание А. Бека на протяжении всей его творческой деятельности,— начиная с «Записок доменного мастера» (1939) и кончая последним романом «На другой день» (1967—1970). Он даже предполагал создать художественную биографию Орджоникидзе, не успев, однако, этот замысел реализовать. «Задуманная мною книга будет построена как роман в новеллах или, говоря точнее, цикл новелл, связанных единой темой, единым героем»,— писал Бек в заявке на книгу (Архив Т. А. Бек). Композиция ее позволяла писателю выносить на суд читателя отдельные новеллы незавершенного целого.

«Счастливая рука» — первая по времени создания новелла данного цикла (полнее он представлен в Собр. соч.— I, т. 1).

Готовя рассказ для сб. «Счастливая рука», Бек подробнее разработал образ Дзержинского; главу, в первой публикации седьмую, разбил на две, тем самым логически выделив важную в повествовании медицинскую предысторию операции Орджоникидзе; внес фактические уточнения.

Стр. 265. *...Яхонтова, выступавшего с композицией «Война».*— Композиция создана В. Яхонтовым в 1930 году для репертуара так называемого «театра одного актера» — «Современника». Одна из сцен полностью посвящена Карлу Либкнехту. Чтение сопровождалось музыкой Баха, Дебюсси, Равеля. *И не очень люби солнце...*— Цитата из Еврипида. *Либкнехт один. Вся будущность за ним.*— Неточная цитата из доклада В. И. Ленина на собрании большевиков — участников Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов 4(17) апреля 1917 года. У Ленина: «Один Либкнехт... Вся будущность — за ним» (Полное собр. соч., т. 31, с. 112).

Стр. 278. *...школы под Парижем...*— В Лонжюмо в 1911 году находилась большевистская партийная школа.

Впервые в СССР — «Знамя», 1986, № 10—11, с предисловием Григория Бакланова.

Перипетии творческой истории «Нового назначения» подробно воссозданы в дневниковом повествовании А. Бека, которое он озаглавил как «Роман о романе» (Архив Т. А. Бек) — см. т. 4 наст. изд. Далее ссылки на этот источник даются в сокращении Р. о р.

Работу над романом, который ощущался писателем уже на стадии замысла «как твоя Главная книга или, во всяком случае, звено¹ такой книги» (Р. о р.), Бек начал в конце 1960 года. Он снова вернулся к реальному материалу и к ряду прототипов, с которыми был связан своим писательским «крещением» — к теме становления отечественной металлургии. Нити «Нового назначения» ведут к героям повестей «Последняя домна» (1937), «Записки доменного мастера» и др. (Собр. соч.— I, т. 1), среди прототипов которых и И. П. Бардин (см. примеч. к «Страницам жизни»), и знаменитые доменщики Коробовы (в «Новом назначении» — ди-настия Головней), которые под реальной фамилией фигурируют и в документальном романе-записках «На своем веку» (Собр. соч.— I, т. 4).

Отвечая на анкету журнала «Вопросы литературы» в декабре 1961 года, Бек писал: «Работаю над большим романом о советских металлургах. Все «записные чемоданы» и «записные шкафы», собранные в течение тридцати лет моей писательской жизни, идут в дело» (Собр. соч.— I, т. 4, с. 568).

Позднее он вспоминал также: «...Это было, как ныне восстанавливаю, по-видимому, в 1960 или 1961 году. В то время я уже энергично прояснял заинтересовавшую или, точнее, захватившую меня историю, которая могла бы составить — таков был мой замысел — основу увлекательного многофигурного романа... Я исподволь распутывал узлы и узелки, находил сведущих людей, выспрашивал, сказанное одним проверял у других, накапливал подробности, действовал по испытанной своей методике, для которой все не придумаю определения. Следовательская? Исследовательская?

В числе прототипов, постепенно намечавшихся, некоторое место занимал и Тевосян, тогда уже покойный. Мало-

¹ Бек предполагал написать и следующее «звено», роман о молодости Онисимова в Баку — «Двадцатые годы», однако полностью осуществить этот замысел не успел; фрагмент незавершенного романа в виде самостоятельной новеллы «Молодые годы» напечатан в Собр. соч.— I, т. 1.

помалу этот человек, о котором я многих расспрашивал, все сильнее меня влек, завладевал моими мыслями... Некий демон — сродни тому, о котором говорил Томас Манн, — привязывал меня к этой фигуре государственного деятеля, через него мне так открывалось время» (Р. о р.). Как видим, уже на раннем этапе работы производственная проблематика, которая доминировала в довоенных рассказах и повестях о доменщиках, была потеснена мощным интересом к политико-психологическому исследованию.

Сохранился перечень названий для романа: «История болезни № 2277», «Дело, только дело», «Человек без флюкенов», «Солдат Сталина», «Солдат». Бек вспоминал: «Все эти названия мною забракованы. Мелькало еще одно: «Черная металлургия». То есть такое же, какое взял Фадеев для своего ненаписанного злосчастного романа. Признаться, меня очень влекло это заглавие, тем более что в моей вещи рассказана именно та история, которую Фадеев, как видно из его посмертных записей, избрал сюжетным узлом своего романа. Да и сам он, названный просто Писателем (лишь потом я наименовал его Пыжовым), у меня выведен в двух главах. Но и этот заголовок я отверг. Он звучал бы вызывающе... И после всяческих сомнений нарек свое детище: «Сшибка». Тяжеловатое, неблагозвучное слово. Однако оно привлекло меня точностью. Сшибка — научный врачебный термин, введенный И. П. Павловым. И, кроме того, по прямому смыслу сшибка — это схватка, столкновение, сражение» (там же).

15 октября 1965 года роман сдан писателем в редакцию журнала «Новый мир», главным редактором которого в ту пору был А. Т. Твардовский. Вечером того же дня Бек пишет в дневнике: «Вот так неожиданность! Днем отдал рукопись, а сейчас узнал поразительную новость: отстранен, смещен Хрущев. ...Это событие станет добавочным испытанием для вещи. Время, история еще и не так будут ее испытывать» (там же). Запись оказалась пророческой.

Редколлегия журнала оценила роман Бека как значительную удачу писателя: было решено печатать роман в ближайших номерах «Нового мира». Однако рукопись незаконным путем попала в семью покойного И. Ф. Тевосяна (1902—1958), и его влиятельная вдова О. А. Хвалебнова, отождествив своего мужа и себя с собирательными образами художественного произведения и вообще усмотрев в нем отрицательное изображение советского государственного деятеля, стала писать на А. Бека доносы в ЦК КПСС, в Совет Министров СССР, в Комитет по делам печати, в иные высочайшие инстанции. Она же организовала коллективное

письмо металлургов, требовавших запрещения романа Бека и выдвигавших взаимопровергающие мотивы для запрета: «в лице Онисимова выведен Тевосян», а с другой стороны, «роман Бека — клевета на обобщенный образ руководителя-коммуниста» (там же).

Редакция «Нового мира» по мере сил боролась за публикацию романа: он неоднократно анонсировался журналом и дважды был набран в типографии, но рассыпан на стадии верстки. Параллельно — по инерции надежды на публикацию — велась редаKTура. Название «Сшибка» было отвергнуто А. Твардовским как неблагозвучное (в первой верстке название звучало — «Онисимов»). Шла, по ироническому выражению Бека, «маскировка прототипов» (Р. о р.) — так, в повествование был введен рядом с Онисимовым реальный Тевосян (от этого приема автор, впрочем, не отказался и при подготовке канонической, свободной от редакционно-цензурных искажений рукописи). Был изъят важнейший в структуре романа образ Писателя, Пыжова. Бек под давлением редакции сокращал и смягчал ряд эпизодов, диалогов, деталей.

В декабре 1965 года состоялось обсуждение рукописи ненапечатанного романа на творческом объединении прозаиков Москвы, где эта вещь получила единодушно глубокое признание. В. Каверин отметил силу Бека как летописца современности, показавшего «психологическое искажение, деформацию личности» на фоне сталинской эпохи, тонкую ироничность его письма, подлинность его реализма: «Когда я говорил о том, что этот роман важен для моей работы, я имел в виду необычайно тонкое умение превращать документы в сцены». А. Рыбаков сказал: «По книге Бека историки будут изучать не историю металлургии, а историю нравов, историю характеров в ее интеллектуальных и психологических аспектах». С. Антонов назвал «Новое назначение» самым сильным и зрелым произведением Бека, в котором усматривается «абсолютная не только художественная, но и общественная и жизненная правда во всех мелочах» (Стенограмма обсуждения. Архив Т. А. Бек).

Однако мнение ведущих советских писателей оказалось менее весомым, чем аппаратные связи частного лица. К тому же в советской официальной идеологии происходила постепенная реставрация сталинизма, и шансов на опубликование «Нового назначения» становилось все меньше. Измученный писатель утешает себя в дневнике (запись от 14 декабря 1967 года): «...О моем романе уже широко известно, он ходит по рукам, можно на худой конец удовлетвориться и этим. Это ведь тоже история сов(етской) литературы» (Р. о р.).

В 1971 году — незадолго до кончины Бека — роман «Новое назначение» был без ведома автора полностью опубликован в ФРГ, в издательстве «Посев».

По выходе «Нового назначения» в СССР, в 1986 году, он вызвал огромный интерес читателей и критики, стал, по данным Всесоюзной книжной палаты, одним из «бестселлеров», самых популярных произведений 1987 года. Особый резонанс, не уступающий впечатлению общественности от самого романа, снискала статья доктора экономических наук Г. Х. Попова «С точки зрения экономиста (О романе Александра Бека «Новое назначение»)». — «Наука и жизнь», 1987, № 3. В этом исследовании ученый, оставаясь полностью в рамках романного текста, вскрыл прочные механизмы сталинской и постсталинской административной (административно-командной) системы. Этот термин, предложенный Г. Х. Поповым в разговоре о романе А. Бека, получил в дальнейшем универсальное признание и стал, оторвавшись от первоисточника, кодовым в общественном сознании и экономической науке рубежа 80-х — 90-х годов.

Стр. 327. *«Далеко от Москвы»* — роман В. Ажаева (1948).

Стр. 345. *А Журкевич уже строчил фракки...* — Реминисценция из «Золотого тельца» И. Ильфа и Е. Петрова (глава 5, «Подземное царство»).

Стр. 347. *...марксист должен учитывать...* — Речь идет о статье В. И. Ленина «Письмо о тактике. Письмо 1-е».

Стр. 348. *Ты обо мне не думай плохо...* — В повествование включен фрагмент из стихотворения Инны Лиснянской 1952 года, которое она прочла автору в 1961 году в личной беседе. Напечатано полностью лишь в 1989 году. В романе опущен финал стихотворения:

Молчишь ты. На краю отвесном
Тебе доподлинно известно,
Что даже если все изымешь,—
И хлеб и голос, даже имя,
Я поделюсь остатком вдоха
С тобой, жестокая эпоха.

Стр. 353. *Делай мое плохое, а не свое хорошее...* — Перекличка с довоенной прозой Бека: то же присловье принадлежит немцу, инженеру Фалькенбергу из «Записок доменного мастера» (Собр. соч.— I, т. 1, с. 330).

Стр. 459. *...если, по нынешнему обыкновению, прогревожить Маяковского...* — Намек на форсированную канонизацию поэта после высказывания о нем Сталина в 1935 году. Далее следует цитата из вступления в поэму «Во весь голос».

СОДЕРЖАНИЕ

●

<i>В. Шохина. Социология «жестокой эпохи»</i>	5
---	---

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Страницы жизни	29
Курако	39
События одной ночи	138
Влас Луговик	233
Счастливая рука	262
Новое назначение. <i>Роман</i>	291
Примечания	497

Бек А. А.

Б 42 Собрание сочинений. В 4 т. Т. I. Повести и рассказы; Новое назначение: Роман/Сост., подгот. текста и примеч. Т. Бек; Вступ. ст. В. Шохиной.— М.: Худож. лит.: Русский советский пен-центр, 1991.—510 с.

ISBN 5-280-01605-5 (Т. I)

В первый том вошли повести и рассказы о становлении отечественной металлургии («Курако», «События одной ночи» и др.), а также роман «Новое назначение» (1960—1964), в котором автор воссоздает образ крупного руководителя сталинской эпохи, беспощадно обнажая социально-нравственные корни административно-командной системы.

Б 4702010201-183
028(01)-91 Подписное

ББК 84Р7

ISBN 5-280-01605-5 (Т. I)
ISBN 5-280-01606-3

**АЛЕКСАНДР АЛЬФРЕДОВИЧ
БЕК**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ**

ТОМ ПЕРВЫЙ



Редактор Н. Новикова
Художественный редактор Е. Ененко
Технический редактор Е. Полонская
Корректор М. Чупрова

ИБ № 6288

Сдано в набор 11.10.90. Подписано в печать 31.05.91. Формат 84×
×108¹/₃₂. Бумага тип. Гарнитура «Таймс». Печать высокая.
Усл. печ. л. 26,88+вкл.=26,93. Усл. кр.-отт. 26,98. Уч.-изд. л. 28,43+
+вкл.=28,48. Тираж 75 000 экз. Изд. № III-3981. Заказ № 1449.
Цена 8 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная
литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного
Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного
комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28.

